АННА НЕРКАГИ

Молящий

АННА
НЕРКАГИ

Молчащий

ПОВЕСТИ

Тюмень, 1996

ББК 84.44
Н 54

Н 54 **Анна НЕРКАГИ.**
Молчащий: Повести — Тюмень: «СофтДизайн», 1996. — 416 с.

В книгу известной ненецкой писательницы Анны Неркаги вошли уже знакомые русскому и зарубежному читателю повести «Анико из рода Ного» и «Илир». Впервые полностью публикуются «Белый ягель» и «Молчащий», отрывки которого публиковались в различных изданиях под именем «Скопище».

По итогам 1996 литературного года книга «Молчащий» удостоена премии им. Николая Мартемьяновича Чукмалдина, которую ежегодно издательство «СофтДизайн» присуждает лучшему своему автору.

© **Неркаги А.П.**, 1996.

© **Комитет по печати и средствам массовой информации администрации Ямало-Ненецкого автономного округа** (издание),1996.

© **СофтДизайн** (оформление), 1996.

© **Рогачев В.А.** (послесловие), 1996.

© **Липатов М.Е.**, (иллюстрации), 1996.

ISBN 5-88709-050-2

Открытое письмо ненецкой писательнице Анне Павловне Неркаги

Милая Аня!

Только что дочитал твою долгожданную повесть «Белый ягель». Трудно описать волнение, которое не покидало меня, пока я читал эту повесть. Все эти часы ты была рядом, я слышал твой голос, видел твои яркие глаза, то задумчиво-горестные, то искрящиеся лукавством, то цепкие и внимательные. Я и сейчас вижу твои глаза и, глядя в них, хочу высказать тебе все, что передумал, что перечувствовал, читая «Белый ягель».

Я уже не однажды писал и говорил, что любой современный писатель может позавидовать афористичности, образности, емкости языка твоих произведений. Новая твоя повесть еще раз убеждает в этом. Перелистывая сейчас прочитанные страницы, я вижу на них много подчеркнутых фраз, поразивших меня единением краткости, мудрости и яркости. «У каждого времени... своя правда». «Многие люди говорят лишь для того, чтобы не молчать». «Чем старше человек, тем родней ему прошлое». «Крохотная чистая капелька надежды в душе человека может родить океан». «Жизнь — длинное кочевье, и дорогу в ней всегда выбирает мужчина». «Для любви самая длинная ночь коротка...». «Ребенок рождается в страданиях матери, а истина — в страданиях души». «Весна — начало доброй и светлой молитвы...». «Уходя из человека, слова уносят с собой яд тревог, обид и сомнений».

Можно бы еще выписывать и выписывать зацепившие меня изречения, но ведь я пишу

не рецензию, не литературоведческую статью — письмо дорогому мне человеку, добровольно и осознанно зарывшему свой недюжинный жаркий и яркий талант в студеных снегах тундры.

Ты — истинная дочь Тундры. Ее голос. Ее сердце. Ее больная совесть. Тундра с ее буранами и морозами, с ее оленями и собаками, с ее курящимися дымками чумами и будто летящими в белом мареве оленьими упряжками, эта Тундра — живая, голосистая, многокрасочная, своенравная и капризная, добрая и ласковая, эта Тундра не просто присутствует в твоей повести, а заполняет ее до краев. В этом твой «Белый ягель» — прямое продолжение предыдущих повестей «Анико из рода Ного» и «Илир».

Ты — ненка из рода негнущихся. Единственная на Земле ненка — профессиональная писательница. И лучше тебя никто не поведал миру о твоем народе. И здесь, в «Белом ягеле», ты вновь воссоздаешь небольшую по числу, но великолепно-яркую, запоминающуюся галерею отменных образов хозяев тундры — твоих соплеменников. Вану, Пэтко, Хасава да Алешка — вот и все мужское население повести. Но сколько величавого достоинства, сколько нутряной непоказной гордости, сколько душевной щедрости и сердечной теплоты в этой «великолепной четверке», олицетворяющей лучшие черты ненецкого национального характера. Как любовно, как бережно и в то же время как широко и ярко выписала ты героев своей повести. Нет, ты не лакируешь их, не наводишь глянец. Достаточно прочесть исповедь Хасавы, пронзительно потрясающую исповедь этого старого ненца, чтобы убедиться в правоте сказанного мной. Молодец, Анна! Ты — настоящий мастер пера!..

Нет, не случайно, не для красного словца нарек я тебя больной совестью Тундры. Ты сердцем чуешь боли и беды своего народа, чутко улавливаешь малейшие перекосы, нежелательные подвижки в его очень трудной, соленой и горькой судьбе. И таким нежелательным порочным перекосом видится тебе проблема стыковки и преемственности поколений. Ты тронула эту струну в своей первой повести «Анико из рода Ного». Наверное, чтоб подчеркнуть проблемную связь этой повести с «Белым ягелем», оба молодых героя в обеих повестях носят одно имя — Алешка, и великолепный пес Буро из первой повести перекочевывает в другую. Но сами отношения

между отцами и детьми в «Белом ягеле» уже не те, что в «Анико из рода Ного». В новой повести эти отношения куда жестче, пакостней и страшней. И упорхнувшая из родного гнезда, так и не показавшаяся в повести, Илне, и дочка с сыном несчастного Хасавы несут в себе такой заряд недоброжелательства к тем, кто их породил и вскормил, такое острое, злобное неприятие законов и обычаев предков, что становится страшно за будущее этого трудолюбивого, мудрого и гордого народа... Вот так должен знать писатель болевые точки жизни своего народа, так настойчиво и активно стремиться к их заживлению...

Меня очень и очень порадовало, Анна, как ты оригинально и ново показываешь в «Белом ягеле» отношения мужчины и женщины, как необычно, в неожиданном ракурсе высвечиваешь самое сложное и самое важное человеческое чувство — любовь. Сейчас литература и искусство упорно и неотступно убеждают нас в том, что суть любви — постель. В обиход прочно внедрено понятие «заниматься любовью». Не любить, не томиться «то робостью, то ревностью», а «заниматься любовью». Ты в этот грязный, пакостный омут оскотинивания человека швырнула головую шашку огромной взрывной силы. Спасибо тебе за это, Анна Павловна!..

Видишь, сколько мыслей, сколько чувств пробудил во мне твой «Белый ягель». Вместе с тем твоя повесть беспощадно хлестнула по той болезненной струне, что не дает мне покоя вот уже почти полтора десятка лет. Прошу тебя, Аня, выслушай меня еще раз. Выслушай и пóйми. Время бежит. Оно работает не на тебя. Оно вертит не твою мельницу. Послушай мое слово. Пойми мою боль.

Твой «Белый ягель» был написан почти пятнадцать лет назад. Полтора десятилетия возила ты рукопись по тундре, каждый год обещая доделать, дошлифовать, напечатать. Живя в нормальных, цивилизованных, условиях, за эти годы ты написала бы минимум пять таких повестей, а может, и романов. Подумай, какой невосполнимый урон нанесла ты духовности своего народа, всероссийской культуре за эти пятнадцать лет кочевой жизни.

Полагаю, за эти годы касланий ты под завязку набила свою память, до отказа нагрузила свой разум так нужными писателю наблюдениями, фактами, мыслями, проблемами и т.д. Пора поселиться в настоящей

квартире, с теплом, светом, прочими приметами цивилизации. Ты ведь одна-единственная на всей Планете, кого Бог наделил великолепным талантом, кто смог бы, кто смел бы поведать миру о жизни ненецкого народа, о его насущных нуждах, о его болях и бедах. Да, тебе, дочери тундры, наверное, вольготно и хорошо в кочевой жизни. Но судьба предначертала тебе не путь оленевода-кочевника, а многотрудную, очень ответственную и почетную стезю писателя — выразителя дум и чаяний своего прекрасного народа.

Мировая история не знает писателя-кочевника. Эти два понятия несовместимы. Они взаимоисключают друг друга. У тебя впереди еще достаточно лет, чтоб реализовать данный тебе Богом дар, создав такие литературные произведения, которые войдут в сокровищницу российской и мировой культуры. Кончай кочевать. Садись за письменный стол. Пиши. Пиши. Пиши...

Верю, найдется в Салехарде добрый человек, который доставит тебе газету с этим моим письмом.

Верю, губернатор вашего округа, государственная голова Ямала Ю.В.Неелов, прочтя это письмо, сделает все возможное, чтобы писательница Анна Павловна Неркаги не собирала в тундре хворост, не шила ягушки и кисы, не выделывала оленьи и песцовые шкуры, а писала романы, повести, очерки, статьи. Ведь власть предержащие Ямала отвечают перед будущим, перед историей, перед народом не только за экономику, экологию, но и за нравственность своих подопечных, за их духовность. Как же тут не позаботиться о камертоне нравственности и духовности ненецкого народа — о певце, поводыре и радетеле Ямала, великолепной, неповторимой писательнице Анне Павловне Неркаги.

Верю в это.

Надеюсь на это.

Всей душой желаю этого.

До свидания, милая Аня!

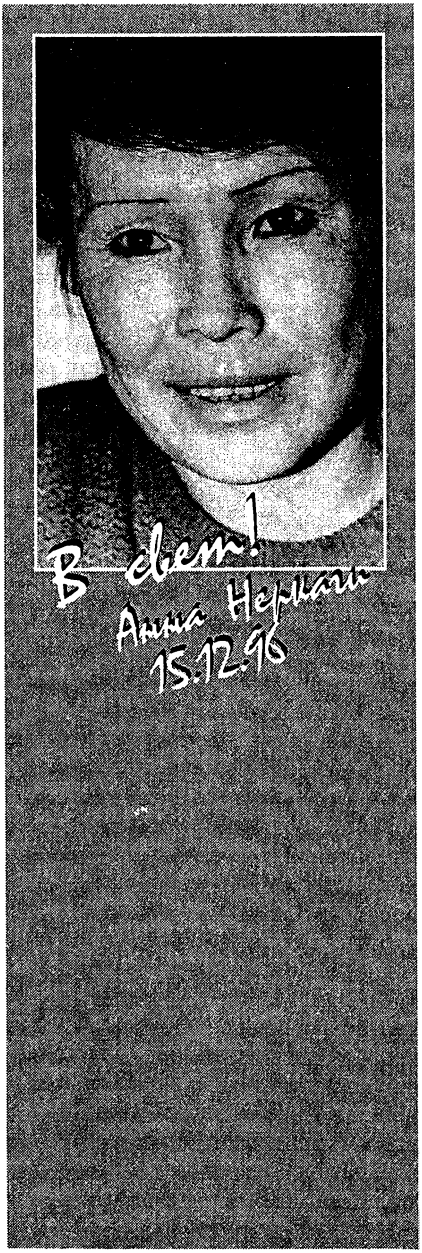
Спасибо за посвящение «Белого ягеля».

Дай Бог тебе здоровья. Все остальное у тебя есть.

Константин Лагунов.
г.Тюмень

**Искренне благодарю
администрацию
Ямало-Ненецкого
автономного округа
(губернатор Ю.В.Неелов)
за финансовую помощь
в издании книги «Молчащий».**

Анна Неркаги


В свет!
Анна Нерлин
15.12.96

От автора



рошло около пятнадцати лет, прежде чем появился на свет «Молчащий» и «Белый ягель».

Но не это главное. Сейчас, оглядываясь назад, на прошедшее время, я могу с уверенностью сказать, что жизнь писателя не возраст тела, а состояние Души. Все, что произошло со мной, дает право утверждать это. Более того, возраст писателя прежде всего есть Состояние Совести.

Прошло пятнадцать лет молчания. За это время Душа моя прожила минимум 150 лет, но не нашего человеческого времени, а какого-то совсем другого. Я не могу объяснить его словами, но чувствую. И чувствую неимоверную старость.

Не могу не сказать о наиглавнейшем, что понято мной. Господу понадобилось 15 лет, чтобы призвать меня к себе. К труду, назначенному мне. К ответственности за слово, за прожитую жизнь в миру. Теперь знаю, что мне можно, а чего нельзя. Теперь признаю с радостью, что я всего лишь заблудшая овца, блудное дите и что придет час, когда вернусь в Отчий дом. Но не для того, чтобы в нем отдохнуть, а держать ответ перед Отцом, как распорядилась дарами, что были отпущены.

Многие читающие сейчас Исповедь мою примут слова о дарах, как пересказ библейской притчи. А меж тем это глубочайшая истина. К ней Господь провел меня через такие страдания Души, о которых больно не только говорить, даже писать. Но я не ропщу. Понимаю, насколько Он милостив, ибо заслуживаю гораздо большей кары.

Десять лет, с провалами, когда за годы не писалось ни одной строчки, когда рукописи забрасывались в самые дальние углы чума, когда приступы невыносимой дьявольской гордыни заполняли все мое существо, писалась повесть «Молчащий». И в тот

момент, когда я вынесла смертельный приговор и «Молчащему», и всему моему творчеству — не писать больше вообще, Господь наказал меня так, что я до сих пор плачу. Он взял мою девочку, которую я любила больше всего на свете. Так что «Молчащий» родился в часы, в дни и годы страданий. Я не прошу у читателя прощения за эту повесть. Многие меня осудят. И суда не боюсь. Знаю только одно. Если бы не написала, то предстала бы перед Судом Отца. За трусость, за низость Духа, за Безверие.

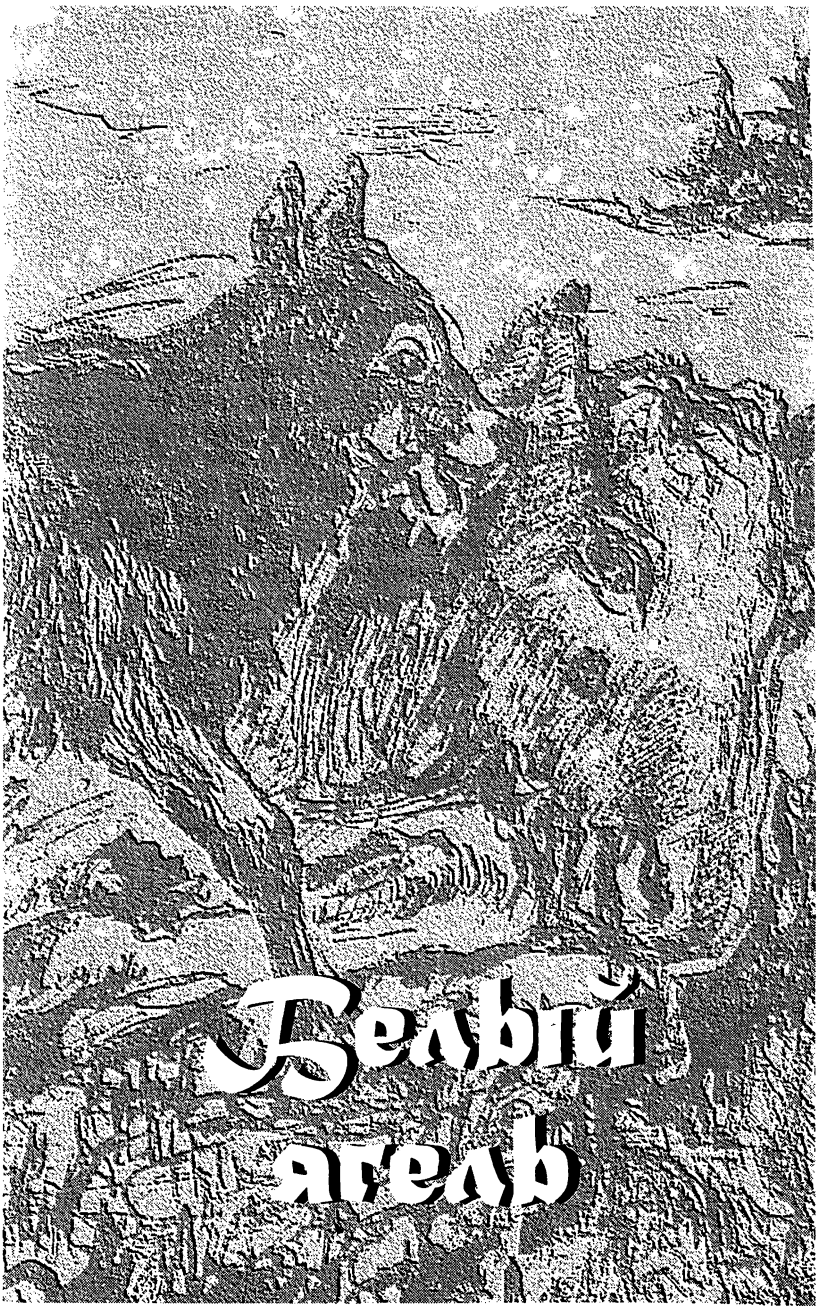
Теперь отчетливо вижу путь, лежащий передо мной, и, естественно, он не розами усыпан. Но это мой путь. Отступление от него чревато непоправимыми последствиями в этом мире. И там, где предстоит нам Вечное творчество и любовь.

Не творить — нет худшего наказания.

Не любить — нет горестней участи.

Я стою в начале. Только в 45 лет поняла, что стою в начале Того Единственного пути, который мне предначертан. И что в жизни кончилось мое личное время и началось другое. Богово. Ни один момент его не принадлежит мне, и не может быть потрачен по моей воле, но по воле Отца Вечного.

Анна Неркаги.


Белый
ягель

Посвящается
Константину Яковлевичу Лагунову —
долг за доброту и веру



гучей щепотью соли на зажившую рану стала для Пэтко свадьба молодого соседа. Дело жизненное, нужное. Никакое самое сильное горе не должно останавливать бега жизни, как валун, брошенный в реку, не поворотит ее течения. Вода обойдет его и вновь потечет, как было завещано.

Год назад ушла в вечную ночь его жена, не совсем старая женщина Ламдо. Некому стало ставить по утрам их семейный чайный столик, некому починить кисы, разжечь огонь. Когда умирает женщина, она уносит с собой половину жизни, а потом начинаешь понимать, что тот, с кем ты делил дни, уносит еще и часть души.

Чум, шесты и нюки, сложив на нарты, оставили у трех деревьев, так называется место, где ненцы даже и века назад ставили на стоянку ненужные нарты. Сам старик Пэтко стал жить на другой, свободной половине чума у старого друга, ненца Вану. Жить через огонь — так сказали бы старые люди, значит, не в своем чуме.

А где-то, в каком-то посёлке у него есть две дочери. Старшая уехала давно, Пэтко и не помнит когда, а младшая приезжала часто. И как они любили с женой, когда их дочь приезжала летом. Они, как две старые птицы, с обеих сторон любовались ею. Как птицы-родители чистят перья своему единственному птенцу, так и они с женой одевали её в самые лучшие меха, какие только были в нартах. Но дочь уезжала всегда, как нежная птица, которая боится зимы и улетает туда, где тепло.

Женщина Ламдо умерла зимой, в очень холодный день, может, поэтому не приехала птица-дочь на её похороны.

А как любовался их птицей-невестой молодой сосед — тот, который женился сегодня. Беспомощными ещё детьми они играли вместе, вместе подрастали, и он — отец, сам однажды видел, как качали они игрушечную колыбельку из старого болотного сапога.

Помнит он и другое. В один из приездов, весной, целую белую ночь пустовала её постель, и когда она вернулась, щёки её пылали красной спелой морошкой. Ни о чем не спросили... не осмелились, застыдились мать с отцом.

А какая боль стояла всегда в глазах Алёшки, когда он трогал упряжку, на задке которой в дальнюю дорогу уезжала дочь.

И теперь необъяснимая, тяжелая обида не оставляла Пэтко все дни, пока небольшое стойбище готовилось к свадьбе, хотя происходящее трудно назвать свадьбой. Не так женились люди. Было время, когда семейные котлы звенели от пустоты и жизнь не располагала к игре. Старик помнил свадьбы богатые и бедные. И на тех, и на других святым делом были гости, и чем больше гостей, тем лучше. Больше добрых слов скажут люди, больше счастья вновь рожденной семье.

На этой свадьбе нет гостей, так захотел молодой сосед. Ни в какое стойбище слово о свадьбе не послали, ни ближних, ни дальних родственников не пригласили. Грешно, но даже двух телят, одного со стойбища жениха, другого со стойбища невесты, не забили, не освятили кровью священные нарты. И в чуме невесты свадьбы не было. Просто сели за стол, как за обычный чай, выпили без хорошего слова чарку. Привезли невесту в стойбище жениха будто не женщину—хозяйку чума и жизни, а воз дров. Без песен, без радостей, усталые, раздраженные непонятным упорством Алёшки.

Мать Алёшки, сильно постаревшая в последнее время, во все эти странные дни жила как во сне. Женщина никак не могла понять, что происходит. Свадьба это или седые старики и старухи стали по воле сына всего лишь куклами, тряпичными детскими игрушками, и он волен вертеть ими. Родители невесты, уловив неладное, сослались на длинную дорогу и не поехали в стойбище жениха. И когда аргиш с невестой собрался уезжать, держа наготове хорей, чтоб тронуться всем разом, она оглянулась на мать невесты, свою ровесницу, и ей захотелось скорей уехать, убежать, подобно зверю со своей добычей, чтобы не отняли. И пока ехали, она часто оборачивалась назад.

«А так ли было?.. И так ли нужно?..» — думала женщина. Её тайные мысли вызывали в ней недоверие к Большой жизни, но жить нужно, и она ехала, не поворачивала обратно, как не завернула бы старая волчица, которую в логове ожидают голодные тощие волчата.

И когда уже приехали, и нужно было хотя бы для виду выполнить святой ритуал введения хозяйки в её новый чум, в жизнь, в которую легко войти, да непросто выйти, женщина крепко, крепче, чем было нужно, взяв молодую сноху за руку, застыла у полога чума. И тут её обуял обжигающий душу страх, а к счастью ли? Будет ли хорошо этой девушке в её чуме, с сыном? Не одуматься ли? Может, сын прав? Ведь ему не шестнадцать, а двадцать шесть, совсем взрослый мужчина, у которого в эту пору жизни в каждом углу чума должно сидеть не по одному, а уже по два-три ребёнка. Ведь и у него на плечах голова, а не кочка. Может, правда их старой, не всегда сытой жизни умерла, как умирает всё? И родилась новая, совсем другая правда? У каждого времени свое лицо, а значит, и своя правда. Но женщина одернула себя: долго думать — долго стоять на месте. Поздно думать. Правда жизни та же, люди те же, ни у кого не выросло ни третьей руки, ни лишней ноги, и сердце одно, а значит, и правда жизни одна и суть её прежняя: жить и работать честно.

Всё будет хорошо. Зря они, старики и старухи, плачут, как глупые гагары на берегу озера перед дождем. Дождя не будет, солнце выглянет.

Не выпуская руку смущенной девушки, женщина первой прошла в дверь и, почти затащив её, остановилась на миг и не сразу нашла в себе силы сказать старые слова, какие в свое время сказаны были ей свекровью:

— Теперь вот твой чум. Здесь тебе жить, — не выпуская руку девушки, провела её к постели и усадила, чутким сердцем понимая, какими неродными, холодными бывают чужие чумы и как бы ласково ни сказаны были слова свекровью, молодые воспринимают их по-своему.

Быстро и ловко растопив огонь, женщина нарубила мяса. Наполнив им до краёв черный прокопченный котел, повесила над пламенем. Все время, пока руки делали обычную работу, сердце и ум — свою. Ум назойливо и сварливо нашептывал:

— Ох и посмеются люди тундры над свадьбой твоего сына. Женщины воронами закаркают, и слово-червь попол-

зет по снегам с быстротою ветра: сама мать жениха рубила мясо для котла, сама разжигала грешными руками чистый огонь новой жизни. Всё делала сама, как девчонка на побегушках, которая на нормальных свадьбах, подобно юркой мыши, носится с поручениями. Ни невеста, ни мать жениха не могут и не должны работать. Это грешно и не делает чести ни бедной, ни богатой свадьбе.

— И пусть... — осторожно, несмело возражало сердце, — пусть... позорно, но всё же женила сына. Разве плохо? Не нужно будет биться в тоске, подобно птице-матери над разоренным пустым гнездом. Не опустеет родное гнездо, а новой сильной жизнью заживет, и женщины, что моют языки слюной, со временем придут и подсядут к столу снохи и сына.

Когда мясо сварилось, и сын зашел в чум, она выскользнула на улицу и, боясь, что сын услышит, побежала в соседний чум. Нужно позвать людей к столу, не чужой он им, и они не чужие, может, и сердце сына смягчится. Не посторонние, свои, родные старики посадят у колена женщину, с которой ему не игры играть, а жизнь прожить.

Старики ожидали её. Понюхивая табак, сидели рядышком, покрякивая, как птицы авлик, и тихо переговаривались. Опустившись у полога на край досок-полов, немного помолчав, как прилично женщине, она попросила:

— Пойдёмте, посадим их, — и, не дожидаясь ответа, вышла. Она была уверена, что придут, и они вместе убедят сына, что так нужно. Так делали ненцы всегда. Женщина садилась у колена мужчины, становясь его частью. В этом правда жизни.

Старики пришли. Алёшка мрачно посмотрел на них, но не произнес ни слова. Взрослые казались ему упрямыми детьми, не понимающими важности игры, которую затеяли. Он молчал уже несколько дней. Слова самые громкие и самые тихие — всё пустое. Ни одним нельзя, невозможно выразить любви. Слова — пыль. Если бы люди больше молчали, как хорошо и долго они любили бы. В молчании же есть особая нежность и страдание. В страдании — кровь любви...

Руками, дрожащими от волнения, провела мать невесту и посадила на место, куда ненецкая женщина садится лишь раз в жизни. Около жениха, не на доски-латы, где ей вечное место во все дни жизни, а на постель. Боковым зрением успела заметить, как брезгливо вздрогнули губы сына, и ей снова стало тревожно за эту свадьбу.

Не подавая виду, она налила старикам чаю и сама под-

села к столу, но тут же вскочила и стала подбрасывать в огонь сухие ломкие ветки. Ей казалось, стоит перестать двигаться, тут же сын обязательно встанет, распрямит крылья-плечи, отодвинув сильной рукой стол, а заодно скажет жестко: «Хватит, я пошутил... Я не хочу жениться». Встанет, и у ней не хватит сил посадить его обратно.

Ни горячий густой чай, ни вкусное мясо и выпитая чарочка не могли оживить тяжелой свадьбы. Старики, хотя и сидели внушительно, как две скалы, вросшие друг в друга, чувствовали себя детьми, не способными понять. И они молчали, как осенние птицы, боясь накликать на свое гнездо беду.

За густым бульоном выпили по второй чарке, не решаясь поднять чашки, как положено в такой день. Выпил и Алёшка, глядя перед собою, словно не люди, а тени, давно умершие, окружили его. Ожидать слова и самому что-то говорить, смешно и нелепо. Бессильная злоба вспыхивала в нем. Встать бы, перевернуть стол, разогнать почтенных старичков, поставить вверх тормашками чум и всё, что придумано людьми, чтоб скрыть убогость жизни и души.

Ему ли... любящему играть в их старую жизнь? Это похороны, не свадьба. Он хоронит сегодня самое дорогое, светлое, что понято за прожитые годы. Что жило в нем тайно от людей. Жило сладко, мучило и радовало.

Он хоронит любовь. Никто не смеет веселиться и смеяться на похоронах. Никто! И никому нет дела, как справляет он свадьбу-похороны. Его жизнь, и он волен в ней делать всё, что ему нравится. Никто не укажет, как нужно жениться, — ни древний обычай, ни людской язык. Алёшке захотелось плакать, чтобы горячие слёзы бежали по щекам, обжигая душу. Не для того, чтобы пожалели... ведь как-то нужно помочь себе. Он один сейчас... Люди топчут земные цветы, не замечая сломанных стеблей, помятых лепестков, так они и не замечают, что сами убивают любовь. Один миг трусости, немного хитрости с самим собой — любовь мертва.

Старики посидели ещё немножко. И только женщина убрала стол, стали собираться. Понюхали табачку, чтоб выждать время и как можно дольше не оставлять бедную женщину наедине с сыном. Первым поднялся Вану, оборотив суровое лицо к Алёшке, он остановился у полога, но только махнул рукой и вышел. За ним заторопился Пэтко.

И пока он суетился, Алёшка смотрел на его беспомощную согнутую спину. Так захотелось, чтобы не ушёл, остался отец той, о которой болело сердце. Спел бы песню о

дочери, назло ему, Алёшке. Они б напились вместе и поплакали бы о том, что случилось. Он женится без любви, а к нему не приехала дочь, единственный человек, который мог согреть его оставшиеся дни.

Пэтко не мог нашарить неверными руками полог, тыкаясь головой о шесты, а когда разобрался, оглянулся, и в глазах его ясно вспыхнул укор, будто совсем тихо, про себя, он сказал:

— Эх, ты.

Алёшка стиснул зубы. Много дней и лет пройдет, а глаза, полные неупавших слез, будут напоминанием об этой ночи. От выпитого кружилась голова, и кровь близко шумела в ушах. Откинувшись назад на подушки, Алёшка лежал, не понимая, как дальше быть и что делать. Закурил, стараясь не глядеть на девушку, сидящую у огня. Спина её, повернутая к нему, согнута, и по ней ползут две длинные черные косы с вплетенными в них старинными бусами и медными украшениями.

«Сидит», — со злостью подумал Алёшка, не чувствуя в себе жалости к ней, застывшей в извечной позе ненецкой женщины, безучастной к случившемуся. Будто уже прожили они длинную, тяжелую в нелюбви жизнь, оба устали, измучились и под конец горьких, никаким раскаянием непоправимых дней его жена, сидя у огня, никогда не гревшего её души, зарывает в золу тоску и нелюбовь к нему.

Надо успокоиться и подумать обо всем. Спокойно и трезво, и главное — без злости. Зло в такой дороге, как жизнь, ненадежный посох. Что сделали ему люди стойбища, самые близкие на всей земле? Ближе их нет. Не одну зиму и не одну голодную весну вместе прожили, выдюжили и, конечно, не одно и не два горя, смерть отца помогли пережить. И от того, что он женился без любви, солнце завтра утром не откажется подняться на небо. Нужно понять и их правду.

Месяц назад, за утренним чаем, мать сказала необычно, не по-женски твердо:

— Сын, я постарела.

Алёшка промолчал и наклонился над блюдцем, и при этом его широкие плечи сделались уже. Мать понимала, что не плечи сына сжались от боли, но всё же продолжала:

— Человек никогда не жил один. И тебе нужно женщину! Пусть некрасивую, только бы руки и ноги не были кривыми, умела бы огонь разжечь, кисы подсушить, дыру в рукавице зашить. Может всё это — с ней жить можно.

Если бы мать прекратила свой разговор на этом, Алёшка бы вообще не придал её словам особого значения. То же, только чуть покороче, она сказала и год назад. Но сейчас мать, видимо, не хотела говорить впустую и поэтому, помолчав, добавила:

— И потом... ты сам знаешь...

Алёшка взглянул на неё и замер. Замолчала и она, понимая, что у сына есть больное место и бить по нему жестоко.

— Ты зря ждёшь дочь старика Пэтко. Такие не возвращаются обратно.

Сын предчувствовал её слова. Когда-нибудь кто-то должен был сказать ему это. И всё равно, даже матери, нельзя показать, что очень больно. Мало ли о чём говорит женщина? Многие люди говорят лишь для того, чтобы не молчать. Отставив в сторону блюдце и чашку, он откинулся назад, чувствуя, как подступает к сердцу знакомая боль, ставшая частью его души. Боль, давно переросшая в странную болезнь. Любовь становится болезнью души, и от неё нет лекарств, кроме... смерти.

Не приедет... Он сам это знает давно, прежде, чем были сказаны слова. С тех пор, как уехала Илне, прошло не семь дней, а семь долгих лет, и семь надежд, самых светлых и чистых, умерло в нем. А весной семь надежд оживали. Приходила осень, на деревьях и кустах желтели старостью листья, затихала боль. Но ничего не мог поделать с собой Алёшка. Всё верилось, что придет такая осень и вопреки законам природы не умрут, не увянут листья. И возвратится та, что взяла и не вернула сердце. А тут говорят — жениться, найти женщину очень простую, лишь бы глаза не были на затылке и руки, ноги не слишком кривые.

Оставшись одна, мать некоторое время стояла неподвижно перед огнём. Жизнь научила её, когда нужно, быть мужчиной. Муж умер, но не унёс с собой голодных детей, и огонь не потух в тот час, когда не стало его главного хозяина. Ещё осталась после мужчины та работа, которую не сделаешь ни топором, ни ножом, и ружьём не подстрелишь — давать жизни течение, чтобы она не расплылась и не засохла, как весенняя лужа, а текла бы рекой, сохраняя при этом свои берега и бег.

В свои двадцать шесть лет сын не мужчина, хотя под носом у него давно почернело. Мужская забота войдёт ему в голову и душу, когда в женском углу чума появится берестяная люлька и из неё время от времени будет раздаваться

требовательный неумолимый крик — ыя, ыя. Когда каждое утро к столу будут протягивать ручонки дети — вот тогда мужчина становится хозяином. Сына надо женить, если даже он будет отбрыкиваться руками и ногами. Сердце не в счёт. Сердце человека глупо.

Так решила старая женщина и только после этого, сдвинув вместе мерцающие уголья, раздула огонь. Принятое решение, правильное и единственное, давало ей право смотреть в глаза Великому повелителю человеческих судеб, каким в её сознании всегда был и оставался огонь.

Теперь оставалось сообщить решение Душе чума. Она отошла от огня, ярко освещавшего прокопченные, продымленные нюки со множеством латаных-перелатаных дыр. Бережно по очереди погладила три толстых могучих шеста. Они священны. На них лежит тяжесть не только всех остальных шестов и нюков. На них лежит тяжесть прошлого. Чем старей человек, тем родней его прошлое. И они, эти старые шесты, молчаливо, как некую тайну хранят тени и души ушедших. А после смерти будут хранить её слова и мысли, а значит, и душу.

Сегодня они знают её решение. Теперь в длинные буранные ночи в них не будет тоски перед смертью. Сын не может не быть в ответе за судьбу своего чума. Время пройдет, он сам это поймёт, его нужно женить. Вечером она пошла к соседям, и назавтра стойбище стариков занято было только одной мыслью, в какой конец тундры поехать, в чьём стойбище искать женщину. Нужно женщину не дорогую и не очень дешёвую, чтоб не нагишом приехала, руки бы у ней были неленивые, быстрые, цепкие. Чтоб всякую работу не три раза делала, а шов на кисах и малицах, шитых её руками, не походил бы на вороний след. Где найти такую женщину?

Утром следующего дня, весёлый и возбуждённый, Вану подошёл к Алёшке и, не церемонясь, спросил:

— Где будем искать женщину? Как думаешь?

Алёшка усмехнулся:

— Пусть мать ищет. Это ей нужна женщина, не мне.

Вану нахмурился, но тут же улыбнулся. Он решил, что всего лучше усмешку не заметить.

— В тундре много хороших женщин. Хорошие женщины, как и плохие, всегда были, но хороших больше.

Алёшка против своей воли опять лишь усмехнулся. Взрослые, как дети, для них женщина, не умеющая шить и развести огонь, плохая женщина.

— Как быть? Где будем искать женщину? — повторил свой вопрос Вану, всё так же хорошо и чисто улыбаясь, с удовольствием понюхивая табачок с ногтя.

Алёшка не ответил. Протянул руку к табакерке соседа, взял небольшую щепоть, давая понять, что не нужно подталкивать его к слову. Он не раз видел, как старые ненцы делали то же самое, медля с ответом или выражая свое уважение к собеседнику. А человек, стоящий перед ним, стоил уважения, но сейчас не нужно, чтобы он улыбался, как глуповатый ребенок. Ему самому хотелось глубоко-глубоко, по-старчески вздохнуть, сесть прямо на снег и, не стесняясь, рассказать этому человеку, какой непосильный груз тащит он в сердце из года в год, и чем дальше, тем тяжелей ему. И чтобы Вану принял его исповедь-боль как мужчина, сурово. А после, взволнованный душой, сроднённый с ним, не спрашивал наивно, где искать женщину.

— Ты долго молчишь.

Алёшка поднял глаза. Его душа готова была сказать первое слово исповеди, но его неприятно поразили глаза соседа, спокойные, даже с холодком. Совсем не такими должны быть глаза человека, решившегося принять исповедь другого. Исповедь — всегда боль, редко радость и счастье, а боль принять тяжелей, а разделить...

— Да, я долго молчу. Слово тяжёлое.

— Тяжёлое, ничего. Мне больно не будет, если, конечно, ты его не бросишь камнем.

Алёшка колебался. Глаза человека не озерная гладь, чтобы их рябило от внутреннего шторма, и всё-таки... чему верить, как не глазам. Где спрятана сила и слабость человека — в них. И потом... кто сказал, что человек живёт без своей боли, без тайны души и святого места-уголка, куда не пускают и избранных. И почему он сейчас должен вырвать из себя дорогие мысли и чувства, свои, родные, и вырвутся-то они, наверно, с дикой болью и кровью. Зачем отдавать их на суд человеку?

Чтобы быстрей закончить затянувшийся, весь в паузах, ненужный в сущности разговор, Алёшка быстро, неумело донюхал понюшку, привстал с нарты, на которую было сел, и сказал как можно спокойней:

— Пусть мать говорит. У неё язык полегче, а я не могу.

Вану отошёл и горько ему было от слов молодого соседа. Вот такие у нас времена: хочешь с теплым огнём человеку в душу войти, а он возьмёт и увидит вместо огня в твоих ру-

ках палку. Парень не жил ещё, а повёл себя так, будто в гости пригласил, до полога чума довёл, а как надо входить, обратно завернул.

И выходит — будем греться каждый у своего огня, не разжигая общих, а ведь именно около этих огней и согревались для жизни в дни его молодости. Из маленьких прокопченных котелков и котелочков наполнялся большой котёл, не давший умереть от голода многим и многим семьям.

Скаредничают люди около огней. Варят над ними сытные котлы, отгоняя прочь замерзающих, не сумевших сохранить в непогодину жизни своего стола. А старые ненцы ещё совсем недавно говорили: не можешь несчастного согреть огнём, куска мяса нет, табак кончился, ни понюшки малой — не казни себя, у тебя есть слово доброе, по силе равное огню, по сытости куску мяса и доброй понюшке по крепости.

Как ребёнок встал на ноги, начинал понимать, зачем на небе солнце, его учили признавать и понимать эти заповеди. А чему научили наших детей? Таиться, подобно хищному зверю. Жизнь не охота, и в ней повадки зверя вроде ни к чему.

Долго не мог успокоиться Вану. За что бы он ни взялся, вставало перед ним лицо молодого соседа. Не нужно быть особенно чутким и мудрым, чтобы многое понимать. Почему еле стоит соседний чум, когда-то сильный, как дерево с крепкими здоровыми корнями? И почему собственные сыновья, приезжающие летом, кажутся больными странной, птичьей болезнью: крылья есть, оперение целое, а летать не могут. Берёт сын в руки аркан, а толком ни собрать, ни бросить не может. Топор возьмёт — сразу отберёшь, кажется, вместо дерева он возьмёт и оттяпает себе обе ноги.

Вечером вторично собрался совет стариков, и его решение было веским — женить.

И сейчас Алёшка вспоминал, как упорно следовали они своему решению. Его самого ни о чем не спрашивали, будто не человека женили, а сводили ради породистого щенка кобеля и сучку. Он не пытался их остановить, понимая, что так поступали ненцы всегда. Не вчера родился этот закон и не сегодня ему умереть. Ползти, карабкаться, спотыкаться, но идти вперёд. Нарта жизни, скрипя, кренясь, натыкаясь на дорожные камни и валуны, должна двигаться вперёд. Вот почему у огня сидит девушка-женщина. Она даст жизнь огню и чуму. Ну что ж... Люди стойбища поступили мудро. А что должен делать он?

За спиной у сородичей прожитая жизнь. А у него? И ничего, одна дурь. Выходит, запутался, словно лиса в своих же следах, и попал в круг — не перепрыгнуть, не выскочить. Куда, собственно, прыгать? Зачем?

Тихо приоткрылся полог, и тенью вошла мать. Лицо её спокойно. Подойдя к нему, она наклонилась и ласково попросила:

— Встань, я сделаю вам постель.

«Постель? Ах, да... — захотелось нехорошо, злобно выругаться. — Постель... тут какая-то гадкая тайна, будто это важно. Постель, как постель, камней не чувствуется и гвоздей, торчащих вверх острием, не видно. Что её особо делать?» — с раздражением думал Алёшка, не поднимаясь, а ласковость лица и голоса матери показалась ему показной, хитрой.

Он резко вскочил и почувствовал, что не знает, куда себя девать. Покорно стоять и ждать, когда мать закончит стелить постель — могилу его любви? Дождаться, захлебнуться в своем отчаянии? Сейчас же, немедленно всем доказать, что нет, нет и нет... не загнать силой в постель, он только сейчас понял, как необъяснимо дорога ему его несуразная любовь к далёкой женщине. И мать — как её сердце не сочувствует ему... Обида и слёзы сжали горло. Он схватил ковш, зачерпнув холодной, со льдом воды, стал пить крупными глотками, чувствуя, как внутри рождается уверенная злая сила. Пока мать старательно застилает эту паучью постель, он сумеет защитить себя и своё чувство. Наступил час проверить себя. Легко думать, рассуждать о любви и верности, а как быть, когда рядом на готовую постель кладут женщину. Верно, жизнь могуча и сильна, а я перед ней слепой и глупый щенок. Но я хочу в постели и в жизни ту женщину, которую хочу сам! Хочу и люблю!

Осторожно положив на место ковш, едва сдерживая грубое желание швырнуть его, Алёшка прошагал мимо невесты и вышел. Если бы мать оглянулась и увидела лицо сына, руки её остановились бы сами собой. Дух радости мешал ей понять и лицо, и душу сына...

Много в жизни ночей, а эта ночь одна... Птица прилетает на родное озеро, жмётся теплым бочком к знакомой болотной кочке и начинает вить гнёздышко. А гнездо любви? Как мрачно и непрочно делают их люди. Торопливо, жадно, порой постыдно, не заботясь о любви, — мол, вытерпит, живуча. Но нет. Любовь бежит, забирая свою пре-

красную душу и оставляя тощий скелет. Почему бы людям не поучиться делать гнёзда любви у птиц небесных? Птичка-женщина всю себя общиплет, лучшие и тёплые пёрышки у себя пообрывает и лишь потом избранника позовёт для любви. Хотя и среди птиц есть дурные, например, гагара. Кочку моховую полохматит, ямку в ней наскоро потопчет — вот и всё гнездо. А потом у озера горько плачет, если ветер разнёс её нехитрое жильё, если муж гагара клюнет её в злобе, если хищник разроет незащищённую хитростью кочку.

Пусть не гагарьим гнездом сделают руки и сердце постель сына. Пусть верность орла и нежность белой лебеди поселятся в нем. Злой ветер зависти не развеет, и падальный ворон не прилетит, счастье сына не расклюёт. Чтоб не плакал сын одинокой гагарой, когда наступит осень жизни.

За светлой своей молитвой не заметила женщина, как приготовила постель. Невинно, дыша радостью желанья, лежала у изголовья подушка, и не белая, а чёрная, как зимняя ночь, шкура быка ждала непомятой шерстью. Такое же меховое одеяло, мягкое, послушное, ожидало, когда нетерпеливые руки прикроют им наготу любви.

Скромно отвела мать глаза от постели, подошла к девушке и протянула ей руку. Та положила ей на ладонь горячие дрожащие пальцы. Женщина уложила её, слегка прикрыв одеялом. Её накроет сам мужчина. Опустила новый ситцевый полог, оставив половину со стороны сына приоткрытой.

Теперь надо ждать сына. В ожидании она подсела к огню и привычными руками развела его. Теперь они не сироты, и собачья смерть не грозит. Одинокая и постыдная старость не согнет спины, и одиночество души не ожидает. Там, где дети, нет смерти. Вот почему, покупая женщину, мужчина покупает жизнь.

Но сын не возвращался. Боясь выглянуть и никого не увидеть, мать продолжала сидеть у огня, хотя тот давно потух и только среди угольев не уснул глазок огня, откуда-то из-под серой кучи золы высвечивался тонкий, как надежда старой женщины, лучик...

...Стойбище осталось позади и скоро скрылось за густым лесом. Алёшка устало прислонился спиной к большому камню, заросшему коричневым шершавым мхом, и сразу почувствовал, что дальше идти не может. Да и куда? Зачем? Ведь и эта коротенькая дорога была нелепой. Как выскочил

из чума, так и понёсся, куда посмотрели глаза и понесли ноги. И вся прожитая жизнь показалась Алёшке тоже обидно нелепой. Как родился, пошёл, куда ноги понесли, глаза посмотрели, и заблудился. Что ищет человек в дороге жизни? Счастье?! А оно, как лиса, — только увидишь, не успеешь за ружьё схватиться, а у неё уж хвост мелькнул за ближайшим кустом. И пока ты в этот хвост целишься, она уже на горе и издалека мехом поблескивает. Бесполезно гнаться за ней даже на самой быстрой и сильной упряжке — себя обманешь, оленей загонишь. И эту немудрёную истину почему он не понял раньше? Потерял, не догнал он свою лису, а ведь только с ней, с той, ушедшей от своей земли, и хотелось жизнь прожить. А она глазами пообещала, словно лиса хвостом поманила.

Отстегнув тугой пояс, он лег лицом вниз, устало со всхлипом вдохнул в себя крепкий запах багульника. Неостывшая за короткую ночь трава была тёплой, не колола щёк и шеи, а только нежно щекотала, будто это не мертвая, пережившая зиму трава, а пальцы любимой ласкали лицо. Пальцы любимой и шёлковая брачная постель... В одну ночь две матери постелили ему постель любви. На которую ему прилечь? Ему, в двадцать шесть лет не познавшему женщину? Которую мать ему послушать? Ту, что осталась в чуме и добрыми усталыми руками заботливо вырыла ему яму-постель, веря всей душой, что ему будет хорошо в ней. Или эту, на груди которой он лежит и которая тоже обманывает его. Ведь это не руки любимой, а всего лишь пожухлая седая трава, ожесточившаяся за зимние холода, и стоит только наклониться ниже, она сделает ему больно.

Как быть? Убежав, как сопливый мальчишка от женщины, убежал ли он от себя? За что ухватиться в жизни, как обмануть себя? Может, то, что случилось, не так страшно и не нужно истерично бежать куда-то.

Счастье-лиса — хитрый зверь, не всякий умелый охотник его ловит, ни в капкан, ни пулей, но живут же всё-таки, дни идут, и никто не стонет от боли, как он. Пойти обратно и взять женщину, которую нашли, купили, привезли и уложили люди. Может, они и в самом деле знают такое, чего не знает он.

Перевернувшись лицом к небу, Алёшка стал пристально смотреть на цветные облака, блестевшие, как яркие, радужные сукна, небрежно разбросанные мастерицей-ненкой. Глаза устали быстро. Он закрыл их. Смотреть в небо — всё

равно, что пытаться увидеть что-то в дне завтрашнем. А зачем ему завтра, если он не знает, как жить сегодня, как посмотреть в глаза матери и сородичам. И ведь не в сторонке ему жить, а опять вместе, не сиртей в темноте сопки. Он всего лишь капля воды в реке, а ей ли, капельке, не знать, как сильно, неповоротимо течение, и ей ли, маленькой, править бегом вод.

И всё же... Крохотная чистая капелька надежды в душе человека может родить океан. Что если поверить опять... поверить, как не раз уже делал? Поверить, что всё хорошо и умно на земле, а значит, и в его, Алёшкиной, жизни. Сколько лет верил тихонько, никому не доверяясь, оживал и был счастлив своей верой? Почему же должен перестать ждать в эту весну? Может, человек тем и жив, что может верить во что-то вновь и вновь?

Нет реки без начала, нет цветка без корня, и не может его чувство умереть за вечер и ночь. Надо ждать. Матери сказать: как привезли женщину, так и отвезите её обратно. Никто не тронул её, цела и невредима.

С земли Алёшка поднялся легко. Высокий, стройный, с сильными разлетающимися плечами, он выглядел так, что не сломить его, не согнуть людской мудрости. У него своя мудрость и свой бог — любовь.

Пэтко не ожидал, что свадьба молодого соседа так взволнует его. Словно сова в ожидании неосторожной мыши, просидел он на своей постели до самого утра. Понюхивая понюшку за понюшкой, изо всей силы старался подавить в себе нехорошую обиду. Не люди, а ветер жизни снес с лица земли его чум, обида-червь в душу заползет, а обратно не выползет.

Семь лет прошло, и каждый день этих долгих семи лет лишь добавил седины и боли.

Ночью тихо, без жалобы и даже, может быть, без мучительной боли умерла его собака. Утром, ещё в темноте, нашарив рядом с собой тело собаки, старик весь помертвел, и долго сердце его не могло понять и принять этой смерти. Дрожащими пальцами он ощупывал большую отяжелевшую голову друга, с полуобнаженными зубами. Пёс был холоден. Старик тихо всхлипнул. Уходили из жиз-

ни остатки, последние крохи его счастья, и все по одной дороге, в сторону вечной ночи. Пора уходить и самому, пока не стал обузой для себя и людей. Жизнь прожита. Уйти нужно вовремя и тихо, не пугая людей. Смерть наклонится над ним, как мать над ребёнком. В начале жизни над рожденным наклоняется Яминя, определяя ему судьбу, высматривая в ещё чистом лице следы рока или величия. И улыбнется Яминя или усмехнётся.

Эти мысли поглотили в нём обиду. Он не прав. Нельзя, съевши свою похлёбку, лезть ложкой в чужой котёл. Приподняв табакерку, старик тряхнул её, посмотрел на свет и покачал головой.

— Мало табачку, — прошептал он тихо и ещё раз покачал головой, — плохо.

— Почему не спишь? — раздался шёпот по ту сторону огня, и Вану, освободив себя от лежащих на нем ягушек, быстро надел легкую малицу и подсел к ногам друга.

— Так и сидел? Не уснул?

— Умру, тогда сон пригодится. Я думал.

— Но ведь ты жив. Посмотри, — он глянул наверх. В чум заглядывало небо, живое, голубое. Потом кивнул на приоткрытый полог двери. С улицы ручейком текли в чум тихие шорохи травы, посвист и нехитрые песенки маленьких птиц, затеявших разговоры на ближайших кустах. Собаки негромко, дружелюбно перебрехивались друг с другом. Утренний мир был душевно чист и тёпел.

— Слышишь, везде жизнь.

Пэтко покорно послушал, даже капюшон малицы откинул, а потом, будто друг хотел обмануть его, как глупого ребенка, блестящей звенящей игрушкой, улыбнулся, дрогнув усами, и покачал головой.

— Э... Э... Это не наша жизнь. Ты помнишь старого Тахану? Он жил один в своём маленьком чумике. Старость, говорил он, только тогда жизнь, когда тебя любят дети. А если нет, старость — гроб, которому второпях забыли крышку прибить.

— Страшные слова ты говоришь.

— Я жалею, что их не слышит моя дочь. А грудь земли так широка и не моими гнилыми ногами её мерить, а то бы сам пошёл к ней.

На это Вану ничего не ответил. Он взял табакерку из рук друга, сел с ним рядом на его скудную постель. Сколько раз он так садился, согревая теплом плеча и не играя силой слова.

— Ты знаешь, о чем плачет гагара? — вдруг спросил Пэтко.

— Нет, — опешил Вану.

— Гагара плачет о былом. Но когда она среди ясного дня начинает выть на берегу, то раздражает людей своим унылым страшным плачем.

Глаза старика оживились. Он выпрямил согнутую спину и, глядя перед собой потеплевшими глазами, продолжал:

— Когда земля стояла по-старому, и всё живое подчинялось одному закону — закону солнца, жила на берегу озера семья гагары. Гагара-отец, мать гагара и дети. Старик гагара был богат, оленей и нарт у него — не сосчитать глазу. Часто, широко расставив ноги, стоял старик гагара среди своих оленей и не только лицо, а и бока его раздувались от жира и гордости.

Дети гагары ничем не занимались. С утра до ночи купались в озере, брызгая друг друга водой и громко кричали: ка-ка, ка-ка.

И каждый вечер, как только солнце уходило с неба, старик гагара ловил оленя, и семья начинала пировать. У растерзанной кое-как туши дети дрались из-за сладких кусков жира, вырывали друг у друга перья, когтями царапали глаза матери, чтоб она не смела подходить к мясу, пока они не насытятся. К утру от оленя не оставалось и капли крови.

А солнце, выйдя утром на небо, думало: «Как честно живут гагары, крови не льют, своим трудом живут». И снова росли стада гагар.

Отец гагара дни стоял в своём стаде, будто карауля его от хищников, а на самом деле жадными кровавыми глазами искал заранее жертву. Так жили гагары, не догадываясь, что кто-то видит их ночные пиры. А о них знал последний луч солнца, тайный луч. Он не торопился, как его братья, в золотой чум. Уходя, оглядывался. Видел, как злобно сверкают глаза птиц. Не выдержал тайный луч и рассказал солнцу злую правду жизни гагар. Рассердилось солнце, невыносимым жаром дохнуло, растопило землю, обратив её в раскалённый уголь. В страхе покатились гагары к воде, как к спасению. Тысячные стада оленей, обезумевших от жары, топтали своих хозяев, ломая им кости. Заплакали гагары и остались в воде навеки. И от страха перед солнцем плачут гагары на берегу.

Прошлое темно, и кто знает — в давней давности, может, и человек не признавал законов труда и добра, жил гагарой и



Подобно деревьям, три человека шелестели-говорили о прошлом, вспоминая такие древности, когда на Земле не было их дедов и прадедов, прапрадедов, но, как дерево вечности, как высокое солнце, жило и сияло Золотое Слово правды.

его манит к себе тёмное кровавое прошлое. Тоска заливает душу, и он плачет на берегу жизни совсем как гагара.

— Я не жил гагарой и не хочу... не хочу, чтоб плач мой был плачем гагары. Скажи мне... что делать, чтоб мой плач об ушедшем не раздражал людей?

Вану не сразу ответил. Он сидел, опустив голову, и ему слышался жуткий вой гагары, жирной птицы с острым, как нож, клювом. Ни дети, ни взрослые не любили ее криков, когда среди солнечного дня она вдруг начинала ныть и тяготить душу.

И почему-то подумалось о птицах вообще. О чистоте и серьёзности их мира, близкого к небу. Ведь не одна гагара птица. Пустые осенние гнёзда, из которых вылетели птицы, и к которым не прилетают по зорям матери и отцы-птицы, не вызывают тяжёлых, неотвязчивых мыслей о драмах, как покинутые человеческие жилища. Ни мусора, ни следов нечистот, только цветы, листья жёлто-красные, хвоинки-травинки, принесённые ветром, покоятся в них, и вместе с ними земля хранит здесь грусть свою, надежду, а самой ранней весной в них первым просыпается луч солнца.

Вану был уверен: не будет на земле птичьих гнёзд, этих маленьких святынь, не станет и человеческих. И не кто-нибудь, а именно человек в ответе за судьбы больших и маленьких гнёзд, и своих, и птичьих.

Частая седина давно посыпала склоненную голову Вану и ему можно не торопиться со словом. Поймёт друг Пэтко его молчание. И когда он поднял голову, в глазах его была печаль, суровая, как правда.

— Если кто назовёт твой плач гагарьим, у того я сам вырву язык.

Вану поднялся и пошёл на свою половину. Хорошо волноваться и радоваться, исповедью перед собой омыть душу. На смену плохим мыслям приходят добрые, мысли не каждого дня, часа и, к сожалению, не каждой души.

С наступлением теплых дней мать Алёшки убирала печку-буржуйку. Она берет много дров, и тепло от неё не такое, как от огня. Будто живёшь с человеком, а лица его не видишь, дыхание не чувствуешь и голос слышишь издалека.

Огонь, получивший волю, горел бойко, дышал и не мог надышаться, весело поглядывая на

свою хозяйку. Золотые нити красного солнца свисали из отверстия сверху и, смешиваясь с дымом, дрожали, как осенние паутины.

Велика у радости сила. Проснувшись поутру, женщина улыбнулась, быстро разожгла огонь. Хотелось тепла, и чем больше, тем лучше. Пока молодая сноха убирала постель, она заварила чайник, протёрла чистой тряпкой чашки, нарезала солёной рыбы. Всё делала быстро, сноровисто и просто. Сегодня особое утро. Детям нужен праздник. И слово. Её, матери, слово. Она сама поставила столик, расставила чашки, наполнив их, села.

Дождавшись, когда сын возьмёт в руки блюдце с чаем, она от волнения поправила огонь, хотя он в этом не нуждался. Но уж так заведено между ними. Кто поможет ей в трудном слове, как не он. Перед святым его лицом и говорить легче.

— Дети... — и тут же замолкла, потому что как только она сказала первое слово, огонь рядом цыкнул. Какая-то дремавшая головешка вспыхнула в нём и погасла со вздохом. Женщина удивленно обернулась...

О чем предупреждает огонь, призывая молчать? Всё хорошо. В том, что случилось, нет плохого, не цыкать, а радоваться надо. И не поверила женщина своему огню.

— Дети, — повторила она ещё раз и всё же опять смолкла, но ненадолго. — Теперь вам жить. Чум хороший ещё. На нюках больших дыр нет, а маленькие... Они чуму нужны. В них смотрит солнце. Сын, твои братья разошлись, как заячьи дети. Чум им не нужен. Он твой.

Алёшка не ответил. Зачем эти слова? Чум есть чум, и какой бы он ни был, жить нужно. Норы человеку не полагается. И что особенно хорошего в нем? Таких много, и все они с дырами и без дыр. Но мать, словно угадав его мысли, упрямо и ласково продолжала:

— Хороший чум. Крепкий. Отец его ставил.

Цепко и радостно потянулись к этим словам живые воспоминания, но женщина легко оттолкнула их. Не время сейчас вспоминать, время говорить.

— Ты, сноха, помни. Муж придёт с охоты — в чуме у тебя должно быть тепло. Муж придёт без добычи — в чуме обязательно должно быть тепло.

Она замолчала, давая понять снохе первую заповедь, какую женщина, жена, мать должна выполнять. Это её главная работа на земле.

Молодые сидели, опустив головы, почти забыв о чае и еде. Слова проходили не только мимо ушей, но и мимо сознания. Уходили, как осенние листья, уносимые течением. Они не трогали их душ. Оба думали о прошедшей ночи, пустой для обоих. В ней не было не только любви, простой жалости друг к другу.

А старая женщина смотрела на случившееся из мира, где ценности уже определены, когда человеку ясно, что жизнь было бы правильней начинать не с начала, а с конца. Она говорила тихо, проникновенно, чутким ухом прислушиваясь к шёпоту огня за спиной.

— Оленей-кормильцев вам хватит. Не очень их много, но и не мало. Мы с отцом начинали жить, и у нас был один передовой на двоих. Но свой чум мы и тогда перевозили сами. Нужно самому себе быть головой. Очень важно — нести свой огонь вперёд. Отец всегда этим гордился. Его гордость я тебе передаю.

Мать в упор посмотрела на Алёшку, и он смешался под её взглядом, понимая, что жизнь началась так, что отцовскую гордость в таком виде, в каком сохранила мать, ему не поднять, не по силёнкам такая ноша.

Он отставил от себя пустую чашку, хотел откинуться на подушки и опять почувствовал себя как ночью. Во всём лишний, чужой. Серьёзная радость матери не для него. Хотелось уйти от разговора, устало закрыть глаза и молчать, а вместо этого он сказал:

— Ты говоришь, мать, так, будто сама умираешь.

— Жизнь теперь в ваших руках. Поэтому я так говорю. Я же буду, как эта... — и она указала глазами на маленькую старушку, сидящую на подушке. Сколько Алёшка себя помнил, она всегда восседала тут, невозмутимо спокойная, равнодушная к радости чума и к его горю. И невозможно поверить, что она добра и мудра. Что не было Алёшки, а она была, что не будет Алёшки, а она будет. Эта седая старушонка с нелепым лицом из меха, со множеством ягушек, одетых одна на другую.

Стало тяжело и обидно. Какой длинной и прекрасной кажется жизнь, пока её не начнёшь жить. Он тихо вздохнул. А мать не заметила его вздоха. Она вспомнила ночь, когда не дождавшись сына, испуганная, растерянная отошла от погасшего уже огня, прилегла на свою постель и не смогла уснуть. Те же мысли обступили её: 26-летний сын не хочет жениться. Разве так бывало раньше?! Люди хватались за

жизнь, любую, голодную, бедную, лишь бы жить, не боялись любой работы. А теперешние дети?..

Алёшка вернулся под самое утро. Не открывая глаз, не подглядывая за ним, она почувствовала, что он пришёл ещё злее, чем ушёл. Не скрываясь, прошёл на свою постель и как был одет, так и упал. Сапог не скинул и полог не опустил. Нет, не хозяин это и не мужчина. Это играющий человек, таких всегда боялись ненцы. Но это её сын, в навязанной им игре она, мать, должна быть сильней.

Вот почему она не заметила его вздоха и продолжила, обращаясь уже к снохе:

— Девочка, ты мне теперь дочь. Одевай мужа сама, руки у тебя хорошие, я это вижу. Ты из тех женщин, которые берут работу один раз, не два и не три. И ещё скажу. Не пытайся смотреть дальше мужа. Жизнь — длинное кочевье, и дорогу в ней всегда выбирает мужчина.

Алёшка откинулся назад и, прикрыв веками неспокойные глаза, ждал, когда мать кончит говорить и уберет стол. Перешагнуть же через отцовский стол он не решился.

Если жизнь — кочевье, то что же любовь? И почему болит душа любовью? Почему тоскливо? Всегда тоскливо днем, ночью, утром. Почему ему нужна только та женщина? Что, она лучше этой, слаще? Нет.

Быстро убрав со стола остывший суп и посуду, желая остаться как можно скорей одна, женщина попросила сноху пособирать в лесу валежник, и когда шаги детей смолкли, растерянно остановилась посреди чума, чувствуя, что должна что-то сделать сейчас же.

В давние времена, если в чуме был больной и не знали, как лечить его, искали шамана. А кто поможет теперь? Времена другие, вместе с бубнами шаманы спрятали силу свою, нелегкое умение глядеть человеку в душу, а из тела изгонять болезнь.

Кто поможет? Женщина посмотрела на огонь, чувствуя, что он сохранил силу и святость. Нужен разговор с огнём. Может, рановато, вроде ещё и не время. Ей всегда хотелось подготовиться, насторожить душу для такого разговора, чтобы не краснеть перед лицом Великого Огня. Не растерянным ребёнком лепетать, но и не шамкать беззубым ртом. Слово к огню — слово души. Первое и последнее, и оно даётся лишь раз в жизни, как рождение и как смерть.

И не всякий решается со словом, как не всякий торопится со смертью. Огонь не человек, которому можно при-

знаться в грехе, он простит, можно обмануть и поверит, можно похвалить и в ответ услышать льстивый смех. Торопливый разговор с Огнём может обернуться горем, а может и счастьем.

Женщина шагнула к Огню... и ноги у неё подкосились. Но теперь отойти, не обратившись, означало пренебрежение и неверие. Тревожным взглядом окинула она огневище. Жив ли где уголёк? Развести огонь для разговора — это не разбудить его для того, чтоб чаю вскипятить.

Отделив из серой золы уголёк, притаённо вспыхивающий с одного боку, она оставила его в серёдке, словно живое горящее сердце, и осторожно подтолкнула к нему два звонких уголька. И они все трое, коснувшись друг друга, мгновенно занялись голубеньким пламенем. Несмелая чистая улыбка тронула губы женщины. Неужели примет?..

Сухие ломкие ветки сушняка загорелись без дыма. Стараясь не торопиться, не суетиться, женщина подложила тонких смолистых поленьев. Ровно загудело высокое пламя. Покорно сложив на коленях вмиг онемевшие руки, села женщина на место, откуда началась её жизнь и где, придёт время, и оборвётся.

— Со словом пришла, — негромко сказала. Но твёрдо сказала, ибо знала, что сомневаться ни в душе, ни в голосе уже нельзя.

— Последний раз я разожгла тебя. Последний раз мои руки коснулись твоего тела, а глаза искали взгляда.

Зорко следя за пламенем, женщина, сдерживая дрожь в руках, зная, что нельзя уже подложить поленьев. Огонь сам знает. Дальше его дело. Он может потухнуть, когда есть ещё дрова, а может и гореть, если даже не останется ни одного уголька. Его воля.

Не поднимая головы, лишь чувствуя на лице своём тепло и свет, женщина продолжила, окрепнув душой:

— Я не уроню слёзы на лицо твоё. Не пожалуюсь, и не прокляну. Руки другой женщины будут беречь тебя. Вот почему я тут... но не только поэтому, — торопливо поправилась она и сменила позу. Она стала на колени, ещё ниже склонив голову. Огонь ей не чета.

— Я преклоняюсь перед тобой.

— Слышу! — ответил Огонь. Но это был не тот огонь, который загорался по утрам по воле рук старой женщины. Великий корень жизни. Ему поклонялись самые гордые, горячие головы, во все века вымаливая для себя не только

тепло и благополучие. Непостижимо велика власть Огня над человеком, и робкой просьбой, не капризом и не угрозой стал звучать тихий печальный голос женщины, боясь перейти на отчаяние и боль.

— Когда со стороны нетающих льдов придёт Великий Холод, чтобы испытать сына моего, не покинь его.

Жарким всполохом ответило пламя.

— Когда дурной человек сядет за стол сына моего и, насытившись, плюнет в лицо тебе, умоляю, не перенеси свой гнев на сына моего.

Ровно горел Огонь. Много исповедей, молитв, радостей, прощаний и смертей видел и принял Огонь. Он слушал и старую женщину.

— Когда жестокий холод жизни превратит в лёд сердце моего сына, не пожалей силы своей, растопи тот лёд.

Поднимающимся новым всполохом ответил Огонь, поленья горели не сверху, как обычно, а чистым внутренним огнем, от которого идёт огонь золотой, редкостный по цвету.

— Если сын мой, обезумев, наступит на сердце твое, прости его. Когда сын моего сына подсядет к тебе, прими его.

Так просила старая женщина-мать, с каждой новой просьбой всё ниже наклоняя в сединах старости голову и тишая голосом, успокаиваясь больной душой. Огонь горел. Поленья прогорели, он всё горел, и было странно видеть пламя без корня. Но сила его и воля его.

Благодарно улыбнулась женщина чуду, и радость, заполнив её, билась в каждом толчке крови. Её слово было принято. Не упало в землю холодным камнем, не вороном в небо поднялось, а в Великую душу принято. И тогда, смяв дрожащую на губах улыбку, она подняла опущенную голову и, твердея голосом, сказала жёстко:

— Если сын мой пожелает смерти тебе... сожги его! — и после долго молчала, лишь по склоненным худеньким плечам прошла судорога, будто последняя просьба причинила ей невидимую острую боль.

Легкий голубенький дымок еле заметным дыханием струился над обоими чумами, и, глядя на них, Пэтко вспомнил, как после похорон, вернувшись в стойбище, он искал его над своим чумом, и как из-за полога, приоткрытого собаками, на него пахнуло холодом, смутной тишиной и вот теперешним одиночеством.

Сегодня Пэтко никуда не поехал, и куда ехать. Прошли, ушли дни, когда тихая, мерная езда, встречный ветер да знакомые до боли места приносили успокоение. Когда друг спрашивал его, куда он ездил, он не сразу мог сказать, по каким местам проехал. Все выходило, что путь у него один — в прошлое, а эта дорога такая, сколько ни езди, ей нет конца. До сегодняшнего утра Пэтко был спокоен за свою старость, знал — у него есть угол, не на улице спал. Был огонь, хотя и чужой, но щедрый на тепло, нужно только дожить до смерти, тихо, не досаждая людям, не напоминать без причины о себе и о своём горе.

Но сегодня он ничего не мог поделать с собой. Пришло стадо, но не принесло ни капли утешения; Пэтко не поднялся с нарт, как бывало, не походил с арканом, как бы выбирая оленей на упряжку. Когда Алёшка и Вану уехали по своим делам, он сел на нарту и просидел полдня, не решаясь зайти в чум и попить чаю.

От долгого сидения спину заломило и очень хотелось горячего чая. Но зайти в чум он не решился. Сам не зная, зачем, стал ходить меж нарт, то и дело наклоняясь и подбирая то постромки, то упряжь, стыдясь признаться себе, поглядывая на полог: не позовёт ли женщина чаю попить. Но уже темнело, а женщина будто уснула. Очертания далёких гор стали расплываться, небо налилось тяжёлыми тучами, словно усталостью, и хотело только одного — уснуть.

Быстро вечерело и становилось всё тревожней, казалось, не только люди, а и все живое отрекается от него. Будучи мальчиком, он во время кочевания оставался один после аргишей и долго смотрел, как они скрываются, уползают дальше и дальше, ребёнком ему это было хотя и страшно, но весело. Весело потому, что он знал: пусть уходят, он всё равно догонит их на своей лёгкой нарточке, запряжённой двумя старыми, но прыткими быками. Страшно потому, что боялся заблудиться. Сейчас не аргиши, сама жизнь уходила от него, и уже нельзя было, как в детстве, погнаться и догнать.

Когда совсем стемнело, сильно захотелось к огню. Не в силах больше сидеть, он быстро поднялся и опять, как днем, стал ходить меж нарт, но теперь взгляд его цепко останавливался на ненужных брошенных вещах. Попался кусок оленьей шкуры, его выбросили, он не нужен. Половинки сломанного хорея, хорошего, берёзового, но их уже нельзя склеить — и они останутся земле, когда чумы скочуют...

...А вот старик, его некому обшивать, кормить, оленей

пасти не может — и его нужно выбросить. Пэтко остановился, будто увидел самого себя, лежавшего на снегу. А ведь правда — у него и у этих вещей одна судьба. Вот о чём нужно думать.

Он вернулся обратно и сел на нарту, аккуратно подогнув под себя полы малицы и устроив ноги так, чтобы сильно не дуло. Съёжившись, наклонившись вперёд, неподвижно застыл, глядя прямо перед собой в снег. Нужно думать о людях. О своих сородичах. Сейчас, когда он оказался ненужным, как они отнесутся к нему.

Вновь по-настоящему поражённый, Пэтко постарался объяснить себе своё положение в стойбище среди здоровых, полных сил людей. Как старый бык с отбитыми больными ногами плетётся в конце стада, покусываемый собакой пастуха, так и он.

До этого самого момента горе не давало старику хорошенько оглядеться вокруг, подумать о себе как бы со стороны. И сейчас, увидев впервые два одиноких чума с вечерними дымками над ними, он вдруг отчётливо понял, что его самого чума уже нет на земле. На самом деле нет, и жена его, женщина Ламдо, не сидит сейчас у огня и не ждёт его, как ждут хозяйки этих чумов своих мужей. Как же так?!

Старик с ужасом посмотрел вокруг себя. Он один, действительно один и сидит на своей нарте, подогнув под себя ноги, чтобы согреть их теплом тела. Разве можно так сидеть? Так сидят только дети-сироты, у которых чужая тётя отобрала кисы, чтобы они зря не тёрли о снег подошвы, не мочили их, не износили раньше срока.

— Нет моего чума, — чуть слышно прошептал старик три коротеньких слова, будто кто невидимый три раза сильно ударил по сердцу. И три раза замерло сердце, а затем вздрогнув и пережив боль, застучало, хотя неровно, словно спотыкаясь. Немного спустя, Пэтко поднял голову и снова посмотрел на дымки, и постепенно неясная тревога охватила его. Он понял, что нужно встать и оплакать свой чум, как подобает человеку, как испокон веку оплакивали ненцы самое дорогое. Он должен сначала это сделать, а уж потом думать, что ждать от людей — палку или милость. Пока же нужно проститься с прошлым, а также с женой и дочкой. Наши умершие мертвы лишь для чужих, а для нас они живы.

Но пришёл час расстаться с ними, им простить и чтоб его простили. Руки сами собой потянулись к поясу. Холодный металл обжёг пальцы, но ещё больше обжёг душу. Не

снял... носил ещё. Мужчина, в горе не снявший пояс, ещё надеется на жизнь, но хватит...

Сняв с себя пояс, он аккуратно положил его на нарту. Теперь не носить его никогда, спине не выпрямиться гордо, ощущая себя в приятных тисках, голове не подняться. Сильно забилось сердце, и в груди стало тесно. Тяжёлый пояс устало звякнул цепями, будто вздохнул. Всё... Нет того мужчины, что носил этот пояс. Ничья рука не потянется за ним по утрам. И когда он умрёт, его положат рядом.

Пэтко оправил малицу, пригладил торопливо усы. Перед прошлым не хотелось выглядеть совсем запущенным, заброшенным. Надо стать спокойней перед своей бедой, жизнью и людьми. А пока проститься...

Долго неподвижно стоял Пэтко. Отныне имя ему — Старик и другого не полагается. Имя, данное ему для жизни, умерло. Хотя ещё рановато идти под защиту и тень этого имени. Но жизнь сама сделала так. Видимо, ей нужно, чтобы мужчины раньше времени снимали пояса, отрекались от себя и становились стариками.

Теперь всё. Он простился со всем, а заодно и с надеждой, странной и необъяснимой: вдруг что-то случится светлое, важное, и он снова поставит свой чум, и новые корни крепко свяжут его с землёй и жизнью. Нет, разорванные, искалеченные корни не заживают, теперь он знал это точно. Надев рукава малицы, старик снова сел на нарту. Сам себя он понял и место и имя себе определил. А люди стойбища, кто они ему?

Мысленным взором он поставил всех перед собой, молодых и старых. С ними прожита жизнь, но сейчас, когда он не такой, как они, кто они ему? Видимо, и вправду есть особое время. Время принятия и возвращения долгов. Именно сейчас кто-то вынет давнюю залежалую обиду и бросит камнем в спину, а кто-то, словно святыню, тоже давно оберегаемую, достанет из-под толщи годов когда-то принятую радость и вернёт жалостью иль чашкой горячего чая. Кто плечо подставит, когда откажут ноги, кто плюнет вслед, а кто слезу вытрет.

Прошлое не сказка и не ярабц, не всякое слово в нём упомнишь, не всякий день. И не годы почему-то вспоминаются, они проходят в памяти горечью, но что-то вдруг высветится и горячей каплей упадёт на сердце. Иногда в него страшно и жутко входить, как в могилу, а порой радостно. Быть самому себе судьёй трудно, тяжело, и всё равно он

должен стать судьёй над собой, чтобы ответить на вопрос — кто ему люди.

Опять подогнув под себя полы негреющей малицы, пошёл старик в странную дорогу: в прошлое, чтоб судить себя. Как усталый путник, потерявший в ненастье свой путь, опираясь на нехитрый посошок, он шёл от одного воспоминания к другому, греясь у одних, с опаской подходя к другим. Так, ведя учёт обидам, нанесённым и принятым, радостям, поделённым с людьми и утаённым от них, как лакомый кусок, съеденный тайком, проходил всю ночь по ухабам прошлого старик.

...Однажды, проверив капканы, Пэтко возвращался домой. Чтобы сократить путь, проехал не низиной, где была утоптанная дорога, а поверху, горой. Снегу этой осенью выпало совсем мало, а зимний, если падал, то лежал недолго. Два сильных ветра, один с гор, а второй из-под солнца, всё время перепинывая его из стороны в сторону, не давали ему залежаться.

На горе снег был чист, как детская ладошка, не расписан следами песцов и зайцев, и только в глуби кустов то и дело вился торопливый ровный, как шов аккуратной женщины, стежок куропачьих следов. Песца в эту зиму почти не было, вернее, он не брал приманку — был сыт своей охотой. И с добычей не всякий мужчина возвращался домой, разве что самые опытные, и то потому, что давно были хитрей самого хитрого зверя. На пологом подъёме справа вынырнул след нарты, чуть припорошённый позёмкой, но следы четырёх оленей виделись отчётливо. Передовой шёл неровно, видимо, капризничал, чувствуя не очень твёрдую руку. То убыстряя ход, при этом обязательно забирал налево, стараясь перехитрить хозяина. То шёл лениво, шаг его тогда становился до смешного короток. Одним словом, что хотел, то и выделывал. Один раз даже остановился и раза два ковырнул копытом снег.

Читать эту дорогу было смешно и немного обидно и догадаться, чья она, несложно. Ехал молодой сосед. Где-то недалеко, в глуби речки, стояли его капканы. Время охоты кончилось, а он ещё ни разу не принёс в чум добычу, обходили песцы его ловушки. Впрочем, они обходили капканы не одного Алёшки. Никто не мог похвалиться хорошей охотой, а значит, и сытной зимой. Но было жаль парня, ведь охота для мужчины — и радость, и хлеб.

Скоро на низеньком, самодельном возвышении пока-

зался первый капкан. В нём ничего не было. Пэтко остановился, достал из-под шкуры сиденья янгабчь и пошёл к ловушке. Остановившись, он молча постоял над ней, не решаясь покачать головой. Всему учат в школах детей: бумагу читать, в душу ей глядеть и играть в странные игры, а вот делу жизни — себя и семью прокормить — не учат. Будто дети всю жизнь будут игры играть.

Осторожно, стараясь много не наследить, Пэтко вытащил из-под окрепшего наста заиндевевший капкан и стукнул его о снег. Злобно щёлкнув зубами, железный зверь подпрыгнул и замер. Недолго колдовал Пэтко, и скоро вновь насторожённый, притаившийся капкан имел совсем другой вид. Небрежно разбросанные кусочки приманки, яркие на снегу капли крови. Всё просто кажется — обмани зверя и сыт будешь, а он порой умней человека.

Закончив всё несколькими сильными движениями янгабча и сровняв свои следы, Пэтко поехал дальше. Проезжая, он видел и остальные капканы. Не подъезжая к ним, лишь взглядом замечая нетронутый снег. И только у десятого по счёту заметил чёткий след, который в плохую годину охотники называют — «постоял, подумал и ушёл». А когда оказалось, что и у следующего капкана хитрый песец постоял, подумал и ушёл, Пэтко остановил нарту. Нестерпимо захотелось понюхать табачку и подумать. Почему должны думать только песцы у капкана сироты, а он нет? Парень не стал дожидаться, лёжа на постели, когда удача сама заползёт к нему в чум. И не раз видел он, как прятал глаза сосед и заслонял спиной передок нарты. Так нельзя. Есть ли глаза и сердце у удачи?!

Опустившись на нарту, Пэтко понюхал табачку. Но всё равно неспокойно сосало под ложечкой, будто он виноват, что капканы сироты всю зиму спали, не попробовав крови добычи. Как помочь? Последнюю понюшку табаку Пэтко яростно втянул в ноздрю и, уже не рассуждая, поднялся. Ни много ни мало, а два песца вёз домой. Одного из них он взял за хвост, прихватил янгабчь и неторопливо зашагал к капкану.

Путь недалёк, но за это время стареющий охотник успел вспомнить, как учил его отец законам и навыкам охоты. Особо и не учил, лишь возил с собой, как только мог сын крепкими ручонками ухватиться за отцовский пояс, чтоб не упасть. К слишком большой удаче отец относился подозрительно, хмурился, укладывая песцов на нарту, и всегда кому-то укоризненно говорил:

— Ненцу больше живота не нужно, Нявэ.

Кто был этот «Нявэ», Пэтко не понимал тогда, но с возрастом и он не любил дурную удачу во всём, не только в охоте. Пэтко постоял над капканом, настороженным, как и другие, неумело, не хитро. Люди разные, иной может над ловушкой другого и слово плохое сказать, но таких немного. Не вытаскивая из насиженной ямки капкан, а лишь смягчив над ним наст, Пэтко вложил в железную челюсть ещё тёплую лапку песца.

— Держи крепче, — прошептал он и улыбнулся. Радости соседа не будет конца. За ней он не заметит, что песец умер сразу, и нет следов борьбы. Это не милостыня и не подачка. Пусть рука у парня будет счастливой, удачливой, котёл не пустой и хлеб на столе.

В давние времена, когда охотник ступал на путь борьбы с Великой природой, заключая с ней уговор, обещал не убивать больше, чем нужно.

И родилось слово-молитва. Теперь не всякий охотник её знает. Позабылась она. Только известно, что её не выкрикивают торжествующим захлёбом, не вороном выкрикивают, не душным шёпотом вышёптывают, а душой говорят. И не со страхом, не с подобострастием, не помахиванием хвоста, ибо душа не хвост, ей не помашешь, как бы иногда ни хотел. И всякий помнил и помнит, что охота не убийство и не игра в прятки со зверем и со своей совестью, а борьба. Честная борьба на равных. Съест песец приманку, не оставит в пасти капкана и шерстинки своей — слава его хитрости, и не посылай ему охотник вслед проклятья.

Испокон веку не любили ненцы охотников-стрельцов. Кто хил руками и ногами, духом нищ — тот убивает зверя выстрелом, не догнав его, не обхитрив, не заслужив над ним своей радости. Такому руки не подавали, за стол не сажали, вслед плевали. Волк большим уважением пользовался, чем такой убивец.

О многом ещё вспомнил старый охотник, любуясь своей работой. Немного запорошил подмерзающую тушку снежком, остальное сделает позёмка. Она всегда тут хорошо работает.

После зим было много. Удача не обходила сироту. Но Пэтко до сих пор помнит лицо Алёшки, когда тот на третий или четвёртый день остановил свою упряжку около чума, как силился скрыть улыбку и не мог. Она наползала на его красивое лицо вновь и вновь. Как они с Вану подошли, и он увидел на задке нарты своего песца.

«Это было давно», — с тоской думал старик, потирая друг о друга мёрзнущие пальцы. Уже давно наступила ночь, было темно на земле и светло в небе. Там была своя жизнь. Медленно и тяжело, как гружёные нарты, ползли облака — неведомые жители неба. Они кочуют. Там есть мужчины, женщины и дети. Может, среди них и женщина Ламдо. К утру караваны прикочуют, и она поставит свой чум и зажжёт одинокий огонь.

Поднявшись, Пэтко походил около нарты, разминая затёкшие ноги. Спать не хотелось совсем. Побывав в своём прошлом, он остался за себя спокоен. Никогда не желал и не делал сородичам зла. И всё же... всё же, тихо, незаметно, чтоб не бросалось в глаза, он должен в чём-то быть сильней их. Жизнь — глубокая тайная борьба за себя и с собой. Когда река перестает быть рекой? Когда в ней умирает течение. Вода гниёт, зеленеет, покрываясь плесенью, берега зарастают жирной тухлой травой.

Важно не упасть, устоять на ногах, не очутиться внизу. Нужно быть сильным. Один человек должен быть сильнее многих. Отойдя немного от нарты, он внимательно осмотрел её и остался недоволен. Полозья совсем истончились, прохудились, как и подошва кисов. Нужно было менять и подошву, и полозья. Шкура на сиденье облезла, сидеть на ней не только неудобно, но и холодно.

— Надо другую шкуру, — решил Пэтко. Отныне нарта станет для него домом. Во всякие времена были люди, единственным убежищем которых становились их нарты. Как зверь, убегающий от погони, прячет в норе себя, истекающего кровью, так и он должен здесь скрывать своё одиночество и старость.

Старик достал табакерку, понюхал и невольно замер: ему явственно послышалось, как за спиной возник и медленно погас звук, будто поворачиваясь на другой бок, вздохнула во сне сама земля, а может, слушая старика, не спала и не смогла сдержать жалости.

Пэтко радостно вздохнул. Совсем по-иному взволновала его ночная тишина: стало грустно и почему-то захотелось быть... деревом, не молоденько-беспечным, а с могучим стволом, погнутым северным ветром, с ветвями-руками и упрятанными далеко в землю корнями-воспоминаниями. Когда среди ночи у него заболит Душа, он будет гудеть тихо, про себя, чтобы никого не обеспокоить своей печальной песней, и никто не догадается, что он не дерево, а одино-

кий старик. А внизу у ствола летом обложенные пахучими травами, голубым ягелем и яркими бусинками ягод будут стоять маленькие деревята, касаясь тёплыми зелёными боками его большого остывающего тела. Зимой, чтобы заглушить боль, будет спать, накрывшись снегом, и во сне поскрипывать, чтобы никто не подумал, что он стонет.

Вану ехал в посёлок. Он уже два раза останавливался, но не мог долго стоять и снова гнал упряжку. Оленей и не нужно было погонять. Они бежали сами, легко и грациозно. У всякого мужчины есть упряжка, составляющая его гордость, радость. Ту, что не боязно запрячь в любую дорогу, и в длинную, и в короткую, не стыдно показать на люди. Наблюдая за своей любимой упряжкой, Вану иногда начинал думать, что олени понимают друг друга не хуже, чем люди, что их бег не просто движение, а таинственный волнующий танец. Не он, погоняющий, управляет. Для них нет человека, а есть они, неподвластные хорею, непослушные руке, охваченные удивительным восторгом, сознанием своей неповторимой красоты. Погонять, а тем более касаться хореем их чистой шерсти было стыдно, неловко.

Тяжёлая дума не покидала Вану. Лучшую упряжку запряг он, а нарта пуста. И вёз не мешок песцов, не заячьи шкурки, а боль старого Пэтко. Хотелось верить, что для его друга ещё не пришла пора дождей и рано ему плакать гагарой. «Старость — гроб...» страшные слова. Кости старых людей чувствуют непогоду, а душа беду, не видную глазу, как гагара в солнечный день грозу.

Вану вёз в посёлок слово, вёз второй раз за свою жизнь. Он собрался написать письмо дочери друга, но нужно так написать, чтобы, каким бы человеком ни стала, дочь старика приехала, она должна приехать. Вану понимал, что ему самому письмо не по силам. Тут нужно, чтобы от слова всё загорелось внутри, обожгло.

Опустив голову на грудь, не замечая летящего навстречу из-под копыт оленей снега, Вану чувствовал себя беспомощным. Только дочь нужна старику, ни он, ни другие сородичи.

Остаться без стола. Можно жить без ноги, без руки, без чего-то другого, но нет тяжелей горя, чем стать в жизни человеком без стола. Если говорить правду, то такой несчастный мало чем отличается от собаки, живущей в ожидании косточки, которую хозяйка может бросить, а может и позабыть. И стол жизни должен подаваться рукой и душой доброй и только тогда хлеб с него будет едой, а не камнем.

Такое слово надо послать к дочери Пэтко. Но как сказать его? У Вану надежда на «совет». Когда у человека беда, он едет в «совет». Песец не ловится и семье нечем продержаться до весны — тоже нужен «совет». Такая любовная вера во всемогущество и доброту «совета» берет начало со времён войны.

Советская власть с её сущностью вошла перед ненцами в форме сельского Совета. Первая помощь, какой бы она ни была, шла из Совета. Доброе слово утешения, единственную магическую буханку хлеба, одного оленя, худого, еле стоящего на ногах, но всё же оленя, — всё мог дать добрый Совет. Защитить от ярого голода, отвести беду, если ничем нельзя помочь, внимательно выслушать — на всё это был готов Совет. И хотя давно прошли те времена и теперь в посёлке «советы» менялись почти ежегодно, как прохудившиеся рукавицы на малицах, всё же былая слава их жила в глубине людских дум, и Вану именно поэтому и ехал.

Скованный своими мыслями, Вану не замечал, что вслед ему за нартой пристроилась ещё одна. Она ехала также быстро, останавливалась очень редко и стояла тоже недолго. Четыре белых быка бежали легко, дышали незапалённо, видимо, седок запряг тоже не последнюю упряжку.

Когда дыхание оленей приблизилось, Вану удивлённо оглянулся и уж совсем удивился, узнав и оленей, и сидящего на нарте. Молодой сосед не отвёл взгляд, хотя Вану видел, каких усилий ему это стоило. Что ж, по-мужски. Мужчина, отводящий взгляд, всегда похож на зверя, не знаешь, как себя поведёт. Но куда он едет? Куда едет ясно, — одна в посёлок дорога. Утром, когда встретились в загоне для оленей, и заметив, что Алёшка связывает вместе четырёх белых быков, Вану не задал вопроса: в какую он дорогу собрался.

Четыре белых оленя — не простые олени. Таких не запрягают на охоту и тем более по дрова. На таких оленях, как четыре белых быка, охо-хо, ехать можно только за счастьем. В стаде они самые красивые, с ними не могут соперничать

даже его олени, вот эти, которые сейчас, почувствовав за спиной сородичей своих, побежали ещё грациозней. На свадьбу, за невестой сосед запряг не их. Хотелось оглянуться опять, будто на лице Алёшки он мог увидеть то, куда и зачем он едет на оленях, которых запрягает лишь раз в год.

Таких оленей не рука запрягает у мужчины, а душа. Вану это знал по себе. Ведь он сам не запряг сегодня беззубых стариков, а свою гордость. А груз на нарте — всего лишь слово о беде. И не нужно спрашивать у соседа, куда он едет. И Вану взмахнул хореем так, слегка, только воздух пошевелил, и олени понеслись, играя точёными лёгкими ногами.

Сзади Алёшка облегчённо вздохнул. Он опасался, что сосед остановится, может, и не спросит, куда и зачем, но сама остановка уже будет вопросом. А Алёшке совсем не хотелось говорить. Бывает, хочется спрятать себя и душу свою где-нибудь среди густой молчаливой травы или в трещине скалы, как делает, спасаясь от опасности, маленькое испуганное животное. А чем отличается он сейчас от мыши или ещё бескрылой птицы? Ничем. Он так же растерян и в панике, он загнан.

Никогда человек не был сильнее жизни и её своевольных обстоятельств. Одна травинка не делает луга, одно дерево не лес. И всё же утром, взяв в руки аркан, похаживая бесцельно среди быков, он ещё не знал, куда ехать, чем занять себя. Сердце в нём волновалось, будто хотело подсказать дорогу и не решалось. Будто случайно натолкнувшись на своего передового, белого, капризного, но знающего свою работу, он понял всё. Он знает, куда поедет. Он должен поехать. В такую дорогу человек едет лишь раз в жизни.

И уже не сомневаясь, твёрдой, отяжелевшей от уверенности рукой, он поймал четырёх быков, белых, чистых, как осенний снег, запряг их. Не заходя в чум, не меняя кисов и малицы, оглянувшись мельком на одинокую фигуру старика, поехал. Он только оглянулся на старика, ничего не обещая, оглянулся.

Вану остановился не за тем, чтобы задавать вопросы. Это они знали оба. Дорога стара, и здесь притормаживалась любая нарта. Люди умрут, а дети их будут так же соблюдать старинный ритуал.

Олени не стали торопливо хватать снег или лизать языком острые льдинки. Хороший олень никогда этого не сделает. И та, и другая упряжка дышала ровно, спокойно, и оба человека почувствовали тайную гордость за своих лю-

бимцев. Вану, подойдя к Алёшке, вынул свою табакерку, а тот достал пачку сигарет. Один понюхал, другой закурил.

— Хорошая дорога, — сказал Вану, заправляя нос уже второй понюшкой.

— Да, очень хорошая, — ответил Алёшка, с наслаждением затягиваясь, во время езды не особенно покуришь.

Дорога и вправду была отличная. Весной её обычно развозит целыми лужами, речками. В посёлок приезжаешь весь мокрый от брызг, а если вечером подморозит, то одежда стоит, как деревянная.

Когда есть много чего сказать, иные люди вообще предпочитают молчать, потому что бывают моменты, когда душа хочет только правды и не воспринимает больше ничего. И тут нужно или молчать, или, сжигая за собой все мосты, говорить правду и только правду. Так чувствовали себя и Алёшка, и Вану. Поэтому, не обмолвившись больше ни словом, они поехали дальше, только Алёшка впереди, а Вану сзади. Это тоже закон дороги. Нельзя всё время ехать впереди только одной упряжке, от этого олени устают, теряют шаг и можно испортить самого умного передового.

У каждого рода в прошлом, да и сейчас, свои дороги, так что соседний род может не знать секреты передвижения своих собратьев. Не из-за враждебных покушений. Такова сама жизнь. Нужно жить там, где теплей, передвигаться вслед за добычей. А зверь дорог не выбирает, он хитёр, зорок, пронырлив, чтобы выжить, и человек должен быть таким же, уметь, где надо, проползти, перепрыгнуть, проскочить.

Но во все времена всегда были дороги общие. На ней равны все, и нищие, и богатые. Ступив на твердь этой дороги, одинаково приосаниваются упряжки, украшенные дорогими сукнами и упряжью, и те, что с трудом связаны между собой простой верёвкой. На такой дороге нельзя пронестись мимо плохонькой нарты, не остановиться, не отдав честь сидящему на ней, в дырявой малице, погоняющему передового с выпяченными рёбрами и запавшими глубоко глазами. На своей, на маленькой, частной дороге ты можешь иногда, взмахнув хореем, пронестись, якобы не заметив встреченного, но здесь...

Есть укорот на всякую гордыню и силу. На этой дороге спесивый помнит и знает, что земля под всеми одна и небо над головами общее. И не потерпит дорога на своём теле, чтобы один обидел другого. Ибо может случиться, что ты сейчас гордо пронесёшься мимо, а придет время, будешь

погонять через силу кривым хореем своего худого передового, и ветер, зайдя в одну дырку на твоей малице, тут же выйдет в другую.

Сколько понюшек табаку здесь разнюхано, чарочек выпито и на дорогу вылито, обид забыто и добрых слов сказано. Не было ещё такого, чтобы один другому вслед плюнул, ибо плевок тут же попадёт в олений след.

Велико то время, если есть у него дороги совести, и народ, почитающий её закон, тоже велик.

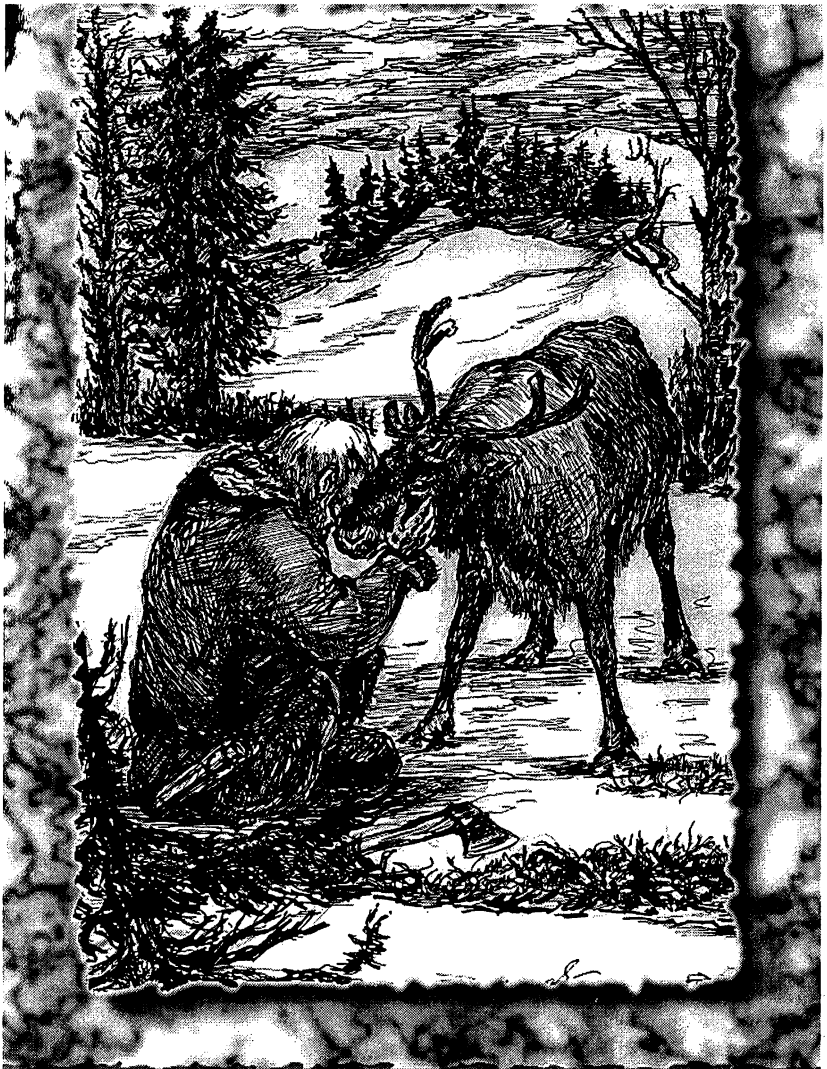
У Вану же было ещё и своё, кровное отношение к этой дороге, по которой они ехали с Алёшкой, и он не сомневался, что несли одинаковое слово к одному и тому же человеку.

...Беда приходит всегда неожиданно, не предупредив, мол, вот я пришла. Много лет назад в жизнь ненцев вошла она по-хозяйски, спокойно и жестоко. Кто где был застигнут врасплох, там и встретил её. Целыми стадами падали олени, лягут отдыхать и не встают больше. Болезнь не обходила, не выбирала никого. Для неё все равны, бедный, гордый, добрый, злой — все на одно лицо. И олени тоже, и телята. Для того, чтобы умертвить ненцев, не нужно много хитрости — достаточно убить оленей. Большие и малые чумы пристыли к земле. И от неё в глубокой тоске застыли мужчины и женщины, дети и старики. Умирали, завывая от боли. Не хуже зверей выли люди от голода.

Вану вздрогнул и сейчас. Он вздрагивал от этих воспоминаний всегда. Судорогам подвержено не только тело человека, но и душа. Вой голодного волка отличается от песни сытого. Ему не раз приходилось слышать в зимние ночи, особенно в морозные, тёмные и от этого ещё более жуткие плачи собратьев меньших. Вой голодного страшен. Он идёт от нутра, от содрогающегося в муках желудка, хриплый, придушенный. Он пронзителен от злобы, высок особыми нотками отчаяния, тоски, и вместе с тем, жалобы и мольбы. Помолчав, как бы прислушиваясь, продолжает отрывисто, тянет сквозь стиснутые зубы, не вой, а плач.

Лицо и голос человека голодного не отличаются от морды и воя волка. Вот почему иногда, стоя над трупом растерзанного оленя, ненец лишь тяжело вздохнёт и не пошлёт хищнику вслед жестокого проклятия. Судьба-то одна у всего живого.

Утро начиналось с трупов. Стиснутые зубы, губы, застывшие, будто в улыбке. Улыбка смерти, смех смерти. Стой-



Я не считал оленей. Сами знаете, большим грехом это среди ненцев считается. Знал: и голодным не буду, и не последнюю упряжку запрягу, если в день Вороны к соседу поеду. Каждого оленя знал «в лицо», слышал мысли Тонконогого...

бища смерти. Вот почему старый ненец лучше плюнет сам себе в лицо, чем плюнет на след оленя.

Старик-отец был крепок, как бывает крепко старое дерево, если у него чистая сердцевина. Он спал мало. Не ложился, как истощенные дети. Он и мать всё время шевелились около огня, что-то колдуя около него, отпаивая детей каким-то отваром. Он же, старший сын, ставил петли на куропаток.

И однажды отец, сидя за скудным столом, сказал:

— Нас не могут спасти куропатки. Иди за хлебом.

Вышли. Отец поднял слабую руку.

— Сойдёшь вниз, под гору. Встанешь на дорогу. По ней иди, — отец берёг силу, много не говорил. Мать молча сунула ему в руку мешок с чем-то. Видимо, на это он и должен купить хлеба. Он пошёл. И оглянувшись назад, увидел, что отец и мать склонили головы. Так и стояли, не глядя ему вслед. И только теперь, годы спустя, Вану понял, что это был не ритуал проводов шедшего в дорогу. Старик и старуха просили милости у Хозяина дороги для него.

Впервые вступил Вану на дорогу Совести. На эту, по которой едет. Длинно вспоминать, больно думать. Идущий не едущий. Для молодых не понятно, что идущий ненец это одно, а едущий совсем другое. Это сейчас дорога спокойна, иногда на ней найдёшь еду — у кого-то мешок прорвался с крупой, с сушками, и тут, и там можно увидеть и сами мешки, выпавшие из нарты. А тогда...

Третий день шёл Вану, еле переставляя ноги. К вечеру он ещё издали увидел человека, сидящего на дороге. Заспешил. Несколько раз упал, пока шёл. Человек сидел не оборачиваясь, крепко ухватившись руками за посох, воткнутый в землю между слегка раздвинутых ног. На шорох шагов не оглянулся. На нём была старенькая, посеревшая от пыли, малица и такие же кисы, продырявленные в нескольких местах. Подойдя к нему вплотную, Вану упёрся на свой посох и слегка нагнулся. Человек, видимо, спал, уронив голову на узел.

— Эй, — тихо позвал Вану и тронул его слегка за плечо. И этого движения хватило, чтоб сидевший вдруг, будто только этого и ждал, тяжело брякнулся всей спиной на дорогу. И вздохнула дорога, а Вану из последних сил отскочил — уже знакомая улыбка ощерила губы умершего.

Вану побежал, стиснув за зубами свой крик. И сколько ездил по этой дороге, никогда не мог забыть этого места. Не мог не остановиться, не мог не подать тому, сидевшему,

понюшку табаку и кусочек хлеба. Бери, милый человек, понюхай. Да прибавятся твои силы.

Потом он ещё несколько раз встречал таких сидящих с мешочками за худыми, выступающими плечами. Были и упавшие лицом вниз, охватившие руками землю, и на четвереньках стояли. Смерть на позы щедра. Около умерших часто встречались кусочки высушенной рыбы или сморщенные тушки куропаток. Вану со слезами подбирал эти кусочки, неизменно шепча бледными губами:

— Верну. Я обязательно верну.

Так шли люди по этой самой дороге, желая спасти своих детей и огни. Вот почему огню цена особая. Тяжёлая цена. И, видимо, не всякому человеку посильная.

Совсем близко от посёлка силы отказали. Каким-то чутьем Вану понял, что не нужно перемогать последние километры. Как и куда сел и лёг, Вану не помнил. Не сон, не бред и не смерть — таково было его состояние. Высохшее, исхудавшее тело стало приятно лёгким. И тут, то ли во сне, то ли в бреду — до сих пор Вану не мог понять — кто-то тихо тронул его за плечо. Подняв лицо, Вану увидел странного старичка. Низенького, сухонького, как высушенная продымленная рыбка. Седая, чистая борода его доходила до пят. Но вместо ног у него были копыта, оленьи копыта, чёрные, блестящие, крепкие.

Испугавшись, Вану вскрикнул. Встревоженный его криком, странный старик начал таять, и уже торопливо, боясь не успеть, протянул ему кусок хлеба из обыкновенных человеческих рук. И уже приходя в себя, Вану услышал его тихий голос:

— Вернёшь.

Он уже не спал и не бредил, когда услышал это «вернёшь». И увидел, что его самого рука протянута вперёд. Старичка не было. И побоялся тогда Вану наклониться и посмотреть, были ли на снегу следы копыт оленьих ног в том месте, где стоял только что старичок. И не жалел об этом. Дальше идти почему-то стало легко, ноги обрели странную силу.

В посёлке, рассказывая о людской беде, Вану не плакал, хотя перед глазами непрерывно проходили картины смерти, меняя одна другую. Хлеб, который сменял на песца из материнского мешка, аккуратно сложил на санки, незаметно для окружающих склоняя голову перед каждой буханкой. И когда кто-то всё-таки заметил это и спросил его: «Чего головой машешь, как лошадь?» — он ответил: «Шея болит». А

болела душа. И обратная дорога не была лёгкой. Санки с хлебом оттягивали руки, ноги болели снова, но теперь он нёс жизнь своим братьям и сёстрам.

— Кусок хлеба даст силы многим.

Первую остановку Вану сделал там, где встретил странного старичка. О том, кто это, он старался не думать и сейчас. Только положил у одинокого камня, заросшего голубым мхом, кусок хлеба и тихо, одними губами, произнёс:

— Вернул.

Останавливал свой шаг он ещё не раз и везде клал у знакомых уже трупов кусок хлеба, неизменно повторяя одно лишь слово: «Вернул». Шагая дальше, он чувствовал за собой их взгляды, живые, благодарные. И он оглядывался, уверенный, что это были не покойники, а сопутчики, с которыми он прошёл трудную дорогу. Они лишь устали в пути, только устали, но поднимутся и пойдут.

Не скоро, не сразу оправились ненцы после той беды. Почти вслед за Вану пришла от Совета помощь — привезли хлеб и муку, многим и многим это сохранило огни.

И сейчас ехал он по этой дороге, за тем же фактически «хлебом», чтобы спасти друга... Как он съездит теперь, сможет ли, приехав обратно, сказать Пэтко, как сказал в своё время отцу, дожившему до него:

— Вернул.

Вернуть, что взял. Всегда ли это умеют люди? Вернуть не только куском хлеба... долг ведь он кому как видится, в глазах одного он может быть мал до понюшки табаку, а иной может всю жизнь мучиться от того, что не в силах вернуть взятого.

Вану считал, что уже стар. Старость не дряхлость тела, не бессилие рук и ног, не ноющие по ночам суставы и согнутая спина. Старость — свойство души, когда человек, оглянувшись назад, на жизнь свою, не хватается в отчаянии за голову. Старость — это когда всё простил самому себе и другим, когда, посмотрев вперёд, не испытал собачьего страха перед смертью. Старость не возраст тела, а мудрость души.

И Вану считал, что он уже стар. Довольно стар для того, чтобы сказать слово дочери друга. Остановились ещё раз, так же молча один понюхал, другой покурил.

Посёлок только на словах назывался так, а на самом деле это была совсем крохотная фактория. Магазин, пекарня, медпункт, несколько жилых домов да два старых полуразрушенных склада. Эта сиротливая, заброшенная, давно позабытая

сильными мира сего фактория выживала благодаря только своему сильному желанию жить. Хотя раньше, в годы, близкие к революции и после, к временам колхозов, жизнь здесь кипела и бурлила не хуже, чем в муравейнике. Бедняки, обессиленные бесконечными болезнями, потерями оленей, ставили свои чумы поближе к «совету». Почти каждое озеро имело хозяина, который ставил своё жилище так, чтобы и посёлок был виден, и соседи. А чёрная рыба и даже белая, лишняя от котла, сдавалась на звероферму.

Колхоз «Красный Север» был поистине красным. В него шли из самых диких глубинок за помощью, советом. Помогал он таким молча, а иногда и с руганью, потому что сам был беден, обшит и облатан, как чум бедняка, но у него были свои небольшие стада, некоторые состояли из одних только быков и назывались транспортными. Они помогали беднякам перетаскивать чум, возили грузы и почту.

Очень бедным колхоз мог выделить немного оленей, кому так, безвозмездно или за небольшую цену. Хорошая работа тоже стоила оленя. Так и жил «Красный Север» своими трудами, как одна большая ненецкая семья, и «совет» был под стать колхозу. Не пришлая залётная птица, как теперь, которая и не знает, как толкового гнезда свить не только людям, а и себе, а свой, коренной, из своей же «грязи».

Жизнь «совета» и всей тундры начиналась с раннего утра, когда старый «совет», выпив чашки две чаю, а иногда и, чего греха таить, рюмочку, выходил на крыльцо своего дома и, поглядев направо, убедившись, что люд встаёт, из чумов вьётся дымок, готовится к работе, поглядев налево и увидев то же самое, крякал раза три, прочищая горло, и только после этого говорил с гордостью:

— Кхэ, кхэ, кхэ, крепка советская власть!

Старый «совет» Ванька, как называли его ненцы, был прав. Советская власть, несмотря на свою молодость, была крепка верой людей в неё. Но пришло другое время, и решил «умный» человек в час, когда ему делать было нечего, что людишки зря там в своём колхозе сильно шевелятся и не прав старый «совет» Ванька, крякая свою знаменитую фразу по утрам на всю тундру, смущая народ. Не крепка советская власть, если её силой и помощью может пользоваться любой ненчишка в дырявой мальчонке. Власть, как горная вершина, чем выше, тем больше страха перед ней и тем больше кружится голова от её недоступности.

И поэтому погнали, а то и частично убили коров и ло-

шадей, убрали звероферму, ибо песцы своим криком по утрам мешали людям спать. Небольшие колхозные стада угнали и где-то там, далеко от родных мест, согнали вместе в огромные, как тучи, стада, и они стали грозой для своих же истинных хозяев. Всё пропало, будто ничего и не было. Постепенно пустая звероферма, дом для коров и лошадей — всё сгнило, упало и, наконец, сровнялось с землёй.

«Совет» Ванька уже не крякал по утрам на крыльце, ибо народ перестал шевелиться и направо, и налево. Чумишки, ютившиеся около посёлка, как грибы в тени высокого дерева, постепенно стали расползаться, обиженные, ошеломлённые, оставшиеся опять одни на такой большой, но иногда жестокой, хоть и своей родной земле.

Старый «совет» не пережил своё разорённое хозяйство, умер. После него несколько «советов» перебывало в посёлке, но не держались, потому что, собственно, держаться было не за что. Нынешний молодой «совет» был чужак, для него ненец и его жизнь были тёмным лесом, и как лебеди не принимают в свою стаю серую ворону, так и ненцы обходили его, стараясь не пользоваться его советами. И были правы. Эти чужаки были похожи на головы, пришитые гнилыми нитками не к своему туловищу, и притом пришитые наоборот, затылком вперёд, глазами назад.

Оторванные он народа, эти горе-головы запивались или принимали на себя вид первопроходцев, учили ненцев ненецкой жизни. Над ними втихомолку усмехались.

Но на этот раз Вану остановил нарту около длинного, как сарай, дома, где жил теперешний «совет», не русский даже, неизвестно где и кем выкопанный. Он был из какой-то жаркой земли, и тут постоянно мёрз, и поэтому подогревал себя каждый день из бутылки, содержимое которой по градусу соответствовало температуре его родной земли. К концу дня он сильно перегревался и падал, где стоял. Чаще всего он падал на свою кровать.

Вану остановился тут не случайно. В глубине души он всё-таки был уверен, что «советом» не поставят пустого человека. Ведь «совет», какая ни есть, а голова. Над всей землёй голова. Подъезжая к посёлку, он решил письмо не писать сам. Его слова бессильны объяснить горе старика. Он может лишь заплакать гагарой. Но сейчас плач гагары для молодых ничего не значит. У них есть свои, новые слова. Новый язык, на котором часто говорят и его дети. И к той далёкой женщине нужно обратиться на таком языке.

Алёшке он не стал ничего объяснять и молча поднялся на крыльцо, на ходу поправляя пояс и складки малицы. На стук в дверь никто не ответил. Уже посильней стукнул Алёшка. И снова тихо.

— Спят, что ли? — спросил Вану.

— Вроде не пора ещё, — Алёшка собрался ещё раз стукнуть, но тут за дверью кто-то зашуршал. Вышла жена «совета», также белоглазая женщина, с опухшими веками, и закрыла собой дверь.

— Ну чего стучитесь? Чего? — спросила неприветливо.

— Слово есть, — заторопился Вану, — большое слово. «Совет» нужен.

— Он спит.

— Как спит? Солнце-то высоко ещё, — Алёшка начинал злиться. Он не очень хорошо понимал, зачем соседу нужен председатель, но как только Вану сказал о слове, ему стало тревожно. Старые люди не шутят со словом. Он знал, если сосед подошёл к соседу и сказал: «Есть слово» — значит, оно действительно есть.

Злость Алёшки не понравилась женщине. Она вспыхнула:

— А что, и спать нельзя, если солнце высоко? — спросила она, готовясь пройти за дверь, дрожа от холода, настойчивости непонятных людей, не только этих, а и других, приезжающих и везущих свои непонятные слова и заботы её мужу. А он не понимал их, они вдвоём не понимали ничего в этой жизни и на этой земле. Муж пил, и она, чтобы как-то спасти семью от страшного развала, от хаоса большой жизни, привезла его сюда, устроила на работу. Забрались в эту проклятую дыру. Думала, здесь он увлечётся рыбалкой, охотой, станет другим, но стало ещё хуже. Чужая земля жестока, зимой холода, летом комары... всё надоело, всё проклято. А ещё эти со своими глупыми словами.

— Он спит, идите, — повторила она со злостью, представив себе, что если муж сейчас проснётся, его уже не унять всю ночь. Нет, нет, его нельзя будить, иначе не поспать ни ей, ни ребёнку.

— Идите, идите, — поспешно повторила, боясь, что молодой пройдёт в дверь и его будет не выгнать.

Но Алёшка уже понял, что если они и зайдут, то толку не будет, — «советская власть», видимо, уже пьяна и не сможет связать вместе и двух слов. Захотелось выругаться, но он сдержался и только сильно хлопнул дверью.

На улице Вану устало опустился на крыльцо и задумал-

ся, не написать, выходит, письма. Такого письма, которое он сердцем писал всю дорогу, не вернуть дочери друга.

Что-то случилось с человеческим словом. Не то игрушкой стало оно в устах людей, не то камнем, которым можно бросить в спину другому. Обессилело слово, как олень, загнанный жестоким хозяином. Люди перестали говорить сильно, с уважением, радостью. Человеческое слово потеряло суть свою, кровь свою — и это беда, невидимая, как болезнь.

Как быть теперь? Не заплачешь в письме гагарой, оленёнком, потерявшим мать, не заавкаешь... Какими новыми словами объяснить дочери горе отца. Словами её времени, а где они и какие эти слова?! А ведь у солнца слово не изменилось — всякого греет, и того, у кого дыра на малице, и того, кто и без него тепло, богато одет. Так почему у людей всё перекосилось, чёрное стало белым, почему дочери надо говорить, что отец одинок и по утрам ему нужно ставить стол, свой стол — не чужой, и на нём худо-бедно свой кусок хлеба.

Забывшись, Вану долго сидел на крыльце. Необычное, тяжёлое чувство ворочалось в нём. И когда оно улеглось, как зверь, который нашёл удобное для своего тела положение, старый ненец стал догадываться, что нужно делать ему. Всем им. Когда в упряжке падает от усталости олень, его не бросает на дороге хозяин. Убрав груз, если есть таковой, на нарту укладывают оленя, и упряжка молча, без жалоб тащит вперёд свой тяжёлый груз. На дороге беды ненцы никогда не оставляли и сородичей по жизни. Вот почему чумы их до сих пор стоят по подножиям гор, по берегам рек, на ровных, как ладонь, долинах. Как и много веков назад, нужно выжить самим, а дети заблудились в жизни, как в густом незнакомом лесу. Найти дорогу — дело их. Не найдут — погибнут.

Вану поднялся с крыльца и пошёл к нарте. Шагал он твёрдо, не малый ребёнок, чтобы нога·путалась о ногу, ещё не пень гнилой, чтобы от удара рассыпаться на мелкую труху.

Алёшка же нерешительно шёл за ним. Мысли о любви ещё горели в нём неостывшими угольями. И то, о чём он думал всю дорогу, было настолько живым, настолько возможным, что он остановился и замер на месте. Все те слова, что не сказал он ночью этой женщине, надо сказать той, чтобы они прожгли бумагу так же, как жгут сейчас душу. Слова любви не должны умереть... Если в жизни нашей бу-

дут умирать такие слова, то как же тогда жить? В глубине души он понимал, что уж ему-то не поможет ни «совет», никто другой.

Вану не оглядывался на него. Чутьём старого человека он понимал состояние соседа, если не совсем, то всё-таки. Он слышал, как замерли шаги Алёшки. Что ж, пусть постоит. Неторопливо отряхнул снег со шкуры сиденья, поправил на передовом упряжь, спиной чувствуя каждое движение Алёшки. И когда шаги остановились неподалёку, он быстро отвязал повод, так же быстро взял в руки хорей и, обернувшись, спросил:

— Поехали?

Алёшка коротко и сильно вздохнул. Он почти ненавидел соседа за это твёрдое «поехали». Комок горечи застрял в горле и не проходил всё время, пока он машинально ходил за Вану. В магазине, куда они поехали после «совета», он тоже купил две бутылки водки, взял мешок хлеба — надо же было как-то объяснить поездку в посёлок — и всё пытался проглотить застрявший камнем комок и не мог.

В посёлок ехали, не замечая, что дорога длинна, а теперь она показалась Алёшке досадно долгой, особенно на ровных местах, где глазу и мыслям не на чём зацепиться... Раза четыре останавливались, давая оленям передохнуть и самим размяться, и, чтобы разогнать усталость, пили помаленьку из горлышка, закусывая кусочками хлеба.

Почти не говорили, и это было хорошо. Теперь уже оба знали, зачем каждый ездил в посёлок, неудача сдружила их, а это замечательное чувство. Оно и без слов сильно. И поэтому берегли его чутким молчанием.

По мере приближения к чуму Алёшке становилось всё тревожней. Как вести себя? Сейчас он приедет, и на лай собак выглянет жена. Как только он зайдёт, она кинется сначала к огню, подживит его, потом так же быстро кинется к столу и поставит его перед ним. Нальёт ему чаю, сядет покорно и будет ждать, когда он выпьет одну чашку, и тут же нальёт вторую. А он, как зверь, попавший в западню, будет метаться душой и прятать взгляд.

Потом придёт ночь. Надо будет поблагодарить женщину за чашку чая, за огонь, который она разожгла утром, подала ему кисы и сделала постель. А любовь... Где она будет в это время? Рядом? Между ними? Или она постоит на улице, пока он тут управится?

Если всё так просто, тогда зачем эти хитрости — лю-

бовь, счастье, верность, опустошающие душу страдания... Зачем?

Собаки залаяли дружно, но как всегда без злости. Выглянула мать и быстро исчезла. «Ждали», — подумал Алёшка и стал неторопливо распрягать усталых оленей, бережно поправляя свалявшуюся под упряжью шерсть. Так же медленно, двигаясь, будто связанный невидимыми путами, прибрал хорей и, вынув руки из рукавов малицы, сел на нарту. Но тут же поднялся, понимая, что так нельзя — точно в трауре сидит.

Превозмогая себя, не дойдя нескольких шагов до полога, он опять остановился и вдруг до дрожи во всём теле почувствовал, что боится. Боится матери, её слов, сказанных утром. Боится какой-то жестокой правды, помогавшей матери сохранить это немудрёное жилище, глядящее сейчас на него с немым и ласковым укором. Из многих бед выжили мать и чум, не дав погаснуть огню, его, в сущности, огню.

В чуме было тихо. И он воочию представил, как сидят по обе стороны от огня две женщины, затаив дыхание, слушая его шаги, понимая его страх и жалея. Отойти? Уйти? Но куда?

Решительно, превозмогая дрожь в теле, он взялся руками за полог и первое, что он увидел, войдя в чум, это двух женщин, сидящих у огня по обе его стороны, как два неизменных берега у реки.

Вану сидит за столом, откинувшись назад на подушки. Сон прошёл, хотя всю дорогу хотелось спать. На смену пришла знакомая настороженность, когда ночью дежуришь и слушаешь жизнь в оленьем стаде — всё ли нормально. Нет ли опасности в застывшей тишине ночи.

Чтобы избавиться от ненужного сейчас ощущения, он сел и обратился к Пэтко, сидящему слева от него, и сразу заметил, что тот сидит, как птица на гнезде, весь подобрался, будто боялся занять много места на постели.

— Что делал?

Старик растерялся от вопроса. Торопливо выкопал из-под себя маленькую табакерку, не сильно постучал ею об пол и только после тихо сказал:

— Ничего не делал. Думал.

И в ответе его прозвучала такая явная робость, будто он боялся, что и слово займёт незаслуженное место в чуме. Ошеломлённый Вану опять откинулся назад — жгучая обида не давала ему некоторое время спокойно дышать. Жена накрывала стол торопливо, щёки её разрумянились, руки двигались быстро, ладно, и, глядя на неё, можно было подумать, что в чуме большой праздник. Жена разлила чай и как всегда не долила чашку Пэтко. Вану вспыхнул, но сдержался и решил посмотреть, что будет дальше.

— Позови соседей, — сказал он, не притрагиваясь к своей чашке.

— А ты разве много купил?

— Много, не много, но я ещё ни разу не пил тайком от людей.

Женщина вышла. И когда шаги её затихли, Вану снова спросил:

— О чём думал?

— О себе, — Пэтко улыбнулся жалко, будто то, что он думал о себе, должно у людей вызвать такое же подобие улыбки. Вану перестал спрашивать. Лучше молчать. Что ни спроси сейчас, всё будет только больно и ему, и старику.

Первым пришёл Алёшка. Вану освободил место рядом с собой и сказал, как говорили ненцы в старину:

— Проходи. Испытай душу моего жилища.

Затем осторожно, боком вошла мать Алёшки и сразу присела на краю лат-досок, не подходя к столу. И это поразило Вану. Впервые он наблюдал, как заходили люди к нему в чум. Осторожно, с опаской, будто их могли тут же ударить по лбу палкой, с оглядкой на полог, чтобы при случае можно было торопливо выйти. Как же так? А ведь женщина была не просто соседкой. Она давно стала для него как бы куском жизни. И вдруг эта робость, и самый край лат-досок.

Жена теперь изменилась. Двигалась резко, посудой гремела, доставая чашки и блюдца для вошедших, чуть ли не бросала их на стол. Не то что зрячий, а и слепой мог догадаться, что хозяйка гостями недовольна.

Последней тихой мышкой вошла молодая. Скрывая смущение, Вану подвинулся к столу, приглашая всех, и не вытерпел, повернулся к соседке:

— Женщина, что же ты в углу прячешься. Подходи к столу.

Когда мать Алёшки и молодая подсели к столу, Вану достал бутылку и налил себе. Прозрачная чистая жидкость светилась в стакане.

— Как живая, — пошутил Вану.

Ненцы никогда не пьют без доброго слова.

— Пью за то, чтоб не в последний раз сидеть за этим столом.

Второй стакан он подал Алёшке.

— Теперь у тебя есть хозяйка огня. За это и выпей. Пусть наши огни не умирают.

Алёшка выпил молча. Он выпил не за тот, о котором говорил сосед, а за свой огонь — огонь любви, и греться около него он собирался один, тайком. Ведь не каждому суждено греться у этого огня, да и не каждому дано разжечь его.

Третий стакан Вану подал Пэтко двумя руками, боясь расплескать хотя бы каплю из него. Так хотелось, чтоб не чарка это была, а маленькая крохотная капля счастья. И друг понял это. Так пили раньше. Так подавали лучшему другу. А захмелев, славили песней себя, своих оленей и землю свою. Он выпил и также двумя руками подал пустой стакан.

Хозяйка чума выпила угрюмо и скоро. Остаток вылила под печь и долго держала стакан вверх дном, пока последняя капля лениво не соскользнула вниз.

— Как собаки. Всё сами пьём. Нет, чтоб умершим каплю отдать, — громко проворчала она, вытерев рот подолом платья.

— Всё норовишь слово криво сказать. Не время покойников кормить и поить. Солнце высоко поднялось, — ответил ей Вану, хорошо понимая, что не покойников ей хотелось уважить, а упрекнуть сидящих в жадности.

Алёшкина мать тоже выпила молча, чтобы лишний раз не дать повод хозяйке открыть рот. Они прожили в одном стойбище почти всю жизнь, но если входили друг другу в чум, то только так, как вошла давеча она. И щепотки соли не попросила у соседки, если соли не было, котёл для детей своими слезами солила. А если сам котёл был пуст, у ней не просила и обглоданных костей. Только этого не знают ни мужчины, ни дети. Грязные женские дела — лишняя тяжесть на душу мужчины.

Последний стакан Вану подал девушке, смутившейся до яркой крови на обеих щеках.

— Выпей и ты. Теперь ты наш человек.

Спрятав пылавшее лицо в воротнике ягушки, она несмело отпила глотка два и, вернув полный ещё стакан, отошла от стола.

— Мало, но хорошо. Женщине много пить незачем.

— Мы в её годы и к столу-то не подходили, не то, что пить.

— Женщина! — Вану не узнавал своего голоса. Он никогда не поднимал его так ни на людей, ни на оленей. — Женщина, — сказал он, — если ты хочешь поговорить, мы скоро выйдем. И тогда ты можешь... Ты можешь сказать всё вот тому поганому тазу. А пока слово хочу сказать людям я.

Хитрейшим всепонимающим чутьём женщина поняла, что действительно, скажи она хоть пару слов, муж не посмотрит, что вокруг стола сидят люди. Ладно. Она помолчит... Сейчас, но только сейчас. А у огня своего, вот у этого железного куска с утихающим на нём пламенем она хозяйка. И руки её, изъеденные золой и дымом, тут самые большие начальники. Захотят они — и сироте-старику, которого так жалеет муж, тепло её огня покажется студёным холодом.

Не допив чашки, тяжело замолчал Вану. Слово, которое он хотел сказать сородичам, не выговаривается легко даже и выпившему человеку. Но ведь надо, промолчи он сейчас, и все оставшиеся дни будет слышаться ему горький, вещий клич гагары и нечем будет заглушить его.

— Говори, — тихо попросила женщина рядом, понимая, что именно ей нужно помочь ему. — Говори. За своим столом ты не можешь сказать плохого слова.

Когда тяжело у ненца на душе, он всегда смотрит в глаза своему огню. Так сделал и Вану. Два ярких отблеска отразились в его зрачках.

— Когда умерла женщина Ламдо, мы вместе разобрали и убрали с лица земли третий чум нашего стойбища. С тех пор по утрам лишь два дымка поднимаются к небу.

— Твоё слово правда, — подтвердила женщина. — Мы смогли убрать чум. Для этого силы рукам нашим хватило. А вот поставить обратно...

— Не вы сняли мой чум, — тихо, не поднимая глаз от пола, сказал старик. — Убитое дерево не поднимешь, оно умирает с корнями.

— Корни умирают, это правда, но в землю рядом ложится семя.

— Ты спрашивал меня, о чём я думал. Я снял пояс и бросил на землю Имя своё. Человек без имени и огня — камень. А камень не имеет семени. У меня нет дочери. Я человек, живущий на нарте Времени.

Над столом стало тихо. Никто не решился нарушить ти-

шину, понимая, что ненужное движение может прозвучать сейчас, как неожиданный выстрел в ночном лесу.

Одиночество жестоко. А одиночество старого человека — трагедия времени, его язва. Вся боль, что накопилась в старике в бессонные ночи на постели, похожей на лежанку собаки, выразилась сейчас в этих жестоких словах. В словах, которые были проклятьем дочери, оставившей отца, проклятия сердцу, не умевшему любить, человеку, не наученному чтить и уважать заповедь — чти отца и матерь свою. Проклятие времени, породившему в своём чреве человека — существо немое, глухое, уродливое.

Такого слова не знала земля ненцев. Рожали и растили детей, если они жили не так, как хотелось бы, наставляли. Дочерей отдавали в другие земли, сыновей отделяли, и они жили своей головой. Но никто и никогда не отказывался от своей крови и плоти. Прощали дети отцам, отцы детям короткие незлые обиды, пьяные выходки, даже драки, и снова жили вместе.

Вану растерялся до немоты. Он ожидал от старого друга всего, но не этого страшного слова. И даже то, что Пэтко снял пояс, а мужчина, снявший пояс, отказывается этим самым от всякого вмешательства в жизнь, его не столь поразило. Но человек, отказавшийся от имени... Но мало того. Пэтко отказался от крови своей. Что это?! Что случилось на земле? Почему ещё сильные мужчины раньше времени снимают с себя пояса — знаки мужского достоинства и чести. Пока рука может держать хорей, управлять передовым, а глаза не потеряли зоркости, ноги не подгибались под телом, и он в состоянии наполнить котёл, никогда мужчина не уходил от жизни. А сейчас то и дело слышишь: этот снял пояс и подвязывается чем попало, уже сидит в чуме и про него говорят: «севший». Хотя тому, по разумению Вану, ещё рано, не время ослаблять узду жизни и уходить в тёмные углы, где место только детям да старухам.

Так думал Вану, постепенно приходя в себя, но слова упрёка не сорвались с его губ. Этому человеку он не мог сказать их.

Разговор оборвался. Люди сидели в растерянности, хотя каждый понимал, что более разумно — разойтись. Сидеть, как ни в чём не бывало, за столом, когда человек заживо похоронил себя, казалось кощунством.

Первым вышел Алёшка, за ним выскользнула жена, и последней тяжело, как старая птица с усталыми потрёпанными крыльями, поднялась женщина.

Некоторое время, час или два, в маленьком стойбище было тихо, но потом, словно нарастающий шум ветра в деревьях, в чуме стал раздаваться голос женщины. Она была пьяной, и слова её походили скорей на карканье вороны, когда она, завидя смертельно раненую, но ещё живую добычу, кружит над ней, но не решаясь сесть и клюнуть.

Постепенно пьяные крики стали громче, а заодно гремело всё, что могло греметь: печь, тазы, чайники. Вану проснулся и не сразу сообразил, что происходит. Полог двери был широко, до самого верха, открыт, а по чуму с криками металась жена, хватая какие-то вещи и выбрасывая их в раскрытый полог.

— Всё! Выброшу! Всё! Это мой чум! — вопила пьяная женщина, цепкими руками хватая вещи с той половины, на которой жил старик Пэтко. Постели уже не было, осталась соломенная подстилка, которую рвала и никак не могла разорвать женщина. Сам старик сидел спокойно и, казалось, ожидал своей очереди, когда и его разорвут и выкинут.

Не говоря ни слова, Вану вскочил и схватил женщину за косы, повернул её к себе, не крикнул, а выдохнул:

— Что ты делаешь?

Озлобленной собакой, которую схватили за шкуру в самом разгаре драки, она накинулась на мужа:

— Что?! Я выбрасываю его вещи. У него есть дочь — пусть она обшивает его, подаёт ему чай. А это мой чум. Мой!

«Мой чум»,— никогда не думал Вану, что эти простые слова могут принести столько боли и что в них может быть столько подлой правды. Да, это её чум. Её огонь. Права волчица, не пускающая в своё логово другую. Права птичка на ветке, делая своё гнездо только для своих яиц, и мышь — царица в своей норке. Но...

Нет, не права женщина. Человек не мышь и не волк. И выжил он не потому, что сметал со своего пути братьев, себе подобных, отгонял от сытого стола голодных. Нет, не права женщина.

Мужчины сохранили в чистоте землю для оленей и удачу в охоте, ясность взгляда и ума не потому, что слушались женщин, не закрывали лицо и глаза женским подолом, а соблюдали честь хозяина жизни и в большой дороге, и в маленькой. Не права женщина. Вану выпустил косы женщины и спокойно попросил:

— Занеси обратно вещи.

— Нет! В чуме, у огня, вот тут, — жена громко стукнула чайником об печь, — вот тут я хозяйка. Я! Захочу, и никогда больше не зажгу огня. Тут я начальник, — женщина пьяно засмеялась. Хотелось быть сильной, злой, хотелось побольше шума, крика. Она снова схватила чайник и, замахнувшись, бросила его в открытый полог.

— Не смейся, женщина. Занеси вещи.

— Нет. Пусть дочь подтирает ему зад. Он дал ей жизнь.

Третий раз Вану не повторил своих слов. Он молча вышел на улицу. Вещи старика: плохонькие кисы, малица, постельные шкуры — всё это валялось на мокром снегу. Единственная подушка разорвалась по шву, и ветер вытаскивал из него лёгкие перья один за другим.

Вану недолго постоял над выкинутыми вещами, покачал головой, подошёл к длинной нарте-сябу и вытащил из-под неё крепкий моржовый постромок, сложил вдвое, намотал на кулак. Зайдя в чум, он закрепил за собой полог, обратившись к старику, попросил:

— Выйди пока. Мы тут поговорим. Старик поднял лицо, и мужчины несколько секунд молча смотрели друг на друга. И когда глаза старика наполнились слезами, Вану резко отвернулся от него, а когда шаги друга затихли за пологом, он сказал жене:

— Снимай ягушку. Огонь твой, ты права. Но честь моя. Увидев в руках мужа извечное орудие расправы, женщина молча повиновалась. Руки её, развязывающие тесьму на воротнике, мелко дрожали. Пьяная дурь слетела с неё мигом.

— Ложись.

— Вану... — несмело попросила она, но он твёрдо качнул головой.

— Нет, ты сказала слишком много слов. И не тех слов.

Тогда она легла на живот, втянув голову в плечи, и хотя знала, что муж не тронет ей головы, закрылась руками.

— Огонь твой, но честь моя, — сказал Вану и взмахнул моржовым постромком. Женщина простонала, но не отползла в угол. Два удара прорвали насквозь платье, а кожа ниже

пояса горела огнём. Они прожили долгую жизнь с мужем, и никогда он не судил её жестоким судом Ямини. Одёргивал строгим словом, если она, пьяная, болтала языком, как колокольцем, поругивалась с женщинами, собирала сплетни и другие поганые слова. Но никогда, ни при людях, ни без них, не судил её судом предков. Такой суд — позор для имени женщины.

— Не позорь наше жильё. В него заходят люди, — и в третий раз поднял Вану моржовый постромок. Женщина подняла лицо, залитое слезами, посмотрела на него и хотя знала, что он больше не поднимет руку, сказала слова, которые ей, ещё девушке, подсказала в давние времена мать. Через эти слова не переступит мужчина, муж, как бы разгневан он ни был.

— Я мать твоих детей.

— Ты мать моих детей. И поэтому собери и занеси вещи старика, — сказал Вану и вышел.

Алёшка лежит, не шевелясь, и широко открытыми глазами смотрит вверх. Прошло несколько дней со свадьбы, а кажется, прожит год, полный непогоды, неудач и тяжёлых раздумий. Вечером, как всегда, он лёг на постель, заправленную девушкой, не ставшей женщиной, и отвернулся. Девушка ещё не легла. Он слышал, как тихо движется она по чуму, доделывая бесконечную женскую работу. В детстве Алёшка так любил, когда братья засыпали, и только мать медлила, всё что-то делала, еле слышные звуки, шорохи сливались, будто журчал ласковый ручей, затерявшийся среди золотых кустов осени. Хорошо быть маленьким. Постель тепла и уютна, мягкие шерстинки от одеяла щекочут тело, кажется, что ты слабенький птенец с крылышками-недоростками.

Алёшка закрыл глаза и вздохнул. Теперь он не птенец, а злой обиженный стервятник. Подобно хищной птице, распустив когти самолюбия, упирается в глухую стену жизни, и никто не поймёт, как болит душа. По ночам ему снится Илне, её заманчивая улыбка, и он владеет ею, своей женщиной. Владеет сильно и страстно, так, что сладко болит тело. Понимая, что это не явь, а сон,

Алёшка сжимается от тоски. Тоска — это чёрный волосатый паук. Прикосновение его щупальцев наполняет душу ядом...

Край ситцевого полога дёрнулся, и Алёшка сначала увидел тонкую кисть девушки, потом она влезла вся. Кротко, боясь притронуться к нему хоть краем одежды, она легла, как во все прошедшие дни, под свою ягушку и затихла совершенно. Так она будет лежать всю ночь. Алёшка как-то даже подумал, что пройдёт, наверное, долгая жизнь, а она пролежит, словно светлый камень, вот так неподвижно, почти не дыша, не выпрашивая у него ласки ни одним движением. Каждый раз Алёшка инстинктивно подтыкал под себя край мехового одеяла, хотя понимал: в этом нет нужды. Девушка даже в своём глубоком усталом сне не подвигалась к нему, и утром он ревностно замечал, что расстояние между ними остаётся неизменным.

Девушка знала одно: душа мужчины, его мысли и желания неподвластны никому. Он в ответе за всё, его слова и воля — закон. Только мужчина может быть хозяином большой жизни. На то ему даны сила и ум, а женщина — хозяйка очага. И в небе орёл и ворона не летают рядом, у каждой птицы своя высота полёта. И даже если он всю жизнь не тронет её, она обязана быть рядом.

Каждый спал в своём мире. Она спала, как цветок, волей судьбы расцветший в ущелье, куда солнце проникает только ранним утром, и где камни дышат не только холодом, но и злобой. Покрытые склизким мхом, источая зловоние, они завидуют красоте и нежности лепестков, не замечая, что в темноте головка цветка излучает свет.

Он мучился в своём мире, похожем на кошмар. Его короткий тревожный сон походил на забвение птицы, свившей гнездо на неприступной скале, погружённой в холодный мглистый туман. Ничто не грозит покою птенцов, но хищник на страже, то и дело угрожающе вздрагивает крылом и щёлкает клювом.

...Есть воспоминания, которые нужно убивать, как убивают зверя, или лечить, как лечат болезнь. Но Алёшка когда-то не сделал ни того, ни другого. Вина бывает разная, но есть особая, предательская, тяжёлая, которую не можешь простить. И есть чувства, поступки, на которые человек должен иметь какое-то особое право.

Как-то осенью перед отправкой в школу ребята из тундры собрались в старом клубе. Совсем маленькие вместе, особой стайкой, постарше тоже отдельно. В те времена вертолёт не



Надо успокоиться и подумать обо всем. Спокойно и трезво, и главное без злости. Зло в такой дороге, как жизнь, ненадежный посох.

летал по чумам, председатели сельсоветов и учителя своим ходом обходили чумы, детей собирали в посёлке и только потом вывозили. Десятиклассники были наособицу. Многие не собирались вернуться назад, в родной чум. Иная жизнь тянула к себе, как сладкая тайна, и всё же непонятная боль точила сердце. Уже сейчас, повзрослев, Алёшка понял суть той боли — это была вина перед кусочком земли, где ты родился и которую хотел бросить. Как птицу тянет к себе покинутое, перевёрнутое гнездо, и она кружит над берегом в тоске, так человек — вроде тут нужно жить, вроде и там интересно. Этой птичьей болезнью заражены были и дети той поры.

Алёшка ложился последним. Ему было тяжелей вдвойне, а то и втройне. И именно он-то завтра, когда прилетит самолёт, будет птицей, когда стая улетает, а она мечется между ней и родным берегом. Выкурив не одну и не две папиросы, сидя на ветхом крылечке, он ничего не мог решить. Так и пошёл спать. Места долго не мог найти. Дети спали вповалку, самые маленькие — нулевички спали обнявшись, будто хотели сплотиться против страшной жизни, без мамы, без тёплого чума, без привычных игр.

Место нашлось у самого окна. Кто-то спал, накрытый тонким одеялом. Алёшка лёг и отвернулся. Он знал, что может сейчас встать и пойти домой к матери и братишкам. Они остались беспомощные, как птенцы без перьев и крыльев, а мать проводила его немного. Молча постояли, не глядя друг на друга, и он пошёл. И сейчас ему казалось, что мать всё ещё стоит там, веря, что сын повернёт обратно, останется с ними.

Как тяжело всё-таки. А Илне весь день звала его, просто глазами, не говоря ничего. Туда звала, куда они сами улетали, беспечные. И ему по молодости хотелось также, не думая, лететь, чувствовать силу своих крыльев. Лететь и не смотреть на землю.

В лицо из окна дуло, и он, накрывшись суконным гусем, перевернулся на другой бок и сначала опешил... Из-под одеяла прямо на него смотрели глаза. Он сразу узнал их. И почему-то очень захотелось встать и уйти. Сильно, резко встать и уйти. Так бывает, когда стоишь на краю обрыва. Тянет вниз, но ты знаешь — надо отойти, уйти, иначе...

Если бы тогда он ушёл... не был бы сейчас болен. А он как пристыл. Руки, ноги сделались чужими, а голова до звона пустой. И пока он боролся с собой, Илне смотрела и улыбалась. Это была уже не та, которая звала его за собой.

Просто звала. Незнакомая, зовущая, лукавая, почему-то не нравящаяся ему улыбка не сходила с её губ. Он не улыбнулся в ответ. Смотрел серьёзно, и это, видимо, насторожило её. Она отодвинулась, как от сильного огня, тепло которого начинает не греть, а печь. Алёшка сам не мог себя понять. Ему было обидно. Днём он хотел, сильно хотел сесть рядом с ней и что-то говорить, хорошее, ласковое, только ей понятное, а сейчас... ночью. Стыдно не было, но почему, почему больно и обидно? От чего?

Илне закрыла глаза, но ресницы её дрожали. Затаив дыхание, он смотрел на её милое лицо, а непонятная обида не проходила. И опять не понравилось, что она закрыла глаза и что ресницы дрожали. Ему хотелось понять и себя, и её. Он ясно сознавал, что завтра этого уже не будет. И послезавтра. И никогда. Да, никогда...

И только Алёшка сказал себе это слово, понял: он хотел, чтобы это было всегда. На всю жизнь. И днём, и утром, и ночью. И не так, как сейчас, а навсегда. Крепко. И чтоб не было у ней этой улыбки, когда она, как женщина, знает, что может быть что-то... но не будет. От этого и зовёт его своей хитрой улыбкой, глазами, которые при этом можно закрыть. Она зовёт его на игру, любовную игру, а это есть обман.

Он не хотел этой игры. Не вороватым шепотком о любви говорят, а губы и тело любимой — тайна для мужчины, а не ночь, о которую руки погрел. И Алёшка даже пальцем не пошевелил. Он ждал от неё ответа. Она должна почувствовать это.

И когда Илне открыла глаза, Алёшка знал, что правильно её понял. Именно поиграть ей хотелось. И той игрой, которая не обязывает ни к чему и не требует от игроков ни ума, ни души. Так ведут себя иногда дети — смотришь и не можешь понять, в чём именно смысл их затейливой игры.

Алёшка не считал себя ребёнком, а её девочкой. А игра с любовью и в любовь— самая опасная среди дозволенных взрослых игр. Он видел, что девушка обиделась. И уже хотелось погладить её по голове. Так была явна разница между обидой и лукавством. Алёшка улыбнулся и тихо, почти одними губами ласково сказал:

— Спи. Я покараулю твой сон. Но она не закрыла глаз даже для вида. Теперь ей хотелось понять его. Она почувствовала, что он только что через что-то прошёл и понял. Женщина, даже самая неопытная в делах любви, может простить мужчине всё, кроме равнодушия.

У любви своя логика и свои законы, отличные от законов жизни. Законы любви не каждому под силу. Но есть в молодости часы, минуты, мгновения, когда любовь становится властительницей души. Есть цветы, самая пора цветения которых длится час, минуту, а потом на лепестках его видны уже морщинки и вмятины. Это правда. И не будет молод больше цветок, в хороший день под лучами солнца воспрянет, засияет, но так прекрасно молод он уже не будет.

Илне молча, не отрывая глаз, смотрела на парня. Ей уже не было обидно, что он не протянул к ней рук, не поиграл её телом. Но вместе с тем по глазам его она видела: он любит, и теперь больше, чем раньше. А за что? Почему?

Они не спали всю ночь. Волнуясь, загораясь желанием, любуясь друг другом, но не решаясь сцепить рук, будто между ними стоял невидимый барьер, они не могли ни уснуть, ни расстаться. И чудесная сладкая дрожь била обоих, и порушить её не было физических сил ни у него, ни у ней. Для любви самая длинная ночь коротка, как вздох. Окно засветлело. И этот тусклый свет отрезвил их и в обоих всколыхнул тревогу. Неужели всё кончается?

«Неужели навсегда?» — подумала Илне и тут поняла, что хотел он. Её любимый человек. Мужчина, не тронувший её.

Волнуясь, приподнявшись на локте и при этом почувствовав острую боль во всём теле, прерывающимся шёпотом сказала:

— Да, так... будет... как ты хочешь. Так будет.

Алёшка кивнул. Язык не повиновался ему. Рука, которой он хотел погладить её милое, взволнованное и оттого прекрасное лицо, так дрожала, что он не решился поднять её.

Она пообещала ему себя. В минуту сладкого волнения она завещала ему душу, как вечный дорогой заклад, за которым она придёт. Придёт, где бы ни была, чем бы ни увлеклась. Нигде, ни на каком конце земли ей не будет покоя, потому что жить можно без ноги, без глаз, без руки, но не без души.

Сказав свои слова, вырвавшиеся невольно, Илне почувствовала себя легко, тело, словно наэлектризованное, приятно дрожало, и она, виновато улыбнувшись Алёшке, положила свою голову на его локоть и только после этого спросила:

— Можно? — и закрыла глаза. Ей хотелось спать. Она устала, как женщина, испившая свою первую ночь любви. И он понял её. Боясь пошевелиться, тоже закрыл глаза и удивился, как до этой минуты любовь его выражалась таки-

ми мизерными желаниями, как быть рядом, видеть, говорить. Теперь же он знал— она вся принадлежит ему. И сейчас, и через час, и через год, через десять лет, навсегда.

Когда совсем засветлело, Алёшка осторожно освободил локоть, и когда он приподнялся, стараясь не разбудить её, сердце его ёкнуло, как бы предвидя впереди для себя что-то тяжёлое. Он не поверил ему. Не в силах отойти и уйти совсем, уйти по своей воле он несколько мгновений стоял неподвижно. Тянуло обратно с такой же силой, как несколько часов назад хотелось уйти от неё, ставшей теперь такой родной, нужной не только ему, а всей его жизни.

Илне спала. Лицо спокойно и чисто. В нём нет ничего ночного, лукавого, так не нравившегося ему. Пережитое душевное волнение и её слова, такие необычные — всё теперь уместилось в еле заметной свежей морщинке меж тёмных бровей. Это было лицо уже не девушки, но женщины, истомившейся любовью, победившей себя, прокалённой самым сильным огнём его любви, Алёшки, а значит, навеки принадлежащей ему. Теперь она будет ненавидеть любовную игру, не пойдёт на неё. Эта женщина принадлежала ему, хотя он не тронул её и пальцем.

Прошло много лет. Неужели ни тело, ни душа её, обещавшие ему себя, не напомнили ей ни разу ту ночь? Ведь она — та ночь, должна мучить её? Болел же он ею. Сердце болит непрерывно. Столько лет. Болит не по-мужски, задыхаясь в немолодой тоске. Ведь она тогда поняла, хотя он не сказал ни одного слова, не объяснил своё поведение. Неужели всё, чем волнуется человеческое сердце, ложь, всего лишь дешёвенькая ложь и нельзя верить себе даже в самые искренние минуты жизни?



тарая женщина не спала совсем. Вещее сердце подсказывало ей, что ночи пусты, как и её надежда возродить жизнь чума. Сын обманывает — тяжело и подло... И у ней нет сил... Укрывшись с головой, она тихо плакала. А как хотелось отдохнуть. Всю жизнь, как умер муж, мечтала, когда вырастут дети, она отдохнёт. Как именно? Женщина не знала, но бремя тяжких жизненных забот должно было когда-то упасть с плеч. Как становится легко, когда бросишь на землю вязанку дров, которую ты нёс долго, не решаясь передохнуть.

По лицу женщины струились усталые слёзы, а в чуме стояла обманчивая тишина. Обманчивая тишина замерла и за пологом. Тишина обнимала мир. Мир, не знающий, что он безнадёжно болен.

Два коротеньких аргиша медленно ползли по дороге в стойбище, то поднимаясь на возвышенности, то снова теряясь. Вану, заслонясь ладонью от солнца, старался угадать, кто так рано захотел присоединиться к ним, ведь только под лето аргиши сходятся, подобно маленьким ручейкам, спешащим в большую реку.

Странные аргиши, кто бы это? И оленей свободных мало, едет человек не богатый. Хорошенько приглядевшись, Вану заметил рядом с грузовыми нартами грудных телят.

Когда аргиши остановились, стало понятно, почему оленята не заходили вперёд, как это бывает во время кочевий. Худые большеглазые оленихи были запряжены в грузовые нарты, дышали тяжело, и если бы не упряжь, большинство из них тут же и упало бы на землю.

Вану отвернулся. Не обязательно пялить глаза на людскую беду. А что пришла беда, в этом не было сомнения. Он подошёл к первой нарте, хозяин которой сидел, не выпуская из рук хорея, будто не был уверен, что долгий, мучительный для него и оленей путь окончен. Так ведут себя люди, которые ищут приют.

Вану узнал его сразу, хотя в последние годы не приходилось видеть. Сэротэтто Хасава давно был не молод, теперь же годы сделали его стариком.

— Здравствуй. Как дорога? — спросил Вану.

Приезжий кашлянул простуженно и положил на снег хорей.

— Снег мокрый, еле добрался. Можно оленей отпрячь?

— Конечно, конечно.

Больше не говорили. Хасава стал отпрягать упряжку. Вану молча помогал ему и думал: «Этот человек жил во многих стойбищах, как сирота, напуганный холодом и голодом, жался к людям

сильным, зажиточным, которые никогда не запрягут олених в аргиши. Но нигде не мог укрепиться, высохшим листком, гонимым ветром, застревал то у одного куста, то у другого, но остановиться не мог. Видимо, сильно хотел сюда ехать, если на глазах всей тундры привёл свои жалкие аргиши».

Распрягая, Вану незаметно гладил спутанную под упряжью весеннюю шерсть, оленихи отходили не сразу. Худые, ребристые бока их не могли успокоиться, а в глазах всепонимающая, человеческая печаль. Второй аргиш, состоящий из трёх неполно нагруженных нарт, распрягла дочь Хасавы, от роду немая, но крепкая, плотная, с выразительными и быстрыми глазами. Теперь она сидела на земле, устало прислонившись спиной к нарте.

После горячей чашки Хасава снял малицу, и сердце Вану сжалось от тревоги. Старая потрёпанная рубашка, плохонькие кисы с тряпичными повязками, взъерошенные волосы. Хасава походил на общипанную ястребом куропатку. Он то и дело одёргивал короткую рубашку, но она снова лезла вверх, так что старик с досады махнул рукой. Вану тронул жену за плечо:

— Сходи, принеси нам.

Женщина вышла. Хасава пил чай молча, дочь его хлеб и еду брала осторожно, боязливо, забывая о чашке, смотрела перед собой. Пальцы её начинали быстро двигаться, страх, что не поймут её немого разговора, заставлял опомниться и снова браться за чай.

Женщина принесла бутылку спирта. Выпили по одной, Хасава облегчённо вздохнул, ему стало тепло и спокойно. Вану не торопил гостя, чувствуя, что неспроста приехал Хасава именно в его стойбище. Он знал, ненец очень редко просит помощи у другого — во всём надо полагаться только на себя. Советы, как жить, обижали иных сильней, чем удар.

Выпили вторую чарку, и старик повернул вверх дном свою чашку на блюдце. Взял поданную Вану табакерку, понюхал щепоть, покачал головой, словно удивился крепости табака, и только после сказал:

— Ты видел, я на оленихах к тебе приехал? Как они эту дорогу перенесли, не понимаю и, наверное, никогда не пойму.

— Они теперь отдохнут, — осторожно вставил Вану.

— Конечно, но забудут ли? Если ты меня выгонишь, ни у меня, ни у моих оленей нет сил. Мы тут умрём.

— Я не хочу, чтобы моё чумовище стало для тебя могилой. Другие теперь времена.

— Время другое... — Хасава опустил голову, и по одному этому Вану понял, именно со Временем в чём-то не согласен старик. Он налил третью рюмку, но Хасава остановил его.

— Не надо, мне и так хорошо. Если ты скажешь, я поставлю свой чум рядом с твоим.

Помогая старику, Вану всё больше убеждался, что у того серьёзные основания повздорить со Временем, а у Того — к человеку тоже свои претензии. Шесты чума со множеством трещин были непрочными, кривыми, изъеденными дымом и старостью. Нюки, покрывающие их, залатаны, как земля частыми проталинами. Нарты, на которых лежит нехитрое добро, тихо и старчески поскрипывают от каждого прикосновения к ним.

Что случилось? Ведь не так давно о Хасаве ходили добрые слова. Приезжающие от него говорили, что попили в чуме Сэротэтто крепкий чай, отведали жирного мяса и услышали доброе слово.

Подбирая и аккуратненько укладывая упряжь, Вану тщательно отряхивал её от снега, и почему-то раздражало, что весна медлила, как никогда. Снег раза два стаял, а потом снова падал, мокрый, грязный, неприятный. Прошлогодняя трава, жалко и уныло выглядывающая из-под липкого снега, вызвала щемящую незнакомую тоску. Было жалко землю, ошеломлённую внезапно вернувшимися холодами. Жалко и себя. А отчего? Нарты полны добра, олени здоровы, и сородичи не последнего оленя запрягают, и не собак, как в давние годы. Песец зимой не обходит капканы стороной, нигде нет видимой глазу беды. Так что же? Откуда тревога? Как ухитрился Хасава поссориться со Временем, и какие могут быть отношения между маленьким человеком и никому не подвластным Временем?

Так думал Вану, глядя на маленький чумик, ставший третьим в его небольшом стойбище. Потом придут ещё люди, но ненадолго, до первых прохладных дней осени, тогда снова отделятся и будут кочевать. А этот устал, ему не стронуться без помощи, и может случиться, что он сядет до конца своих дней, как камень, пристывший к земле.

С тех пор, как маленький чум Хасавы встал рядом с другими, не проходило и вечера, чтобы три старика не сходились вместе. За нехитрыми поделками и просто за понюшкой табаку они засижива-

лись допоздна, тихо переговариваясь, замолкая и снова оживляя затухающий разговор. Их лица теплились светлой печалью, то вдруг осенялись тревогой, и тогда, траурно опустив седые головы, они подолгу сидели молча.

Есть что-то привлекательное, непостижимое для молодого ума в разговорах старых людей, как в шелесте листьев, поскрипывании усталых, но крепких, ещё не изъеденных червями и ветрами деревьев. Старые деревья и старые люди... Из всего, что живёт на Земле, самыми близкими человеку кажутся старые деревья. Толстая кора их с одной стороны опалена и вызолочена полуденным солнцем, покрыта глубокими морщинами, тепла и шершава, богата ягелем, травами и маленькими необычными цветами.

Люблю старые деревья. Всегда хочется встать перед ними на колени и бесконечно благодарить их за чувство, которое горчит, тревожит, но радует сильней. Люблю за то, что внизу у ствола можно найти сухие жёлтые листья, сладко напоминающие о прошедшем лете. Люблю за прожитие лета, за тайну жизни, что хранят от нас, за шёпот листьев, который, как хочешь понимай, за песню иль плач, за исповедь иль повесть.

Старые деревья кажутся старыми людьми. Но ещё сильней хочется быть уверенным — старые деревья могут помнить... и, может, именно они помнят Золотое Слово правды, забытое некогда людьми.

Подобно деревьям, три человека шелестели-говорили о прошлом, вспоминая такие древности, когда на Земле не было их дедов и прадедов, прапрадедов, но, как дерево вечности, как высокое солнце, жило и сияло Золотое Слово правды. Отзвук-отблеск его сохранился в полузабытых, полуутерянных песнях-ярабцах, в коротеньких словах-правдах, поистрёпанных, пообшарпанных косноязычием многих поколений.

Золотое Слово правды... Что это? Песня? Молитва? Бог?! В один из вечеров старики говорили об этом. Глядя, как полыхает огнём закат, словно кто невидимый разжёг Великий костёр на краю Земли, за золотой громадой гор, Вану сказал:

— От деда я слышал: там у золото-красного огня каждый день сидит Золотое Слово правды. Сидит, набираясь своей вечной силы...

— Я тоже слышал, но другое. Живёт оно там, куда мы, люди, не можем и умом добраться. Там медный чум... Чум из красной меди, и из открытого полога смотрит оно на людей.

Но мы, люди, забыли его Великое имя, не говорим с ним и голоса его не слышим.

Так говорил Хасава, чуть полузакрыв беспокойные глаза и не находя места рукам. Уже несколько вечеров он больше молчал, но старики видели, ему хочется сказать особое слово, и сейчас, не перебивая, они слушали с вниманием.

— Да, высоко Золотое Слово правды... Есть у меня в сердце заноза, хочу вынуть её, да сил мало.

— Слово сказать силы много не надо. Слово не камень, — тихо сказал Вану, протягивая табакерку, понимая, что понюшка табаку да слово — родные братья, один без другого не живут.

— Как сказать... Есть слова камня тяжелей и ножа больней. Давно я приехал, а молчу... Но хватит... Солнце не легло, а в моём чуме ещё не потух огонь.

Хасава поднялся и пошёл к своему чуму, давая понять, что можно следовать за ним и за чашкой чаю услышать слово.

В чуме стоял полумрак. В передней части, на ящике коптила керосиновая лампа, освещавшая нутро бедного жилища слабым мерцанием. Немая, как только вошли гости, бросилась к огню, подбросив в него сухих веток, хотя он и так горел бойко и жарко. Хасава с изменившимся, бледным лицом, спокойный, несуетливый, начал освобождать рядом постель по старинному обычаю, уступая почётное место гостям.

Немая поставила низенький коренастенький столик, ничем не покрытый, но сияющий чистотой, как в давние времена, когда не было моды покрывать лицо стола клеёнкой.

Пока шли нехитрые приготовления к чаю, Вану, откинувшись назад, на подушки, огляделся. Изнутри маленький чумик выглядел ещё бедней, чем снаружи. Свободная половина, через огонь, оставалась пустой, и там ничего, кроме подтаивающего снега. На проталинке, поджав под себя лапы, лежала собака, глядя прижмуренными глазами в огонь. В передней части большой чугунный котёл, рядом таз и деревянный ящик старинной работы, по углам отделанный железным узором, и больше ничего.

Постельные шкуры, старые, но тщательно вычищенные и выбитые, три большие пузатые подушки с выцветшими наволочками, холщовый мешок, два-три узла — и вся постель. И хотя всё это было чисто и аккуратно, Вану опять с обидой подумал про себя: нет, что-то не то. Он знал, Хасава жил крепко, небогато, но всё же не так. Надо хорошо послушать, сердцем больше слушать...

Хасава взял чашку последним, не нужно смотреть на стол, чтобы видеть, как бедно угощение. Хорошо, что есть главное — чай и хлеб, и он не опозорил лица своего стола. Молчали гости, молчал и хозяин, но молчать можно в тундре, когда ты один, и поэтому, поставив на стол пустую чашку, Хасава сказал:

— Чаем вас согреваю, чем бы другим, покрепче.

— Та еда, о которой ты говоришь, не всегда бывает, и не всегда она греет сердце. Нам хватит тепла огня и чая.

— Ты сказал слово-правду. Эта еда сердца не греет... Видели, на чём я приехал?

— Ты приехал, как человек.

— Я чум поставил, и сами видите, как живу. Лица не могу поднять. Я — мышь, пригласившая в гости орлов.

— Зачем так говоришь? — возразил Вану.

— Мы все под одним солнцем.

Немая при последних словах отца насторожилась, пальцы начали быстро двигаться, будто она сказала только ей понятную фразу.

— Что я... скулю побитой собакой? — поругал себя старик. — Пока я ехал, понял: святы наши олени, а мы... жестоки.

— Твоё слово — правда. Без оленя ненец камнем земным станет.

— Ребёнок рождается в страданиях матери, а истина — в страданиях души, — сказал Хасава и замолчал. Он понимал, сидящим всё понятно, они без слов примут его и оставшихся оленей. Рядом с ними будет спокойно, как дереву в густом лесу, ветер не погнёт, и тяжёлый снег не обломает сучьев.

Но истина, как рождённое дитя, должна жить... Хоть раз в жизни надо всего себя вывернуть, как прохудившуюся малицу, чтобы были видны все дыры, потёртости, не жалеть себя. Да и что жалеть? То, что осталось, не сберечь от людского языка и суда. И он сказал:

— Мы говорили о Золотом Слове. Я стал беден и много думал. Пришло время, когда Золотое Слово правды люди разорвали, как вороны рвут найденную падаль. Каждому досталось по кусочку... Стало много маленьких грязненьких человеческих правд... А есть то... выше чего нельзя человеку быть. А теперь я спою вам ярабц, спою свою жизнь, — с горькой усмешкой проговорил Хасава и откинулся назад. — Спою, как есть, без красного слова, и если моё лицо покроется кровью стыда, я знаю, вы не осудите. Если мой го-

лос начнёт вилять, как провинившаяся собака под палкой, вы и тогда ничего не скажете.

Старики молчали: не всегда и не всякий поёт свою жизнь — кому голоса не хватает, кому — силы, а спеть свою жизнь не пьяную песню исполнить, да и песня души, как клич сильной птицы, не всегда отличается красотой.

Хасава подождал, пока гости понюхают табачку, устроился поудобней и сказал дочери:

— Дочь, поддерживай огонь, я буду говорить.

Спел-рассказал Хасава следующее:

— Оленёнок малый не сразу становится на ножки, так и сердце человека умнеет не враз.

Немного лет назад мой чум был не таким, каким сейчас увидели ваши глаза. Была жива моя жена, а хорошая женщина ухаживает за чумом не меньше, чем за мужем. Месяц Малой темноты в год, о котором хочу сказать, был добрым, снегу выпало чуть-чуть, полозья нарт скользили, как по мылу. Олени наши поправлялись на глазах, и, глядя, как они резвятся от сытости, сам был готов прыгать и резвиться. Я был доволен: не хуже других живу, в капканы мои попадались песцы не чёрные, а белые, как у всех. Вернувшись домой с охоты, я аккуратно поднимал упряжь с земли, — собаки не попортят, не намокнет, и, как говорила мать, олени будут здоровы, расти будут, не уменьшаться.

Я не считал оленей. Сами знаете, большим грехом это среди ненцев считается. Знал: и голодным не буду, и не последнюю упряжку запрягу, если в день Вороны к соседу поеду. Каждого оленя знал «в лицо», слышал мысли Тонконогого, знал, какую дорогу выдержит Старший сын. Догадывался, кто хитёр — лямку не тянет, а просто делает вид. Знал каждому цену, но любил всех: и ленивых, и хитрых, и быстрых на ногу. А сейчас я спрошу: на что человеку сердце, если оно не чует беды?!

Вы помните Чёрных Волков? Месяц Большой темноты появился на небе серебристым рогом молодого бычка, а моё сердце не почуяло беды.

Однажды под вечер залаяли собачки, одинаково вещающие добро и зло, встречающие и друга, и врага. Жена моя вышла и принесла недобрую весть. Вылка приехал и с ним Чёрный Волк — человек, несущий смерть. Я услышал эти слова, но моё сердце не дрогнуло. Одну луну назад, подсчитав все расходы, я забил десять телят и отвёз в посёлок. Я

посмотрел на вошедшего открыто и смело, его язык понимаю плохо, но глазами мог сказать, что рад гостю.

Когда чай пили, говорили о волках, приходящих в ночи, и если хозяин не в стаде, хорошенько хозяйничающих в нём, но этот волк уважает нас, и мы не сердимся на него, понимаем — все хотят кушать.

Чёрный Волк понял и улыбнулся. Когда я говорил, смотрел в его глаза, пытаясь увидеть в них кровавый огонь, ведь глаза хищника, выходящего на охоту, пылают кровью.

Но я не увидел в них ничего, кроме усталости. Он был, как охотник, весь день ездивший по следу хитрого зверя, унесшего с собой хороший капкан. И пожалел его. Я велел жене принести из нарты-вандея бутылку спирта. Выпили маленько. Вылка, привезший его, чаю попил и тут же уснул.

Жена ещё не убрала стол, когда он взглянул на меня. И в нашем чуме стало холодно вдруг, будто ветер открыл и не закрыл полог.

— Нужно мясо... — сказал он твёрдо и громко.

Я кивнул жене, она достала бумагу наших десяти забитых телят. Я показал её, он прочитал, убрал сильной рукой в сторону:

— Мало. Ещё надо.

Я покачал головой:

— Нет. Не могу.

— Можешь, — спокойно и сильно сказал Волк, будто не я, а он хозяин моих оленей. Я снова покачал головой, и был готов качать всю ночь, потому что знал: в этот год я не могу, на следующий — да, а сейчас, хоть убей, не могу.

Но он коротко бросил: «Можешь!». Так сказал, что я не посмел качать головой. Обозлённый, вспухший от своей злой силы, встал и начал говорить. Я не понимал ничего, и всё же несколько слов хорошо знакомы, я много раз слышал их, и не только я, вся тундра знает: совхоз, план, закон.

Долго ходить в чуме нельзя — тесно, поняв это, Волк снова сел рядом, и я очень хорошо видел его глаза — большие, колючие. Он говорил, а я думал: «В каждый год в месяц Большой темноты загадочный «план» не одну слезу выжал из глаз людей». Он говорил, а мне было страшно. Страшней, чем если бы меня окружала ночью стая настоящих волков.

Как сказать ему, что лишний олень, если он и есть, дорог мне, как моя жизнь. У меня нет слов, которые я мог бы бросить ему в глаза так, как он мне «закон» и «план».

Наконец он коротко спросил:

— Сколько?

— ?!

— Сколько можешь?

— Я десять уже отвёз, — я показал ему на пальцах десять и махнул рукой в сторону посёлка. Я хитрил, но он меня понял.

— Мало.

Я снова осмелился покачать головой, и тогда... он начал кричать, будто я ребёнок, нагадивший в свои единственные штанишки. Он кричал, а я думал: «Лишние олени... Разве они есть?». Я принялся мысленно считать оленей. Я никогда не делал этого. Сами знаете, оленей не любят считать. Может прийти время беды, когда глаз невольно сделает это. Больше смерти боюсь такого времени.

О многом я думал, глядя перед собой. А он всё кричал. Глаза его налились кровью, щёки горели, но я его не слушал. Мне было больно от своих мыслей, они давили мне горло, как петли, и когда он снова спросил меня, я лишь отчаянно замотал головой.

И тогда он сошёл с ума, он не стал кричать, а почернел лицом, как большой чёрный котёл, и зашипел мне в лицо, будто из него начал выходить воздух. Я запомнил его слово. Он сказал мне:

— Бездельник ты! Лентяй! Двадцать! Ты забьёшь ещё двадцать! — крикнул он мне. — А если нет, я всё твоё стадо угоню. Понятно?!

Я поднял голову. Прямо в лицо мне смотрело дуло короткого чёрного ружья. Когда он вытащил его, я не заметил. Волосатые большие пальцы Волка дрожали. Я заплакал, но так, что он не увидел моих слёз. Волк есть волк.

Жена и дочь сидели над шитьём, но я видел, что и они плакали. Я пошёл и пригнал оленей к чуму. «Он всё-таки человек, не волк, — думал я, — увидит сам, что у меня мало, и скажет: «Ладно. Давай, сколько можешь, тебе нужно, понимаю, и нам тоже очень нужно». Но он молчал.

Как тень ходил я меж своих оленей, а он, как тень моей тени, за мной. Я ходил меж оленей и плакал, иным ещё мог смотреть в глаза, а иным уже не мог.

— ...Дочери на ягушку не забьём, пусть ходит в старой, не богачи мы, сами не будем зимой мяса есть, как-нибудь перебьёмся.

Всю ночь я убивал. Вылка помогал мне. Рука моя часто дрожала, и Вылка говорил: «Иди сядь. Я сам». Чуть свет наш

печальный караван приехал в посёлок. Я молчал, казалось, стоит открыть рот, и я закричу нехорошим звериным рыком. В посёлке Волк хвалил меня, хлопал по плечу, а мне хотелось собственными руками вырвать изо рта его поганый язык и его жестокое слепое сердце из груди. А потом...

Получив деньги за двадцать туш, Хасава не уехал в чум ни на этот, ни на второй день... Первый сильный буран, пробушевал три дня, и он не заметил и его. Он забыл счёт бутылкам, времени и людям, которые выпивали с ним, уезжали и приезжали новые. Разум покинул его. Олени в упряжке стояли некормленные, а на седьмой день, голодные, замёрзшие, испугавшись в темноте собаки, запутались и затоптали насмерть троих. Люди еле распутали окоченевшие трупы животных, сняли кое-как шкуры и сдали в торгпункт. Сказали об этом Хасаве, он только рассмеялся, потрясая пачкой денег.

В тот же день люди, приехавшие со стороны его чума, принесли новое горе. Стая волков во время бурана напала на стадо Хасавы, зарезав за ночь десять оленей. Стадо прибежало в ужасе к чуму и, не найдя там защиты, стремительно понеслось дальше. Жена Хасавы в надежде остановить обезумевших оленей выскочила в чём была и побежала за стадом. И её до сих пор нет...

Когда смысл этих слов дошёл до сознания Хасавы, он заплакал...

— Я недолго искал. Снег уже укрыл её, и только полы плохонькой ягушки торчали из сугроба. А вот оленей нашёл не сразу. От тоски я выл волком, натыкался на трупы моих оленей, растерзанных, погубленных. Как бы смеясь надо мною, жестокий буран скрыл следы животных. Слёзы на моих глазах высыхали и вновь выступали. Наконец, я напал на след. Волки, их было десять, убивали и снова гнали, и снег был окрашен кровью моих оленей. Лучше бы это была моя кровь. К вечеру я кое-как собрал небольшие кучки, и вот, когда я сосчитал... Не считайте оленей ни в беде, ни в радости. Ни богатый, ни нищий — не считай! У Бога все они сосчитаны.

Снег той зимы давно растаял, я всё ещё грудью ощущаю его холод: так много раз я падал на снег и плакал.

Хасава резко сел, будто со спины ему снова подул холод той зимы. Глаза его влажно сверкнули в весенних сумерках чума. Старики молча понюхали табачку и ни единым вздохом не нарушили своего молчания.

— Лето кое-как прожили. Я ловил рыбу. В жаркие ночи пели комары, и мне не спалось. Я состарился, устал, со страхом думал о зиме и о жизни. Теперь сердце моё научилось не только вздрагивать, но и болеть. И оно не ошиблось — пришёл октябрь, с гор Урала приехал человек, у которого паслись летом мои олени. Болезнь унесла десять голов. Поближе к зиме мой любимый передовой в расщелинах камней сломал ногу, и вместе с этой смертью ко мне пришёл неотвязный страх. Я всего стал бояться. Долго никуда не мог выехать, боялся, что вдруг потеряю дорогу, не доберусь до капканов иль ещё какой другой важный путь потеряю.

И ещё два года я прожил, но как прожил?.. Почему ещё под солнцем хожу? Я стал хуже волка, только лицо моё не заросло шерстью, как у собаки.

В посёлок приезжал, а выехать из него, как нормальные люди, уже не мог. Напивался, не помнил ни дня, ни ночи, и каждый раз то один, то два оленя в моей упряжке погибали.

Я ставил капканы, но только весной по прогалинам собирал их, находя в них песцов с испорченными шкурками, изъеденными мышами и воронами. Деньги у меня были, мне незачем гнать себя по следу песца и другого зверя. Зачем холод и буран терпеть, когда так легко и просто взять в руки топор, опустить его на голову оленя — вот деньги, вот и спирт.

Дьявол вошёл в мою душу и было весело с ним. Очнувшись, я видел солнце, но старался на него не смотреть. Находил свою дочь в ворохе шкур и не мог разбудить её, она тоже была пьяна. Сам разжигал огонь и дрожал около него, как замёрзший пёс, — тепло огня не могло согреть меня. Я познал другой огонь, чёрный, не греющий, но сжигающий душу...

Тихонько подходил ко мне дьявол, он гладил мою голову, а я его, мы хихикали и договаривались. Я ехал в посёлок, он за мной, я — в магазин, и он туда же, и из магазина мы выходили уже одним человеком, с одним лицом и душой. Наши волки и чёрные больше меня не трогали, я сам уже был волком и ещё хуже.

... Люди стали сторониться меня, обходить мой чум, как собачью нечистоту. И, наверно, ветер далеко разносил дурные запахи, ко мне стали слетаться чёрные вороны — вестники смерти и падали.

Хасава снова замолчал. Тяжела исповедь Души.

— ... Особенно трудно стало весной, пропьянствовав зиму, я часто не имел ни куропачьей тушки, ни рыбьего хвоста.

Однажды вечером дочь моя повесила на огонь котёл с водой. Сама села у огня спиной ко мне и замерла. Я вздремнул, но вдруг проснулся, будто кто толкнул меня. Дочь так же сидела у огня. Вода в котле, я слышал, кипит шумно с бульканьем, так кипит пустая вода. Предчувствие особой беды сжало мне сердце, я поднял голову и спросил:

— Почему в котле кипит только вода?

Дочь повернула ко мне лицо. Слёзы ползли по её щекам. Прошло много дней — и плохих, и хороших, но я всё ещё вижу её глаза. Говорят, есть сильные слова... Я верю... Но не знаю ничего страшней голодных глаз.

Я понял. Нечего положить в котёл, оттого шипит пустая вода. Всё ещё не веря, я взглянул в передний угол и на верхние шесты, куда обычно кладут сушёное мясо и свежатину. Везде пусто. Я вышел из чума, быстро подошёл к нарте-ларь, в которой хранится запас хлеба, масла, мяса. Не мужское дело — в ларь заглядывать, но я забыл обо всём.

В ларе было пусто. Ни в одном углу ни крошки хлеба, ни кусочка мяса, ничем, кроме гнилых подмоченных досок, не пахло.

И стоял я, не в силах двинуться, вздохнуть, до тех пор, пока не понял — не в ларь заглядывать надо, а в душу свою поганую. Как на земле есть чистые, не всякой ноге и мысли доступные места, так и в человеке: не свята ли душа, а я впустил в неё дьявола?!

Дочь всё сидела у огня, я подошёл к ней и тихо спросил:

— Совсем ничего нет?

Она покачала головой, и в глазах её теперь я увидел жалость: к себе, ко мне, ко всей нашей несчастной жизни, к пустому котлу, вода в котором продолжала сиротливо и обиженно шипеть. И как хотелось мне тогда, чтобы в родовом котле варилось моё собственное сердце.

Я взял в руки аркан, кликнул собаку и побрёл к оленям. Чем ближе я подходил к своему крохотному стаду, трудней становилось двигать ногами. Я несколько раз садился. Подойдя близко, я снова опустился на землю. Передо мной, как на ладони, паслись оставшиеся олени. Долго я блуждал глазами среди оленей, отыскивая свою жертву. Пригревшись на солнце, они двигались лениво, медленно. Весной эти умные животные понимают, как хорошо, радостно жить. Как существу доброму, сильному, который сумеет защитить от беды их, доверились они мне, а я обманул их... И тогда впервые я подумал, что каждый человек находит свою прав-



Подняв лицо, Вану увидел странного старичка. Низенького, сухонького, как высушенная продымленная рыбка. Седая, чистая борода его доходила до пят. Но вместо ног у него были копыта, оленьи копыта, чёрные, блестящие, крепкие.

ду, поганенькую, удобную для себя. Вот я. Оленей у меня забрали. Так ведь денег дали, не камней под нос накидали, но нет — я обиделся, и обида показалась мне правдой.

Из оленей, пасущихся близко от меня, мои глаза выделили старую олениху-авку. Она осталась после матери совсем маленькой сироткой, и жена выкормила её рыбьей ухой. Половина пасущихся оленей приходилась ей детьми и внуками. Со стыдом заставил я свои глаза остановиться на ней. Её худые бока были раздуты — значит, она снова мать. Но я вспомнил пустой котёл и, сняв с шеи аркан, направился к ней. Она от меня никогда не убегала, лишь не любила, когда ей на загривок кладут руку. Я привязал её на конец аркана и повёл осторожно, и она шагала, медленно переставляя худые ноги, оберегая своё дитя.

Я привёл её к чуму и, не в силах поднять над ней топор, сел на нарту. Олениха время от времени, пережёвывая жвачку, посматривала на меня, ожидая, когда наконец я отпущу её. Потом она будто стала что-то понимать. Насторожившись, долго смотрела на меня, но успокоилась, сама подошла, обнюхала и облизала мои руки. Не глядя на неё, я поднял топор... поднял, но опустить вниз у меня не нашлось сил. Я бросил топор и, как глупый ребёнок, заплакал. Я много раз убивал. Легко и прочно поднимал топор, но тут не мог. Не помню, как и чем мы поужинали. Ночью мне не спалось. И я понял, как виноват перед всей моей семьёй, всей своей жизнью, перед оленями. Я не мог уснуть, встал, растопил огонь и, глядя на него, стал думать о себе. Как это, оказывается, тяжело — думать о себе... когда нет хорошего, что можно подумать о себе.

Долго говорить, но ещё год я прожил, как зимняя мышь, боясь далеко уйти от своей норы. В посёлок не ездил, уже не мог поднять топор над оленем, их у меня было мало, и цена каждого из них доросла до цены моей собственной жизни. Убей я хоть одного — всё равно, что лишиться руки или ноги. И как я ни тужился, как ни молился на своих оленей, но всё-таки пришёл ко мне чёрный час, когда я понял: «Всё — сел я на землю, пристыл, никогда не перекочевать, как птице не взлететь...».

Надолго замолчал Хасава, вновь переживая тот страшный час, так сидит птица, у которой перебиты выстрелом оба крыла: голова цела, сердце бьётся, ноги держат, а крылья... И хочется взлететь в родное небо, ставшее ещё родней от того, что стало недоступно.

Так и Хасава пытался взлететь, подлечить больные крылья. Около чума, оставшегося от прежней жизни, стояли нарты, когда-то принадлежавшие отцу, и не простые, а настоящие, тонконогие, из лёгкого дерева, полные невыразимого вдохновения человека и топора. Их и стал продавать Хасава богатым, понимавшим толк в нартах, оставляя себе нарты-трёхножки, нарты-инвалиды, всё то, что могло лишь стоять на земле, не упасть, вынести хотя бы свою тяжесть. За нарты платили молодыми оленями. И лето было ему на руку: осенью, поближе к первому снегу, Хасава солил рыбу, вкусную малосолку, и опять же продавал её желающим, и в жаркую пору лета не сидел без дела: поставив чум поближе к лесу, он днями работал топором, на руки он был мастер, хороший мастер, какого теперь редко найдёшь, и становились в ряд легкие красивые, пахнущие молодой хвоёй, крепким прочным деревом нарты-легковушки, какие не стыдно по первому снежку запрячь в четвёрку молодых хоров.

Работал Хасава, а сам неотступно думал: мало, оказывается, человеку родиться, мало жениться, мало даже состариться, а важно поумнеть, важно через пот и слёзы пройти, чтобы узнать настоящую цену жизни и радости.

И в десять раз дороже, родней были олени, которыми оплачивали ему люди работу, и важная, не всеми понимаемая истина понемногу открылась ему: олень — корень жизни ненцев, его душа.

И через два года крепче стал Хасава, совсем другими глазами увидел жизнь... Как вдруг... полярное солнце опустилось на вершины дальних деревьев золото-красным орлом. Приехали гости, такие неожиданные, дорогие, что Хасава не мог и слова сказать. Приехали дети, сын и дочь, жившие далеко от него, но не забывшие отца и кусочка земли, и гнезда, откуда бог дал им вылететь. Приехали на попутных нартах, поверх русской одежды на них были надеты тяжёлые меховые гуси. Немая жарко натопила печурку и была так рада трёхметровому куску ситца и, конечно, брату и сестре, что готова была самоё себя в печь сунуть, лишь бы он горел тепло и радушно.

Сын, взрослый, незнакомый, сел рядом и из кармана, глубокого, как земляная яма, достал бутылку спирта. За чаем и спиртом гости согрелись, разговорились, вспомнили и пожалели покойную мать. Дети жили хорошо. Дочь с семьёй, муж у неё русский, остался с ребёнком. Сын мало говорил о себе, больше пил, но пьяным не становился. Ростом

он раза в два выше отца, и, глядя на него, Хасава невольно распрямлял свои худые плечишки. Чувствовалось, что живёт он крепко, основательно, гвоздём в жизни сидит — не выдернуть, не сломать.

На радостях забили оленя, грех для детей жалеть. Дети-гости поели сочного мяса, ещё раз выпили, и, когда усталые с дороги спали рядышком, укрытые большим меховым одеялом, ему вспомнились давние добрые времена, когда была жива их мать, а жизнь, как вешняя вода, только набирала силу. Он долго не ложился, и немая тоже не спала, всё приставляла к груди кусок яркого цветастого ситца, и лицо её светилось-переливалось радостью.

Хасава поднялся, вышел на улицу и, надев поверх малицы меховой гусь, пошёл к оленям. Они узнали хозяина и не встревожились. Отыскав в снегу уютную ямку, вырытую оленем, Хасава уселся в неё, здесь не так сильно дул ветер, можно полежать, подумать. Дети приехали, как хорошо! Будет большой и добрый совет-разговор. Ему будет стыдно и радостно от того, что сумел-таки не упасть на четвереньки, не измазать лицо гадостью и ненцам, сородичам — содрузьям своим, может в глаза смотреть. Дети о беде узнали, не стали ждать, когда он попросит помощи, сами приехали.

Было холодно. Жгучий февральский ветер сердито бился о снег, о маленькие северные деревца, корёжа и уродуя их слабые тельца, в нём было много бессильной злости, так непонятной сейчас старому ненцу. Зачем злиться, когда можно радоваться?! Дети приехали, сын приехал, а завтра они выедут в тундру, подальше от женских глаз да ушей, и он сам расскажет сыну о грехах, покается ему. И пусть будет больно, но не чужой человек осудит, а жалеющий сын.

До самого утра не уснул Хасава, готовя себя к ответу, и когда тонкий серебристый дымок поднялся над его одиноким чумóм, поспешил к теплу. Дети ещё спали, а немая хлопотала у огня, и Хасава сперва так и застыл у полога — на дочери новое платье. Он не выдержал и тихо засмеялся — значит, и немая не спала, радовалась.

За утренним чаем дети больше молчали, и если начинали говорить, то только по-русски. Слова их, резкие, как кличи воронов, завидевших падаль, наводили на мысль о жестоком споре, который они решили закончить за родительским столом близ родового очага. Немая и старик не мешали им. Дети так не походили на себя вчерашних, что Хасава стал с тревогой подумывать, может, что не так сде-

лал и плохо принял дорогих гостей. Только сейчас он увидел, как повзрослели дети. У дочери из-под узкого, не ненецкого платья, вываливался большой тряский живот, и лицо в морщинках. Сын же по годам был младше её и выглядел молодцом. Поглядев мельком на отца, он что-то сказал сестре, коротко и сильно. Она ответила ему так же. Хасава сильно встревожился, ему не хотелось, чтобы дети в родном чуме, за чаем, разругались, и чтобы отвлечь их друг от друга, он повернулся к сыну:

— Что ты сегодня думаешь делать, сын?

— Отец, я... мы хотели бы... хотим уехать сегодня. Только вот...

— Как?! Как сегодня?! Ты и оленей своих... наших не видел, к матери на могилу... надо бы. Ты слово... — старик чуть не сказал о важном, о чём всю ночь думалось, не спалось, но промолчал, не желая торопить себя и сына в таком деле.

— Оленей я увижу... Ты, отец, — сын половину сказал по-русски, и старику показалось, что специально это сделал.

— Отец, ты знаешь... Мы никогда не приезжали к тебе, не надоедали, ничего не просили... Мы росли сами...

«Как это — сами? Дети не цветы земные, чтобы взять и самим вырасти», — растерянно думал старик, силясь понять, к чему это клонит сын, уж не начинает ли при женщинах мужской непростой разговор.

— Отец, ты должен нам помочь. Нам нужны олени. Ты когда-нибудь должен будешь нам... Ну, понимаешь? Отдать то, что нам положено... По закону.

Хасава опешил:

— Как? Вы ведь живёте там, где олени совсем не нужны. Где вы их будете пасти? И нарт у вас нет, — спросил он, а сам представлял, как у сына в доме с четырьмя острыми углами ходят олени и ищут на полу и стенах ягель.

— Нарт и оленей нам не нужно, а вот деньги нужны, — с раздражением ответил сын и откинулся назад, в тень.

— Но у меня нет денег... есть маленько, но...

— А олени? Разве это не деньги?

— Оле-е-е... — Хасава вдруг с ужасом, почти наяву, ощутил в ладонях тяжёлые, душные пачки денег... Вот они... гладкие, свинцовые... Каждым пальцем, каждой кровяной жилкой на них он ощутил проклятую тяжесть денег, а глаза видели совсем другое... много-много оленьих глаз, больших, застывших в ледяной тоске, а на длинных ресницах висели

и не таяли голубые слёзы. Он вскрикнул и торопливо закрыл лицо руками. Но перед взором души с бешеной скоростью стали мелькать: пачки денег и глаза с голубыми слезами. Деньги, глаза, много денег, много глаз... И чтобы не заплакать, он стал тихо, ритмично повторять, покачиваясь взад и вперёд:

— Олени не деньги... Не деньги... Не деньги, нет.

И пока не перестали мелькать перед ним деньги и глаза, он всё повторял тихо и твёрдо: «Не деньги!». Дети смотрели с удивлением и досадой и никак не могли сообразить, что это — забытый ими древний ненецкий ритуал, без которого отцу нельзя обойтись в подобном разговоре, или отец того... с ума сдвинулся.

— Дети! Олени не деньги, — рвущимся от волнения голосом повторил Хасава, понимая, что остался совсем один со своей новой жестокой бедой. Немая, не замечая, что вытирает руки, перепачканные в золе, о новое красивое платье, широко раскрыв рот и глаза, смотрела на брата и сестру. В глазах у неё стояли слёзы.

— Дети, олени — это не деньги, — печально и тихо повторил Хасава. — Это... — и опять замолчал.

Белые, сытые лица детей ничего не выражали, кроме удивления и недоумения. Откуда им, ушедшим из чума с тех пор, как у них перестали плесневеть сопли под носом и как научились подтирать сзади одно место, откуда им, выросшим, выхоленным в чистоте и тепле, знать, что такое олень и какова ему истинная цена. И откуда им познать, что понял их бедный отец через горе, страшней которого и быть не может для ненца. Он стал безоленным, он не может кочевать. Стал птицей без крыльев, стал высохшим деревом без живительных корней. Как хотелось старику самыми сильными словами сказать, что не деньги олени, а братья по жизни, неутомимые, святые братья по судьбе и горю.

— Мы понимаем тебя, отец. Но нам нужны деньги. Зачем? Тебе не понять. Да и говорить долго. Нам нужны олени — пять ей и пять мне, — жёстко сказал сын, разминая затекшие ноги.

— Ты же обязан, отец... Вон русские родители помогают своим детям. Ну, сколько могут, а мы? Мы от тебя не видели ни клочка шерсти, ни песцового хвоста. Ты и сам понимаешь, что должен нам, — дочь говорила эти слова, глядя на брата, и он в ответ согласно кивал ей головой.

Так вот... Вот зачем приехали дети, не на совет, не на

помощь, а похоронить... ещё живого отца! Не дети, а чёрные вороны, вечные спутники волка завидели, учуяли падаль, но не рановато ли прилетели? Есть ещё дыхание, есть силы, остались остовы крыльев, а на них обрывки перьев. Он должен... А они? Забыли закон своей земли — дети кормят отцов и матерей, став на ноги. В люльку жизни ложится одряхлевший, и качать его должен тот, кого качали в своё время. Ведь это закон не только их земли, это непереступаемый великий закон всего живого. И как хорошо они поняли другой, чуждый — взять у родителя, пока он может дать. Вот зачем приехали дети... Дети-гости, дети-вороны...

Хасава низко наклонился, чтобы скрыть свои чувства и беспомощность, взял чашку, отхлебнул остывший чай. Что делать? «Ты нам должен» — какие умные слова знают дети, те, для которых он в жаркие комариные дни ловил рыбу, зная, что придёт время, они для него наловят, чтоб не был пустым его старческий котёл, утирал их чистые слёзы, зная, и их руки оботрут дряблые щёки, снимая с них печаль, обиду, а заодно и смерть, и страх. «Ты нам должен»... А разве поймёшь толком, кто кому на Земле должен. Необъяснимым чутьём старик понимал, что долг, чей бы он ни был — отцовский, сыновний, совсем не то, о чём говорили ему дочь и сын.

Долго тянулось неловкое молчание. Немая убрала со стола. Убрала и сам стол, собрала в кучу посуду и, вся насторожившись, подбадривала огонь дрожащими руками.

Хасава поднялся, не глядя на детей, не сказав им ни да ни нет, вышел на улицу и уже оттуда слышал, как они разговорились и снова как будто ругались между собой. Окликнув собаку, он медленно пошёл к оленям. Остановившись неподалеку, приказал собаке лежать, не шевелиться. Сам же, сняв рукава малицы и спрятав нижнюю часть лица в капюшон, как в давние времена изображали ненцы траур и своё сиротство, стал лицом к стаду и замер.

Солнце не осмелилось выйти на верхушки дальних деревьев, не выглянуло золото-красным орлом. Горизонт был тускл и бледен, и казалось, что не разомкнуться никогда небу и земле и солнцу не разогнать хмурь-тоску, что вечна и всемогуща серая пелена, страшная в своей закостенелости.

Взгляд старика, направленный прямо перед собой, был суров и неподвижен. Губы подрагивали, и с них медленно сходили-отлетали неясные звуки, похожие на сдерживаемый стон.

...Озлобленный, обрызганный кровью и свежим навозом, Хасава весь день убивал, немая ходила за ним и плакала, не сдерживая и не пряча своих слёз. Перед тем, как выйти, она дрожащими, но сильными руками разорвала прямо на себе, не снимая, своё новое платье и мыча, бессильно бросала в лицо сестре и брату яркие куски ситца.

Сначала Хасава старался бить телят этой весны, не очень хорошо знакомых, но уже сердцу дорогих, а потом ему стало всё равно, и он бил первых попавших под руку. Он выполнял свой долг, свой позорный долг отца, зачавшего и взрастившего детей-воронов, детей-коршунов. И когда десять туш, обезглавленных, вычищенных, распластанных на снегу, выстроились в строгий ряд, подозвал гостей и сказал коротко:

— Вот, — вложил окровавленный нож в ножны, не оглядываясь, вошёл в чум и как был, в малице, так и упал на постель. Глаза слипались, и, засыпая тяжёлым, нервным сном, он еле слышно сказал дочери:

— Увези их... сейчас же.

Ему снился сон. Приехали дети... много-много детей, у них разные лица, рост, но почему-то они все его дети. Большие, сытые, толстые, тяжёлые, как каменные глыбы, они бегают, летают, как пузатые мухи, по чуму, хватают вещи, вырывают их друг у друга, визжат и кричат ему: «Ты наш отец! Ты нам должен! Должен!». А он сидит в углу перепуганным пауком, у которого ветер начал рвать его сеть-плетёнку, и страшно боится. Длинные ногти детей, словно когти громадного орла, царапают и разрывают в клочья его малицу, оставляя на ней зияющие дыры. Они выносят последнюю постельную шкуру, заходят ещё и что-то ищут. Он в диком страхе прячется в темноту, ему кажется, что теперь они ищут уже его самого, чтобы разорвать на мелкие куски... Не найдя, все уходят, уползают за ними их длинные лохматые тени, чум пустеет, и в нём сразу становится холодно, просторно.

Просыпается Хасава от холода. В чуме темно, и он не сразу вспоминает всё, но вот постепенно ужасное лицо прошедшего дня и ещё более ужаснейший смысл его начинают доходить до него. Воспалённая память выделяет то одну, то другую картину. Сдержав за зубами отчаянный стон, он быстро поднялся, зажёг лампу и кинулся к печке — хотелось тепла, обыкновенного живого тепла, от внутреннего озноба у него начинают щёлкать зубы, как у озлобленной соба-

ки. Отыскивая на постели табакерку, он нечаянно нашарил в полутьме что-то гладкое, холодное, склизкое... Что такое? Бутылка... Откуда? Ах, это родные дети... выполнили свой долг... Вон что... Злая, кривая усмешка появляется на лице старика. Ай да дети, умницы какие, догадались, мол, вот, отец, облегчи своё сердце, запей водой волшебной своё горе... А-а-а, щенок говнивый...

Осторожно, словно какого-то гадкого зверя, взял старик бутылку за самую головку и вынес вон. Отыскав широколобый камень, изо всей силы хряпнул её. Она пискнула, как раздавленная мышь, и долго в глубокой, голубой от луны тишине где-то за мысом звенел и не таял тонкий звук, похожий на отчаянный крик.

Луна и около неё звёзды горели ярко, как свечи. Было светло и тихо, будто вся громадная Вселенная только что сотворила покойную молитву и теперь была умилена и восторженна. Отыскав лопату, старик собрал в кучку осколки бутылки, чтоб не ранили случайно ног оленей, и сверху прикрыл их камнями, потом взял большие санки, с которыми немая ходила в лес за валежником, и начал таскать куски снега на то место, где было много крови. Полночи таскал, ровнял и притаптывал Хасава куски снега, пока залитое кровью место не стало сверкать под луной подсиненной чистотой.

— Ничего не было, — прошептал он, садясь на нарту, придирчиво оглядывая свою работу, — ничего не было...

Да, не было ничего, приснился сон. На то они и сны, чтобы сниться, сказать иногда людям то, чего в жизни не случается. Ничего, кроме того, что в глазах олених долго не будет таять боль, как бы он ни утешал их, говоря, что придёт весна, которую никакая сила не сможет остановить, и у ног их на мягких травах и цветах снова и вечно будут резвиться их дети.

Далеко за полночь, уже под утро зашёл Хасава в чум, снова затопил угасшую печь, сел у горячего её бока и опять, уже в который раз, стал думать, как жить дальше, где та скала, та сила-правда, не маленькая, не чья-нибудь личная, правда не воронов-падальщиков, что прилетали к нему, приняв его за труп, не грязненькая правда-выгодушка, а та, что вынесла род людской из кромешной тьмы, душой благословила да сказала: «Живи, да смотри, о себя не споткнись!».

Мудрёно сказано — о себя споткнуться. Однако в дороге

жизни человек о себя и спотыкается, прочь можно сучок пнуть, камень сдвинуть-передвинуть, дерево срубить-погубить, ров перескочить, другого человека оттолкнуть... А себя самого?

Так закончил Хасава песню-ярабц жизни. Закончил и замолк, но седой головы не опустил: снежные вершины Великих гор не клонятся под тяжестью вековых седин. Так почему же человеческая голова, тоже немалая вершина, должна без великой вины карать себя?

Немая подновила огонь. Наверху, у самого отверстия, стояла полутемень, и в ней вспыхивали жёлтенькие, юркие искры, внизу же было тепло и уютно. Собака, отдыхавшая у огня, уже не спала, а сидела на задних лапах, задумчиво смотрела перед собой, и в маленьких блестящих глазах её мелькало недоумение, казалось, и она была встревожена песней хозяина и теперь пыталась понять своё, собачье.

— Я приехал к вам, и как изуродованное дерево пускает в тени и глуби леса свои последние листочки, так и я... хочу искупить вину свою.

Весна... скажешь это милое слово и невольно замолчишь, ибо только таким благоговейным молчанием можно выразить всё, чем полна душа. Весна — начало доброй и светлой молитвы, забыв которую, люди стали бы жестокими зверьми, опасными в своём желании выжить, и для этого ушли бы в землю, как сделали это в своё время древние люди — сирти.

Алёшка спешит в стадо. Уже давно начался отёл, и маленькие оленята появляются один за другим, как бы торопясь скорей увидеть и понять, что же такое белый свет. Любопытства в них столько, что за ними нужен глаз да глаз, и обязательно добрая собака. Молодые оленихи, только телёночек встанет на неверные ножки, норовят увести его подальше от стада, не понимают глупые, что не уберечь им ни себя, ни своих малышей без человека и собаки. Старые же, опытные важенки не боятся ни собак, ни пастухов, крепко убеждённые, что без человека — не жизнь.

Стадо паслось недалеко, в тёплой, обогретой солнцем ложбинке, и оттуда неслась многоголо-

сая песня весны: авкали маленькие оленята, беспокоились встревоженные матери, а поодаль, у заберегов ещё скованного льдом озера кричали и гоношились вернувшиеся домой птицы.

У кромки леса Алёшка заметил тонкую струйку дыма. У костра шевелился старик Пэтко. Он перебрался жить в стадо, ел и спал здесь, подгонял крошечных оленят, берёг их от волков и холодов, согревая у костра, и никто не мог уговорить его вернуться в стойбище. Казалось, и не спал совсем, прикорнёт, как весенняя куропатка, и снова бодр. Его маленькая, шустрая собачка делила с ним все невзгоды и скромные радости. Он почти не говорил с людьми, а только работал неустанно, охраняя, в сущности, чужих оленей, ведь ему одному уже ничего не нужно было.

Алёшка подъехал к костру, его собака приветствовала маленькую собачку старика дружелюбным ворчанием. Старик поставил на уголья закопчённый чайничек, лицо его ласково оживилось. Он был рад увидеть Алёшку.

— Садись, чаю попей.

Алёшка сел и внимательно посмотрел на старика. Не верилось, что он оживлён и рад, — в стойбище Пэтко редко подходил к мужчинам, а говорил ещё реже. И поэтому все разговоры казались пустыми, мелочными по сравнению с его суровым молчанием. Теперь же голос его звучал просто, даже весело.

— Пей чай, он ещё тёплый.

— А ты?

— Я много раз пил. Посижу, понюхаю табачку и опять пью. Ночь-то длинная.

Старик говорил с охотой, поглядывая на олених, подходящих близко в поисках лакомого кусочка хлеба. Алёшка отпил из кружки несколько глотков, не чувствуя крепости чая, видимо, старик экономил заварку, растягивая её на всю ночь.

— Ты спал? — спросил Алёшка.

— Спал. Всё спокойно, проснулся — солнце высоко стоит.

Но измождённое до черноты лицо, глаза с застывшими в уголках слезами, сгорбленная фигурка — всё говорило о том, что не спал, а как весенняя птица дремал сидя, опасаясь, что уснёт, не учует опасности. Может, измученный мыслями, глядел в землю, и голос его весел не от радости, а от готовности спрятать боль, не показать чужому, что он готов сидеть день и ночь, греться у скудного огня, чтобы быть

одному, не идти в чум, в чужую жизнь, не показать своего бессилия, доказать, что он может быть нужен.

— Ты не спал, дедушка, — неожиданно для себя сказал Алёшка и тут же пожалел — зачем? Разве он утешит, если старик признается, что не спал, думал и страдал. До свадьбы они были связаны одной болью и ожиданием, а теперь в его чуме живёт не та, которую они оба нетерпеливо ждали. Старик прав — надо молчать. Алёшка нанёс последний удар, когда перестал ждать.

Костёр потух. Но ни тот, ни другой не оживляли его, понимая — никакой огонь и тепло не вернёт им той поры, когда тайно от людей, без всякого слова они были родны друг другу. А теперь...

«...Не моя дочь разжигает огонь в его чуме. Не она веселит ему кровь и принесёт сына. Не она провожала утром упряжку, и не ей плакать над ним в последний раз. А значит, и не ему жалеть меня. А мне не просить жалости», — думал старик, глядя в мерцающие уголья костерка, с тоской наблюдая, как гаснет глазок за глазком. Умирает огонь, который только что грел его. Так же меркнут людские чувства, становясь пылью, даже самые лучшие, искренние и чистые. Никого не осудишь и не попрекнёшь за это. Приходит осень, желтеют листья, сохнут цветы и травы, и люди не ропщут за это на природу.

«...Смогу ли объяснить, что не перестал ждать его дочери, хотя в моём чуме живёт девушка, не ставшая женщиной. Я не взял её и не возьму. Поверит ли? Не засмеётся ли он, если скажу об этом?» — размышлял Алёшка, тоже глядя перед собой. Слова жгли его. Их нужно было сказать, иначе они всё сожгут внутри, и в душе останется один пепел. Какой прекрасной кажется жизнь, пока не начнёшь её жить сам...

Прошло время. Есть особо тяжёлое молчание. Оно подобно казни, которой люди добровольно себя подвергают, не понимая, что природа предоставила им прекрасную, а иногда и единственную возможность очистить и облегчить душу. Уходя из человека, слова уносят с собой яд тревоги, обид и сомнений, подобно тому, как ветер своей яростной силой выносит из леса мёртвые листья, пыль, сухую пожухлую траву — всё, что отжило, отцвело, отшумело. Не щадим, не бережём свои души и до отчаяния жаль, что перестали исповедоваться. А как хочется беспощадной исповеди, чтоб во всём признаться и, затихнув со слезами на глазах, ждать прощения, отпущения грехов.

Первым поднялся старик, не глядя на Алёшку, стряхнул с малицы крошки хлеба и, горбясь пошёл к нарте. Шёл он медленно, с трудом передвигая усталые ноги, но вдруг остановился и так несколько мгновений неподвижно стоял, потом вернулся и сказал тихо, будто не было между ними истошного молчания:

— Я не спал, я теперь часто не сплю, — помолчал опять, раздумывая, стоит ли говорить, но тут же отбросил сомнения.

— Ни один человек не становится деревом вечности, придёт время, умру и я.

Совсем редко начинает говорить старый человек с молодым, считая, что малое дерево зелено да глупо.

— Я умру, Илне приедет на мою могилу, передай ей тогда моё слово.

Старик замолчал, но не раздумья и сомнения мучили его. Сильно и часто билось сердце, и он пережидал, когда оно успокоится. Старик смотрел на Алёшку, самого близкого человека, ибо до конца своих дней этот парень будет носить в себе его последнее слово, и не жалел, что начал.

— Она будет плакать, не жалей её. Я устал ждать. Ты тоже устал. И правильно сделал, что женился. Скажи — я долго хранил чум, поставленный руками её матери, берёг вещи, долго был одинок, но ещё дольше верил ей... Два раза на Вершины Великих гор упадёт и растает снег, и моя жизнь кончится. Я проклял дочь, не щади, скажи ей об этом. Усталость и холод живут во мне, и уже давно моя душа, как чум, в котором больше не разжигают огня.

Старик поник головой, но тут же внимательно посмотрел на Алёшку.

— Часто, кочуя в горах, мы проезжали мимо одного места — Пэ-Сюмб — сердца Великих гор. В особый час ступает там нога человека. Лицом к восходу стоят на неприступных скалах хозяева гор, покрытые божественными одеждами — Белым ягелем, чистым, как седины. В тени теней, глубоко за спинами Великих, я поставил в начале жизни Того, кто дорог мне. Я ездил к нему в дни, когда считал, что счастлив. Ты найди Его. Он одет в наши земные одежды, — старик устал. Иногда легче камни таскать, чем сказать слово. Не скрываясь, он вытер рукавом малицы подступившие было слёзы и ловко оживил костерок. Разгоревшийся огонь вызвал в обоих желание облегчить душу.

— Я дам тебе семь молодых быков голубой шерсти. Запрягай их в путь, о котором тебе скажу. Первый раз поезжай,

когда... когда я умру. Разведи огонь, угости и говори с Ним, как сейчас со мной.

В середину жизни поезжай второй раз. Поступь твоя будет тяжелей, поступь прожитых лет. Одежды, которые я надел на Него, истлятся, и ты увидишь Его белое каменное тело, голое, как при рождении. Разведи огонь и говори с Ним. О чём? Это твоё дело.

В третий раз поедешь, когда у тебя будет седая голова, усталое, как у меня, сердце. Есть чёрный ягель, ягель печали. Прикосновение к нему холодит руку в самую жаркую пору. Если тело Его зарастёт этим ягелем, не разжигай огня. Он мёртв. Значит, мало любви было в моей жизни. Так умирают Души.

Ясными глазами смотрел старик на Алёшку, будто сидел перед ним уже седой, умудрённый жизнью старец, которому три раза суждено подняться в сердце Великих гор и понять, живёт ли после страданий Душа.

— А есть Белый ягель — «Ягель солнца». Он светится даже в самую тёмную ночь. И если время оденет Его в этот ягель, тогда разжигай большой огонь, забей семь голубых быков. Сыну завещай чтить это место. Не будет сына — завещай людям. В таких местах живут Души.

Пэтко поднялся, подобрал свою скудную котомку с остатками еды, внимательно посмотрел на Алёшку, не роняя в землю взгляда, сказал:

— Когда ко мне пришло горе, я помню, ты сказал: «Отец, пусть твоё сердце будет больше неба». А сейчас я говорю тебе: «Сынок, пусть твоё сердце будет больше неба, чтобы в нём, кроме гордости, умещалась жалость», — и не оборачиваясь, пошёл к нарте. Глядя ему в спину, Алёшка медленно склонил голову.

Маленькое сердце человека и огромное бездонное небо... Не упрёком вернул его слова старик, а завещал чувство, которым он пренебрегал. Говорят, жалость — мать любви.

За утренним чаем Вану заметил, что старик оживлён, во всей его фигуре, в лице, в движениях чувствовалась радость. Вану несколько раз пристально посмотрел на него, но ничего не понял, кроме того, что старый друг его сегодня необычно весел.

Пэтко чувствовал прилив какой-то радостной

силы, ему казалось, что это утро особенное. Ещё раньше, в постели, он лежал с открытыми глазами и не мог понять, что случилось с ним. Впервые за год горя он принял своё пробуждение, как возвращение с того света. Хотелось вздохнуть всей грудью и поверить, что темень ночи ушла и сверху на него льются золотой свет солнца и свежий здоровый воздух. Так, наверное, чувствует себя цветок, переживший непогодную ночь осени, радостно встряхивает с чашечки лица жгуче-холодную росу, выпрямляет озябнувший стан-стебель. И его всего, от корней, глубоко спрятанных в земле, до самого последнего лепесточка, пронизывает страстное желание соединиться со всем живым.

И вдруг Пэтко понял. Он хочет того же. Соединиться. Както по-другому, по-новому соединиться вновь с теми, с кем он прожил жизнь. Не вытеснить, не защититься, не одному быть сильным. Сила нужна только хищнику, чтобы под покровом ночи обидеть слабого. Человек не волк... И совсем необязательно ему одному быть сильнее многих, чтобы выжить.

Дрожащий от внутренней радости старик провёл по лицу обеими руками, словно стирал паутину грусти. Вану и даже женщина поняли, что старик хочет сказать важное, и ему нужно помочь. И поэтому женщина не поторопилась убрать стол. Заметив, что чашка старика полупуста, она долила горячего чая, а Вану, откинувшийся назад на подушки, сел, давая знать, что слушает друга.

Пэтко взял в руки табакерку, но тут же забыл о ней.

— Сегодня я будто впервые увидел, как, опираясь щекой о край земли, поднималось солнце. И понял: смерть дорогих людей — не смерть солнца. Я надоел вам со своим горем, если так, простите меня...

Слабый румянец покрыл его впалые щёки, светлые глаза улыбались. Не каждое старое дерево оживает, если на нём топор человека оставил глубокие раны, или шквальный ветер оборвал, искалечил живительные корни. И если по ранней весне на погибшем дереве зацветёт хотя бы три ветки, и на них — листья памяти, листья любви и листья надежды, то мир достоин называться Божьим.

— Понял я и другое, — произнёс Пэтко, смущаясь. — Скажи, много ли нужно мне? — спросил он у друга, но было видно, что ответа не ждал, потому что уже знал, сам знал: одинокому человеку, кроме солнца, ничего не нужно.

Вану не решился ответить. Он не очень понимал, что задумал старик. И чтобы ответить, он неопределённо кив-

нул головой. Но Пэтко, занятый своими мыслями, не заметил этого.

Когда женщина убрала стол, он быстро вышел. На улице ярко светило солнце, множество весенних ручейков журчали и весело переговаривались, будто затеяли неуёмную детскую игру. Птицы весны повсюду кричали, свистели, пели, и старику казалось — дети неба говорят между собой о том, о чём давно перестали люди.

Вчера в первый раз стойбище снова поставило чумы на том месте, где год назад Пэтко оставил свои нарты. Они стояли в тени трёх могучих деревьев с одним мощным стволом и, казалось, оттуда подглядывали за людьми и хозяином, стараясь предугадать свою судьбу. Может, придётся истлеть тут, стоять дни и годы, уйти в землю, сначала травой зарастут полозья, мхом и ягелем покроются копылья, познавшие долгий путь и короткую дорогу. Может...

Пэтко не был бедняком, а женщина Ламдо лентяйкой, и крутобокие нарты, ожидавшие своей участи, наполнены не мешками с сухим мхом. Женщина Ламдо готовила приданое для дочери хлопотно, как птица-мать гнедо. Не только одна, а десять дочерей оделись бы и не постыдились выйти в люди.

«Хорошо птицам — они понимают друг друга, оттого так славно поют», — и с невольной тоской подумал, поймут ли его сегодня сородичи так, как хотелось ему.

Подойдя к своей нарте, он взял из-под шкуры сиденья янгабчь и подошёл к Вану.

— Пойдём, — сказал он и кивнул в сторону ожидающих нарт. То, что они ждут его, Пэтко не сомневался. Вану молча последовал за ним. В походке старого друга что-то сегодня не так, как всегда.

Нарты стояли в ряд, в одну строгую линию. Недалеко от них Пэтко задержал шаг и невольно опустил в землю глаза, будто был в чём-то виноват. В этих нартах спит его прошлое, тут захоронено счастье, дыхание и тепло ушедших дней. Каждая малая вещь оттуда, куда теперь не воротишься никогда. Казалось, только тронь, и всё закричит от боли об ушедшем. Вещи-сироты, нет тех, кому они были нужны. Но он должен коснуться их в последний раз и незаметно для людей проститься, благословляя их на новую жизнь. Наказуя помнить, что нет на земле ничего такого, даже вещи, у которой не было бы своей судьбы и особой памяти.

Вану не решался о чём-нибудь спросить, чувствуя, то, что решено другом, уже ничем не отменить. Он оглянулся

назад и увидел старика Хасаву, шагающего к ним, сюда направлялся и Алёшка. По всему было видно, что и женщины стойбища встревожены. Они стояли вместе и молча смотрели на мужчин. Они знали другие дни, когда большой, богатый чум Пэтко стоял на земле крепко, как скала, и каждая из них почитала за честь попить чаю за дубовым столом женщины Ламдо. Никто из них не мог бы сказать, что их подруга по стойбищу была жадной, но, как всякая мать, считала, что дочь должна начать жизнь не нищенкой. И вот нет её, нет чума, а дочь... Она даже не приехала хоронить мать. И стоят десять нарт, полных приданого, стоят сиротливо, будто виноваты в чём-то перед людьми и жизнью.

Осилив себя, Пэтко слабо кашлянул. Невольно сомкнув плечи, стояли рядом сотоварищи по жизни, и Пэтко вдруг вспомнил, что они стояли так всегда, не только сейчас. Они помогли пережить горе и по-новому увидеть солнце. И поэтому не надо медлить. Он повернулся к Вану и сказал твёрдо, как в былые дни, когда был не стариком, а мужчиной и хозяином:

— Позови женщин. Они сейчас будут нужны.

Вану махнул рукой, и женщины несмело, одна за другой подошли и встали в ожидании. Пэтко обернулся ко всем:

— Я хочу, чтобы сегодня здесь не осталось ни одной нарты-сироты. Помогите мне. Пэтко посмотрел украдкой на солнце, подошёл к первой нарте. В каждом аргише она идёт первой. Это женская нарта. Он сам с любовью ставил её на изящные ножки, а жена одела, как невесту. Это нарта дочери, ей предназначалась. В день свадьбы Илне, сама одетая, как солнце, должна была войти в новую жизнь, как понимали её отец и мать. На этой красивой, одетой в семь цветов радуги нарте дочь должна была переехать в стойбище жениха.

С неё первой и начинать. Дочери нет и не было. Пэтко подошёл, и хотя снег с нарты уже стаял, он всё равно ударил янгабчем по её крутому боку, приветствуя и предупреждая. И только после этого, будто верёвка была горячей, осторожно развязал первый узел.

Как к дорогой могиле, которую зачем-то нужно потревожить, приступил Пэтко к нарте, и первая же вещь, попавшая в руки после шкур, покрывавших верх, заставила старика вздрогнуть. Люлька-колыбелька, гнёздышко дочурки, улетела птичка-невеста и не вернулась к родному берегу, холодным и чужим показался ей родной чум. На мгнове-

ние приложился губами Пэтко к холодным доскам дна колыбельки, оттуда пахнуло сухим мхом, былым счастьем, и сквозь шум крови в ушах послышался тонкий, искристый смех дочурки, и пьянящая радость будто коснулась его щёк. Боясь заплакать, он схватил люльку, и множество богатых колокольчиков прозвенели заливисто. Не глазами, а одним сердцем нашёл среди людей Пэтко молодую девушку, двумя руками подал колыбель дочери.

— Возьми. Она не должна быть пустой.

Девушка взяла люльку и торопливо спряталась за спинами. Потом Пэтко достал дорогие суконные упряжи с старинными бубенцами, большие наголовные колокольца ездовых быков, как только Пэтко взял их в руки, ударили в малиновый звон, и люди невольно замерли. Так чудесны были звуки старинных украшений. И как красиво можно было прожить жизнь той девушке, чьи кочевья воспевали бы эти колокола. Печально вздохнули женщины, и Пэтко остановил движением руки чудесный звон. Мгновение стоял молча, не зная, кому передать эту красоту. У него было так хорошо на душе, будто он держал в руках не вещи, а кусок весеннего золотистого неба. Этим вещам нельзя лежать и гнить без жизни. Если такая красота перестанет жить, то к чему стоит жить тогда?

Неожиданно Пэтко радостно взмахнул руками, и тут же его глаза встретились с удивлёнными глазами немой девушки, дочери Хасавы. Как же он сразу не подумал? Кто другой, кроме неё, должен кочевать под радостный звон колоколов. Немая. Ей, обиженной богом иль судьбой, только ей слышать до конца своих дней песни радости, которые не пожелала знать его родная дочь.

Тихонечко, счастливо рассмеявшись, Пэтко взял в охапку все зазвеневшие вновь колоколами радужные сукна и упряжь. И понёс на вытянутых руках туда, откуда смотрели на него удивлённые неземной красотой глаза сироты-девушки.

И когда он подошёл к ней, она в ужасе отступила шаг, два и если бы не отец, поддержавший её, немая убежала бы со всех ног. Отец крепко держал её, а она всё качала головой, не в силах отвести глаз от ярких цветов и не веря, что всё это теперь её, и что в длинные зимние кочевья она будет не одна. У неё есть теперь радость.

— Возьми, дочка. Носи, радуйся. Звени.

Немая заплакала в голос. Но вокруг люди счастливо зас-

меялись и смеялись долго, будто дети, сдерживавшие радость. На шум прибежали собаки и, не зная, в чём дело, принялись скакать и тоже шуметь, и этот радостный шум жизни, такой милый и светлый, лучше всяких слов убедил старика, что жизнь не кончается никогда и что солнце, опираясь щекой о край земли, поднимается по утрам для всех — сирот, калек, одиноких, для счастливых и несчастных. И всё, что дальше делал Пэтко, было освящено великой радостью жизни. Чумовые нюки, крепкие, добротные, старик отдал жене своего друга, понимая, что до конца дней будет нуждаться в огне, в тепле, приюте. Жена Вану приняла подарок радостно. Женщина Ламдо ухаживала за чумом так же хорошо, как за мужем. Рукам тоже нужен большой отдых. Не нужно будет лет десять шить нюки.

Пэтко раздал все семь ягушек, которые хранились в отдельной нарте, не обидел ни одну женщину. И всем говорил, перед каждой склоняя голову:

— Носи. Хорошим словом поминай женщину Ламдо. Может, зайду за теплом и чаем.

— Заходи, Пэтко, — говорила каждая с переполненным сердцем, склоняя в ответ голову.

Ни одной вещи не осталось, которой старик не определил бы судьбу. Хасаве он отдал две нарты, одну мужскую, другую женскую, доверху наполнив её шкурами и лапами. Хасава, принимая всё это из рук Пэтко, с минуту не мог поднять голову, совсем не к месту и не ко времени вспомнились ему собственные дети-падальщики, странные чёрные хищники. Они не прилетали больше, и почему-то крепко подумалось, что и не прилетят никогда. И уже совсем не ко времени вспомнилось далёкое-далёкое...

Всё лучшее за столом береглось и давалось сыну — опоре, надежде, радости... А объедки после него... немой, увечной. А теперь увечная каждое утро зажигает огонь в пустом чуме. А где его надежда, опора, радость? Где сын, который съел столько сладкого, жирного, лакомого?

Хасава посмотрел вокруг, будто хотел увидеть того, кого так радостно вскармливал. Но глядя на него, стояли чужие люди, лица их излучали свет. Чтобы не заплакать, он засмеялся. И этот смех был спасением, внутренний взор его видел сытое белое лицо сына, а живые глаза любовались усталым, почерневшим от весеннего ветра и жестокого горя лицом Пэтко. Он подал руку. И когда тот протянул свою, Хасава быстро наклонился, поцеловал твёрдую, как береста,



Старик тихо всхлипнул. Уходили из жизни остатки, последние крохи его счастья, и все по одной дороге, в сторону вечной ночи. Пора уходить и самому, пока не стал обузой для себя и людей. Жизнь прожита. Уйти нужно вовремя и тихо, не пугая людей.

шершавую кисть Пэтко и, прижав её к своему лбу, замер на мгновение...

Когда в лесу или на окраине стоят два старых дерева, сложив друг на друга пообломанные руки-сучья, почти упираясь один в другого морщинистыми стволами, люди говорят — два дерева, а это две Души, измученные тьмой и освящённые любовью друг к другу. И они выдержат старость, до времени не станут жертвой ураганного ветра и зимней стужи-непогоды.

У всех стало легко на душе, будто было выпито вина, но совсем немного, для веселья и радости. Неужели один старик, маленький, как лесная птичка, тяготит огромный мир? И для него не найдётся куска мяса и хлеба, а у огней не останется места, чтобы ему погреть руки и спину? Нет, их старик с голоду не умрёт и на ветру не замёрзнет. Он не сирота.

Чудесное чувство родства со всеми охватило людей, ещё недавно встревоженных непонятным поведением старика-сородича. Теперь это их родной старик и не потому, что он отдал ставшие ненужными вещи. Нет. Он протянул к ним руки, как беспомощный ребёнок к матери. Немая дочь Хасавы, забыв обо всём, сидя под тремя деревьями, прислонившись к их могучему стволу, то и дело тревожила колокола, и их несуетливый звон не раздражал людей.

В две нарты Вану и Пэтко положили то, что считали нужным для жизни старика. Остались его малицы, кисы, упряжь — это не тяготило, не давило на сердце. Даже сами одежды, которые он не снимал со дня горя, показались ему чистыми, лёгкими, а лицо и тело умытыми. Обе нарты были нетяжёлыми, и старики потащили их в стойбище. Оглянувшись назад, Пэтко увидел, что каждый нёс своё, и вдруг почувствовал неимоверное облегчение. Кто знает, может, и дерево, сбросив с себя увядшие, мёртвые листья иль хвою, так же радуется, не скорбит, не жалеет. Может, и человеку нужно без боли, поближе к смерти, освободить жизнь от лишних вещей, вспомнив, что приходит он голый. Не только вещей, а может, и желаний, замыслов, кроме одной-единственной мысли — уйти таким же чистым, как пришёл.

Тихая непонятная радость залила душу, но Пэтко не пытался её понять. Зачем? Всё хорошо. Река течёт, человек видит воду, пьёт её, холодит горячую боль души и не спрашивает, откуда и куда течёт живительная влага. А живительная влага радости, разве важно, где её начало и конец?

По старой привычке женщина проснулась рано. Захотелось, как раньше, подняться, разжечь огонь и посидеть около него, постепенно согреваясь телом и душой. Прошло два месяца жизни со дня свадьбы сына, а она каждое утро просыпалась от желания встать и оживить огонь. Как всякая женщина тундры, мать Алёшки была убеждена, что вся большая человеческая жизнь начинается именно с того, что женщины мира во всех частях земли разжигают по утрам огни, и только после этого мужчины, дети, собаки, олени смогут делать свои дела.

Она уже было поднялась, но опомнилась — вдруг сноха обидится, сын подумает плохо: по утрам место у огня принадлежит не ей. Не её рукам творить рождение огня.

Сноха умела подниматься тихо, как мышь. И на этот раз она не стукнула ничем, не загремела вёдрами и чайником в осенних сумерках утра. Женщина затаилась. Ей нравилась молодуха. Всё делает хорошо и ладно, руки двигаются быстро, как два юрких зверька.

Полузакрыв веками взгляд, женщина продолжала наблюдать. С куска железа молодая сначала убрала вчерашнюю золу, оставив только полуобгорелые головёшки. Затем, придвинув друг к дружке, оставила меж ними уютное углубление. Здесь родится огонь. Женщина улыбнулась и почувствовала, что завидует. Закрыв глаза, она перестала наблюдать и тут же услышала тихий сдержанный всхлип. Приподняла голову и тут же испуганно опустила — сноха плакала. Не вытирая слёз, бегущих по щекам, девушка не переставала разжигать огонь, но вся её сгорбленная фигурка кричала о беде.

Женщина похолодела от своей мысли: «Свет небесный! Неужели не трогал? Не пожалел! Иначе отчего, от какой беды ей плакать тайно. Вот какой сын, никого не пожалел, ни о ком не подумал. Холодное злое сердце»

И только сейчас она вспомнила, что ещё день назад заметила покрасневшие веки снохи, и сын за столом прятал глаза, будто вор. Вор он и есть. Она поднялась, ощущая тяжесть в руках и ногах

и, не скрываясь, подошла к девушке. Та подняла мокрое опухшее лицо, и женщина поняла, что плакала она давно, а тут у огня не стерпела, не смогла скрыть слёз.

— Ах, девочка... — молча, наполненная горячей злобой на сына, она обняла сноху.

— Не плачь. Слёзы уронишь на лицо Огня. Он не должен знать о... нашей беде.

Что беда их общая, женщина не сомневалась. Она погладила толстые косы, и пальцы её коснулись холодной меди украшений. И тут она ужаснулась по-настоящему. Ведь не снимая украшений, девочка ждала помощи. Как забыла она, старая дура, — ведь девушка снимает ложную косу только тогда, когда становится женщиной. Ослепла она и оглохла. Звон радости затмил для неё звон девичьих монист, стонущих о беде.

Женщина ещё раз обняла дрожащую девушку и сказала твёрдо, как умела сказать в иные минуты своей жизни:

— Помни моё слово — место у огня всегда будет твоим. Никто не займёт его. Если не случится этого, пусть мои седины вместе с моей головой спалит Огонь.

Сказав это, она пошла на свою половину, заправила постель и в ожидании, когда проснётся сын, села у огня. Надо найти Слово. Оно должно быть сильней, чем то, которое скажет сын. Место у Огня святое, таких в жизни немного. И правильно сделала, что обещала его доброй девушке. Ну а сын... Так ли свято для него место, перед которым она, мать, всю жизнь склоняла голову, не боясь испачкаться золой и обжечься.

Алёшка поднимался с постели медленно. И по тому, как он молчал, не глядя на мать и жену, она поняла, что он слышал всё. И пусть, даже лучше, не надо прятать беду.

Когда чайник вскипел, и сноха поставила перед мужем стол, она перешла на сторону молодых и села на своё прежнее место. Первые чашки выпили молча, но женщина знала, чем дольше молчишь, тем хуже. Она поставила чашку на блюдце и сказала:

— Сын, посмотри мне в глаза.

Алёшка не сразу, но поставил на стол блюдце. Эти слова мать сказала очень давно всего лишь раз и с той поры никогда не говорила, не напоминая сыну о давнем...

Тяжёлой и скучной казалась жизнь в тундре в первое время после школы, а борьба за полный живот семьи — бессмысленной и ничтожной. И не выдержал Алёшка. Осе-

нью, когда ребята стойбища уходили в школу, он собрал чемодан и, не глядя на мать и меньших братьев, наблюдавших за ним, пошёл к вертолёту, до отказа набитому школьниками. Он шёл и слышал за спиной тихие и робкие шаги своих. Ни мать, ни ребятишки не окликали его. Около вертолёта он обернулся и увидел, как мать отделилась от детей, робко подошла к нему, протягивая для прощания руку. Он пожал пальцы матери, чувствуя, как они дрожат, и тогда мать сказала:

— Сын, посмотри мне в глаза.

Он посмотрел и увидел... длинную зиму, холод, ночные дежурства в стаде, петли на зайцев и куропаток, капканы на песцов и дрова. Чтобы в чуме было тепло, нужно много дров, а для этого нужно много мужских сил.

Он бросил чемодан на землю, вздохнул, как взрослый, и сказал:

— Ладно, пойдём мать.

Братья бросились к нему и, вцепившись в ноги, заревели. Они с матерью, сдерживая себя, чтоб самим не заплакать, еле успокоили их...

Алёшка поставил на стол блюдце. Ну что ж, мать права, нужно когда-нибудь и посмотреть в глаза друг другу, не сегодня, так завтра и, может, чем скорей, тем лучше. И зачем, подобно ночному зверю, гадить в темноте, выйти лучше на свет, и мать снова, как когда-то, поможет ему.

Он посмотрел на неё прямо, открыто и невольно... совсем невольно для себя вдруг понял: перед ним не та мать, что много лет назад, не жалуясь, провожала его. Та могла сама и дров напилить, наколоть, ночь просидеть, карауля стадо, и капкан худо-бедно настроить. Сейчас на него смотрела старая, усталая женщина. Алёшка опустил глаза, как и много лет назад, по пути к вертолёту, он почувствовал себя не только виноватым перед матерью, он снова предавал всё, что дорого ей. И она пожалела сына, сказала не сердито, как хотела, а смиренно:

— Сын, ты мужчина, а я женщина, не могу идти по следу твоего ума. Сам знаешь, распутывать сложные следы зверя — не женское дело. Но... как мать, я могу спросить тебя?

— Да, мама.

— Сегодня утром твоя жена, разжигая огонь, плакала. Почему?

Алёшка не смел ответить. Спрятав под стол подрагивающие руки, он сказал как можно проще:

— Я не люблю её, мама.

— Люблю?.. Что это значит? Жена не сладкий кусок, не жирное мясо, чтобы любить или не любить. Жена — твоя половина, и её жизнь — половина твоей жизни. Так было всегда.

— Но, мама.

— Что мама... Один раз ты уже дал... людям посмеяться надо мной. И сейчас ты этого хочешь? Сколько прошло времени, а ты не берёшь женщину. При этих словах лицо девушки вспыхнуло, а по щекам одна за другой побежали быстрые слёзы. Отвернувшись в передний угол чума, она занялась и без того чистой посудой, перетирая и переставляя её, а непослушные слёзы всё текли и текли.

Эти слёзы, молчание сына и вообще плохое молчание, которое всегда говорит, что в чуме неладно, и утренний радостный чай, который пили с руганью, позабыв о святости еды, всё отдалось в сердце женщины болью.

Но что делать... Сын не щенок, у которого не прорезались полоски глаз, не схватишь его за шкирку, к шесту не привяжешь, вот, мол, место твоё, а в нём есть всё — и пища, и тепло, и радость.

— Мама, я не тронул её и... И сам могу отвезти её обратно к матери и отцу.

— Так... отвезти... Какой ты умный. А скажи-ка мне, кто будет шить тебе кисы, зашивать, латать дыры, готовить дрова и воду, чтобы ты, такой умный, мог пить чай и есть мясо? Кто?! Опять они? — мать протянула перед собой дрожащие скрюченные пальцы. — Они? А кто будет, скажи мне, рожать детей? Чтобы ты не умер под старость как собака. Кто? Я?!

— Мама...

— Нет, не мать я тебе, — закричала женщина. — Не чувствую себя матерью. Ты хочешь, чтобы я ползком, на четвереньках, убирала за тобой. Хватит. Я хочу тихую норку старости и оттуда смотреть на детей твоих.

— Замолчи, мама.

— Не замолчу... Любить... тьфу. Для жизни любить не надо, только собакой быть не нужно. Ты мужчина — жизни голова. Мужчина и женщина сходятся вместе не для игры. Ты кормишь её и детей, она согревает чум, одевает тебя. Так мы жили. Так?! А ты играешь и ждёшь, чтобы и я играла с тобой. А погляди, погляди хорошенько, мне ли время играть?

Она склонила над столом голову, щедро блестевшую сединой, и некоторое время сидела так, давая сыну опом-

ниться, найти слово, единственное, верное. Но Алёшка молчал. Мать не удивила, не поразила его своей правдой, всё было так, как она сказала. Да, это большая правда суровой, тяжёлой жизни, в которой муж и жена связаны между собой крепко, как пелей и передовой. Один из них упадёт, второй не потянет, и не пойдёт вперёд упряжка Жизни.

Неужели всё так до обидного просто? Но для такой жизни человеку не надо много, хватило бы животных инстинктов, и были бы тогда люди-мыши, люди-волки, люди-черви...

— Ты долго молчишь, сын, — подперев голову, мать смотрела на него, как и в начале разговора, требуя ответа на вопрос, на который он не мог ответить.

— Молчу, потому что думаю.

— Думай. У тебя на плечах не кочка, а голова. Но ты сам не знаешь, чего хочешь. Сам не живёшь и нам не даёшь. Бери женщину, а если... не хочешь, я... сама тебя на неё положу.

Резко поднявшись, Алёшка отодвинул ногой стол и вышел. На улице стояла запряжённая упряжка, олени время от времени сильно, с шумом встряхивались, и от них, словно дождевые капли, отскакивали надоедливые осенние оводы и мелкие комары.

«Мне бы так встряхнуться», — со злостью подумал Алёшка, не садясь, а бросая себя на нарту. Олени понесли быстро, а хотелось ещё быстрее, и он, покрикивая от злости, чтоб не заплакать, гнал и гнал их. Встречный горячий ветер упруго шумел в ушах, не охлаждая щёк, не принося с собой ни успокоения, ни здравой мысли, за которую можно было бы уцепиться.

«Сама уложу»... — звучали обидные слова матери, и хотелось громко рассмеяться над ними, но вместо смеха подступали не мужские, бессильные слёзы. После этого разговора в чуме установится молчание, какое бывает в зимнем лесу между деревьями, насквозь прихваченными морозом. И пусть. А любовь всё-таки есть, и она всему живому душа и голова, а то, что предлагает мать, мышиная жизнь.

«А я не хочу такой... — упрямо думал Алёшка, всё погоняя оленей. — Не я придумал любовь, и не мне отвергать её».

Проезжая мимо негустого, почему-то по-летнему весёлого и широкого леса, Алёшка заметил на его окраине два невысоких деревца, стоявших рядом, почти вплотную друг к дружке, наверное, так, что издали можно было подумать, что у них один ствол, а верхушки две. Алёшка остановил

упряжку, подошёл к деревцам и стал внимательно их осматривать. Нет, ствол у них не один, каждое деревце стоит само по себе, а внизу, усыпанные сухой травой, выглядывают крохотные маленькие лиственнички, растопырив во все стороны слабые жёлтенькие веточки.

Поражённый внезапной мыслью, Алёшка начал ходить от одного дерева к другому, углубляясь всё дальше в лес, и даже в самой его гуще, где, казалось, деревья стояли беспорядочно, не подчиняясь никакому закону, он угадывал и видел семьи. Вот дерево-отец, оно мощно раскинуло руки-ветви, сильные и упругие, с молодой блестящей хвоей, верхушка его высока, и иголки на ней, словно седины, голубоваты. А это дерево-женщина, ствол её пахнет солнцем, будто молоком, кора её тепла, а многие сучья корявы и пообломаны. Не одной зимы снег ложился на них, и ей приходилось принимать на себя тяжесть ветров и бурь, чтобы внизу не погибли до времени дети-деревья, одни из них повыше — уже взрослые, а самые крохотные, ещё в зачатии, как всё равно у людей — младенцы в люльках.

Но особенно взволновали Алёшку два тонких, стройных дерева с желтоватой спелой корой, и словно веснушки, на них тут и там светло-голубые мохнатые пучки оленьего меха. Красивые, ладные, они слабо покачивали ветками, будто танцевали таинственный, исполненный нежности танец. Внизу, у стволов, у них не было детей, зато сочно полыхали зелёные кустики ягоды брусники.

Любуясь ими, Алёшка опустился неподалеку на сваленное, вывороченное с корнями дерево и подумал: «Что поставило их рядом, как не любовь? Одному из этих деревьев не нужно шить рукавиц и кисов, а другому — ходить на охоту и кормить семью. Но... они стоят рядом, они любят, греют друг друга в тёмную ночь, просыпаются вместе, радуются утру и солнцу и живут. И будут жить бесконечно долго.

А он? Так и состарится в нелюбви, ему не с кем встречать утро и солнце. И не дождаться той загадочной, желанной осени, когда не завянут листья, не отцветут цветы. Нет. Он придумал её сам. Он многое придумал сам от боли, отчаяния и обиды. Все осени одинаково жестоки. Все надежды припорошит снег...

...В чуме женщина не сразу смогла подняться на ноги, разговор с сыном отнял много сил, руки опустились. Гнездо жизни, которое она устраивала с радостной надеждой, грозило разлететься, так и не успев укрепиться. Мечты о

полном чуме, смехе детей-внучат — всё полетело, как сухие былинки-травинки, ничего не удержалось. Эх, сын... Жизнь — накрытый стол, всё есть: и еда, и питьё, пешком не ходит, на собаках не ездит. Не голодно, не холодно рукам и ногам, и в спину не задувает.

Разбитая от непонятной усталости женщина вышла и села на первую попавшуюся нарту и, взглянув на солнце, увидела, что оно стоит в начале своего дневного пути. Ей показалось, что у ней сегодня не хватит сил дожить до вечера, когда можно будет спрятаться в постели. Там, в ночи, она может быть слабой, растерянной, может признаться себе, как тяжела для её плеч и души непосильная ноша — жизнь.

Никогда и ни от какой работы она не чувствовала себя такой усталой, но ещё хуже тяготила душу обида. Зачем и ради чего она растила сыновей. Чтоб сейчас сидеть и понимать, что зря пролито столько слёз и пота, и что её малые женские силёнки ничто против надвигающейся чудовищной беды, невидимой глазу. Она жалела детей, когда те были малы и кричали из люлек, жалела, когда подросли и уходили в чужую жизнь. И сколько ни помнит, всё жалела их, а теперь... где жалеющие её?

Глубокая пора осени чем-то походит на старость. Ветер, страх и слепые жестокие дожди, а хочется тепла, уюта, хоть маленького, хочется прижаться к берегу жизни, затаиться в укромной чаще приветливых кустов и, сложив мокрые разбитые крылья Надежды, отдаться на милость Божию, на суд Отцовский и плакать, плакать, плакать...

И никто, кроме него, Милосердного, не поймёт, что ты плачешь, ибо слёзы и капли дождя бегут по щекам, и кто разберёт, где слёзы твои, а где небесные. Подбирая в дрожащую руку, как в чашу, одну слезу за другой, мать не замечала вокруг другого мира, кроме того, что жил в её душе. А кругом стояла хрустальная, ясная пора молодой осени. Уверенные в своей вечной молодости и жизни, полудремали в неге деревья, и тихий ветер не срывал, а плавно ронял на золотую землю тёплые листья. И они ложились на грудь матери-земли покорно и радостно.

Небо в сильных радужных облаках раскинулось, как диковинное поле в причудливых цветах, и волна в ближайшем озерке плескалась нежно, прощаясь со своим берегом до лучших дней. Ничто не готовилось к осени жизни. Земля уходила в отдых, в отрадный сон, чтобы проснуться в предвкушении жизни ещё лучшей. Никто, кроме разбитой горем

женщины, не чувствовал старости и смерти. Просто мир уходил в желанный покой.

Слёзы высохли, и женщина устало повела плечами, хотела было встать, покорная своей несладкой судьбе, чтобы со вздохом приняться за тяжкий свой труд, душой не воспрянув, как вдруг замерла снова...

...Тоненько, удивительно чисто и радостно, донеслась знакомая песенка — сюрли, сюрли, сюрли. Это недалеко, за цветным осенним бугорком, запела птичка тюльсий — небольшая, серая, с чёрным опрятным воротничком на груди. Эта птичка поёт судьбу. Редкий человек не слушал и не любил их песни, особенно женщины. И поют они чаще всего женскую судьбу. Как затянет тюльсий своё унылое, безрадостное, длинное — тюсий, тюсий, так жди, женщина, раннюю седину в голову и печаль неподъёмную в сердце. Жди осени жизни раньше дней своих, жди дождей и много работы. Собери душу в кулак и жди беды.

А то коротко, тревожно, начнёт вскрикивать тюльсий, быстро перелетая с кочки на кочку и вытягивая щейку — ы! — ы! Значит, жди, женщина, вести, в пути к тебе человек, а с чем придёт — Богу ведомо.

Но сейчас тюльсий упорно пел — сюрли, сюрли. Тюльсий пел свою самую замечательную песню и не мог остановиться, будто неустанно сыпал вокруг себя цветные шарики радости.

Женщина улыбнулась и невольно зашептала:

— Добрая моя птица. Птица-вестница. Солнышко да радость мне сулишь? Это мне-то, старой... Нет уж, не «сюрли» мне пой, есть у тебя другая песня. Песня осени и одиночества.

Она прислонилась спиной к нарте, устремив глаза, полные слёз туда, откуда неслась простенькая, но родная песня тюльсия.

— Жалобную мне пой, тюльсий — «тюсий, тюсий». Дождь осенний падает на голову, на седину мою, не смывая её. Не пылать красной морошкой щекам моим и губам. К долгим тёмным дождям готовлюсь — «тюсий, тюсий».

Но упрямая, непослушная птица пела совсем не ту песню, которую просила женщина. Наполненное страстным желанием солнца, уже в сотый раз твердила она своё тоненькое, светленькое «сюрли», похожее на звон серебряного колокольчика, позабытого игравшим ребёнком на ветке красного тальника.

И постепенно высохли последние слезинки на щеках

женщины. Может, и правда — не время звать на себя седину и осень. Всё это и так не пройдёт мимо. Разве не радость обещает птица-вестница, птица судьбы. Все вёсны, все осени прошлой жизни были наполнены её песнями. Так почему сейчас не верить ей?.. Да, птичка, «сюрли» — радость и солнце нашим дням, хотя и закатным. «Сюрли» — нашим судьбам, хотя и печальным. «Сюрли» — слёзы умильные глазам нашим, а сердцам одиноким — надежду, как каплю холодной воды жаждущему.

И не надо торопить сына и насильно класть его на женщину. Жизнь сама сделает это умней, добрей, не с криком злости. Сердце старой женщины опять встрепенулось в надежде, и подумалось о вёснах. Они придут и к сыну. За всю жизнь их будет ещё столько, что придёт время, и он даже не вспомнит об этих днях, печальных и смутных.

Прошло лето, и начались долгие осенние кочевья. Олени, отдохнувшие на сытых травах и цветах, легко тащили полупустые нарты. Запасы еды и хлеба у многих вышли, и оттого немного раньше обычного стали возвращаться к своим исконным землям. Исконным, потому что летовали, как всегда, у подножия Великих гор, не решившись перевалить через сам спинной хребет, ибо не всегда добром и радостью кончается переход через сердце гор.

Великие горы не любят людского шума, топота оленей и собачьего бреха. Да и проехать туда не так просто, путь лежит по берегу узкого длинного озера Тыя-То. В непогодину отвисшие, угрюмые, уходящие в небо вершины сходятся головами, глядя вниз, в пучину озера. И по лицам их, изрезанным глубокими вековыми морщинами и рубцами — следами величайших дум, текут по горным впадинам и ущельям вечные неистощимые слёзы — быстрые ручьи и источники.

Жутковато ехать человеку по этой дороге. Навстречу ощутимо и обжигающе дует всё сильней жгучий ветер, не приносящий с собой запахов трав и цветов. Ни голоса одинокой птицы, ни солнечного привета, ни ответного тепла — ничего нет. Здесь живут камни. Здесь спрятано недоступно и навечно сердце гор. Оттого так узка дорога.

Не дорога, а нагромождение острых камней, в кровь раздирающих ноги оленей. Здесь тепло человеческого огня ничтожно. Звук голоса и поступь шагов кажутся кощунством, а сердце бьётся медленно в трепете, и самое малое, на что способен человек тут — молчаливый поклон.

Сегодня откочевали первый раз. Радостным чувством возвращения заразились друг от друга все: олени, собаки, люди. Возвращались туда, где горы невысоки и сплошь поросли тёплым живительным ягелем. Склоны их не угрюмы от камней и ползучих впадин, а шумят лесами, родными и близкими, такими тёплыми, пахучими, что хочется быть маленьким зверьком и никуда не уходить из-под их приюта.

Остановились у быстрой болтливой речки. Берега её свежо и не по-осеннему пышно цвели поздними цветами и низкими кустами вездесущей ольхи. Лёгкие чумы ставили быстро. Летний чум прост, как истина. Нет тёплых меховых нюков, сшитых из густых оленьих шкур. Прозрачные, пропускающие щедро солнце, брезентовые нюки плотно обхватывали шесты, и вот готово жильё. Свободно, чисто и радостно в нём человеческому духу, привыкшему к простору и высокому небу.

Но ещё больше любил Алёшка эти кочевья, когда люди суматошно торопятся вскипятить чаю, от которого вся усталость растает, как дым, любил за то, что на старом чумовище оставались вместе со всяким ненужным хламом ещё и людские обиды, ссоры, недоразумения, всё, чем обрастает человек, долго сидящий на одном месте.

Разбирая и укладывая упряжь, пока мать и женщина делали чум, рубили кустики ольхи на растопку, Алёшка невольно улыбнулся. Так хорошо, что перекочевали. Хотелось сделать что-то такое, чтобы продлить чувство радости и даже сохранить его.

Поставив рядышком, бок о бок нарты, Алёшка сел на свою и закурил. Грудь дышала легко и свободно, мышцы сладко постанывали от работы. Говорливая речка пела на всякие голоса, то затихала лукаво, то, играя своей силой и красотой, заводила песню, и на душе становилось невыносимо сладко и тревожно, и опять незнакомое чувство охватило Алёшку. Он встал и медленно пошёл к речке. Не дойдя до её берега, скрытого кустами, он услыхал голоса. Говорила мать:

— Чистая водица, земли кровинушка, ишь, как играет, — было слышно, как она взяла пригоршню и тут же расплескала, видимо, вода с ладоней быстро улизнула обратно.

— А там речки не были такими весёлыми, как здесь. Почему? — спросила девушка, наполняя пустые вёдра.

— Там не вольно им, темно, кровушка земли глубоко укрыта, не нам её пить-кипятить, — вздохнула мать и тут же предложила. — Ну, пойдём.

Алёшка быстро пошагал обратно, и когда они с полными вёдрами подошли к чуму, уже сидел на своей нарте. Потом из чума широко повалил дым. Он вошёл и откинулся на постель, наблюдая, как толпятся клубы дыма, теснясь в узкой горловине наверху.

Женщина и мать, шевелясь у огня, не замолкали. Говорила больше мать. И вроде о пустяках, которые и внимания человеческого не достойны. Но на её языке они приобретали совсем иной живой смысл. Две женщины жили, не обращая внимания на него, иногда ему казалось, что они две руки одного организма, расположенные по обе стороны главного органа — огня.

С памятного дня, когда мать пригрозила положить его на женщину, всё изменилось. Что они между собой решили, как поговорили, какие слова нашла мать, но молодая женщина ожила, будто в неё перелили здоровую кипучую кровь. Глаза её по утрам больше не краснели опухшими веками, не сверкали ночными звёздами, а горели ровно, как огонь, который поддерживают в силе и день, и ночь. Вечером она засиживалась за шитьём, мать никогда не торопила её, не подгоняла, и в длинные белые ночи он до полуночи слышал их тихие голоса. О чём они могли говорить? Иногда Алёшке хотелось встать и подслушать.

Он до сих пор не тронул девушку. Вечером она делала общую постель, но придя к нему, вытаскивала из-под подушки ягушку, которую никогда не носила днём, и ложилась под неё, повернувшись в угол. Проснувшись ночью, Алёшка, затаив дыхание, слушал, — не плачет ли. Нет, она дышала ровно и легко, как дышит человек совершенно и крепко счастливый.

Сначала он злился. Мать и не думала отвозить женщину обратно, хотя он несколько раз грубо намекал на это. Всё кончилось тем, что он махнул на них рукой. Мужское ли дело заглядывать в женские души. Сами устанут притворяться.

А женщины и не думали притворяться. Они делали тяжёлую работу, как две руки... добротно и ладно. Девушка оказалась весёлой, смешливой, и он часто слышал согласный смех, будто два ручейка текли рядом, сливаясь в речку.

Один звонче, другой поглуше, и это вызывало в мужчине сомнение: так ли он прав, как кажется.

Любовь... Царица чувств... Мысль о Великом чувстве, о крови жизни всечеловеческой приходила к нему всё лето, заставляя его задумываться. Сейчас, когда он слушал и не слышал, о чём говорили женщины, сомнения в своей правоте вспыхнули по-новому сильно.

Засохнет летом в жару ручей, и смотришь, — подводные камни, такие красивые под струёй прозрачной воды, бледнеют, покрываются серым налётом. Цветы и травы на берегах вянут и морщатся без живого дыхания воды. Какой плесенью покроется душа Алёшки года через два, когда всё-таки не приедет та, которую он так ждёт. И засохнет его ручей-любовь.

Алёшка сел на постели. Он вдруг почувствовал, как около сердца или в нём образовалась пустота, словно в птичьем гнезде, откуда улетел последний птенец, оставив только пушок от перьев. Чем заполнить пустоту гнезда? Какая птица сложит усталые крылья, найдя в нём приют и ласку?

Откинувшись назад, он закурил. Женщины, как всегда, долго копошились. Слышно было оживление и около других чумов. Люди не могли сразу угомониться, тут и там постукивали топоры — женщины готовили растопку на завтра, рубили пахучие и гибкие кусты неру вместе с листьями. Пришли дни, когда дым в чуме просто необходим, как воздух. Всё, что сшито за лето, должно прокоптиться до красной черноты. Вещь, не прошедшая испытания дымом, не годится для носки.

Ситцевый полог не был опущен, и наверху стоял лёгкий туман синего дымка. Снизу из-под подушек тянуло сладким ароматом здоровой нетоптанной травы и ещё каким-то невыразимо волнующим запахом, наверное, потом Земли. Из-за полога удивлённо прицокнул зелёненький кузнечик, видимо, спал в траве, когда ставили чум, и теперь, попав в западню, подал голос. Алёшка улыбнулся. Ему вспомнилось ненецкое слово о кузнечиках. Ненцы не любят невидимых глазу попрыгунчиков и называют их «лижущими солнце». Может оттого, что никто не мог точно сказать, чем может питаться такое нелепое существо.

Паучки, те питаются ягодами. У них около чумика зачастую пасутся целые стада, и чуть приоткрыв дымчатую дверцу, хозяева следят за своим богатством, готовые защитить

его от чужих. Пауков жалеют и уважают за то, что живут своим трудом. А эти... целое лето прищёлкивающие языком, чем могут питаться, как не солнцем. Алёшка вспомнил, как стойбищные ребятишки боролись с кузнечиками, защищая от поедания солнце. Особенно осенью кузнечиков уйма, и от их удивлённого цоканья в траве стоял гуд. Вооружившись палками, дети шли войной. Уследить и поймать кузнечиков трудно. Но чего не сделаешь ради жизни солнца, если оно с каждым днём действительно светило всё слабей. В поте лица, раздирая в клочья штанишки, весь день ребятня охотилась на кузнечиков. Кто больше других в подоле рубахи или в шапочке от комаров принесёт зелёных окоченевших трупиков, тот достоин похвалы взрослых. Людей, живущих припеваючи, ненцы презрительно называли «солнцелизами».

Алёшка улыбнулся воспоминаниям, но тут же вздохнул: старое ненецкое слово, но ещё больше смысл его, не понравилось ему. Не потому, что сейчас он знал правду о кузнечиках, и ему задним числом было жаль напрасно погубленных глупых душ, наоборот, прославляющих солнце.

У каждого жилища есть солнце, видимо, и свои кузнечики, невидимые глазу, спрятавшиеся в густой траве бытия, раскрывают они зелёные жадные рты, упиваясь светом и теплом, не умея сами ни светить, ни греть.

Ещё не зная, почему, Алёшка вдруг почувствовал себя неуютно. Мелькнувшая мысль о кузнечиках показалась ему подозрительно гадкой по отношению к его собственному чуму, вернее, к самому себе. Две женщины, как два паучка, трудились, сохраняя в чистоте и в теплоте душу жилища, и когда они чуть ли не в две руки с обеих сторон разжигали огонь и ухаживали за ним, ему становилось чего-то стыдно.

У человека имя по жизни одно, и плохо, если наряду с родным появится другое, липкое, как печать проказы.

Лижущий солнце... Алёшка вышел из чума, сел на нарту и подрагивающими руками раскурил следующую папиросу. Этим позорным именем назовут его люди стойбища и Земли, если узнают обо всём. С таким ли клеймом ехать, как придёт день, в Святилище? С опущенной иль с поднятой светлой головой поедет он не один, а три раза в сердце гор? И ему ли, презренному солнцелизу, откроется самая глубокая из тайн — Тайна Человеческой Души? Что послышится ему, уже старцу, стоящему на конце жизни, — ликующая бессмертная песня души, похожая на гимн, или тоскливый вой одинокого зверя, обиженного самим же собой?

Невольно под силой тяжести мысли голова Алёшки наклонилась на грудь, широкие плечи дрогнули, опустились, будто на них уже легла тяжесть позорного имени.

Можно повзрослеть за годы, а можно и за миг один. Невыносимый стыд за себя покорёжил душу, и Алёшка, сомкнув зубы, впервые в жизни скрипнул ими, не в силах перенести огонь постыдного чувства. Маленькие худенькие женщины положили на свои плечи огромную непосильную ношу, которую он, мужчина, голова жизни, хотел... не хотел, а уже небрежно сбросил со своих могучих, сильных рук.

Как поганое мерзкое животное он хотел прожить жизнь за их ломкими спинами, в их трепетные испуганные сердца влил не одну каплю горечи, а из глаз выжал слёзы. А ведь он ни одной их слезы не достоин.

И в том, что этот добротный чум стоит на земле, как крепкое речное дерево, нет его душевных трудов. И что не плач, а смех раздаётся из его тёплого чрева, тоже не его заслуга.

Он солнцелиз... Ни светить, ни греть не научил он себя. Кому было тепло около него? Матери или той, что уехала? Может, Илне забыла обо всём случившемся меж ними уже на следующий день, не вспоминала все годы и не вспомнит никогда.

А эту, чей тонкий, чистый смех несётся из чума, он не просто унизил, а даже не пожалел ни разу, брезгливо оберегая себя во все ночи лета.

Лето прошло, замечательное, лёгкое и чистое время, а он, пыжась от дурацкой обиды, прожил его в позоре, как жаба в грязном болоте своего самолюбия.

Алёшка поднял голову и долго смотрел перед собой, узнавая и не узнавая своё маленькое родное стойбище. У них снова осталось три чумика, как и было зимой. Два чума отделились уже два дня назад. Старик Хасава и не собирался уходить. Он кочевал всё лето, запрягая грузовых быков старика Пэтко.

Маленькое стойбище готовилось ко сну. Собаки улеглись, свернувшись клубочком, под нарты. Голоса постепенно смолкли, казалось, и речка выводила свою озорную песенку потише, боясь нарушить покой усталых людей. И только в его чуме две женщины всё переговаривались между собой, временами переходя на шёпот. Мать уже несколько раз выглянула из чума. Видимо, им хотелось попить чаю, но они не ре-

шались сесть за стол без него. И Алёшка знал, не потому, что они опасаются, нет, ждать его было для них законом.

Раньше это только разозлило бы его, но сейчас Алёшка почему-то покраснел от мысли, что женщины ждут его, что они не притронутся к еде, как бы ни были голодны, пока он не съест первый кусок. Так было и при отце, Алёшка это помнил отчётливо. Мать не садилась к столу, пока хозяин не выпивал первую чашку, и лишь после этого незаметно как-то подсаживалась, и никто не мог толком сказать, ела ли она вообще.

Давняя картина детства напомнила Алёшке те милые времена, когда все были детьми, а мать не чужой, как теперь, а действительно матерью. И самого себя он увидел мальчиком. За поясом с блестящими красивыми пуговицами у него торчит лук. Его сделал отец. Весь день он стрелял из него по серењким птичкам, перелетавшим от одного куста к другому, и ему до слёз хотелось попасть хотя бы в самого маленького, лишь бы услышать от отца слова скупой хвалы.

Желание похвалы, отцовского жёсткого тепла было самым заветным желанием Алёшки. И сейчас, сидя на нарте, он вдруг потерял ощущение времени, и ему, как в детстве, до слёз захотелось ласки отца. Он представил, как не взрослым, а маленьким мальчиком зайдёт он сейчас в чум и увидит отца, сидящего широко и прочно на постели, как спрячет он его под тёплой рукой под мышку, и он заснёт сном усталого охотника, а мать уже сонного вытащит его оттуда и уложит в ласковую постель.

Алёшка с болью вздохнул и совсем неожиданно для себя ощутил усталость, будто он имел долгий и трудный путь и лишь только вернулся и сидит, уверенный, что может спокойно отдохнуть. Сейчас он поднимется и войдёт, усталый телом и духом, исхудавший, войдёт туда, где ждут его мать и и... жена.

Мужчина имеет право на путь, откуда он может возвратиться, и хорошо, если его ждут.

Алёшка поднялся, повёл плечами, скидывая с них невидимую тяжесть и, твердея шагом, неторопливо прошёл метр за метром. На полпути он остановился, потому что вспомнил ещё одну привычку отца. Прежде чем зайти, отец три раза кашлял, предупреждая, что идёт. Алёшка помнил, как мать, услышав это, быстро бросалась к огню, чтоб, когда в жилище войдёт его хозяин, огонь горел сильно и приветливо.

В чуме стояла тишина, будто там уснули, но он знал, что это не так. Замерев у огня, преклонив колени, ждут две терпеливые женщины.

Горячее волнение перехватило его дыхание, но Алёшка, пересилив себя, три раза кашлянул и всем сердцем почувствовал, как, сорвавшись со своих мест, две женщины кинулись к его огню, чтоб, когда войдёт он, их хозяин, огонь горел бы страстно и сильно.

Он шёл и чувствовал силу своих шагов. У самого входа остановился, перевёл дыхание и, широко откидывая за спину, распахнул полог. Так входит мужчина в пору своей зрелости. И первое, что он увидел, были две женщины, ярко освещённые огнём, потупившие глаза и привставшие с мест. Так делает женщина, когда в чум входит мужчина, хозяин и Господин.

1996 г.
пос. Лаборовая,
Байдарацкая тундра


Ильф

Теперь и солнце стало всходить с той стороны, где прячется ночь, — зловеще сказал Кривой Глаз, выпив чашку чая. И совсем тихо добавил: — Чёрным стало солнце.

Хозяева богатого чума — пожилой ненец, две женщины, мальчик лет восьми — выслушали гостя и невольно посмотрели наверх, в мукаданзи, словно хотели убедиться: действительно ли почернел глаз солнца.

Только старый Мерча не поднял головы, откинулся на подушки, покрытые мягкими шкурами; его белая, как январский сугроб, борода легла на широкую грудь. Внешне он остался спокоен. И если бы не едва промелькнувшая в глазах тревога, можно было бы подумать, что его совсем не тронула новость.

— В нашем стойбище пастухи с ума посходили, будто крови бешеной собаки напились. Глаза вылупили, бегают из чума в чум, шепчутся... — неторопливо, понимая важность того, о чём говорит, продолжал Кривой Глаз. Заметив, что старейший в чуме не слушает, он обращался теперь к его сыну Майме.

Мерча и в самом деле не вслушивался в разговор, он знал: пока Кривой Глаз доберётся до главного, долго ещё будет лукавить да извиваться, как щука под палкой. Он и имя-то своё получил не за то, что правый глаз так сильно косил, словно хотел подсмотреть, что там, за спиной, а за то, что всё в жизни видел в кривом свете. Придумывал небылицы, был нечист на руку, и разговор его походил на хитрый, запутанный след.

«Знать, в тундре и впрямь что-то случилось, — размышлял Мерча, — коль оборванцы забегали да зашушукались по углам. Великое солнце не станет без больших пакостей со стороны человека менять путь, указанный ему Ямйней. Да и лик его без причин не почернеет».

Старый хозяин чума задумчиво посмотрел на гостя.

— То, что раньше доходило до вас, было слухом, лёгким и безвредным, как оленья шерстинка, как... — Кривой Глаз вцепился зубами в кусок мяса и замолчал.

«Кэле, на этот раз он прав», — подавил рвавшийся наружу вздох Мерча.

По тундре уже давно, подобно позёмке перед пургой, от стойбища к стойбищу, от чума к чуму, ползли слухи о какой-то новой жизни. Они тревожили, пугали и настораживали. Если верить глупым языкам, выходит, будто любой нищий пастух, бедняк из бедняков, может теперь сесть за один стол с богатым, достойным. И не только для того, чтобы разделить еду, но чтобы и разговор завести — сравниться с хозяином стада в величии и силе ума.

Слухи были недобрые, пугали, но вслед за ними не приходило ничего, что могло бы изменить привычный уклад жизни, — жизнь в тундре шла своим чередом. И всё же Мерча месяц назад отпустил пастухов. Выделил каждому по три десятка оленей, кое-что из утвари. И лишь сумасшедшей старухе Варнэ да вдове с мальчишкой Илиром не дал ничего — куда им кочевать? Оставил, правда, и одного пастуха — Тусидора Ехора. Но тот сам не захотел уезжать от хозяина.

Теперь можно ожидать перемен спокойней: людей с таким достатком в тундре — что морошки в месяц умирающего листа.

— Нэвэ, плохое слово ты привёз, — сказал Мерча, давая понять, что нужно бы оставить в покое мясо. Пора гостю продолжить рассказ, а хозяевам узнать, насколько плохо это слово.

— М-ы...м, — промычал Кривой Глаз, опьянённый обильной едой. Вытер лоб ладонью, не торопясь понюхал табаку и только после неопределённо крякнул: — Кхэ-э... Вчера, ещё и солнце не зашло, как из соседнего стойбища приехал Выпка. Оленей совсем загнал, еле дышат, сам дрожит, точно важенка перед отёлом, и шепчет: «Нарты... Нарты...».

— Какие нарты? — не выдержав, спросил Майма, хотя и не полагалось сыну хозяина проявлять любопытство.

Широкие плечи, небольшая голова и острый нос, напоминающий деревянный гвоздь, который вколачивают в полоз нарты, делали Майму похожим на коршуна. Косматые брови и смелый, пронизывающий взгляд дополняли это сходство.

— Красные, — глянув на него, важно пояснил гость. — Теперь вместо слухов они ползают от стойбища к стойбищу.

Люди говорят, будто те, кто на Красных нартах, лечат больных, голодным дают мяса. Для этого отнимают оленей, у кого их много.

— Непуганые волки! — злобно прошептал Майма, и скуластое лицо его побледнело, глаза налились кровью, ещё больше заострился нос. Майма мгновенно приходил в ярость, если его оленям что-то угрожало. — Потерявшие страх и чутьё красные волки!

— Вылка их сам видел или только слышал о них? — спокойно спросил Мерча.

— Его глаза видели это так же, как мы видим сейчас твой очаг. У него забрали половину стада и дали какую-то бумагу.

При слове «бумага» Мерча ощутил внутри сосущий холодок. Встречаясь с купцами, старик всегда чувствовал себя мышью, над которой, выпустив когти, повисла сова, потому что торговые люди совали ему в нос какие-то бумаги, точно языком слизывающие шкурки пыжика и песца.

— И они ездят по всем чумам?

— Нет, пастухи указывают им богатые стойбища. Бедняки становятся для Красной нарты глазами и ушами.

Гость, обычно бойкий на язык, говорил сейчас тихо, не растопыривал локтей, изображая богатого, полного достоинства хозяина большого стада. Он был, судя по виду, сам встревожен своими словами.

Мерча, не зная, верить ли гостю, невольно всё внимательней всматривался в его лицо.

Кривой Глаз виновато улыбнулся, будто впервые понял, что к нему не относятся всерьёз, не верят его словам.

— Я говорю правду, Мерча. — Он опустил голову.

Только в очень важную, ответственную минуту один человек в тундре зовёт другого по имени. В чуме стало тихо.

Мерча, подобно каменному идолу, что стоит на берегу священного озера, неподвижно сидел на почётном месте, низко опустив голову. Хозяин чума прятал тревогу, пытаясь перебороть испуг и успокоить взгляд.

Майма, откинувшись на шкуры-подушки и прикрыв глаза подрагивающими веками, крепко сжимал отделанные серебром ножны. Он чувствовал, как кровь короткими сильными толчками бьёт в виски, словно просясь наружу...

— Красные... Подыхающие с голоду волки... — повторял он. — Шелудивые волки!

Это было и страшное проклятие, и самое мерзкое оскорбление, равносильное плевку в глаза. И сейчас Майма,

задыхаясь от злобы, твердил эти редко произносимые в тундре слова с яростным остервенением. А перед глазами его стояли олени, олени, олени... Они были частью его жизни. Даже не частью, а всей жизнью: главным в мыслях, желаниях. Без стада человек никто! Червяк, простой червяк. Страшно стать червяком. Любой голодранец в рваных кисах способен раздавить червяка. Как малому ребёнку, потерявшему отца и мать, страшно мужчине потерять оленей.

Две жены Маймы, сидевшие по обеим сторонам стола, почти ничего не поняли, но тоже испугались: если мужчины замолкли, значит, что-то случилось. Среди этих встревоженных, помрачневших людей только мальчик с чистым умным лицом, тонкими высохшими ножками и горбом улыбнулся вдруг — точно икорка в темноте вспыхнула. Узкие светлые глаза его заблестели, но не от слёз, а от сильного волнения. Желая погасить его или просто скрыть, он вскинул к лицу худенькие кулачки.

Не обращая внимания на взрослых, мальчик надел малицу, перекатился через колени деда и на четвереньках пополз к выходу.

— Ты куда, Хон? — спросила мать, старшая жена Маймы.

— Я хочу видеть Красную нарту.

— Зачем она тебе?

Но сын уже не слышал вопроса. На улице он, как лемминг, выпрямился, встав на колени, и лихорадочно оглядел. С одной стороны горизонт был серым. Там, неласковые и хмурые, сливались воедино земля и небо. Чуть правей вставали горы. Как недобрые, пугающие духи они вздымались к облакам, и вершин их не было видно. Хон отвёл от них взгляд. Красная нарта оттуда не приедет.

Мальчик встревожился. Трудно преодолеть эти огромные горы. И через снега, где, как во мху, тонет оленья нога, не проехать. А вдруг Красная нарта, которая лечит людей, не найдёт к ним дорогу или обойдёт стойбище, не заметив чумы и дымок над ними?

Долго ещё маленький Хон смотрел на небо и землю, пытаясь угадать, откуда появится чудесная Красная нарта. Светлые ясные глаза его всё ещё поблёскивали, а губы тихо шевелились, будто мальчик еле слышно пел песню надежды или говорил с Яминей.

Когда Кривой Глаз уехал, Мерча долго сидел неподвижно. Молча думал он свои думы. Затем тяжело поднялся и

вышел на улицу, к своей нарте. Именно здесь, на старой, рассохшейся нарте, прошедшей с хозяином немало кочевий, он любил принимать решения.

...Великая Яминя даёт человеку Землю, Жизнь и Любовь. Все три подарка вечны. Человек умирает, а они остаются. Что это, насмешка природы, судьбы?! Раньше, в молодости, Мерча много думал об этом, плутал в своих мыслях, как в густом утреннем тумане. Думы не давали ему покоя, мучили его, пугали. Но вот мудрая Яминя, словно пожалев его, открыла Мерче глаза...

Однажды летом он возвращался в стойбище с неудачной охоты на диких оленей. Мокрые кисы отяжелели, даже лёгкая малица давила на плечи. Мерча в изнеможении присел у отвесной скалы передохнуть. И вдруг совсем рядом, почти у самой его головы, послышался рёв. Мерча обернулся: огромный медведь, раскрыв горячую пасть, медленно поднимался на задние лапы, готовясь к прыжку.

Ни о чём не успел подумать Мерча. Зажмурился, прощаясь с жизнью, а когда снова открыл глаза — долго не мог прийти в себя. Оцепенев от ужаса, смотрел он на матёрого зверя, который лежал рядом, раздавленный гигантским камнем, скатившемся откуда-то сверху, с вершины скалы.

Мерча с трудом разжал сведённые судорогой пальцы, впившиеся в мягкий мох. Рукавом малицы вытер лицо, покрытое холодным потом, хотел встать и уже выпрямился, но словно подкошенный упал на колени, сжимая в одеревеневших ладонях горсть земли. Почудилось, будто его подтолкнула чья-то неведомая властная и сильная рука.

Так, на коленях, не шевелясь, простоял он всю светлую летнюю ночь. Он ясно видел мощную грудь скалы, поросшую цветастым лишайником. В крупных и мелких расщелинах её блестела роса, похожая на капельки пота. Видел, как шевелилась под дуновением ветерка пожухлая трава, покрывавшая её крепкое тело.

Только утром, когда солнце поднялось на длину хорея, Мерча встал. Теперь уже стоя, робко, несмело оглядел он скалу. Увидел, что спасшая его скала похожа на сидящего с опущенной головой человека. В этой каменной фигуре угадывались скрытые сила и мощь.

Потрясённый Мерча не осмелился сделать ни шагу, чтобы получше рассмотреть скалу. Так увидел глаз, значит, так надо. Место, где он простоял на коленях всю ночь, отметил камнем.

Вернувшись в чум, он долго думал: скала убила медведя именно в тот момент, когда зверь хотел убить человека. Уж не сама ли Земля встала на его защиту?!

Вскоре Мерча утвердился в мысли, что Земля любит и охраняет его. Ему стало легче. Думы, одолевавшие много лет, отступили. Поняв это, он упал на колени возле чума, но теперь уже перед всей Землёй, благодаря её за своё спасение.

А через год, весной, разбив стойбище недалеко от скалы, он велел пастухам поймать сто менаруев — десять десятков вольных красавцев оленей, к которым до сей поры не прикасалось ничто, кроме солнца и ветра. Их привязали к скале толстыми арканами из нерпичьей кожи и стали бить хореями, палками, камнями. Олени метались в ужасе, сшибались друг с другом, ломали рога, спины. Вся поляна возле скалы превратилась в кровавое месиво. Менаруи погибли, принесённые в жертву Земле. Майма, тогда ещё юноша, со страхом смотрел на отца и каменную фигуру человека, сидевшего с опущенной вниз головой.

Мерча не тронул мяса принесённых в жертву оленей и другим запретил. Долго в стойбище видели, как над скалой, забрызганной кровью, вились стаи воронов. Всю ночь слышались стоны умирающих животных, крики, визг, клёкот, будто вся нечистая сила собралась под скалой на страшный пир.

Каждый год останавливался здесь Мерча со своими людьми и стадами и жертвовал менаруя Земле, а голову его с глубоким поклоном клал к ногам гигантского каменного изваяния как священный и бескорыстный дар.

Мерча садился на серый мшистый валун, придавивший медведя, и кто знает, о чём он думал. Он будто сроднился со спасшей его скалой: советовался с ней, жаловался на невзгоды, делился радостью. Никто в стойбище не понимал такого странного братства человека и камня. Может, это и было святое единение ненца с Землёй, о котором говорится в древних преданиях?

Старый Мерча часто повторял сыну, уже взрослому, опытному мужчине:

— Всё умирает и гниёт, кроме камней и Земли. В них — сила. Вот такую силу и тебе надо иметь, сын. Всё в мире держится только на силе.

Майма слушал серьёзно, гордо поводил широкими плечами. Знал свою силу, она — в его оленях. С первых шагов, с того момента, как начал отличать чёрное от белого, сын Мерчи считал: тундра — его, олени — его, пастухи — тоже

его, потому что ему принадлежат олени, много оленей. А олени — это власть и почёт, это еда и одежда. Это — жизнь!

И вот теперь идёт новая сила, сила красных волков, которые хотят отобрать у них стадо, сделать Мерчу и Майму слабыми, беспомощными, уравнять их с нищими пастухами. Как отнесётся к ним Земля? Встанет ли на защиту? Заслонит ли их своей грудью?

— Отец, у меня есть слово. — Майма, с арканом в руках, осторожно подошёл к нарте, боясь разгневать отца, погрузившегося в свои невесёлые думы.

— Говори.

— Я половину оленей... нет, не половину, а большую часть, отведу в Капкан Злых Духов.

Мерча ответил не сразу. Сын прав, оленей нельзя отдавать Красной нарте, но Капкан Злых Духов — страшное место. Глубокая впадина, а кругом отвесные скалы и густой лес. Если туда забрести без ума, можно пропасть, не выбраться. Но другого выхода не было. И он сказал:

— Хорошо. Собака у тебя старая, возьми с собой сына вдовы, он поможет псу перегнать оленей.

— Я вернусь утром.

— Будь осторожен сын.

Мерча долго смотрел вслед уходящему стаду. Удивился, что за весь день ни разу не вспомнил ни об оленях, ни о калеке внуке, которому надо оставить хорошее стадо. Да и Майма совсем ещё не старик, недаром взял молодую жену. Правильно сын решил: Красная нарта не пощадит, не пожалеет, если добралась даже до Вылки...

Майма гнал оленей, не давая им отдохнуть. Уже к вечеру он с сиротой Илиром, мальчиком лет восьми, был у Капкана Злых Духов. Место и в самом деле жуткое, страшное. Всякий раз, останавливаясь близ его или проезжая мимо, Майма не мог избавиться от мыслей о нижнем мире, который ждёт его после смерти, и всякий раз торопился поскорее уйти.

Стадо, уставшее от бега, паслось спокойно. Хозяин, поднявшись на нарту, оценивающе поглядывал на него. У Маймы не было времени выбрать лучших оленей: их ведь не сотня, не две... Их тысячи... И теперь, убедившись, что сюда удалось пригнать именно тех, что особенно дороги, он улыбнулся, не боясь выказать своих чувств.

— Хорошо! Грехами Живущий, ля, — позвал Майма собаку, притихшую под нартой.

— Ля, ля — пырь!

Пёс нехотя выбрался и побежал собирать стадо.

Грехами Живущий (щенком его звали Сенг) получил свою необычную кличку, став уже взрослой собакой. Может, его обижали и обделяли едой; может, просто родился он отчаянно смелым, но только едва успев подрасти, принялся Сенг воровать съестное. Чуть зазевался хозяин — Сенг тут же стянул мяса кусок, кость или рыбину... Били его за это и приговаривали: «У-у, грехами живущий!» Пёс отлёживался и — опять за своё. Так, с годами, и приросла к нему новая кличка — Грехами Живущий.

Майма разгрёб снег. Под ногой сплошным голубым ковром лежал чистый, нетронутый ягель.

— Хорошо! — ещё раз повторил Майма. — Пусть Красная нарта хоть год не едет, можно не беспокоиться: олени будут и целы, и сыты. Илир, подойди сюда... — позвал он мальчика.

Сирота, поёживаясь от холода, неспешно приблизился к нарте.

— Возьми хорей и встань вон там, у того деревца. Если олени побегут к тебе — пугни их! Мы должны загнать стадо в Капкан Злых Духов. Понял?

— Понял. А зачем, там же страшно?

— Это тебе страшно, а им нет. Держи хорей крепче. Ни одного олешку не пропусти, бей по спинам.

— Ладно.

Илир отошёл к дереву и, широко расставив ноги, принялся размахивать хореем, покрикивая по-взрослому.

Загоняя стадо в горловину Капкана Злых Духов, хозяин посматривал на мальчика с одобрением: хороший пастух растёт! Настоящий мужчина. Подумав об этом, Майма вдруг помрачнел и тяжело вздохнул. Уродство собственного сына чёрным камнем давило на сердце. Отчего так несправедлива Великая Яминя? Оборванному, голодному пастуху Хауле подарила Илира — крепкого и здорового, а ему, Майме, хозяину стада и тундры, — калеку. А может, права жена — сам виноват? Яминя наказала за то, что жестоко избил он мать Хона, носившую в чреве своём ребёнка. Но как не ударить, если женщина не сумела найти отбившуюся во время отёла важенку. Оленуху жалко, оленёнка жалко...

Поздно вечером, усталые, Майма и сирота сидели рядом на нарте, возле Капкана Злых Духов, а три тысячи оленей были надёжно укрыты в глубине впадины. И только

сильно изрытый копытами снег говорил о том, что здесь побывало большое стадо. Но пойдёт свежий снежок — и не станет этих следов.

Илир, опустив голову на грудь, тяжело дышал, глаза слипались. Вскоре мальчик уснул.

«Надо будет дать мяса в их чум», — подумал Майма. Смахнул снег с нарты, уложил Илира на шкуру.

Мать и отец Илира, погибший в буран, давно жили в стойбище Мерчи. Майма раньше почти не замечал их. Был как невзрачный речной камень, от которого нет тепла даже в солнечную погоду. Теперь он иногда заходил в чум к молодой вдове, но чаще присылал с Хоном кости, внутренности и немного мяса.

Илир рос, становился красивым и тихим, как мать, умным и крепким, как отец, про которого говорили, что он мог поднять и поставить себе на плечи тяжело гружённую нарту. Во время кочевий мальчик рубил карликовую берёзку, заготавливал для хозяев дрова. Зимой ставил петли на куропаток и зайцев, а летом сеткой, сплетённой ещё отцом из гибких тальниковых прутьев, ловил рыбу. Постоянная забота о еде, о тёплых кисах и малице рано заставила ребёнка думать о жизни.

Прикрыв спящего Илира шкурой, Майма тронул вожжи. Он не торопил оленей, упряжка шла ровным, спокойным шагом. Далеко окрест простиралась бескрайняя тундра. Майма по-хозяйски поглядывал по сторонам. Земля родная богата, это она, словно мать, кормит грудью своей и оленей, и его, человека. Непоколебима Земля, и он, Майма, непоколебим на ней. Правда, в последнее время закралась в сердце тревога. Происходящее в тундре пугало и вызывало злобу. Когда отец распускал пастухов, Майма видел, как каждый из них на глазах менялся: был голым кустом — становился летним деревцем. А с чего? Хозяйство-то никакого: чумишко гнилой — дунь посильней, улетит и не соберёшь; три-четыре нарты, которые развалятся от плевка. Но пастухи выглядели так, будто у них по крайней мере сотни две в стаде, а в рукавице дырявой малицы тамга, на которой своей властной рукой Яминя начертала путь, избавляющий от голода и нищеты. И когда жиденькие, жалкие аргиши, один за другим, покидали стойбище, Майму захлестнула ярость. Сжав кулаки, он крикнул что было сил:

— Вы будете жрать мох и лизать камни! Как собаки, на брюхе приползёте обратно, чтобы не сдохнуть с голоду.

Ему никто не ответил. Аргиши медленно и неумолимо таяли в дали. Было совсем тихо, если не считать тягучего скрипа полозьев, но Майме почудилось, что, заслоняясь этим скрипом, как ладонью, кто-то из пастухов посмеялся над ним. Он злобно прищурился и, подняв крепко сжатый кулак, тяжёлый, как копыто менурая, качнул им в воздухе.

С тех пор в груди, как в уютном чумике, жило зло. Майма чувствовал его так же, как своё сердце, руки, ноги. Зло стало в его жизни хореем, которым он подгонял свои мысли о новых порядках в тундре, о Красной нарте и о пастухах, поверивших ей...

Только упряжка остановилась, Илир слез и степенно, как настоящий мужчина, направился к своему чуму. Майма пообещал мяса, и мальчик был горд, что заработал его. Он чувствовал себя совсем взрослым.

Каркас их чума покрывали не зимние добротные нюки с длинной и плотной шерстью, а летние, почти прозрачные от ветхости. Ветер задувал в прорехи и дыры и тут же со свистом вырывался наружу, но Илир любил своё жилище, здесь они с матерью укрывались от морозов, снегов, от недобрых людей.

В чуме было темно.

— Мама!

Мать не ответила. И дыхание её не угадывалось в темноте. Илир прошёл к постели — куче старых, линялых шкур. В последние дни мать почти не выходила на улицу, потому что живот её становился всё больше и больше, и она стыдилась людей, а тут, в чуме, стесняться ей было некого. Илир уже знал, что скоро в семье появится ещё один человек.

Матери на постели не оказалось. Илир растерялся. Куда она делась? И тут вспомнил, что вчера весь день мать за стойбищем, возле ольховника, ставила маленький чумик, в каком он с Хоном играл когда-то в семью.

Илир вышел на улицу. Большие звёзды переливались и мигали часто-часто, будто глаза неба, в которые попала снежная пыль. Стараясь не скрипеть по насту, он подошёл к чумику и тихо позвал:

— Мама...

— Сынок, я слышала, как ты приехал. Не ходи сюда, — голос был глухим и слабым, будто мать закрывала рот во-

ротником ягушки, и мальчику стало жалко её. Такой голос был у матери, когда она болела.

— Почему?

— Нельзя. Ты мужчина. Я тебе мяса куропачьего положила в котёл. Если огонь уснул, попроси уголёк у пастуха, разогрей суп.

— А ты? Я принесу тебе.

— Я не хочу, иди.

Илир постоял в нерешительности. Возвращаться в пустой и холодный чум ему не хотелось. Он, конечно мужчина... но всё-таки страшно быть одному...

— Я войду к тебе? Совсем ненадолго... мама...

Мать промолчала. Сердце её сжалось от боли и горечи.

Илир, потоптавшись у входа, осторожно поднял край полога и на четвереньках вполз в чум. Мать лежала на шкуре, укрывшись старой ягушкой. Лица Илир не видел, но даже в темноте чувствовал, как ей тяжело.

— Мам, пойдём в чум, — попросил он, прибавляя в голосе мужской твёрдости.

— Мне нельзя, сынок.

— Опять нельзя, заладила...

— Видишь, какой хороший у меня чумик. — Илир догадался: мать улыбнулась; он, не сдержавшись, прильнул к ней, но тут же отпрянул: ведёт себя как маленький. Она обняла его одной рукой, притянула к себе.

— В нашем чуме есть ты, мужчина... А я... — мать замолчала, но Илир почувствовал: ей хочется сказать что-то важное.

Он попросил тихо:

— Говори, я слушаю.

— Я не хочу поганить наше жилище. Тебе на охоте не повезёт, зверя не добудешь и оленей от волка не убережёшь. А сил... Сил будет мало, как... ну как у мышки. — И хотя мать говорила полушутя, Илир знал: в её словах таится большая тревога за сына. Плохо, если он, глава семьи, не добудет зверя и в их чуме поселится голод.

Мать гладила густые волосы сына, горячую щёку и плакала. Она научилась плакать незаметно, беззвучно, когда не дрожат ни тело, ни голос и людям не видна её боль.

«Я виновата», — думала женщина сквозь слёзы, сама толком не зная, перед кем именно: перед сыном, покойным мужем или перед ребёнком, который скоро родится.

«Перед Илиром я виновата, — решила она. — Он, маленький хозяин, будет кормить меня и ребёнка. От этого

никуда не уйти. Разве не знала об этом раньше? Как страшно... Как теперь страшно!»

Илир уже задремал, когда мать внезапно сильно вздрогнула, дёрнулась всем телом, схватившись обеими руками за живот. Мальчик испуганно сел, прислушиваясь к её стонам.

— Ступай, сынок... Я сама... п-приду.

— Мама!

— Иди, Илир, иди! Нельзя тебе здесь...

Нехотя Илир выбрался наружу. Так тихо и мёртво вокруг, что, казалось, стойбище притаилось, задумав недоброе. Вскрики матери, глухие, сдавленные, доносились будто из-под земли, словно это она — Великая Земля — изнемогала в муках рождения новой жизни. Мальчик испугался и, спотыкаясь, побежал к своему чуму. Дрожащими пальцами расшевелил угольки в очаге, раздул костерок. Протянул к огню озябшие руки и долго сидел так, прислушиваясь: не слышно ли стонов и здесь, но в чуме было тихо, лишь сухо потрескивали тонкие сучья да ветер стучал о шесты.

Устроившись поудобней, Илир снял тяжёлые кисы. Поджав под себя ноги, замер, всматриваясь в огонь. Мальчику хотелось спать, но он решил дождаться матери...

Роженица не удивилась, когда в её чумик, низко наклонясь, вошёл Майма. Он, как всегда, появился неслышно, и женщина не то по привычке, не то от стыда испуганно сжалась под ягушкой. Майма был отцом ребёнка, который уже кричал под полой, ожидая, когда мать выполнит всё, что положено. Но сил для этого у женщины не было.

Мокрые сильные пальцы вошедшего чуть тронули её лоб. Она, как червячок-мэду, сжалась ещё больше. А отчего? Приятно ведь, когда страдальческий пот с лица матери утирает отец ребёнка, хотя мужчине нельзя в это время касаться роженицы. Разве это не награда за мучения и не в этом великий смысл грешной любви?

Пробираясь сюда, подобно собаке, укравшей кость, Майма сгорал от любопытства и ожидания. Сейчас, низко склонившись над потным лицом женщины, он очень хотел спросить о ребёнке. Но не мог, не знал, какими словами, а радость сладко и непривычно щекотала сердце. Мать Илира поняла Майму.

— Сын, — прошептала, вздрагивая больше от страха, чем от холода и боли.

«Почему я боюсь его? Ну почему? — пыталась успокоить

она себя. — Я родила ему мальчика. Большого, здорового! Будущего мужчину!»

Страх грешницы и гордость матери боролись в ней. Женщина слышала эту борьбу. Никогда ещё чувства не жили в ней так жадно. И она, задолго до этого дня стыдившаяся себя, своего ребёнка под сердцем, родов и всего с ними связанного, считавшегося из века в век поганым, нечистым, прошептала светло и гордо:

— Это твой сын!

Майма не ответил ей. Лишь степенно, с достоинством богатого человека, склонил голову перед великой Яминей, благодаря за сына. Ему подумалось, что женщина, пожалуй, заметит его счастливую улыбку, то, чего она не должна видеть, пусть родит ему хоть десять сыновей, — и нахмурился. Лицо мужчины должно быть сурово даже тогда, когда его переполняет счастье.

— Да. Это мой сын! — подтвердил он властно.

Широко распахнув полог, вышел, уже не нагибаясь, от чего непрочный остов чумика вздрогнул, зашатался. Но не упал.

Мальчик заплакал ещё громче, но всё же голосок у него был тонкий, слабый, вот-вот сорвётся. Майма плотно прикрыл полог, притоптал его, послушал, усмехнувшись, и отошёл.

Он не знал, что делать со своей радостью. Так иногда охотник не знает, как, сохранив достоинство, показать восхищённому стойбищу богатую добычу. В последнее время чувство довольства собой редко приходило к Майме. И теперь волнение сердца было непривычным и странным. А хорошо... Он глубоко, со стоном вздохнул... Хорошо! Новыми глазами посмотрел вокруг. Всего три чумика, три точки в необозримой белизне тундры! А когда-то... Небо от множества дымков, поднимающихся над чумами, как бы ни было чисто, становилось облачным. Но сейчас воспоминание о прежнем богатом стойбище не огорчило Майму, и он продолжал вглядываться в ночной мир с добрым удивлением. Знакомый рисунок неба показался гораздо ярче. Звёзды, тонкими мягкими иглами проткнув тьму, поблёскивали снежинками в чёрной вышине, и сверкание их не могла приглушить даже луна.

«Наверно, у радости глаза зорче, — с усмешкой подумал Майма. — Земля и небо такие же, как вчера, как позавчера, как много недель назад. С ними ничего не случилось. Это рождение моего — моего! — сына сделало всё вокруг ярче».

То, что ребёнок был незаконным, не трогало Майму. Земля и Яминя знали, кто отец мальчика. Перед ними не надо оправдываться, как перед людьми и обычаями. Да он и не собирался никому ничего объяснять. И людям, и обычаю ясно, что мужчина на то и приходит в жизнь, чтобы иметь сына. Настоящего, крепкого, сильного. Продолжателя рода. Кто посмеет теперь упрекнуть Майму, сказав, что он не мужчина?

Остановившись около своего чума, Майма прислушался. Мальчик, будущий хозяин стойбища и стад, всё ещё плакал, но очень тихо, так, что отец еле различал его голос в шелесте ветра. Майма выпрямился, положил руку на ножны и пошёл в тундру. Ему не хотелось в постель, к молодой жене, которая не может подарить ему сына, ходит со своей красотой, как яловая важенка, хотя уже второй год живёт с мужчиной... А радость не уменьшалась. Она нарастала. Сын... Майма сделает из него своё подобие, чтоб был он богатым, сильным, чтобы, когда мчался на оленьей упряжке, еле различимый ещё человеческим глазом, люди восхищённо шептали: «Это — сын Маймы!»

— Погоди, Красная нарта, — Майма вскинул голову вверх, будто оттуда должна нагрянуть она. — Погоди! Я был и буду хозяином жизни!

Вернувшись в стойбище, Майма внимательно огляделся, словно отыскивая подтверждение сказанному. Нарты полны добра, руки и ноги сильны, глаза видят сквозь две темноты, малица на теле не последняя. И пусть сейчас в стойбище всего три чума, три семьи под его властью, придёт время, их будет много!

Полночи бродил Майма по сонному стойбищу, то улыбаясь, то щерясь, как настороженная собака. За ним скользила его тень, и Майма несколько раз останавливался, будто видел её впервые. Ему стало не по себе: неприятно, когда, повторяя каждый твой шаг, за тобой следует что-то живое. Тень... Кто знает, что сулит она — хорошее или плохое? И зачем приставлена к человеку? Бережёт его или ждёт удобного случая, чтобы, отделясь от земли, окутать хозяина тьмой и утащить его в другой, нижний, мир?

Под утро Илир проснулся от холода. Огонь давно потух, и от серой кучки пепла несло только сладковатым угаром и золой. Сверху, кружась, падали светлые хлопья снега. Матери в чуме не было. Илир вышел на улицу. В сумерках чумик

возле ольховника казался крохотным и смешным. Мальчик улыбнулся и, осторожно ступая, подошёл к нему.

— Мама, можно войти?

Мать не ответила.

Илир хотел приоткрыть полог, но тут же отскочил в сторону. Из чума торчала белая рука с растопыренными пальцами. Пересилив страх, он подошёл и сжал в тёплых ладонях окоченевшую руку матери.

— Мама?.. Ты спишь? Спишь? — тихо, с лаской и тревогой, спросил Илир, хотя уже догадался, знал, что так люди не спят.

Распахнул полог. Мать лежала у самого входа, на боку, руками вперёд, будто хотела за что-то ухватиться, да не смогла. Около неё, накрытый полой ягушки, лежал ребёнок с обындевевшим лицом. Илир понял: мать и маленький брат ушли от него. Видно, у матери не хватило сил подняться, дойти до своего чума, чтобы хоть немного обогреться у очага.

Сдерживая слёзы, мальчик опустился рядом и оцепенел от обрушившегося на него горя. В ушах вдруг тихонечко зазвенело. «Это колокольчики покойника, — говорила, бывало, мать. И приказывала: — Ответь ему так: пока не продырявится мой медный котёл, я не приду к тебе». Сейчас Илир не сказал этих слов. Мать звала к себе, и он рад был пойти за ней. Не надо её обижать. Она всегда, когда обижалась, становилась некрасивой, сжималась, как береста на огне.

В чумике стало светлей, и Илир смог рассмотреть лицо матери. Оно не отличалось от того, живого, только стало строже и суше. Не было на нём и испуга. Это успокоило мальчика. Он поднялся, пригладил спутанные волосы матери, положил к её груди мёртвого брата, укрыл ягушкой. Так им будет хорошо. Сейчас оставшийся на земле должен думать об ушедших в нижний мир. Пусть они, как живые, греют друг друга.

— Не надо их обижать, — сказал Илир и вытер слёзы.

Ночь ещё не прошла. Она продолжала жить. Луна, словно набухшая от любопытства, как ни в чём не бывало таращилась на спящую землю. Голубой свет проникал в чумик, жидко освещая неподвижную женщину и её сыновей. Илир не плакал. Полярная ночь длинна. Мальчик несколько раз приподнимал заледеневший полог и глядел ввысь, но там по-прежнему переливались яркие звёзды, а луна и не думала уходить, будто примёрзла к небу.

Вдруг полог шевельнулся, и чья-то рука скользнула внутрь.

— Сынок... Выходи. Я знаю, ты здесь.

Илир не ответил, в судороге свело губы. А голос, казавшийся таким знакомым, настойчиво звал, не дожидаясь ответа:

— Иди в свой чум. Нельзя сидеть с мёртвыми. Иди. Я оживлю огонь и скажу тебе слово.

Мальчик опять ничего не ответил. Прислушался. Голос затих.

«Кто это? — Илир был уверен, что позвал его не человек. Идти или нет? Слово? Какое? Пойду».

Когда он осторожно приблизился к чуму и заглянул в него, там уже был разведён огонь. В его красноватых отблесках трудно было понять, человек перед очагом или призрак, появившийся из ночи. Сердце мальчика застучало так громко, что он прижал ладонь к груди и боком, осторожно, прошёл к своей постели.

Перед костерком, протягивая к нему иссохшие, скрюченные пальцы, сидела старуха. Рукава её рваной ягушки болтались, а грязные, неприбранные волосы торчали, как высохшая трава на кочке. Глаза, полуприкрытые тонкими веками, смотрели в огонь, — в них точками отражалось пламя. И вся она, слабо освещённая, в дряхлой одежонке, облезлой и засаленной, казалась Илиру уже не великой Яминей и не смертью...

— Не бойся меня, — сказала гостья, и в голосе её опять прозвучала мягкая просьба. — В твоём чуме я не обидела даже оленьей шерстинки. Ты это знаешь. — Она подняла голову, посмотрела на мальчика.

Только теперь Илир узнал ее. Это была всего-навсего сумасшедшая, которая жила в чуме единственного пастуха Маймы Тусидора Ехора. Все звали её Варнэ. Богатые гости, приезжавшие к Майме, да и некоторые пастухи, были не прочь подшутить над ней. Мать говорила Илиру, что нет на земле голодней и несчастней существа, чем Варнэ, и нет другого сердца, на котором было бы столько кровавых болячек. Илир жалел и боялся её, когда она, размахивая руками, вдруг начинала хохотать, да так неприятно, что сам Майма выскакивал из чума, ругался, кидал в старуху камнями и комьями снега.

Сейчас Варнэ мало походила на сумасшедшую. Не царапала голову, не хихикала. Илир осмелел и шагнул к огню. Теперь он был хозяином не только очага, но и своей жизни. Скрестив ноги, как делают взрослые мужчины при большом разговоре, сел против гостьи и молча взглянул на неё.

— Молодец, сынок. Я знаю, что ты всегда будешь твёрдо стоять на земле. — Старуха опустила руки на колени, но пальцы её продолжали дрожать. — Запомни мои слова: у тебя есть враг. Твой отец не вернулся с охоты не потому, что заблудился в буран и замёрз. Он был не таким человеком, чтобы поддаться холоду. Его убил Майма... За то, что не уберёг оленуху, та отбилась от стада и пропала. Отец больной был, а Майма... Майма погнал его искать в буран, в сильный мороз... Олень для хозяина дороже, чем человек. Он, он виноват...

Илир не помнил отца, не знал, как погиб он, и при последних словах сумасшедшей лицо мальчика побледнело.

— Ты должен знать это. Слышишь меня?

— Слышу.

Варнэ была первым человеком, заговорившим с Илиром, когда он остался один, и тон её был непривычен. Старая женщина беседовала с ним, с ребёнком, как с равным, как с умным и понимающим взрослым. Слова гостьи падали в душу Илира, точно камни в чистую воду. Он подвинулся ближе к огню, чтобы лучше видеть свою наставницу.

— Расти мужчиной и помни: люди злые. Злых людей много... Берегись их.

Ветер откинул полог чума, и при ярко вспыхнувшем огне костра Илир ясно увидел лицо старухи. Сухие губы её кривились в улыбке, но в глазах не было ни ласки, ни смеха. И всё же этот взгляд не испугал Илира, в его суровой серьёзности мальчик почувствовал твёрдую веру женщины в свои слова. Дождавшись, когда следующий порыв ветра закроет полог, Варнэ продолжала:

— Завтра у тебя не станет чума и над тобой будет только небо. Небо не шкура, им не укроешься, сынок. Оно тоже жестоко, как и люди. Увидишь сам и поймёшь. Сейчас ты ещё хозяин, и пока мы сидим у твоего огня, я скажу тебе: человек — это камень среди камней. Когда камни падают с горы, они крушат друг друга и сами превращаются в пыль. Понимаешь?

— Да, — ответил Илир, представив падающие глыбы камней, похожие на человеческие головы.

Но старуха, казалось, не слышала его. Она смотрела поверх мальчика в темноту, и из глаз её ползли неторопливые мутные слёзы. Илир сам недавно плакал и не удивился этому. Не знал он, что, отравленная ядом обид, старая исстрадавшаяся Душа передавала сейчас свою страшную ношу

молодой, думая этим оберечь её от людской жестокости. И его неокрепшая, совсем ещё юная, душа принимала эту тяжесть не колеблясь и не задумываясь.

— Человек — это остро отточенный нож. Если не хочешь пораниться, будь ножом, отточенным с двух сторон. — Яд слов падал мерно, подобно весенней капели, и старая душа с каждой отданной частицей горького опыта ослабевала, становилась прозрачней.

— Завтра утром будут снимать твой чум. Возьми тёплый уголёк из костра и спрячь его, чтобы никто не заметил. Огонь сейчас в нашем разговоре третий, ты забудешь мои слова — сын костра будет помнить, — Варнэ наклонилась над почти умершим костром, взяла обеими руками тлеющий уголёк, поднесла его к губам и что-то зашептала.

Уголёк шипел, кожа на пальцах заметно чернела, а Илир, завороженный выражением лица женщины, не смел даже пошевелиться.

Наконец старуха бросила уголёк в костёр и, убрав с уха прядь волос, наклонилась ещё ниже, словно подслушивая разговор слабых язычков пламени.

Она слушала долго. Седая прядь её вспыхнула, издав неприятный запах. Потушив её, старуха довольно хмыкнула:

— Теперь я уйду и жить, наверно, буду недолго. А ты не забудь взять завтра уголёк. И знай: путь у тебя впереди трудный. Но ты пройдёшь его. А сейчас спи и не ходи больше к умершим, не мешай им. Старайся не плакать, а то у мамы твоей будет болеть голова.

Варнэ встала, поклонилась костру, благодаря его за тепло, и тихо вышла. Снаружи короткой волной ударил морозный ветер, и Илиру показалось, что это злые люди, о которых предупреждала старуха, собрались вокруг чума, что-бы нагнать в него холод. Мальчик вскочил и прикрыл пологом вход.

Оставшуюся четвертушку ночи Илир совсем не спал. Подоткнув под себя края малицы, смотрел в темноту, и там ему мерещилась сумасшедшая. Она шевелила тонкими морщинистыми губами, но мальчику не было страшно. Он ждал, когда Варнэ заговорит громко, чтобы запомнить её слова. С ними будет не так сиротливо.

Назавтра чум и вправду сняли. Ветхие, рваные нюки сложили друг на друга, придавив, чтобы не унесло ветром, двумя большими камнями. Увидев, как женщины небрежно швыряют шкуры, Илир понял: то, что было дорого ему и

матери, навсегда отдают земле. Жилище покойной вдовы не имело ценности для этих людей.

Варнэ сидела на поганой нарте, куда женщины во время кочевий кладут мешки со своими кисами. Мужчины обходят нарту с презрением, и даже жёны их без особой нужды не подойдут к ней.

Старуха безучастно смотрела на окружающих, и только когда чувствовала на себе пытливый взгляд Илира, вскидывала голову, как хорошо обученный передовой в упряжке, и начинала громко каркать, взмахивая рукавами ягушки, словно крыльями. На неё никто не обращал внимания. Пастух Тусидор Ехор был занят оленями или делал вид, что занят. Майма сидел на снегу около своей нарты и, не поднимая головы, сматывал и разматывал аркан. Старый Мерча для чего-то собирал в кучу оленьи рога, а Хон, устроившись на горке ивняка, с надеждой смотрел на синий чистый горизонт. Казалось, что стойбищные дела его нисколько не интересуют.

Когда от чума остались три связанных сверху главных шеста, составляющих основу каркаса и берегущих святость жилья, Илир подошёл к холодному кострищу, оставшемуся от домашнего очага, и незаметно взял уголёк. Варнэ тотчас принялась хохотать, корчиться и дрыгать ногами, визгливо вскрикивая тонким голосом:

— Кар-кар! Огонь! Огонь!

До полудня Илир одиноко просидел на родном чумовище. Сколько злых ветров выдержало их бедное жильё; радости и беды жили тут, невидимые чужим глазам. Голод, как тощий пёс, часто приползал к столу, но ночами, отгоняя его, ласковый шёпот матери открывал перед сыном другой, красивый и светлый, мир легенд и сказок. И вот ничего нет. Тёмный круг оттаявшей земли да зола. Плечи мальчика задрожали, лицо от обиды передёрнулось, и он тихо позвал:

— Мама... Мама.

Ничего не откликнулось на притихшем стойбище, только пепел, подхваченный вдруг ветром, снялся с места и тонкой позёмкой понёсся вдаль, оставляя серый снег на снегу.

— Мама... — прошептал Илир, потянувшись всем телом за этой позёмкой, словно желая остановить её и вернуть минувшие дни. — Мама...

На месте, где был очаг, осталась лишь чёрная, прожжённая глубоко, земля. Не скоро зарастёт она травой и мхом, будет болеть. Ей, помнящей тепло костра, даже взгляд солнца пока-

жется чужим и холодным. Но время лечит любые раны... Пройдут годы, и от нынешнего чумовища не останется и следа.

В чуме Маймы Илиру отвели место в той части, где полным хозяином был Грехами Живущий. Около кучи ивняка старшая жена Маймы постелила шкуру, вместо подушки Илир положил под голову кожаный мешочек, в котором хранил плохонький, весь в узлах, арканчик, мамин поясок и семь белых копыт. Прежде, когда было время играть, эти копыта изображали оленей. Грехами Живущий, стоило Илиру подойти к своему месту, недружелюбно скалился и отодвигался подальше.

Майма не поехал хоронить своего ребёнка и его мать. И не потому, что боялся при людях выказать свои чувства, когда придётся сказать прощальное слово. Не потому. Он сумел бы остаться мужчиной, хотя сердце его разрывалось от боли. Ночное свидание с женщиной, подарившей сына, и горячая радость казались сейчас насмешкой судьбы, страшным обманом. Словно привиделось это в глупом, жестоком сне, и вот — пришла пора горького пробуждения.

Непонятное чувство жалости и нежности охватывало Майму, когда он бывал с матерью Илира. И сейчас на осиротевшем чумовище хозяин стойбища невольно искал глазами какую-нибудь мелочь, чтобы вернуть воспоминание о женщине, давшей хоть ненадолго радость. Но ничего, кроме шерсти и серой золы, не находил. Майма собрался уже уйти, уже сделал шаг из круга, оставшегося от чумовища, как вдруг заметил пучок сухого мха. Он забился наполовину под камень, и ветер не смог его унести. Женщины кладут такой мох под младенца.

Майма схватил этот пучок и воровато оглянулся, хотя знал, что в стойбище остался один.

— О!.. Она собиралась жить и растить сына! Думала о нём, как и я.

Ему вспомнилось, как летом, тайком от всех, он торопливо рвал этот мох, длинный, волокнистый, пахучий. Рвал и бросал на кусты небольшими пучками, чтобы солнце поскорее высушило его. Женщина, носящая в себе сына Маймы, не просила об этом. Она вообще никогда ни о чём не просила. Всё время молчала. Даже в первый раз, когда, не глядя ей в лицо, Майма сорвал с неё ягушку, повалил на землю, она молчала. Лишь на миг вспыхнули её чёрные глаза, охваченные смятением, и тут же погасли. И позже, когда он украдкой приходил в её чум, он видел в ней только



Мерча в изнеможении присел у отвесной скалы передохнуть. И вдруг совсем рядом, почти у самой его головы, послышался рёв. Мерча обернулся: огромный медведь, раскрыв горячую пасть, медленно поднимался на задние лапы, готовясь к прыжку.

страх. Женщина боялась его, будто он не ласкал, а бил её. А ему хотелось увидеть её радость...

Он часто думал, зачем ему, богатому, избалованному женским телом, нужна эта маленькая, утомлённая жизнью женщина. Ну хорошо, раньше, до второй женитьбы, можно было понять: жена старая, наскучившая. Но и тогда, когда рядом каждую ночь, только протяни руку, была молодая, красивая, сильная, он уходил к вдове. И опять видел её испуганные глаза с опухшими красными веками. Может, он шёл для того, чтобы растопить в ней страх, а может, наоборот, усилить его, укрепить свою власть над людьми? Майма не мог разобраться в себе.

Он зашагал к своему чуму, сжимая в руке маленький пучок мха, который так и не отдал сыну своего тепла.

— Брось мох, — приказал себе Майма, со злостью стиснув зубы, но кулак не разжал.

«Это твой сын...» — так она сказала! Майма остановился и замер. Это были её первые и последние слова, обращённые к нему. Как будто женщина нарочно так долго молчала, чтобы приберечь для отца ребёнка самое дорогое ему, самое важное: «Это твой сын...»

Майма опустил голову, и широкие плечи его задрожали. В эту минуту он не походил на хозяина тундры.

Хон проснулся и вылез из-под ягушки, которой его накрыла мать, прежде чем уехать на похороны. Сейчас мальчик был похож на птенца, выбирающегося из скорлупы. Лицом худенький, шея тонкая, грязная, голова большая по сравнению с телом. Хон и сам знал, что он уродлив, но относился к этому равнодушно. Но не всегда... Невольно сравнивая себя с отцом, которого любил и боялся, он испытывал обычно стыд и непонятное чувство вины.

Лежать в чуме не хотелось — жутко, особенно когда знаешь, что кто-то ушёл в нижний мир.

Торопливо одевшись, Хон выполз на улицу. И вдруг... Увидел отца... Тот, не разбирая дороги, шёл прямо на него. Мальчик растерялся и не успел принять вид, который обычно напускал на себя, прежде чем показаться отцу. Где-нибудь в укромном месте он выпрямлялся сколько мог, вернее, выгибал назад спину, расправлял плечи, поднимал высоко голову и хмурил брови. Ему казалось, что так он больше похож на мужчину. Сейчас Хон испуганно замер, будто врос в землю.

Майма едва не наступил на сына. Вид мальчика так по-

разил отца, что, остановившись против Хона, он тоже застыл. Маленький, как трёхлетний, хотя ему уже шёл восьмой год, горбатый, с худыми руками и измождённым, напуганным лицом, мальчик смотрел на отца так, будто тот собирался свернуть ему шею, как куропатке.

«Он же урод... — Майма невольно зажмурился. — Мой сын — урод! Единственный сын». Едва не крикнув от ужаса, Майма с силой сжал кулаки и, глухо застонав, с болью посмотрел в глаза ребёнку.

Мальчик побледнел. Он понимал отца. Беспомощно мотнув головой, Хон шевельнулся и, встав на четвереньки, быстро-быстро пополз прочь.

— Я... я... — шептал он, задыхаясь, и, не выдержав, заплакал.

Майма догнал его, поднял на руки, крепко прижал к себе. Он не мог говорить, горе сдавило горло, сжало сердце. Чем утешить бедного калеку, он всё понимает... Чем утешишь себя? Скажи, Яминя, чем?

Покачивая на руках сына, Майма долго ходил между нарт, и чем крепче льнул к нему Хон, тем сильней становилась отцовская любовь, тем острее выпирала обида, невыносимая обида за себя, за этого невинного ребёнка. Кому мстить за боль и несправедливость? Кому? Майма остановился, представил себя, словно увидел со стороны свои ноги, грудь, руки. Всё сильно развито, красиво. И вот его кровь, плоть — сын по имени Хон, немощный, жалкий, не будущий мужчина, хозяин оленьих стад, а злая насмешка судьбы. И прежде всего над ним, Маймой.

Хону было больно, неудобно, но мальчик молчал и украдкой целовал малицу — она пахла отцом. Никогда так близко не чувствовал сын этот запах и сейчас вдыхал его с радостью, с затаённой надеждой.

В полночь старуха Варнэ вышла из чума. Нахлобучила на голову старую облезлую шапчонку с длинными рваными ушами, на концах которых болтались по три пустых гильзы от патронов: то ли украшения, то ли талисман.

Грехами Живущий и пёс пастуха даже голов не подняли — видно, уже привыкли к тому, что старуха по ночам бродит.

Варнэ сходила по надобности и, как насторо-

жившийся бурундучок, неподвижно застыла, прислушиваясь к тишине. Глаза её при свете луны хищно блестели. Она не щурила их, как днём, не мигала. Бледные губы подрагивали. Варнэ что-то тихо шептала и, не поворачивая головы, время от времени пугливо озиралась. Но всё вокруг было тихо. Никому не было дела до сгорбившейся сумасшедшей старухи. Только луна, похожая на прозрачный, освещённый сзади бубен шамана, холодно смотрела на неё с высоты.

Варнэ проворно засеменила к чуму Маймы. Подойдя, она остановилась, приподняла концы шапки; пустые гильзы зазвенели, и старушка погрозила им кулачком. Зашла с той стороны, где стоит ездовая нарта хозяина, хранятся его хорей, упряжь, деревянные и железные капканы, топор, а главное — здесь священная нарта с идолами.

Около неё Варнэ остановилась, хитро улыбнулась. Прошлась несколько раз вдоль нарты. Потом наступила на полозья и со злостью плюнула на шкуру, лежащую поверх нарты. Всё это старушка проделала несуетливо, спокойно, и усмешка не сходила с её лица. Поправив на голове шапчонку, Варнэ выдернула из сугроба хорей, швырнула на землю и три раза переступила через него, повторяя:

— Пошли рукам хозяина болезнь; чёрную болезнь принеси ему, хорей! Чёрную болезнь! Чёрную болезнь!

Так поступает женщина, когда хочет зла мужчине, так она мстит.

Воткнув хорей на своё место, старуха подошла к ездовой нарте, точно так же, три раза, перешагнула через упряжь:

— Пусть олени его не смогут идти, пусть они лишатся ног, когда владелец будет в долгой и трудной дороге.

Такой же обряд исполнила она и над охотничьей снастью, лежащей рядом с нартой:

— Пусть песец не идёт в его капкан! Пусть жестокий зверь, живущий в страшном лесу, когтями разорвёт ему лицо и вынет глаза. — Сплюнув, старуха протянула к чуму кулачки, потрясла ими.

Когда слова проклятья затихли в ночи, Варнэ направилась к поганой нарте. Села на неё и зябко поёжилась. Но не от холода, хотя было морозно. Что холод? Она привыкла. Старая женщина вздрагивала от дум. Весь день уходил у неё на кривляния, а ночью, когда всё живое засыпало и можно было расслабиться, стать собою, всплывали из темноты воспоминания — и Варнэ не могла совладать с ними.

С озера донёсся сухой протяжный треск. Женщина вздрогнула и подняла голову. Сколько... сколько раз этот звук заставлял её вздрагивать и вспоминать....

Давным-давно, когда её звали ещё Едэйне, она жила у озера, в маленьком чуме, который издали больше походил на болотную кочку, чем на жилище. Отец с матерью, как два кулика, ловили с утра до вечера рыбу, сушили её на солнце, вывешивали над огнём, чтобы чуть-чуть подпалить, заправляли густым дымом, вымачивали под дождём и снова отдавали лучам солнца. Получался юрик. Для семьи он был почти единственной пищей. Родители с годами и сами стали походить на жёлтый сморщенный юрик. Жили бедно. Мать и зимой, и летом ходила в одной и той же ягушёнке, которую никогда не снимала, потому что под ней ничего не было.

Когда Едэйне исполнилось восемнадцать лет, к ним из соседнего небогатого стойбища пришли двое мужчин. Они были одеты аккуратно, хотя и бедно. Малицы носили без сорочек, кисы без узоров и сукна, ножны имели обычные, сделанные из оленьих рогов. Один из пришедших был молодой, но постарше Едэйне. На поясе у него висели три жёлтых волчьих зуба.

Вечером, после того как гости ушли, отец задумался. И думы у него были печальные, потому что он побледнел вдруг, когда мать развела костёр.

— Кэле, огонь говорит! — сказал отец.

— Я не слышу, тебе показалось, — ответила мать, но лицо у неё тоже стало испуганным.

— Нет, говорит. Как бы не было горя.

И посмотрел на дочь.

Едэйне догадалась: если придёт горе, которое пророчит пламя очага, на этот раз — к ней.

Отец не стал ждать ужина. Надел свои лучшие кисы, которыми пользовался лишь в дни большой радости. Мать собирала его молча, и только когда муж встал на лыжи и пошёл, тихо окликнула. Но тот не услышал её. Отец удалялся медленно, и фигура его долго таяла в темноте.

— Куда он ушёл, мама?

— К людям.

— Зачем?

— Хочет, чтобы у тебя на свадьбе было мясо. Тут недалеко есть богатое стойбище оленных людей. Если там дадут

хоть маленько мяса, он потом отнесёт туда много рыбы. Пойдём в чум, не смотри вслед уходящему, не прощайся, придёт.

Мать в тот вечер была особенно ласкова и добра. Она надела на Едэйне свою праздничную ягушку, которую берегла пуще глаза. За шкуру для неё отдали столько юрика, что и не скажешь.

— Дарю тебе, дочка, — с гордостью проговорила мать, поглаживая на подоле белую полоску, она нравилась ей больше самой ягушки.

— Как мне? Тебе самой нужна, мама.

— Помолчи, дочка. Я сейчас радуюсь. Ты идёшь за мужчину не голой, как я. Это хорошо.

Потом вплела в длинные волосы Едэйне старинные медные украшения, достала шапку, которая была, правда, не новая — шерсть кое-где свалялась и облезла,— но мать осталась довольна.

— Скоро за тобой придут, и моя дочь одета хорошо, — говорила она, поправляя украшения в косах. — Тебе уже много лет, ты должна выйти замуж.

Едэйне очень хотелось коснуться рукой волос матери, погладить их. Мать никогда не была такой счастливой. Сейчас и голос у неё особенный. Тёплый, задумчивый. Конечно, ей радостно, ведь дочь станет хозяйкой чума и у неё появятся свой очаг, свои дети. Едэйне не решилась спросить, кто и когда придёт. Сердце говорило, что мужем будет юноша с чёрными глазами: крепкий, сильный и, наверное, удачливый. Это неплохо. Муж добудет много диких оленей, из их шкур можно будет сшить матери новую ягушку, лучше и красивей этой, подаренной.

Вечером мать и дочь не могли уснуть. Волновались, понимая, что это последняя ночь Едэйне в их ветхом чуме. Мать останется в нём одна, когда отец на охоту или, как теперь, по делам уйдёт. Едэйне чуть не плакала, но держалась: впереди новая жизнь, и нельзя её встречать слезами.

Через мукаданзи залетали в чум светлые большие снежинки; они медленно кружились и исчезали, опускаясь почему-то лишь туда, где дрожал воздух над ещё не погасшим костром.

В основании шеста, у самой головы, что-то неприятно заскрипело.

— Что это, мама?— Едэйне невольно пододвинулась к ней. — Это Харбцо?

Мать помолчала, прислушиваясь к шуму ветра, потом вздохнула и сказала печально:

— Это, дочь, нехорошее. Скоро ты будешь жить своей семьёй, своим чумом. Никогда в жизни не вставай и не ищи то, что сейчас скрипит.

— Почему?

— Нельзя. Харбцо недобрый, хотя и мудрый. Он живёт на земле давно, чтобы отнимать у людей рассудок. Слышишь, как скрипит, будто песню поёт. Это он заманивает, обмануть хочет... Старые люди рассказывают: один человек жил с семьёй, охотничал. Пришёл однажды домой усталый и злой; даже зайца не принёс, а мяса в чуме нет. Ночью слышит, скрипит что-то, как у нас сейчас, будто зовёт на разговор. Человек долго слушал, уснуть не мог, потом разозлился, схватил свой острый топор и начал рубить землю и шесты в том углу, где скрипело. Всё затихло, и он лёг. Уже засыпать начал, вдруг снова слышит: в другом углу заскрипело, да ещё сильней, чем прежде. Он давай там рубить. Потом — по всему чуму. Утром оказалось, что человек тот зарубил жену и детей. Это Харбцо отнял у него ум. Его надо бояться, Едэйне. Ты слышишь? — Совсем не об этом хотела рассказать мать дочери — не о Харбцо, а том, как тяжело ей будет на первых порах в чужом стойбище. Но не решилась — зачем? Сама увидит...

— Ты слышишь? — повторила тихо.

— Слышу, мама.

Едэйне вздохнула. Ей подумалось, что, когда она покинет родной чум, Харбцо придёт к матери и возьмёт её рассудок. Уткнувшись носом в тёплую шерсть ягушки, Едэйне закрыла уши ладонями, чтобы не слышать скрипа, который раздавался теперь в другой половине чума.

Утром отец не вернулся. Не пришёл он и к вечеру. Мать не суетилась, не выходила встречать. Она сидела в своём углу и штопала ягушку. Пальцы её двигались быстрей, чем обычно, но жилка ложилась ровным гладким швом. На вопрос дочери, почему так долго нет отца, спокойно ответила:

— Придёт... Как же мы без него?

Вечером сварили не юрик, а немного мяса, тоже высушенного на солнце. Съели по небольшому кусочку, а остальное мать опустила в кожаный мешочек и положила его между полозьев священной нарты. Она задабривала идолов, чтобы те помогли отцу, если ему трудно, защитили, если грозит беда.

Снова наступила ночь. Чуть буранило. Луна перебегала от туче к туче, иногда надолго пропадала, и в чуме становилось темно. Мать сидела у костра, сжав голову ладонями.

— Ма...

Мать подняла серое, усталое лицо.

— Ты не сиди так, мама. Ложись, поспи.

Та не ответила. Смотрела пристально в костёр: почему огонь никогда не говорит человеческим голосом? Ведь что-то плохое он знал уже вчера; вон сколько у него языков, хотя бы один из них мог сказать словами людей.

Женщина склонилась ниже, пристально вглядываясь в пламя и прислушиваясь к его шороху-шёпоту, но огонь ничего не объяснил ей.

Была уже полночь, когда мать с дочерью оделись и вышли. Метель занесла лыжню отца, но мать знала дорогу и не боялась сбиться с пути. Едэйне шла по её следам, стараясь ступать шаг в шаг, не обращая внимания на то, что кисы уже полны снега и мороз вполз под ягушку.

Брели они долго, не раз останавливались. Луна всё бежала за их спиной. Когда тучи закрывали её, казалось, что она зловеще подмигивает, будто знает какую-то чёрную тайну.

Наконец вышли к небольшому круглому озеру. Едэйне его помнила. Летом здесь ловили рыбу, и доброе озеро никогда не скупилось, не обижало людей.

Мать свернула на лёд — там было легче идти; ноги не вязли в снегу. В нескольких метрах от берега она остановилась и повернула к дочери испуганное лицо:

— Смотри...

На середине озера чернела неподвижная точка. Мать и Едэйне замерли, пытаясь уловить какой-нибудь звук. Нет, вокруг было тихо; только иногда под ногами потрескивал от мороза лёд, и этот звук казался в безмолвном пространстве человеческим стоном.

Мать рванулась вперёд. Упала и слабо вскрикнула, долго не могла подняться. Испуганная скорей её голосом, чем недобрым предчувствием, Едэйне бросилась к ней.

Мать стояла уже на коленях, и перед ней, на льду, лежал человек, запорошенный снегом. Головы его не было видно: малица была снята и прикрывала лицо и половину груди. Рядом валялся разорванный пустой мешок.

Женщина не шевелилась. Она видела только кисы, которые сама когда-то сшила. Вот здесь не хватило сукна — у проезжей богатой купчихи удалось выменять на юрик со-

всем немного, а тут, у самой подошвы, шерсть не подобрана по цвету. Его кисы, мужа.

Не поднимаясь, мать подползла поближе, притронулась рукой к застывшим ногам, закричала. Вопль её поглотил сильный треск льда. Дочь упала на мать, прикрыв её своим телом, затихла.

Очнувшись, увидела небо, чёрное, высокое, и в нём, словно прорубь, светлое пятно луны.

Мать не плакала уже, не кричала. Казалось, она равнодушно ждала ещё чего-то худшего. Выражение её лица было таким, будто женщина знала, что сейчас кто-то сзади ударит по голове топором, и она ждала этого удара. Увидев, что Едэйне очнулась и поднялась, не выразила ни удивления, ни радости.

— Ма... Ма...

Мать не слушала. Она смотрела на кисы умершего, на то место, где была плохо подобрана шерсть, и упрекала себя, что не заметила этого раньше: муж ходил в них среди людей, и ему, конечно, было стыдно.

«Как же это я... не видела», — подумала женщина и досадливо отмахнулась от дочери, когда та попыталась поднять её на ноги.

Только сейчас Едэйне заплакала: стало страшно видеть отца, лежащего на красном от крови льду, но ещё больше пугала мать — равнодушная, чужая.

Крупный мягкий снег сменился мелким, колючим. Начавшаяся позёмка торопливо скользила по озеру и скрывалась в тёмных прибрежных кустах. Едэйне со страхом поглядывала на заросли: казалось, что там, посмеиваясь и ухмыляясь, сидят те, кто убил отца.

Мать пришла в себя, тяжело поднялась, тронула дочь за плечо:

— Не плачь.

Они шли назад, к своему стойбищу, волоча отца на его малице. Едэйне посматривала через плечо, следила, чтобы тело не сползало на снег, и испуганно вздрагивала всякий раз, когда трещал лёд. Этот звук, раскатистый и страшный, преследовал её до самого чума и навсегда врезался в память. Даже в самые жаркие летние дни он вдруг раздавался в ушах Едэйне.

Они так и не узнали, кто убил отца и за что. Тундра велика, законы её суровы — разве двум женщинам под силу найти убийцу?

Вот о чём вспоминала сейчас Варнэ. Она сидела на нарте у чума Маймы, только что прокляв его. Тогда он был моложе Едэйне, и может, не его нож отнял жизнь у отца, но Майма из стойбища Окотэтто, куда отец пошёл за мясом. Других богатых людей в тундре и за пять переходов не сыскать было. И Едэйне, ставшая сумасшедшей Вороной, мстила мужчинам Окотэтто.

Люди из стойбища забрали девушку с матерью после того, как те едва не умерли с голоду. Мать прожила недолго, и вскоре Едэйне осталась совсем сиротой. Замуж её никто не взял. Кому она нужна? Ни приданого, ни родных, ни оленей, один чум, который женщины Окотэтто разобрали, как сегодня чум Илира.

Едэйне готовила дрова и воду для всего стойбища, присматривала за детьми и собаками. Состарилась она очень быстро. Спина от непрерывной работы согнулась, кожа на лице потрескалась. И всё чаще и чаще вспоминался ей вечер, когда она, молодая, нарядная, стояла у порога своего счастья, а мать рассказывала про Харбцо. Харбцо, великий и мудрый Харбцо, отнимающий у людей рассудок! Он был где-то рядом, совсем близко. Едэйне думала о нём не со страхом, а с тайной надеждой.

— Зачем мне рассудок? — говорила она. — Чтобы жить как люди? А разве я живу? — И сама себе отвечала: — Нет!.. Так зачем мне рассудок?

Едэйне стала ждать Харбцо. Ночами спала, прислушиваясь к тишине и поглаживая старый щербатый топор.

И Харбцо пришёл. Его голос не постарел, был такой же, как много лет назад. С радостным криком выскочила Едэйне из своего угла и бросилась ему навстречу. Широко размахивая топором, металась она по тёмному чуму и с остервенением рубила то в одном, то в другом углу.

— Бери мой рассудок, Харбцо, — умоляла Едэйне. — Бери! Бери мой ум, Харбцо! Он пригодится тебе, бери!

Скрип — ответный голос Харбцо — слышался всюду. Постепенно он превратился для Едэйне в торжествующий, победный хохот, и она тоже засмеялась. Было приятно, что Великий Харбцо понял её.

Проснувшиеся от диких криков люди толпились у входа в чум, пятились в страхе. Такого ещё не бывало: человек сам отдаёт себя Харбцо! Опомнившись, отняли топор, но женщина всё продолжала махать руками, хваталась за шесты и чувствовала себя счастливой.

Утром, проснувшись, Едэйне улышала треск огня, который ничем не отличался от обычного, а открыв глаза, увидела в мукаданзи небо, тоже прежнее. Огляделась — и в чуме ничего не изменилось. Едэйне поняла: Харбцо не помог. Она хотела заплакать, но вместо этого принялась громко кричать и смеяться. Пусть люди думают, что этой ночью она лишилась рассудка. Так ей будет легче.

Первыми в стойбище просыпаются Хон и старый пёс Грехами Живущий. Мальчик выползает из чума, садится на нарту и задирает подол малицы, чтобы были видны его тонкие ноги. Непонятно, зачем старый пёс встречает солнце. А вот у него, Хона, есть к солнцу просьба. Он повторяет её каждое утро, когда приходит весна, а за ней лето. И сейчас мальчик, глядя в лицо солнцу с недетской серьёзностью, взволнованно шепчет:

— Солнышко... ты видишь, ножки мои умирают, а я очень хочу ходить. — Хон приподнимал руками сначала одну ногу, потом другую, показывая солнцу, что действительно они никуда не годятся. — Дай им силу. Тогда я принесу тебе самого красивого оленёнка. У меня есть такой.

Хон не обманывал. Весной он мысленно выбрал среди новорождённых оленей самого крепкого и красивого, чтобы отнести его солнцу, как только ноги его смогут ходить.

Повторив просьбу несколько раз, мальчик начал рассказывать шёпотом о том, что делал бы, если бы мог ходить, как все нормальные люди. Но об этом он говорил машинально, привычными словами, а сам потихонечку, совсем про себя, чтобы не подслушало солнце, думал о Красной нарте. Хон считал: если солнце узнает о его мыслях про красных лекарей, то не станет ему помогать. Обидится. А кто знает, когда приедет Красная нарта, чтобы сделать ноги здоровыми, а солнце может подарить им силу в любой день, ведь оно оживляет всё вокруг: тундру и реки, птиц и зверей...

Мальчик посмотрел туда, откуда приходил день, и вдруг... ему показалось, что от солнца отделились нарты. Одна, две... три. Хон сильно по-

мотал головой — когда долго смотришь на свет, и не такое увидишь! Но нет... нет. Под ранними лучами солнца медленно и величественно приближались от синего горизонта Красные нарты. Хону даже показалось, что он видит, как неторопливо, чуть растягивая шаг, бегут красные олени с красными рогами — каждая веточка на них красная!

— Красные нарты! Крас-ные-е!

Хон подполз к чуму, откинул полог:

— Красные нарты!

Майма вскочил. Жёны ещё только натягивали на себя ягушки, а он уже стоял одетый и непослушными руками подвязывал пояс. Мерча тоже поднялся, но, в отличие от сына, руки у него не дрожали. Старик не спеша набил табаком трубку. Закурил.

На улицу вышли вместе. Грехами Живущий изнемогал от неистового лая, метался, но, увидев хозяев, притих и лишь изредка рычал, воинственно скаля старые, стёршиеся клыки. Он всегда знал, когда в стойбище едут недобрые гости.

Упряжки, приближавшиеся со стороны соседнего стойбища, вынырнули из небольшого редкого лесочка, и теперь стало видно, что никакие они не красные, а обыкновенные. Олени шли устало, седоки то и дело высоко поднимали хореи, и животные, чуя близкий отдых, пытались бежать.

Мерча вернулся в чум, но тут же вышел оттуда подпоясанным, и Майме показалось, что отец не просто надел ремень с ножнами, а подобрался, подтянулся, словно приготовившись к большой охоте. Поглядывая в сторону упряжек, Майма подозвал старшую жену и тихо сказал:

— Спрячь подальше Мяд-пухучу.

— Хорошо.

— Да побыстрей...

Нарты остановились. Приезжие, сойдя на землю, о чём-то равнодушно переговаривались, поправляя упряжь. Двое — светлые лицом и волосом, в неподпоясанных малицах и стоптанных кисах. Незнакомые, русские. Но не они интересовали Майму, а те трое, что возились около первой нарты. Майма давно, ещё издали, узнал их. Он помнил каждого своего пастуха, как тот ездит, как на нарте сидит. А этих тем более: два брата Сэротэтто и Худи Падро, когда отец отпустил пастухов, первыми покинули стойбище.

— Разнюхали след, собаки? — спросил Майма, но с нарты не встал, подчёркивая, что никого не приглашал и не ждал.

Приехавшие не обратили на него внимания. Все пятеро

направились к чуму Тусида Ехора, из которого уже поднимался в небо голубой дымок. Сам пастух не смел подойти к гостям и, бросая на хозяев короткие взгляды, стоял возле своей нарты.

— Подождите! — Мерча, побледнев, поднял руку; ни один человек — богатый ли, бедный, — приехавший в стойбище, — не обходил пока ещё его чум. Это равно оскорблению.

— Подождите!

Гости остановились.

— Я стар. Вы не должны обижать меня. В моём чуме всегда найдётся кусок мяса для гостя. — И, не дожидаясь ответа, медленно пошёл к чуму, превозмогая желание обернуться.

Он понимал, что сын осуждает его. А ведь прибывшие не просто гости. Это новые хозяева тундры, хотя трое из них — его пастухи, которые раньше и думать не смели сидеть рядом с хозяином. А теперь он сам позвал их, как равных, к столу... Что ж делать, обычай есть обычай...

За столом разговора не получилось. И хозяева, и гости хорошо понимали, почему они оказались вдруг в одном чуме, у одного очага...

Как только гости уселись и стали неторопливо есть, Мерча уставился на бывших своих пастухов. Что они принесли с собой? С чем приехали? Что взяли от той жизни, возле которой побывали так близко?

Старший Сэротэтто был чуть моложе Мерчи, но голова у пастуха, пожалуй, белей. «Кэле, кэле, когда-то и мы были молоды», — подумал с грустью хозяин чума, глядя на усталое, морщинистое лицо пастуха. Про него ненцы в шутку говорили: «В какой одежде на свет появился, в той и умрёт». И словно в подтверждение этих слов, Сэротэтто носил всегда одну и ту же, всю в дырах, малицу с обшарпанными, потрёпанными полами.

«Неужели, правда, и в гроб в ней ляжет?» — усмехнулся Мерча, отметив с удивлением, что малица тщательно заштопана, полы подшиты, а капюшон обновлён. И почему-то ещё подумалось, что всё это жена Сэротэтто могла сделать и раньше. Однако все двадцать лет, которые тот прожил у хозяина, пастух ходил оборванцем. Другим Мерча его не помнил. В чём дело?

Младший Сэротэтто моложе Маймы. Этому жить при новых порядках. И если людям понадобится выбрать себе вожака, то его и искать не надо. Вот он сидит, как... как скала. Мерче аж зябко стало от такого сравнения.

Действительно, в каждом движении парня, в твёрдом, уверенном взгляде и даже в том, как он брал мясо, как ел, чувствовалась сила, и не только сила рук, ног, здорового тела, но ещё и другая, неуловимая, которую так просто не объяснишь. Такие могут, как говорится, и медведя за ухо привести.

Мерча, не скрывая любопытства, разглядывал гостя. Пастушил тот совсем немного, наверно, года полтора-два. На глаза не попадался, и видел его хозяин нечасто. Знал, что есть такой человек в стойбище, а близко столкнулся впервые. Мерча улыбнулся и закурил. Стало спокойней, будто приехали к нему не враги, а друзья. Ведь не звери, не духи ночные собираются жить на земле, а люди. Вот они, обыкновенные, знакомые, с привычными к работе руками, с умными глазами, чистыми, открытыми взглядами. А взгляд человека от сердца тянется, как стебель от корня. Надёжный корень — и стебель прямой; гнилой корень — стебель корявый, уродливый.

— Как дорога? — спросил Мерча и снова с любопытством взглянул на младшего Сэротэтто.

— Дорога не хитрая. Прямая к тебе, — с достоинством ответил старший, вытерев нож о полу малицы.

«Вша поганая... Расселся, как равный. И держится, точно хозяин стада», — со злостью подумал Майма. Он не понимал отца: зачем вступать в разговор? Накормил, как велит обычай, и хватит, а если гостям хочется побеседовать, пусть с собаками лаются.

Майма знал: разговора не избежать, не молчать ведь — приехали гости, и всё же было ему неприятно, что отец задал традиционный вопрос: «Как дорога?» Особенно удивил тон: доброжелательный, учтивый.

— Вы, наверное, слышали про нас? — начал старший Сэротэтто, не решаясь в присутствии бывших хозяев откинуться на подушки.

— Не без ушей, — ответил Майма и так посмотрел на старика, словно хотел вцепиться ему в горло.

— Значит, можно не говорить лишних слов, не тратить зря силу, — вмешался младший, поймав, видимо, взгляд Маймы. — Если слышали, то понимаете, зачем мы здесь. Недаром при встрече руки не подали. Вы и мы — не друзья.

Мерча подавил в себе вспыхнувшую при этих словах ярость. Хозяева чума и гости в самом деле враги. Даже собаки при встрече сначала принюхиваются, присматриваются, а уж

потом или дерутся, или виляют хвостами. Но разве в стойбище не выполнили закон тундры, разве приезжих обидели, не угостили? Почему же глядят они как зимние волки?

— Твои слова справедливые, — неожиданно сказал он и осёкся.

Сын с нескрываемым бешенством смотрел на него: отец знал эту маленькую правду людей Красной нарты. Что же он, согласен и с большой правдой новой жизни? Мерча нахмурился. Хозяин в чуме он, и глаза сыну даны не для того, чтобы без уважения смотреть на отца.

— Пока мы пьём чай, пригони оленей. Люди, может, торопятся. Они ведь не на нас с тобой глядеть приехали.

Майма поднялся и вышел. Сейчас отец прав, надо скорей избавиться от этих гостей. Из оставшейся тысячи они возьмут не больше половины, а основное стадо, одна мысль о котором греет сердце, переждёт беду в Капкане Злых Духов.

Майма злорадно усмехнулся и вышел. Не так уж страшна эта Красная нарта. А Кривой Глаз говорил: и солнце почернело, и всходит оно не с той стороны... Сам, наверное, от злости и зависти почернел с головы до пят.

Хон спрятался за подушками. Он забрался туда сразу, как приполз с улицы с вестью о Красной нарте. Когда приехавшие вошли в чум и принялись за еду, мальчик осторожно выглянул из-за спины отца и посмотрел на гостей. Троих ненцев он знал. Бывшие отцовские пастухи. А вот рядом с ними... Он! Тот самый! Таким Хон и представлял его, когда тайком от солнца тосковал о Красной нарте. Но этот человек оказался красивей и светлей, чем в мечтах. Глаза чистые, синие, как два озера рядышком, и плечи широкие, на них можно и нарту поставить.

— Лекарь! — прошептал Хон и уже не спускал глаз с удивительного незнакомца. И чем дольше на него смотрел, тем сильнее верил в своё исцеление. Надо только показать ему ноги, и Лекарь всё поймёт, поможет. Они не скажут друг другу ни одного, даже крохотного, коротенького слова. Просто Хон встанет на ноги и пойдёт!

На улице залаял Грехами Живущий; все оживились. Светловолосый гость поднялся, направился к выходу. Мальчик испуганно посмотрел ему вслед. Как это? Он уходит?!

Испугавшись, что Лекарь уйдёт навсегда, Хон вскрикнул, выкатился на середину чума, быстро подполз к пологу, путаясь в полах малицы, и оказался у ног русского.

Мать кинулась к сыну, но мальчик сердито оттолкнул её, крепко вцепился обеими руками в кисы незнакомца.

— Почему ты уходишь? — спросил, смотря на него с мольбой сухими, горячими глазами.

— Что он хочет, товарищ Егоров? — спросил второй русский, с жалостью и испугом глядя на горбатого мальчика.

Хон, конечно, не понял, но, уловив в голосе русского вопрос, торопливо поднял подол малицы и показал ноги. Чтобы не заплакать, он закусил задрожавшую нижнюю губу; чуть помолчал и сказал то, что не раз говорил солнцу. Егоров оглянулся на младшего Сэротэтто. Тот, опустив глаза, перевёл просьбу-мольбу калеки.

Егоров опешил. Большое горе заставило этого дикого мальчика кинуться к нему в ноги. Он наклонился, поднял ребёнка на руки — тот был почти невесом,— прижал калеку к себе. Нет, не все ненавидят Красную нарту, желая ей трудного, опасного пути. Ради таких, которые ждут, стоит пройти ещё тысячи и тысячи километров. Но как объяснить ребёнку, что он, Егоров, не может помочь ему?

В чум заглянул Майма. Увидел Хона на руках русского, удивился и тут же рассвирепел. Грубо схватил сына и швырнул его на постель. Хон упал лицом вниз. Худенькие плечи его затряслись, но он не плакал, а только сильно дрожал.

— Вы приехали за оленями, а не за мальчиком! — рявкнул Майма и с силой сжал кулаки.

Все притихли. Мерча замер над внуком, не смея коснуться его. Старик понимал, что сейчас Хон потерял нечто большее, чем отец и дед, лишившиеся части оленей...

Все молча вышли из чума. Старший Сэротэтто, увидев знакомое стадо, сразу забыл обо всём. Всю жизнь отдал пастух этим оленям; охранял и холил, как собственных, недосыпал ночами, сберегая их покой; знал всех вожаков, их детей и внуков. Он любил их так, как, казалось, не любили хозяева. Старик смахнул непрошеную слезу и нашёл взглядом Майму. «Этот ленивый пёс только ел да спал возле женщин, но почему-то олени принадлежали ему. Разве Яминя права? — подумал Сэротэтто. — Нет, это несправедливо...»

Худое лицо старшего Сэротэтто, заросшее густой бородой, оживилось. Он положил ладонь на деревянные ножны, вошёл в стадо, рассекая его, как стрела. Это было необязательно, нужных оленей глаз нашёл бы и сам, но старый пастух давно мечтал пройти вот так, уверенно и свободно, сквозь неисчислимое множество животных, чувствуя себя их хозяином.

Скоро опытный глаз уловил, что многих оленей нет. Должен быть огромный менаруй удивительной окраски. Около носа, глаз и по бокам шерсть его отливала ярко-рыжим и вспыхивала на солнце, как старательно начищенная медь. Менаруй был признанным вожаком, часто дрался и всегда побеждал. Не любоваться им могли одни камни. Майма гордился оленем больше, чем всем стадом. Где же этот красавец? И важенки, каждую весну приносящей потомство, тоже нет...

Старший Сэротэтто насторожился. Ещё раз внимательно оглядел стадо. Пастух знал: молодой хозяин хитёр, а именно сейчас, когда вершилась справедливость, не хотелось быть обманутым. Настал день, чтобы рассчитаться с богачом. Майма должен почувствовать боль, которую Сэротэтто испытывал всю жизнь.

И гости, и хозяева стойбища наблюдали за стариком Сэротэтто. Варнэ, в своей неизменной шапчонке, подвязанная какой-то тряпицей, тоже вышла из чума. Она не каркала, и даже тени улыбки не было на её лице. Женщины, стоявшие возле поганой нарты, пытались знаками подозвать к себе сумасшедшую, но та не обращала на них внимания. Она застыла на месте, всматриваясь с напряжённой тревогой в старика, который угрюмо возвращался к людям.

Он подошёл к Майме, тяжело дыша и вытирая ладонью пот со лба:

— Ты опять хочешь обмануть меня...

Майма не ответил и не поднял головы.

— Посмотри в глаза, я говорю с тобой! — потребовал пастух.

— Что случилось? — хозяин не выдал волнения.

Он спокойно, сверху вниз, посмотрел на бывшего своего пастуха.

— Не измеряй меня, я не покойник. Где олени?

— Перед тобой.

— Двадцать лет я был твоими глазами и руками. Меня не обманешь. Где остальные?

— Все здесь. Если не веришь — ищи. Раньше ты был неплохой собакой, старик.

Сэротэтто понял оскорбление. Да, раньше, в пургу, в дождь, в зной, искал он пропавших оленей, в кровь раздирая ноги и руки. Искал, как верный пёс, день, два, неделю и находил. Но сейчас не те времена.

— Мы с тобой немолоды, Майма, чтобы ходить друг перед другом, как два кобеля. Где олени?

— Они перед тобой. Лови самых лучших.

— Лучших тут нет, Майма. Ты их спрятал. Где?

Сэротэтто знал, что отыскать в тундре стадо, пусть даже и огромное, невозможно, если не осталось следов. А какие могут быть следы зимой, после метелей и снегопадов? Сейчас пастух почувствовал себя бессильным: стало душно, и он торопливо сбросил на спину капюшон. Неужели и теперь, когда уже виден был ласковый взгляд Ямини, она опять отвернулась?

Уже не обиду, а зло еле сдерживал старик Сэротэтто. Он схватил малицу на животе Маймы и сильно дёрнул её:

— Говори, сын собаки, где олени? Где наши олени?

— Это мои олени! Ты забыл? Забыл, как ел объедки с моего стола? Мои олени! Мои! — крикнул Майма.

Вырвал малицу и так глянул, что Сэротэтто невольно съёжился. Он снова увидел перед собой хозяина, от которого зависело, будет ли пуст желудок его и его детей, снова ощутил себя накрепко, как поплавок с сетью, связанным с этим человеком. Старик опустил голову, словно устыдился, что так скоро и так высоко её поднял. Перед ним сидел Хон, который выбрался из чума ещё раз посмотреть на людей Красной нарты.

— Дядя, — серьёзно сказал мальчик и дёрнул пастуха за полу малицы. — Илир знает, где олени, он скажет.

Майма схватил сына за шиворот и отшвырнул его в сторону, но Хон упрямо повторил сквозь зубы:

— Он знает и скажет, — показал на Илира, стоявшего рядом.

— Значит, спрятал всё-таки. — Сэротэтто улыбнулся, подошёл к Илиру, погладил по голове. — Ты стал большим, сын Хаулы. И, наверно, ты храбр, как отец. Знаешь, где олени?

— Знаю.

Майма побледнел, как ночь перед рассветом. Мерча медленно опустился на нарту. Что поделаешь? Чтобы ребёнок молчал, ему надо набить рот вкусной едой. Как ни странно, старик не почувствовал ни боли утраты, ни злобы, ни обиды. Только усталость, похожая на тяжесть мокрой одежды, сдавила его. И он, вцепившись руками в верёвку, привязанную к нарте, сидел неподвижно, будто боялся упасть.

Сэротэтто присел на корточки перед Илиром и ещё раз спросил:

— Так ты знаешь?

— Конечно, — подтвердил мальчик. — Они в Капкане Злых Духов. Вон там. — Илир протянул руку к туманным вершинам.

Сэротэтто поднялся и подошёл к Майме. Тот стоял, отвернувшись, но старик заметил, как подрагивает рука хозяина на оправленных серебром ножнах. Не скрывая радости, пастух коснулся его плеча и сказал насмешливо:

— Оставь у себя этих оленей. Их хватит тебе до конца твоих дней. А тех, спрятанных, я заберу.

Сэротэтто сам не заметил, как сказал «я заберу». Майма вздрогнул. И пока пятеро приезжих шли к своим нартам, он так и стоял, страшно прищурив глаза. Непривычная бледность и судорога, изредка дёргающая щёку, придавали лицу хищное, злобное выражение. Кровь ударила Майме в голову, застлала глаза, и он, неожиданно развернувшись, выдернул нож. Метнул его, почти не целясь, в наклоненную спину старика Сэротэтто. Тот, взмахнув руками, вскрикнул и упал.

В тот же момент кто-то торопливо дёрнул Майму за пояс. Это Мерча быстро всунул свой нож в ножны сына. «Зачем?» — хотел спросить Майма. Он не боялся. Слишком велика была радость: не видать Красной нарте тех, лучших, оленей. Никто, кроме старшего Сэротэтто, не решится войти в Капкан Злых Духов, а этот смельчак скоро подохнет, если уже не подох.

Младший Сэротэтто, брат старика, подошёл, схватил Майму за грудки. Секунду подержал, словно хотел, приподняв, швырнуть на землю. Но передумал, отпустил. И вдруг ударил по глазам растопыренной ладонью. Майма застонал, упал, но тут же вскочил. Зажал руками лицо, попытался разлепить веки, но они сомкнулись от боли. Услышал недовольный голос русского и подумал: «Наверно, ругает, что эта собака не убила меня».

— Зря ты так, — сказал Егоров. — Его судили бы по закону.

— У нас свой закон. Он по-волчьи сделал, я ему по-волчьи ответил, — отрезал молодой Сэротэтто и, повернувшись, столкнулся с отцом Маймы.

Мерча хотел что-то сказать, но губы шевелились беззвучно, а величественная борода мелко дрожала, как от ветра. Наконец спросил:

— Сын, зачем отнимать у человека солнце?



Но Илир не был один. Ночью, когда хозяин вернулся из стада и, не обращая внимания на мальчика, прошёл в чум, из-под нарты выбрался Грехами Живущий. Старчески вздохнув, он ткнулся носом в ноги Илиру.

— Он отнял у моего брата жизнь, а я взамен взял солнце. Ты мудрый и старый человек, разве можешь осудить меня?

Мерча молча показал свои пустые ножны, потом снял с сына пояс, протянул его пастуху. Тот, изумлённый, выдернул нож из серебряных ножен Маймы, посмотрел на старика.

— Я убил твоего брата, — сказал Мерча. — Судите.

Молодой Сэротэтто повернулся к товарищам, но те и сами были растерянны. Он поглядел на женщин и по их лицам понял, что они не видели, кто бросил нож. Ребятишки на этот раз тоже молчали.

Только Варнэ вела себя как-то странно. Она, как песец, попавший в капкан, вертелась на месте, и когда взгляд младшего Сэротэтто коснулся её, кинулась к пастуху. Гильзы на концах шапки били женщину по лицу и груди. Торопливо отбросив с глаз грязные седые пряди, она воровато оглянулась и с таинственным видом поманила за собой парня.

— Я не сумасшедшая, — услышал он взволнованный, горячий шёпот и удивлённо отпрянул. — Я не сумасшедшая, — повторила старуха, готовая вот-вот заплакать. — Я всё видела. Я всю жизнь была его тенью, — она указала рукой на Майму, сидящего, опустив голову, на снегу. — Я знаю про него всё. Мои глаза, как негаснущие звёзды, наблюдали за ним. Это не человек, это нылека! Нылека! — выкрикнула она, тыча кривым чёрным пальцем в сторону Маймы. — Он бросил нож, я видела, — и неожиданно захохотала.

Так люди смеются, наверно, раз в жизни, в долгожданный час торжества.

Но смех её скоро иссяк. Варнэ вздохнула и, словно сбросив с плеч тяжёлую вязанку дров, сказала буднично, деловито:

— Верь, я в своём уме... Я хотела отдать Харбцо мой рассудок много лет назад, но он не взял его. Теперь я рада этому. Скажи мне, сынок... — помолчала, задумавшись. — Скажи: там, откуда пришёл ты, найдётся кусочек хорошей жизни, который станет моим? Жить мне недолго, и я хочу провести последние дни без страха.

Молодой Сэротэтто ошалело смотрел на старуху. Сейчас она не казалась ему сумасшедшей, была усталой, печальной. Сколько в стойбищах таких одиноких, заброшенных женщин, доживающих свои дни у поганой нарты?! Кусочек хорошей жизни... Это желание понятно каждому бедняку...

— Конечно, женщина. Хорошей жизни теперь хватит на всех.

— Я не останусь здесь больше. — Варнэ судорожно проглотила слюну и заторопилась.

Проверила, на голове ли шапка, потрогала тряпичный пояс, улыбнулась и добавила:

— А брата твоего убил Майма. Я видела.

Мерча слышал торопливую речь старухи.

— Эта старуха сумасшедшая, — сказал он. — Об этом знает вся тундра. Ты первый, кто заговорил с ней. И то потому, что хочешь крови моего сына. Варнэ врёт. Я убил твоего брата!

Женщина не перечила Мерче. Ей было не до него. Она думала о новой жизни, и губы её кривились в неловкой, неумелой улыбке.Младший Сэротэтто смотрел то на неё, то на бывшего хозяина. Как быть?

А старого Мерчу не терзали сомнения. У него не было никого, кроме Земли и сына. Ещё до приезда Красной нарты он знал, чувствовал: что-то должно случиться! Не может всё остаться, как прежде. И вот случилось... Старик был готов к самому худшему. Вещи, олени, нарты — всё это любит сын, и пусть он останется с ними... А ему, Мерче, надо готовиться к встрече с Землёй, и он прав, отдавая себя людям Красной нарты. Старик подошёл к сыну.

— Ну вот... — сказал он и замолчал, чувствуя, что сказать нечего.

Мерча всегда считал, что слово должно быть метким как стрела и знать, куда летит, в кого попадёт. Что сейчас больше всего нужно сыну? Ума? Ума у него хватит на десять голов. Силы? Тоже достаточно.

— Ну вот... — повторил Мерча. Осторожно, как в давние годы, прижал голову сына к груди. Майма с усилием поднял веки, но не увидел отца, а ласка напомнила детство, вызвав горькую и расслабляющую жалость к себе.

Что они могли сказать друг другу? Где будет Мерча через день? Что будет делать Майма, оправившись от удара?

Старик взял на руки Хона, испуганного и от этого казавшегося ещё более несчастным. Тихо шепнул ему на ухо:

— Расти, сынок. — Мальчик сильно дрожал, и дед сквозь зубы добавил: — Не бойся и... расти.

Старший Сэротэтто лежал на нарте лицом вниз. Тусидор Ехор принёс подушку; её подложили под раненого, но она тут же покрылась красными пятнами. Сэротэтто стонал и не

приходил в сознание. Варнэ склонилась над ним, нашёптывая что-то. Она неузнаваемо изменилась. И не потому, что волосы старухи оказались аккуратно приглажены, даже заплетены в тоненькую косичку, которая торчала из-под драной шапчонки, похожая на мышиный хвостик. Какое-то новое выражение — светлое и успокоенное — появилось на её лице.

Недолго радовалась женщина. Обсудив с товарищами положение, Егоров решил, что сейчас они могут взять лишь пастуха Маймы. Младший Сэротэтто и Худи Падро поедут к Капкану Злых Духов. А Тусидор Ехор покажет дорогу в ближайшую факторию, где есть фельдшер. Сироту Илира и Варнэ заберут потом. К Хону пришлют врача.

Когда старухе сказали об этом, она заплакала. Испуганно посмотрела на Майму — слышал ли он её разговор с братом раненого? — но хозяин стойбища сидел отрешённый, прикрыв лицо ладонями.

Мерчу подвели к нарте русских. Тусидор Ехор хотел связать ему руки, но Егоров помотал головой: не надо. Старик вёл себя спокойно, с полным безразличием к себе и людям. Он сел, куда ему показали, и замер, с тоской глядя на своё маленькое стойбище. Теперь, в оставшиеся до смерти дни, будет оно приходить к нему лишь в воспоминаниях, заставляя плакать сердце. И ещё думал Мерча о скале, о каменном заступнике, сидящем с опущенной вниз головой. Напрасно каждую весну будет он ждать человека, которого когда-то спас. Они больше не встретятся.

Нарты тронулись. Старик не прошептал «лакомбой». Он знал, что не вернётся сюда. Зачем обманывать себя и людей? Мерча даже не оглянулся на стойбище. Но когда немного отъехали от чумов, он надсадно и неестественно закашлялся, чтобы никто не заметил его старческих, ненужных сейчас слёз.

Хон медленно пополз вслед за уходящими нартами. Они пришли от солнца, под него и ушли, оставляя за собой голубой снежный хвост. День был уже в полном разгаре, и солнце пригоршнями сыпало тёплые яркие лучи на колени мальчика. У него уже не было сил ползти; Хон сидел в снегу, опустив отяжелевшие усталые руки, и тихо стонал. Он понял, что никогда не встанет на ноги. Как маленький идол, забитый, заброшенный или упавший случайно со священной нарты, мальчик долго, не шевелясь, смотрел перед собой. Он увидел бурую уродливую травинку, которую ветер гнул к земле, не давая ей распрямиться.

— Такая же, как я... Похожих на себя я могу найти только внизу, на Земле. Я и Земля — едины...

Это была совсем недетская мысль, но она пришла к Хону так же просто, как после долгого пути приходит в родной дом хозяин.

На третьей стоянке Тусидор Ехор пошёл к старшему Сэротэтто поправить шкуру, укрывавшую его. Посмотрел на старика и, вскрикнув, попятился.

Сэротэтто лежал лицом вниз, вцепившись зубами в кулак. Казалось, раненый пережидает острый приступ боли и крепится, чтобы не поморщиться, не застонать. Но смерть, как ничто другое, угадывается сразу. И люди увидели её. Молча сняли шапки, ощущая, как холодит сердце горе. Не один месяц ездит по тундре Красная нарта, были трудности, обиды, невзгоды. Но гибель товарища настигла их впервые. Враг показал свою силу и, может, ещё где-то ждёт, притаившись, чтобы встретить ножом или пулей посланцев новой жизни.

Горы остались позади. Лесотундру тоже проехали, и вокруг потянулись снега, кое-где подчернённые редкими кустарниками низкой ольхи. О Сэротэтто пока не думали как об умершем, потому что Егоров приказал ехать дальше. Мерча понял его и одобрил. Если уж нельзя похоронить ненца по обычаю дедов и отцов, то надо отыскать для его могилы какое-нибудь приметное место. Человек не должен уйти из жизни бесследно, что-то должно в верхнем мире напоминать о нём. Пусть это будет деревце, холмик или просто камень.

Ехали долго, с тоской глядя по сторонам. Дико, пусто, беззвучно. Земля онемела, застыла.

Остановились около небольшой, наполовину занесённой снегом, кучки камней, наверное, специально принесённых сюда и сложенных друг на друга. Может, раньше тут было священное место, иначе зачем лежат эти камни здесь, среди тишины и необозримой равнины? О чём могут они рассказать и что помнят? Разгребли снег и увидели обломки оленьих рогов, заросшие мхом черепа вокруг небольшого полусгнившего и развалившегося ящичка. В нём — крохотные топорики, ножики из камня, кусочки дерева. Возможно, это были идолы, потерявшие теперь свой прежний облик и силу.

«Не настолько уж эта земля дика», — подумал Егоров,

и от этой мысли стало немного легче. Конечно, не так надо бы хоронить старого пастуха, не в безлюдной тундре, а чтобы вокруг стоял народ, его сородичи, близкие ему по духу. И надо бы рассказать землякам погибшего о новой жизни, да такими словами, каждое из которых показалось бы ненцам горячей, чем костёр очага.

Могилу рыли топорами, ножами, разбивая острыми камнями землю. Лопаты не было. Ведь никто не думал, что придётся вгрызаться в тундру, чтобы оставить в ней товарища.

Мерча понимал, что покойнику будет неприятно, если и старый хозяин приложит руку к созданию его, теперь уже последнего, жилища, но всё же встал помочь, однако взгляды хоронивших осадили старика. Для Тусидора Ехора и русских он был убийцей. Ну что же, Мерча сам назвал себя этим именем. Как пришибленный продолжал он сидеть на нарте, не думая ни о прошлом, ни тем более о будущем.

Умершего бережно завернули в шкуру. Тусидор Ехор особенно тщательно укутал ему ноги. Кисы покойного были не новые, простенькие; подошва и вся нижняя часть сильно прохудились. Под голову старшего Сэротэтто пастух положил один из священных камней.

Хоронили молча, по-мужски. И это придавало прощанию щемящую торжественность и острое чувство утраты. Сэротэтто почти всем, кроме Егорова, годился в отцы и по возрасту, и по опыту. Он помог становлению новой жизни: без него Красная нарта на этой суровой земле была бы слепой, глухой и беспомощной. Сейчас она осталась сиротой, и все понимали это.

— Жаль старика... — тихо проговорил Егоров, кидая кусочек мёрзлой земли в небольшое углубление, куда положили покойного. — Очень жаль. Это был настоящий борец.

— Да, — ответил с отчаянной тоской молодой русский и оглянулся, будто там, за спиной, стояла смерть, поджидающая и его.

Тусидор Ехор молчал. Он не понимал, о чём говорят чужие ему люди, которых он видел впервые. Но пастух поверил теперь в их силу, способную спасти от голода и нищеты обманутый богатеями народ тундры. И укрепился в своей уверенности, увидев, как русские держались с всесильным Маймой. Пастух понимал и то, что Сэротэтто умер не зря — олени хозяев достанутся детям бедняков и детям их детей. Нет, он никуда не уйдёт от Красной нарты. Будет, как верный пёс, указывать ей дорогу в богатые стойбища; заметёт

путь — встанет на четвереньки и поползёт, отыскивая следы. Только надо защищать спины — и ненцев, и русских — от ножа и пуль. Светловолосые люди новой жизни хотя и сильные, но закон суровой Земли им неведом. Сейчас в тундре началась драка пострашней, чем волчья. Потому что богач — человек, и он к жестокости зверя добавит силу ума, хитрость, изворотливость, умение улыбаться, угощать чаем, говорить правильные слова.

Могилу присыпали снегом, придавили от песцов бывшими священными камнями.

— Спи спокойно, первый коммунист тундры, — сказал Егоров, склоняя крупную голову в поклоне. — Ты не подавал заявление в партию, но всей своей жизнью и самой смертью доказал, что достоин звания большевика. Я, коммунист, подтверждаю это. Мы закончим твоё дело, товарищ Сэротэтто.

Мужчины немного помолчали, сдвинув капюшоны малиц и сняв шапки, потом, подняв винтовки, дали залп.

Тишина настороженно зазвенела и поглотила звук. Следующий залп вспугнул её, и люди услышали, как затихающий рокот выстрелов умчался над заснеженной землёй, теряясь вдали. От третьего залпа, казалось, вздрогнули и снова замерли рано выступившие звёзды.

— Я тоже хочу, чтобы меня похоронили на этой земле, — тихо и твёрдо сказал молодой помощник Егорова, опуская винтовку.

— Тебе рано думать о смерти.

— Когда-нибудь она всё равно придёт. От старости или, как у Сэротэтто, от руки врага.

— Почему на этой земле?

— На ней много несчастья и боли. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы и сюда пришла радость. А это потребует всей жизни. Так что умереть мне суждено здесь...

Парень говорил задумчиво, не отрывая взгляда от свежего холмика, над которым склонился новый проводник.

— Я оставлю тебе мяса и крови, — шептал негромко Тусидор Ехор, поправляя камни на могиле, — но придёт время, мы забьём у твоего земляного чумика самого жирного менаруя. Я сам приведу его на аркане. Верь мне и не обижайся. — Он еле заметно поклонился и пошёл к нарте.

Егоров хотел уже взмахнуть хореем, как вдруг почувствовал на плече тяжёлую ладонь. Старик, которого они везли, чтобы судить, убрал руку, слез с нарты и неторопливо

пошёл к могиле. Около неё остановился и замер. Егоров не отрываясь неприязненно смотрел на него: убил, а теперь скорбит. Странный старик...

Мерча три раза обошёл захоронение, каждый раз наклоняясь и касаясь пальцами холодных камней.

— До встречи, — прошептал он. — Тебе-то я могу сказать «лакомбой».

Прощаясь со своим старым честным пастухом, бывший его хозяин почувствовал вдруг непонятную обиду. Откуда она? «Ах, да... Люди оказались правы. Сэротэтто ушёл в подземный мир, так и не сменив заношенную, ветхую малицу...»

Когда старик вернулся и нарта тронулась, Егоров оглянулся, хотя от самого Сэротэтто слышал, что делать этого нельзя: покойник, мол, оставит у себя взгляд и посмотревший пойдёт по нему, как по мостику, вслед за умершим. Но Егоров упорно смотрел назад: хотелось запомнить место, найти какой-нибудь приметный ориентир, который виден издалека.

«Если выберусь живым из этого похода, поставлю тут памятник. Старик заслужил его... И пусть со всей тундры приезжают сюда люди, чтобы задуматься не только о жизни, но и о бессмертии».

Могила ещё долго виднелась на ровной и белой земле, не терялась из виду, словно провожая и напутствуя Красную нарту. Вновь установившаяся тишина нарушалась только скрипом полозьев да редкими вскриками сонных куропаток. Едва уловимое дыхание мёрзлой, но всё-таки живой земли настраивало на мысли длинные и спокойные, как песня, которую пел в пути старик Сэротэтто.

В чуме было зловеще тихо. Женщин парализовал страх, хотя Майма, лежавший в малице и кисах на постели, не сказал ни плохого, ни хорошего слова. Он молчал, но жёны знали, что молчание мужа хуже, чем крики и ругань.

Хон пристроился рядом с матерью, обхватив ручонками её живот, и остановившимся взглядом смотрел в темноту. Только теперь он понял, во что может обойтись ему тайна Капкана Злых Духов. Мальчик не жалел о сказанном. Но ему было страшно. Пугало предчувствие наказания, которое станет горем не для него одного, а для всех. Приподнявшись, он нащупал на подушках Мяд-

пухучу и крепко прижал её к груди. Защитница очага знает будущую беду и должна отвести её. Должна!

Мать посмотрела искоса на сына. Её мучило странное чувство жалости и любви к нему. Но сейчас всё заглушал страх перед мужем, перераставший в неприязнь к ребёнку. Кто тянул мальчишку за язык? Сирота первым даже рот открыть побоялся бы. Нехорошие, злые слова так и просились наружу. Ведь в Капкане Злых Духов и её олени. Двадцать пёстрых могучих как один быков. Пять из них уже старые, но шаг держат ровный, спокойный. Их подарил отец, когда посадил дочь на нарту, украшенную красным и жёлтым сукном, и отвёз в стойбище Маймы. Остальные пятнадцать родились уже потом. И тоже, по закону, полностью принадлежали матери сына хозяина стада. Олени, близкие и милые сердцу, послушные руке без хорея... Где они теперь?

Женщина гордилась своим маленьким стадом больше, чем богатыми пыжиковыми ягушками, украшениями для кос и шапок, мешками, полными припасов. Замужество и материнство не принесли, как ожидалось, счастья, и поэтому только олени остались единственной оправданной и прочной радостью. Даже после смерти владельца они принадлежат ему. А сейчас кому? Сэротэтто? Тусидору Ехору? Беловолосым чужакам?

Едкая, неженская злоба захлестнула мать Хона. Она не могла, да и не пыталась перебороть это чувство, которое опять перенесла на сына. Тот лежал рядом. Притих, но не спал. Когда мальчик взял Мяд-пухучу, мать хотела вырвать идола из его рук, но испугалась, что муж услышит возню. И чтобы показать своё недовольство, отвернулась, ощущая спиной, как оцепенел, сжался от обиды и горя её ребёнок.

Не спят хозяева чума, ждут завтрашний день. И никто из них не помянул добрым словом Илира.

А ему было очень тяжело. Мальчик лежал почти у самого входа, рядом с Грехами Живущим, и обмирал от холода, который сковал спину и ноги, не давал ни уснуть, ни подумать о том, что же будет завтра...

Он повернулся лицом к недовольно зарычавшей собаке, прижался к ней и, втянув голову в малицу, стал дышать на руки, голые плечи и живот. Горячее дыхание приятно щекотало кожу. Стало теплей. Но ненадолго. Холод, вползший из-под полы, обжёг спину. Илир развернулся, чтобы хоть немного согреть её теплом Грехами Живущего. И без-

звучно заплакал. Мать никогда не говорила ему, что мужчина, хоть и маленький, может лежать около полога, точно забытая хозяйкой палка, которой обивают снег с кисов. Мать рассказывала только о хорошем.

Илир тяжело вздохнул. Подумалось: если он замёрзнет, то будет походить на общипанную тушку куропатки. Руки тонкие, как прутики, — это крылья; ноги — птичьи лапки; ну а о шее и говорить нечего, — она всегда, как у утёнка.

Илиру стало так жалко себя, что он громко всхлипнул. Замер испуганно: как бы не услышали хозяева. И вдруг вспомнил об угольке. Торопливо, но бесшумно достал его из мешочка, зажал в ладонях. И показалось мальчику, что стало теплей. Он улыбнулся в темноте да так и уснул с разгладившимся ясным лицом, забыв на время про своё голодное и холодное сиротство.

Майма с остервенением пил чай. Женщины тайком поглядывали на мужа, и сейчас у них было только одно желание: сделаться как можно незаметней.

— Ты сколько на земле живёшь?

Майма со стуком поставил чашку, и голос прозвучал в тишине особенно громко. Он, повернувшись всем телом к старшей жене и грозно оттопырив локти, свирепо посмотрел на неё. Тёмное, худое, с острыми скулами и большими ноздрями, лицо женщины показалось ему сейчас особенно некрасивым. Майма был убеждён: только жена виновата в том, что у него, с его силой, ростом и красотой, такой сын.

— Сколько живёшь? — рявкнул он.

Женщина растерялась. Она подумала, что муж спрашивает о возрасте, и молчала, потому что толком не знала, сколько ей лет.

— Ты когда научишься заваривать чай?

Женщина не ответила. Мужу просто надо на ком-то сорвать зло: ведь каждое утро чай заваривается по мерке и даже в одно и то же время.

— Как собачья моча! — Майма, размахнувшись, выплеснул чай в лицо жене. Она вздрогнула от неожиданности, но вытираться не осмелилась и замерла, вцепившись пальцами в колени. Коричневый чай потёк со лба по щекам, вбирая светлые слезинки.

Молодуха, сидевшая по правую руку мужа, тоже окаменела. Майма покрутил чашку в руке, будто раздумывая, не бросить ли заодно и её.

— Налей, — коротко сказал он, почувствовав испуг второй жены.

Откинувшись на подушки, пронаблюдал сквозь прищур, как она, тонкая в талии, красиво наклоняя маленькую головку с двумя толстыми косами, наливала чай. Он взял её двенадцать лун назад, и вот уже тринадцатая луна кончается, как эта красавица согревает ему постель и тело. Дорого по нынешним тревожным и неспокойным временам обошлась ему новая жена: двести оленей, немало песцов и сукна, не считая прочей мелочи. Зато... Майма улыбнулся, но тут же нахмурился.

Старшая жена незаметно вышла и, опустившись на нарту, полную всякого скарба, попыталась успокоиться. Разве это первая и последняя обида? Ведь их на сердце много, как заплат на малице бедняка. Она кусала губы, сдерживаясь, и всё же заплакала. Никогда одиночество не казалось ей таким беспросветным... Всё вылилось в слёзы: и ночные думы о сыне, несправедливость к нему, мысли об отобранных оленях, ненависть и жестокость мужа, молодость соперницы, её красота...

Мать Хона обрадовалась, когда в чуме появилась эта женщина, и не обиделась на мужа. Всё правильно и честно... Тело первой жены остыло, а Майме нужен сын, не урод, не калека. Будущий мужчина нужен... Эта жестокая мудрость жизни по отношению к ней была понятна. И ничего не остаётся, как выполнять чёрную работу по хозяйству... Согласившись с этим, женщина утешилась, не обманывая себя. Но в глубине души всё-таки запряталась горечь, прорываясь иногда тоской и обидой. Особенно в холодные, бессонные, полные слёз ночи, когда муж с самого вечера ложился под ягушку молодой и выходил оттуда только утром...

Старшая жена Маймы не была злой, и просьба, вырвавшаяся сейчас из груди, обращённая к тем, кто распоряжается судьбами людей, лишь невольно стала проклятием. Первым проклятием в её жизни.

— О идолы! Добрые и злые! Помогите мне... Пусть лицо молодой жены почернеет, как железо, на котором горит огонь, а тело её пусть разорвут собаки...

Илир с удивлением наблюдал за ней. Утром он не осмелился подойти к огню погреться. Боясь Маймы, забрался на поганую нарту. Закутал ноги в рогожный мешок, который нашёл тут же, и, дрожа от холода, выглядывал иногда наружу. Ждал, что кто-нибудь позовёт его.

Увидев, что мать Хона плачет, Илир поражённо заморгал, выполз из-под нарты, чтобы подойти к женщине, но голос Варнэ остановил его. Мальчик, оглянувшись, растерялся и оробел. Он никогда не видел Варнэ такой. Волосы у неё были тщательно расчёсаны на пробор, как у всех женщин, и даже чуть блестели, из-под воротника ягушки выглядывала яркая тряпица. Но самое интересное — старушка помолодела. Илир, спрятав руки под мышки, рассматривал её.

— Не ласкай рычащую собаку, руку укусит, — выкатив глаза, сказала Варнэ каркающим голосом, и Илиру показалось, что перед ним прежняя сумасшедшая.

Но женщина, видно, вспомнив, что ей ни к чему притворяться, пояснила, улыбнувшись:

— Не утешай её, Илир. Если человек плачет, не надо ему мешать.

— Почему?

Илир всё ещё с удивлением глядел на Варнэ — она совсем не походила на ту таинственную страшную старуху, что приходила к нему в ночь смерти матери и братика. И называть её Вороной, даже про себя, не хотелось.

— Она сейчас понимает, что несчастна. А когда человек что-то понимает, это уже хорошо, сынок.

Её рассудительный тон успокоил мальчика, во взгляде его появилась надежда. Может, Варнэ скажет, как ему жить и что делать?

Но Варнэ уже не видела Илира. Мальчик понял это по её глазам, тоже помолодевшим, чистым, блестевшим, будто котёл, который почистили песком. Старушка пристально смотрела куда-то далеко-далеко, и Илир не мог поймать конца её взгляда. Он медленно отошёл, залез опять на нарту и, накрывшись рогожей, почувствовал себя в безопасности. Отсюда можно было увидеть, когда выйдет Майма, и приготовиться.

Вдруг из чума донёсся громкий крик. Илир узнал детский искажённый болью голос и побледнел. Хон был терпеливым. Во время игры упадёт, бывало, ушибётся, поранится до крови, но только ойкнет и опять улыбается. И уж если сейчас не выдержал, то...

Полог распахнулся, из чума выскочил Майма. В правой руке он держал верёвку, сплетённую из нерпичьих постромков. Подошёл к нарте, схватил её за передок, отбросил в сторону. Илир метнулся от хозяина, но тот поймал его за капюшон. Взмахнул верёвкой.

Мальчик оцепенел, ужас, перехвативший горло, не давал ни вздохнуть, ни крикнуть. Сначала Илир от страха не почувствовал ударов, но вскоре чуть не взвыл — всё тело превратилось в сплошную боль. Открывая иногда глаза, мальчик видел перед собой широкое красное лицо Маймы, и оно слилось в сознании с представлением о мучении и страдании, стало неотделимым от чувства беспомощности перед злой силой.

Вытерев пот, Майма швырнул на снег верёвку и застонал. Не утешилось сердце, не насытилось обжигаемой злобой и ненавистью... Пошатываясь, Майма побрёл, не разбирая дороги, подальше от неподвижного Илира, от стойбища. Но не прошёл и двух десятков шагов, как остановился. Развернулся и почти бегом бросился обратно, к священной нарте отца.

Там лежали древние и мудрые идолы рода Окотэтто, всё видящие и всё знающие. Их глаза и умы, по словам старых людей, следят за тем, что происходит в трёх мирах: на небе, на земле и под ней. Средний мир, где живут люди, которые оберегают, одевают, кормят идолов, всегда стоял крепко и вот разваливается, как гнилая нарта. Так почему же всеведающие допустили это, почему не вмешались? Обида отца и горе Маймы должны отразиться на их лицах. Они обязаны подсказать, как удержать пошатнувшийся мир, как вернуть жизнь на проторенную дедами дорогу.

Майма торопливо срывал верёвки, а если они не поддавались, резал не жалея.

Перед тем как протянуть руку к священному ящику, он замер, раздумывая. Ненец редко обращается за помощью и советом к идолу, считая, что сам должен и может устроить свою жизнь; не осмеливается беспокоить святых по мелочам. И только в главные, исключительные, дни, когда решается судьба, ищет заступничества и покровительства высших сил. Перед ними склонялась не одна седая и молодая голова; их чтили, любили и боялись... Вот отец всю жизнь возил идолов от кочевья к кочевью, не жалея жертв: первую каплю крови убитого менаруя отдавал им, лучшие кусочки оленьего языка, печени, костного мозга — тоже им... Так почему святые оказались неблагодарными? Не пора ли им ответить за несправедливость, пришедшую в тундру?

Майма рывком сдёрнул с ящика летнюю, любовно выделанную, шкуру оленёнка. Её отец каждый год заменял новой, а старую сжигал, чтобы не оскорбить идолов, слу-

чайно испачкав то, что прикрывало их. Сами фигурки святых Мерча редко брал в руки, опять же боясь оскорбить покровителей.

Майма откинул крышку. Малицы и суконные одёжки божков были новыми, яркими, а лица, как всегда, — постными, равнодушными. Майма оторопел: ему казалось, что после случившегося они будут полны страдания, горя, оскорблённого достоинства, а тут... Детские куклы!

Осторожно перебирая пальцами, Майма брал верхних идолов и складывал их на землю. Должны же быть другие, особенные, что-то понявшие и знающие! Он внимательно, насколько позволяла боль в глазах, вглядывался в святых и с огорчением, досадой откладывал фигурки. Движения его стали порывистыми, грубыми, а одного, особенно аккуратного и маленького, идола Майма швырнул уже зло, и тот стукнулся своей святой головой о деревянное тело другого. Майма усмехнулся: удариться — это ещё не значит испытать боль.

Ему всё больше и больше не нравилось, что среди могущественных заступников нет ни одного, чьё лицо выражало бы печаль и сострадание... Хотелось, чтобы этот божок оказался без одежды, ничем не укутан, а рот не был обмазан кровью или рыбьим жиром.

«О! Сколько их тут, — уже с бешенством подумал Майма. — Почему же ни один из них не помог, не отвратил беду?!» И уже не неприязнь к этим самодовольным, чистеньким, нарядным куклам почувствовал Майма, а ненависть.

Он сгрёб их двумя руками, приподнял, ударил о землю. Снова собрал и снова бросил.

— Почему никто из вас и сейчас не знает, что делать? — спросил с искажённым от злобы лицом. — Почему?! Подайте голос. Чего молчите?!

Идолы падали на землю с мёртвым стуком. Никогда ещё святые не были так унижены и оскорблены человеком.

Ящик был пуст. На самом дне его лежало всего несколько маленьких фигурок, которые рассмешили Майму своей ничтожностью и нелепостью. Он схватил ящик и, высоко подняв над собой, разбил его о землю. А потом, словно очнувшись, долго стоял над униженными святыми, изумлённо и растерянно глядя на них. У самых ног, лицом верх, обхватив голову руками, то ли умоляя о милости, то ли предупреждая о каре, валялся старый идол, одетый в су-

конную малицу синего цвета. На поясе божка висел крошечный детский зуб, который не тронуло время, — настолько белым он был.

Майма вспомнил... Это его зуб, выпавший, когда Майма сильно болел, и мать, испугавшись, повесила зуб на пояс покровителя ребёнка, чтобы тот защитил сына от Нга — духа смерти.

«Это мой идол. Он спас и защитил меня», — тепло подумал о нём Майма. Не поднимая деревянного старика, наклонился над ним. Ему очень захотелось увидеть в лице святого что-то особенное, родное, и тогда, может быть, возвратится вера в ту силу идола, которая помогла в детстве, а значит, поддержит и сейчас. Майма надеялся в глазах своего заступника найти мудрость и ответ на вопрос: как жить дальше? Нагнулся пониже. И отшатнулся. На плоском лице деревянной куклы не были даже прорезаны щелочки глаз. Майма скрипнул зубами и зло пнул украшенную тряпками чурку.

— Я отрекаюсь от вас, — просто и сурово сказал он идолам. И, чтобы те поняли всё, чтобы навсегда расстаться со святыми, обманувшими его, добавил твёрдо:

— Ненавижу вас.

На следующий день, ещё в потёмках, Майма снял чум и уже к рассвету тронулся в путь. За ним потянулось два длинных аргиша. На поганой нарте, укрытый ягушонкой, лежал Илир. Майма взял его с собой. Он уходил от людей, от новой жизни, и этот предавший хозяина мальчик был единственным, на ком можно было выместить ненависть к Красной нарте и её законам.

Ночь Майма провёл без сна. Ему всё-таки стало страшно. Ещё ни один ненец не жил без идолов. У каждого чума стоит нарта со священным ящиком. «А вдруг святые будут мстить? — терзался Майма, ворочаясь на постели, и успокаивал себя: — Ведь я отрёкся от них. Они не будут мне помогать, а значит, не могут и мстить». Но от этого легче не стало. Одевшись, он тихонько выскользнул из чума. Крадучись сделал два шага и, вытянув шею, долго всматривался в темноту. Ему показалось, что около нарты мелькнула тень. Май-

ма похолодел. «Они встают!» Тень отделилась от нарты и медленно пошла навстречу. Майма попятился.

Грехами Живущий подошёл к хозяину и остановился. Облизываясь, мотнул головой. Он успел согрешить за счёт святых: на поясах многих идолов висели кусочки высохшего мяса и сала. Пёс полакомился ими.

Майма не сразу понял, кто перед ним. Он смотрел на собаку, а видел чёрное воплощение гнева идолов. И лишь услышав дружелюбное поскуливание, узнал Грехами Живущего. Вздохнув облегчённо, Майма наклонился, потрепал пса по загривку и вдруг с силой ударил его по морде. Грехами Живущий завизжал. Майма торжествующе засмеялся и пошёл спать. Смотреть на идолов, оскорблённых даже собакой, ему расхотелось.

Он не подошёл к ним и утром, только глянул мельком в ту сторону. Чуть припорошенные снегом, святые валялись, как обыкновенные камни и деревяшки, завёрнутые в тряпки. Старый идол, которого Майма вчера пнул, лежал в стороне от других, смотрел безглазо вслед уезжающим и, как вчера, не то просил о милости, не то предупреждал о ждущих обидчика бедах.

Когда нарты тронулись, Илир долго смотрел на маленькую неподвижную Варнэ. Она осталась одна в покинутом стойбище. И в своей рваной ягушке напоминала бабку Густую Шерсть, которой его стращала мать в детстве. Став взрослей, мальчик узнал, что бабка Густая Шерсть — это всего лишь вывернутая мехом наружу малица, надетая на кол. Но сейчас опять припомнились давние рассказы матери, и Илир почувствовал, что защипало глаза. Он всхлипнул и сквозь слёзы продолжал наблюдать, как таяла, исчезала фигура старушки.

Мальчик прижал руки к груди. Здесь, под малицей, лежал кожаный мешочек, который перед отъездом незаметно сунула ему Варнэ. «Не забывай, сынок, то, о чём я тебе говорила, — шепнула старушка. — Не потеряй уголёк». И отошла. Илир смотрел ей в спину, и ему очень хотелось спрятаться или стать сумасшедшим, кричать «кар». Лишь бы не ехать с Маймой, лишь бы остаться с Варнэ. Таясь от хозяев, заглянул в мешочек. Он был туго набит кусочками варёного мяса. Илир впервые за последние дни улыбнулся, положил сверху заветный уголёк из родного очага и затянул ремешок.

Чтобы отвлечься от невесёлых мыслей, мальчик стал смотреть под копыта оленей. На мягком снегу отчётливо

рисовались следы: два больших глубоких, а рядом — поменьше. «Чёрные мужчины на четырёх нартах по четверо уселись», — вспомнил Илир загадку, которую часто загадывал матери, а она, будто не догадывалась, всякий раз долго думала. «Копыта же, мама...». «Ой, и вправду, сынок! Опять забыла».

Боясь расплакаться, мальчик рывком поднял голову, поглядел вперёд. На фоне разгоравшейся зари высились горные вершины: сияющие, голубые, будто они для какого-то праздника надели малицы с сорочками из ярко-синего сукна. И Илир вспомнил, как мать рассказывала ему...

...Гнался однажды охотник за горным оленем. Поднявшись на скалу, он натянул тетиву своего лука и вдруг почувствовал под ногами частые толчки, словно сердце встревоженное бьётся.

Удивился охотник, нагнулся. Из расщелины в каменном теле горы в глаза ударил голубой свет. А в самой глубине, далеко, лежало живое сердце. Пушистый ягель, окружавший его, как дорогой мех, охранял это сердце, и острые выступы, приближаясь к нему, становились тупыми. Ещё больше удивился охотник. Меж тем расщелина становилась всё уже и уже. А когда охотник удивился в третий раз, она закрылась совсем.

И понял охотник, что видел он сердце великана. Даже самые древние ненцы не помнят времён, когда в краю, всегда освещённом солнцем, жили великаны. Их чумы были покрыты цветами, усыпаны ягодами. Великаны были так высоки, что доставали рукой до неба и по утрам обтирались прохладными чистыми облаками. Мужчины охотились, женщины растили детей.

Посередине большого стойбища пылал огромный, не засыпающий никогда, костёр. Великий очаг... Вечерами все, и малые дети, и старики, собирались вокруг него.Они благодарили солнце за тепло, землю — за прочность и богатство, приносили им щедрые дары.

Великаны не умели злиться и плакать, они всегда улыбались. И чем добрей был великан, тем красивей была его улыбка, а так как все они были добры, то некрасивых улыбок не было. Улыбки девушек вспыхивали, как раскрывшиеся бутоны багульника. Не было ничего целительней, чем улыбки матерей и жён. Слабого они поднимали, а взгрустнувшего веселили.

Но однажды случилось несчастье. Один из великанов не

вернулся с охоты. Его нашли. Он лежал неподвижно, а вокруг его тела, проткнутого множеством острых оперённых палок, копошились маленькие юркие человечки со злыми лицами. Увидев великанов, они бросились врассыпную и враждебно замельтешили поодаль.

Самый лучший друг улыбнулся лежавшему, но губы того не шевельнулись в ответ.

Самая красивая девушка подарила неподвижному соплеменнику свою улыбку, но и ей не ответил он, не загорелся любовью.

Самая добрая и мудрая мать с улыбкой коснулась его ног, но он не поднялся.

Задумались великаны, и старейший из них сказал:

— У маленьких людей-пылинок есть страшная сила — злоба. Мы должны много думать, чтобы победить её. Только тогда оживёт наш родич.

Все сели для большой думы, прижавшись друг к другу плечами. Те, кому места у очага не хватило, опустились поодаль, но так, чтобы видеть лица своих соплеменников. Малых детей отцы посадили к себе на колени.

Много и долго думали великаны. От тяжести мыслей головы их склонились на грудь, волосы поседели, тела затвердели. Жилища до самых верхушек заросли дикой и сорной травой, а Великий очаг постепенно угас. Ему не хватало любви и заботы.

Шло время. Полнились годами столетия, словно реки водами ручьёв. А великаны по-прежнему сидели не шелохнувшись. Никто из них так и не смог сказать того слова, которое тронуло бы губы всемогущей улыбкой, способной победить злобу маленьких человечков.

Тела великанов окаменели, превратились в скалы, и только сердца оставались живыми. Говорящие говорят, что обиженные бедные люди уходили к голубым великанам, рассказывали им о тяжёлой жизни. И добрые сердца, спрятанные в глубине утёсов, помогали, если стоял перед ними человек не злой и не хитрый.

Это предание очень нравилось Илиру. Когда было трудно, он верил, что скоро голубые великаны очнутся и облегчат им с матерью жизнь. Теперь, оставшись один и догадываясь, что впереди его ждут только муки, мальчик с надеждой и радостью вглядывался в вершины.

— Я еду к ним, — шептал он. — Голубые великаны защитят, помогут в беде. У меня никого нет, кроме них. И

тебя, — добавил торопливо, нащупал под малицей мешочек, в котором лежал уголёк.

Аргиши двигались в тишине. Только иногда Грехами Живущий жалобно визжал, останавливался и смотрел назад. Он чувствовал в этой кочёвке что-то недоброе.

Олени шли за нартами, с удивлением глядя по сторонам. Места были незнакомые, без привычных пастбищ и звуков. Чем дальше уходили аргиши, тем ближе подступали окованные снегами неприветливые горные вершины.

Майма весь день ехал на первой нарте. В отличие от сироты, он думал не о голубых великанах и их сердцах, хотя тоже хотел поскорее попасть в горы. Он знал: в тех краях есть место, куда не всякий решится заглянуть. Плохое место, гиблое для человека, поэтому ненцы обходят его стороной. Но Майма пробирался туда, подобно пауку, который, почуяв опасность, забивается в темное, спрятанное от глаз убежище.

«Рука новой жизни не доберётся сюда, пусть даже будет длинной, как хорей из лиственницы», — думал он, глядя на звериные тропы, то пересекающиеся, то мирно идущие рядом, то испуганно разбегающиеся в разные стороны. Это напоминание о хитрой, наивной и вместе с тем жестокой жизни, которая существовала независимо от человека, взволновала Майму. Ему хотелось быть причастным к ней; больше того — иметь власть над всем живущим здесь.

Он остановил нарту, прошёл по чистому хрустящему снегу и засмеялся коротким злым смешком. Теперь какой-нибудь зверь, пробегая по своим делам, задержится и подумает о человеке, вступившем во владение этими краями. Со страхом подумает. Широко расставив ноги, прищурившись, Майма презрительно посмотрел на звериные следы и уважительно — на свои.

Он радовался своей свободе, схожей со свободой диких зверей. Наверно, так чувствует себя песец, когда уходит из капкана с кровоточащей лапой. Отсюда, из нехоженых мест, все оставшееся позади — Красная нарта, отказ от идолов и даже участь отца — казалось незначительным и нестрашным. Даже новая жизнь не пугала.

— Жизнь не малица. Жизнь одна, и нельзя её заменить на новую, — сказал Майма и прислушался к своему голосу. Твёрдый голос и взгляд твёрдый.

«Мужское достоинство не табак: в кармане не спрячешь, по щепотке не выдашь. Его всегда видно. В голосе, в глазах», — говорил отец. И Майма был согласен с отцом.



Скрипнув зубами, Майма несколько раз обмотал Илиру ногу выше ступни и, хотя знал, что мальчик не убежит, крепко затянул узел, будто привязывал хитрую, умную собаку. И пошёл не оглядываясь.

Он огляделся, поражённый тишиной и дикостью края. Лицо мёрзло, дыхание стыло, превращаясь в звонкие крохотные льдинки. И всё-таки радость настолько переполняла Майму, что он ещё раз, теперь счастливо, засмеялся — так светло и красиво было вокруг.

Аргиши женщин приблизились, и Майма сел на нарту, тронул оленей. Не хотелось, чтобы жёны видели, как он взволнован. Его радость понятна и приятна только ему.

«Всё вернётся: и олени, и пастухи. Всё вернётся, как возвращается утром солнце», — осторожно объезжая камень, напоминающий лезвие ножа, подумал Майма.

Теперь он внимательно смотрел по сторонам — нужно хорошенько запомнить дорогу. Может, не пройдёт и года, как придётся ехать назад. К тому времени люди Красной нарты уйдут из тундры, и Майма, забрав у бедняков своё стадо, вырвет сердце у тех, кто, обрадовавшись, пользовался его оленями.

Два дня, без горячей пищи и ночлега, заменяя на ходу оленей в упряжках, уходил Майма как можно дальше от новой жизни. На третий день поздно вечером он поставил наконец чум. С одной стороны над облюбованным местом нависала гора, которую Майма назвал Лосиной Губой. У её подножия застыла речка, вся усеянная огромными глыбами камней. Лес, росший на Лосиной Губе, был негустой, но деревья в нём стояли сильные, кряжистые и одинаковые, как близнецы. Почти вплотную к Лосиной Губе подходила другая гора, напоминающая большого сытого зверя, отдыхающего в полудрёме.

После ужина Майма вышел из чума. Посмотрел на поганую нарту, где, скрючившись, сидел Илир. Мальчик не шевелился. Поверх мешка, которым он был накрыт, лежал слой снега, и Майма некоторое время с подозрением прислушивался. Он не хотел лёгкой смерти сироты. За каждую тысячу оленей — тысячу лучших оленей! — мальчишка должен заплатить тысячей мучений.

Майма даже застонал. Он готов был разорвать Илира, как гнилую заячью шкурку, но... но это было бы слишком простым наказанием.

До ночи неподвижно сидел Майма на своей нарте, рассматривая Илира. В сумерках хозяин ещё больше напоминал коршуна, — правда, с подбитым крылом, — который подкарауливает добычу. Добыча была рядом.

«Я отомщу ему за всё. За новую жизнь, за своё горе, —

растравливал Майма ненависть. — Даже за уродство сына! — И замер от неожиданной мысли. — Я сделаю из этого щенка урода пострашнее, чем Хон!»

Он выпрямился, посмотрел торжествующе на Илира. Майма ещё не знал, каким образом превратит здорового крепкого мальчика в калеку, но решил твёрдо: так будет!

Ему стало спокойно. Он легко и бездумно взглянул на горы. На самой вершине Лосиной Губы торчали три дерева. При порыве ветра казалось, что это путники, которые то бегут, опережая друг друга, то останавливаются, как бы к чему-то прислушиваясь.

Когда хозяин ушёл в чум, Илир шевельнулся, вынул мешочек Варнэ. Вытряхнул из него в ладонь заветный уголёк. Весь день просидел мальчик, никому не нужный и, казалось, всеми забытый. А ему так хотелось с кем-нибудь поговорить, посоветоваться. Когда полог чума приоткрывался, Илир видел яркий огонь очага. Но никто не звал к костру, и даже еды за все три дня кочевья не давали ни разу. Силы Илир поддерживал только сушёным мясом, которое доставал тайком из-за пазухи.

— Неужели я так и умру от холода и голода? — спросил он у уголька и с обидой поглядел на поганую нарту.

Раньше Илир никогда даже не играл рядом с ней. Мать говорила, что это унижает мужчину. Но вот уже несколько суток нарта была единственным домом сироты, и он почувствовал, что начинает испытывать к ней нечто похожее на благодарность, которая становилась сильнее неприязни и отвращения...

После ужина Майма опять вышел из чума. Остановившись около кучи ивняка, молча кинул необглоданную кость под ноги Илиру. Тот с недоумением поглядел на хозяина.

— У меня нет для тебя еды! — сказал Майма. — Потому что ты отдал Красной нарте моих оленей.

Илир опустил глаза: посмотрел на кость, от которой ещё шёл пар. И вдруг отчётливо представил, что его ждёт. Человек, стоящий перед ним, не пожалеет; он в любой момент может избить, как на старом стойбище. И не только избить. Мальчик сжался. Хотел взглянуть на хозяина, но не смог.

Майма рассмеялся и ушёл. А Илир всё смотрел на кость. Она, остывая, покрывалась лёгкими, как искорки, снежинками.

Мальчик поднял, пнул её. И заплакал.

— Я вытерплю. Буду умирать, но кости подбирать не стану, — твёрдо сказал он, вытерев слёзы. Илир равнодушно пронаблюдал, как Грехами Живущий, наткнувшись на кость, деловито обглодал её. Пёс посмотрел вокруг — нет ли ещё такого лакомого кусочка? Он был сыт, кость не стал грызть, а скатил её мордой в ямку, вырытую оленем, и забросал снегом.

Илир поймал себя на том, что пытается вспомнить, хорошо ли собака обглодала кость, и рассердился. Отвернувшись от Грехами Живущего, снова достал мешочек с мясом и запустил туда руку. На самом дне нащупал два маленьких сморщенных кусочка. Он торопливо вытащил их, посмотрел заворожённо на мясо. И сразу очень захотелось есть. Рука с пищей дрогнула; мальчик испуганно сжал её. «У меня нет для тебя еды!» — только теперь стал понятен смысл страшных слов хозяина.

— У меня нет для тебя еды, — повторил шёпотом Илир. — Нет еды...

А голод разрастался, всё сильней и сильней стучал в виски. «Завтра не будет и этого, — подумал Илир, ощущая ладонью сухую шероховатость мяса. — Что я буду есть тогда?» Конец мысли был настолько страшен, что мальчик вздрогнул. Он ссыпал оба кусочка в мешочек. Погладил пальцем уголёк. И, накрывшись мешком, лёг.

Хозяин остался верен себе. Каждый вечер он бросал Илиру кость и уходил, посмеиваясь.

Мальчик держался недолго. Однажды, когда Грехами Живущий, привыкший к нежданно-негаданным лакомствам, неторопливо подошёл к очередной подачке хозяина, Илир злобным окликом отогнал собаку. Схватив кость, принялся жадно срывать зубами остатки мяса. Глотал их, не пережёвывая, и никак не мог утолить голод.

Вечером он еле дождался, когда в чуме всё смолкнет. Послушав тишину, осторожно поднялся и подошёл к тайнику Грехами Живущего. Пёс лежал неподалёку. Увидев человека около своих припасов, угрожающе зарычал.

Илир заискивающе посмотрел ему в глаза:

— Не ругайся на меня... Хорошо? Я очень хочу есть.

От слабости голова у Илира закружилась. Рука, вместо того, чтобы погладить пса, упала на снег. И тут же Грехами Живущий вскочил. Шерсть его вздыбилась на загривке, поднялась как высокая осенняя трава. Илир выронил добычу.

Голодный мальчик и собака стояли друг против друга. Слёзы бежали по щекам ребёнка, замерзая ледяными дорожками. Но старый пёс, прижав уши, не смотрел на него. Он не любил людей. Не любил ни тех, которые, показывая ласково зубы, гладили по голове, ни тех, которые пинали ногами, бросали вслед камни.

Илир всё-таки посмотрел псу прямо в глаза. Грехами Живущий ощерился. Он не выносил человеческого взгляда. В нём таится гораздо больше зла, чем в руках.

А Илир не опускал глаз. И Грехами Живущий чуть отполз назад. Если бы сейчас его пнули, он стал бы кусаться... Но его не пинают. Пёс поднялся и, злобно оскалившись, тихо пошёл прочь. Он ненавидел человеческие глаза, но был бессилен против них.

С тех пор так и повелось. Майма швырял Илиру кости; мальчик, изо всех сил притворяясь равнодушным под испытующим взглядом хозяина, следил за довольным Грехами Живущим. Пёс старательно прятал лакомство. А утром недоумённо скулил — тайник оказывался пустым. Тщательно обглоданную кость собака находила обычно около нарты, на которой спал маленький человек.

Со временем Грехами Живущий привык к этому. Теперь он, даже если и хотел есть, закапывал подачку, чтобы утром найти гладкую, без намёка на мясо, кость. Так мальчик и пёс стали делить пищу.

Майма все дни проводил в стаде. Отбирал быков на племя. Стадо должно стать прежним: могучим, красивым. Выискивал молодых хоров и важенок, которые могут хорошо ходить в упряжке, и без устали гонял их по окрестностям.

Однажды Майма, едва забрезжил рассвет, направился, как всегда, в своё стадо. Но не успел он пройти и половину пути, как увидел, что олени, его олени, лавиной неслись по склону Лосиной Губы. Они как тени скользили мимо хозяина, и тот успевал разглядеть лишь обезумевшие от страха глаза животных. Дико озираясь по сторонам, перебарывая дрожь в голосе, надеясь предотвратить беду, Майма закричал что было сил:

— Хэ! Хэ! Хэ!

Стадо уходило всё дальше и дальше. А на

ближнем пригорке, совсем рядом с Маймой, показались волки. Два из них, увидев человека, остановились, переводя дыхание. Потом нехотя повернули назад и скоро скрылись из виду. Третий, крупный, с гладкой лоснящейся шерстью, медленно приближался к Майме.

Майма взялся за нож. Главное сейчас — устоять, не поддаться испугу, не побежать. И Майма, собрав все свои силы, напрягшись так, что кровь стучала в висках, ломило руку, сжимавшую нож,— не двинулся с места. В нескольких метрах от человека волк замер, будто готовясь к прыжку. И вдруг... повернулся, поджал хвост и потрусил прочь.

Майма облегчённо вздохнул. И сразу же забыл о волках. Олени, подгоняемые страхом, неслись к соседней горе. А там — каменная осыпь, припорошенная снегом. Голова стада уже приближалась к ней.

Майма бросился назад в стойбище. Подскочил к поганой нарте, где был привязан Грехами Живущий, полоснул ножом по ремню, и пёс, не ожидая окрика, побежал — он хорошо знал своё дело.

Схватив аркан, Майма кинулся за собакой, подбадривая её: «Тя-тя. Пырь! Пырь!..» Собака в таких случаях должна бежать в два раза быстрее. Но Грехами Живущий был уже стар, ему не догнать оленей... Майма понял это. Пёс взвизгнул, ожидая удара. Такого хозяин ему не простит...

Всю свою ярость Майма выплеснул на старого пса. Под хлёсткими ударами аркана пёс извивался, скулил, катался по снегу. Один из ударов пришёлся по глазу...

Илир, оцепенев от страха, смотрел на Грехами Живущего. Он не заметил, как рядом с ним очутился Хон. Мальчик плакал и дёргал его за подол малицы.

— Беги к нему. Слышишь?! Скажи... скажи... — и замолчал, потому что не знал, какое слово может остановить руку отца. Добавил:

— Он убьёт его... Он...

Илир не дослушал, помчался к собаке. Вот уже месяц он жил рядом со старым псом, ел мясо из его тайника, согревался его дыханием. Грехами Живущий был для него самым близким, родным существом. Подбежав, Илир с размаху упал на собаку. Закрыл её своим телом.

— Уходи отсюда! — Майма взмахнул арканом.

Глаза налились кровью. И Илир понял: сейчас ударят его.

— Не бей... Не бей его, — просил мальчик, не отрывая взгляда от руки хозяина.

— Убирайся, сын собаки! — рявкнул Майма. И удивился: почему это вдруг стал жалеть щенка?! На миг, только на миг, всплыло перед глазами лицо той — матери Илира, — что подарила ему короткое счастье. Нет! Никакой жалости! Тысяча оленей — тысяча ударов. И с силой хлестнул по малице Илира. Тот вскрикнул:

— Не бей! Я побегу вместо Грехами Живущего. Я бегаю быстрей его!

Майма удержал занесённую для удара руку. Недоумённо посмотрел на сироту, потом на пса...

— Беги! — и пнул Илира в бок.

Мальчик вскочил, метнулся по твёрдому насту в сторону оленей, и ему казалось, что он действительно бежит быстрее Грехами Живущего.

Хозяин глядел ему вслед. «Кэле, щенок прав. Он может бегать вместо собаки. Зачем кормить его даром? Кость тоже имеет свою цену...»

Подошёл к Грехами Живущему, перевернул его. Про себя отметил, что собака ослепнет на один глаз. Пёс оскалился. Он ненавидел хозяина.

Майма отвернулся и, не оглядываясь, быстро пошёл к чуму. Он никогда не любил Грехами Живущего, держал потому, что пёс заменял ему пастухов. Чутко улавливал настроение хозяина, ему не надо было приказывать дважды, он всегда знал, что нужно делать, чего хочет от него Майма. Раньше, когда собака была молодой, равной ей не было во всей округе. Теперь Грехами Живущий состарился.

Майма не зашёл в чум. Напряжение спало, и он устало опустился на нарту, рукавом малицы смахнул со лба пот. Его охватил запоздалый страх — ведь встреча с волками могла кончиться иначе... Но ещё страшнее — потерять оленей... Не будет стада — не будет и жизни... Майма перевёл взгляд в сторону соседней горы. Там метался по склону Илир, пытаясь остановить животных. Хозяин невольно залюбовался мальчишкой. Добрый пастух растёт... А ведь и он, Майма, был когда-то ребёнком, играл в пастухов...

Мерча любил сына, ничего не жалел для него. Прощал любой, даже самый тяжёлый, проступок. Он им гордился — мальчик рос крепким, красивым, настоящим хозяином тундры. Сын рано понял, что сила отца — в богатстве, и это богатство принадлежит ему, Майме. Оно даёт власть, преклонение сородичей. Как человек привык видеть солнце,

так и Майма с детства привык, что любое его желание, даже самое вздорное, — закон для людей. В стойбище его уважали (так как уважали его отца) и боялись. Он был, как могучий, свирепый вожак стада, готовый смять, растоптать всё стоящее на пути. Майма усвоил и это... Ещё мальчишкой научился держаться с достоинством, гордо, как подобает истинному хозяину. Ступал уверенно, неторопливо, держа правую руку на отделанных серебром ножнах. А смотрел так, будто зверя выслеживал.

Любимой игрой Маймы была «ловля быков», для которой даже у четырёхлетнего мальца в стойбище имелся аркан из настоящей оленьей кожи.

Пока мальчишки-пастухи ловили этими арканами ребятишек, изображавших оленей, а те, подняв над головами рога, убегали от преследователей, Майма стоял в стороне. Презрительно улыбаясь, наблюдал за визжащими, хохочущими сверстниками и малышнёй. В игру вступал лишь тогда, когда «оленей» оттесняли к загону. По правилам игры — всё как в жизни! — должен быть один строптивый бык, который прорывается сквозь кольцо пастухов, и его долго не могут поймать. Наконец, ловят. Набросив на ногу мальчишке аркан, дёргают его, укрощая непокорного, свободолюбивого «оленя». А двое маленьких пастухов бьют его для вида арканами или хореями: не своевольничай, дескать, покорись. Вот тут-то и наступал час Маймы. Он, хозяин настоящего стада, всегда сам приручал своенравных, лупил понастоящему, с таким наслаждением, что мальчишка-«бык» извивался, корчился от боли...

Майма вздрогнул. Зачем ему эти воспоминания детства? Что было, того не вернёшь... Майма оглядел своё крохотное стойбище. Разве таким оно было прежде?.. И он снова пожалел о том, что отец отпустил пастухов, дал им оленей... Ему казалось, что Мерча всегда был слишком добр к голодранцам. Будь он, Майма, безраздельным хозяином, эти нищие псы разве посмели бы думать о новой жизни?..

Майма опять вздрогнул. В последнее время стоит ему опуститься на нарту, задуматься, как тут же начинает мерещиться, будто кто-то подкрадывается к нему сзади, подслушивает его мысли. Но кто может подслушивать здесь, среди тишины и безмолвия? Здесь он недосягаем!

— Вот мои сторожа! — Майма взглянул на горные вершины. Крутые сумрачные плечи их смыкались на всех четы-

рёх горизонтах. — Некого мне бояться. Я здесь хозяин! Всегда и над всеми.

Он встал и направился к стаду.

Илир задыхался от радости. Впервые за долгое время он стоял на чистой, живой земле. Не опостылевшую поганую нарту видел у своих ног, а сверкающий, нетоптанный снег.

Тело было лёгким, невесомым, руки и ноги — сильными. Мальчик перебегал от одной кучки оленей к другой, ловко направляя стадо к подножию горы. К тем животным, ноги которых застряли в расщелинах между камнями, подходил медленно. Ласково упрашивал быть осторожней и ждал, когда они выберутся. Нельзя торопить животное, оно может испугаться, и тогда беда: рванётся, тонкая нога его хрустнет, и...

Когда стадо оказалось на безопасном месте, Илир сел на камень и улыбнулся. «Теперь хозяин поймёт, что я ему нужен. Нужен для дела. Как тогда, у Капкана Злых Духов. Может, разрешит пасти оленей... Станет кормить».

Даже самый несчастный человек всегда сумеет отыскать уголок, где можно развести костёр надежды, чтобы отогреть возле него заледеневшее в обидах сердце. Сирота тоже зажёг этот огонёк и поверил в него.

— Илир!

Грозный окрик подбросил мальчика. Он не услышал, как подошёл хозяин.

— Перегони стадо на другой берег. С нынешнего дня ты будешь Грехами Живущим! Бегом! — Майма насмешливо улыбался, разглядывая Илира.

Радостный, Илир бросился к оленям. Сгуртовал их. И, покрикивая, заметался от одной группки к другой, направляя их в речку.

Майма не спеша направился следом. Увидел, что мальчик перешёл на шаг, заорал гневно:

— Эй, Грехами Живущий, быстрей! Видишь, важенки отбились?

Илир кинулся выравнивать стадо. На другом берегу Майма, точно собаку, окликнул сироту. Поманил рукой. Потный, побледневший, мальчик замер перед хозяином, широко расставив ноги, чтобы не упасть от усталости. Майма скривился. Вечерами, снимая кисы с уснувшего Хона, он видел другие ноги — высохшие, со сморщенной кожей. Когда притрагивался к ним, боялся, что сыну больно. И никто не знал, как было больно ему, отцу.

— Почему олени расползлись по пастбищу?

— Я устал.

— Ты же сказал, что бегаешь быстрей, чем собака?

— Я не могу бегать целый день.

В голосе сироты Майма уловил не только усталость, но и ненависть. Он подошёл ближе и прошипел:

— Ты будешь бегать весь день! Все дни. И ещё... я не хочу слышать твоего голоса!

— Как?!

— Теперь ты должен молчать. — Майма понимал, как нелепо требование, но хозяину достаточно и волчьего взгляда этого щенка. Не хватало ещё слышать его упрямый голос. — Я буду бить за каждое слово. Вот так!

И не успел мальчик отскочить, как удар аркана свалил его. Катаясь по снегу, Илир не кричал от боли. Он корчился в судорогах, зажимая рот кровоточащими ладонями. Как ушёл хозяин, мальчик не слышал. Ему было страшно. Великая Яминя забыла о нём. Она не видит его!

Илир приподнялся на локтях и посмотрел вокруг. Тихо, пусто. И больно. Очень больно. Мальчик понял, что так будет всегда. Хозяин никогда не станет добрым. И никто не поможет.

«А голубые великаны? — вспомнил Илир. — Им можно верить. Нужно только подождать, и сердце, скрытое в скалах, скажет, что делать. Ведь где-то есть хорошее, есть хорошие, добрые люди... Вот бы отыскать их... Как жаль, что те, с Красной нарты, не могли взять меня с собой... Но может, они придут? Может быть, Яминя сжалится над сиротой и укажет дорогу к стойбищу Маймы?..»

Он устало вздохнул. Лёжа на животе, с тоской смотрел, как далеко, по склону горы, бежали куда-то тени облаков — собаки Земли, дети Солнца. Никогда им не бывает больно, потому что у них нет хозяина; они могут уйти, куда хотят. Даже в новую жизнь, к Красной нарте!..

Давно наступила ночь, но Илир не спит. Очень болят ноги. И особенно — лицо, рассечённое арканом от щеки до подбородка.

Стало холодно. Мальчик натянул повыше рогожный мешок. Только тепла от него мало.

Илир вздохнул и повернулся на бок. Так лучше, ветер не трогает рану. «Что делать?» — спросил у него. Прислушался. Но голос матери, который всегда звучал в ушах во время таких разговоров, молчал. Видно, и она не знала, чем помочь сыну.

«Убегу отсюда. Завтра же! — решил мальчик. — А куда? Я не помню дорогу... Вперёд?»

Впереди были горы. Таинственные голубые великаны с живыми сердцами.

Мальчик сполз с нарты, поднял голову. Горы величественно возвышались в ночи.

— Вы добрые... помогите мне, — зашептал Илир.

Постанывая от боли, пополз, с трудом подтягивая тело закоченевшими руками. Малица на животе разодралась, оставляя на снегу шерсть и клочья гнилой шкуры. Можно было подняться и идти, но Илир не хотел вставать. Он принесёт голубым великанам своё горе, не расплескав его, не потеряв самой малой капельки. Большие каменные люди примут его, утешат, посадят рядом, расспросят и приласкают. Только бы добраться до них!

И Илир полз. Над далёкими горами сияло голубое переливающееся зарево, оживляя сонные вершины. Мальчик верил, что там, в глубине хмурых и холодных скал, действительно живут сердца великанов. А может, горит костёр и вокруг — добрые существа, любящие друг друга, красивые. Плохих не примет такой огонь. Он не подарит им тепла, и они не отдадут ему своего. Потому что у них его нет.

Илир полз к пылающим сердцам, и чем дальше удалялся он от страшного чума хозяина, тем сильней становилась больная обострённая радость. Как затравленный зверёк, он время от времени оглядывался назад. Когда чум скрылся из глаз, Илир выдавил из простуженного горла радостный хрип. Кровь заледенела на щеках и подбородке. Руки и ноги онемели. Мальчик не чувствовал их. Тело тоже. Только когда острая боль полоснула по животу, он вспомнил о себе. Медленно, с трудом отрываясь от земли, поднялся. Весь перед малицы был в лохмотьях. Илир посмотрел вниз. Обидевший его камень торчал из снега окровавленным остриём. Мальчик лишь тупо взглянул на него и пошёл дальше. Вдруг горы закачались; Илиру показалось, что каменные великаны подняли головы и смотрят на него. Он заулыбался, потянулся к ним и со стоном упал лицом вниз.

Майма оттолкнул молодую жену и принялся разводить огонь сам. Руки его дрожали. Сухие тонкие прутики упали в золу, и он, подняв их, осторожно положил в слабое пламя.

— Скорей! Скорей! — просил Майма огонь, услужливо подбрасывая сытные ветки. — Не жалей тепла, гори...

И огонь горел. Давно в чуме не было такого большого и весёлого костра, а Майма всё подкидывал и подкидывал топливо.

Илир лежал на шкуре вверх лицом. Он только что очнулся. Ему показалось, что пальцы ног и рук сунули в кипяток. Мальчик сдержал стон и тихо заплакал. Но не от боли. Он наблюдал за хозяином и знал, что не для хорошего тот вырвал его из рук каменных великанов, с которыми было так радостно и тепло. Много голодных, холодных дней и ночей ждёт его впереди.

Илир снова закрыл глаза, чтобы ещё раз полюбоваться на голубое, излучающее свет сердце, которое так недавно видел и даже разговаривал с ним.

На новом стойбище жизнь в чуме с первых же дней начала расползаться, точно намокшая гнилая шкура.

Прежде объединял всех старик Мерча. К нему относились с уважением, слушались беспрекословно, и семья казалось единой, дружной. Старика не стало, и каждый начал жить сам по себе.

Особенно тяжело без него было Хону. Ему часто снился дед. Совсем как наяву видел спящий мальчик пустые ножны, которые Мерча показывает младшему Сэротэтто... Проснувшись, Хон опять и опять раздумывал над смертью старого пастуха и не мог поверить, что дед убийца. Тогда кто?

В последнее время сын начал бояться всего, что делает отец. Особенно после того, как тот вырвал его из рук лекаря Красной нарты... не захотел, чтобы люди, приехавшие за оленями, поставили сына на ноги. Пожалел оленей, променял их на сына! А потом ещё и ударил. Длинная кочёвка по незнакомым местам, в самую пасть холодных и уродливых скал, тоже встревожила мальчика. Напугала жестокая расправа над Грехами Живущим. И Хон стал избегать отца, прятаться от него.

Отошёл он и от матери. Почувствовал её неприязнь; увидел, что не смогла, а вернее, не захотела, защитить от отца. Хон понял мать и принял эту нелюбовь мужественно и просто.

Он часто вспоминал бурую травинку, кото-

рую увидел, когда провожал Красную нарту и деда. И сейчас опять чётко представил её — погнутую ветром, корявую, уродливую. Но думал не о себе, а об Илире. Сегодня ночью отец принёс его почти мёртвым. Когда разгорелся огонь, Хон увидел неподвижное, но такое счастливое лицо мальчика, что позавидовал. А утром, едва придя в чувство, Илир посуровел и ушёл из чума. Его не удерживали.

Днём, оставшись один, Хон торопливо подполз к котлу, выхватил из него кусок мяса и спрятал под малицу. Откинул полог, выбрался наружу.

У поганой нарты очистил мясо от шерстинок. Протянул его Илиру:

— На, возьми.

Тот прикрылся мешком. Из-под него зло и презрительно посмотрел на маленького хозяина. Хон тихо повторил:

— Возьми.

Илир сглотнул слюну и закрыл глаза. Он не верил Хону и ругал себя за то, что когда-то играл с ним. Впрочем, Илир не был уверен, что это было.

Хон отполз от нарты. В чуме забрался на постель и лежал не шелохнувшись до вечера.

За ужином он сидел, не поднимая глаз. Рассматривал на столе срез сучка, напоминающий бегущего оленя. К еде не притронулся. Прислушиваясь к разговору взрослых, думал об отце с матерью. Они всегда, сколько помнил себя Хон, жили рядом. Но было ли с ними тепло и хорошо? И не мог вспомнить. Мать и отец такие большие, сильные. У них, людей с крепкими, здоровыми ногами, жизнь проходила высоко над землёю. Взрослые потому не знают, какой земля бывает холодной, равнодушной и даже враждебной.

Хон поглядел на очаг, и его поразили беспорядочные хищные всполохи огня. Пламя рождало на нюках чума страшные тени. И отец в отсветах костра казался огромной птицей, а тень его была особенно зловещей. Мальчик зажмурился.

— Пей суп, Хон, — устало попросила мать, убирая посуду. Он, не взглянув на неё, отодвинул миску. Майма, наблюдавший за сыном, прикрикнул:

— Не хочет есть, пусть не ест. Убери.

В другое время добрый голос матери обрадовал бы сына, но сейчас он услышал только рык отца. Хон сморщился, пытаясь поймать мысль, которая давно уже не давала ему покоя. И вдруг понял.

«Они все злые. Здесь всё злое. И огонь, и чум», — с отча-

янием подумал мальчик. Отполз в глубь постели. Тут было темно. Хон уронил голову на подушку и тихо заплакал.

Мать несмело подошла к нему, но сын, ускользнув от её руки, продолжал часто всхлипывать.

— Хон, если твой суп остыл, я тёплого налью. Хочешь?

Майма хмуро смотрел на них.

— Отстань от него, — приказал жене. — Пусть поскулит.

Откинувшись на подушки, он закрыл глаза. Слёзы Хона почему-то напомнили ночь, когда мать Илира родила ему, Майме, сына. Его мёртвое тельце было похоже на ободранного, без шкурки, песца. Тогда, помнится, на душе было так же тоскливо, как сейчас. «Кэле, что-то чувствует, о чём-то предупреждает сердце», — забеспокоился Майма. Отец часто говорил о какой-то высшей мудрости сердца. Мол, знает оно тайну и иногда пытается открыть её хозяину, отчего тот начинает метаться, как олень от неудачного удара топором. Странно. Что может предвещать сердце? Страшный конец?

Майма быстро открыл глаза. Мысли ушли слишком далеко. Думать о конце рановато. И он, раздражённо повернувшись к сыну, нагоняющему эту тоску, потребовал:

— Перестань! Ты не маленький.

А Хон давно уже перестал плакать. Он, затаив дыхание, смотрел в темноту. Потому что неожиданно увидел себя со стороны, чужими глазами. И понял: то жалкое, некрасивое, что называется его телом, не сможет защитить от злости отца сироту Илира. Более того, казалось, что оно вообще ни для чего непригодно. Даже для жизни. А ведь этому телу придётся ещё много-много дней и ночей быть им, Хоном. Двигаться, чувствовать боль и радость, тепло и холод...

— Иди к столу, сынок, — позвала мать.

— Не хочу, — резко ответил мальчик. Он торопливо пытался ухватить мысль, которая ускользала. «У меня тело слабое, некрасивое. Но ведь Илир здоровый, сильный. Почему он мёрзнет на поганой нарте, голодает? Потому что отец — злой! И мать тоже. Она смотрит на Илира так, будто не видит его, будто его совсем нет на свете...»

— Злые! — твёрдо сказал он вслух.

— Кто? — удивилась мать.

— Вы злые. Очень злые, — уверенно повторил Хон. Кивнул в сторону костра: — И огонь у вас злой!

Мать испуганно глянула в пламя. Вспомнила брошенных идолов. Ахнула. «Это они мстят, — решила обречённо. — Их

обида поселилась в уме и сердце ребёнка. Идолы заставляют его говорить такие страшные слова».

Майма не вспомнил об идолах. Но тоже испугался: он почитал свой очаг. Да и как же иначе?! Огонь в чуме поддерживается всегда и передаётся из поколения в поколение. Он даёт тепло, силы, уверенность. Он — сама жизнь!

— Сын, я когда-нибудь вырву твой язык, — скрывая суеверный страх, грозно пообещал Майма. — Из-за него я уже потерял тысячи оленей. Не хочу потерять ещё и огонь очага. Запомни эти слова и не серди меня больше.

Хон отвернулся и закрыл глаза. Мать легла последней. Уютно сжалась под ягушкой. Она особенно любила эти минуты, когда ни о чём не думаешь и тело отдыхает. Хотелось, чтобы это ощущение блаженства никогда не кончалось. Но на этот раз чувство радости быстро ушло, и женщина, встревоженная думами, прислушалась к дыханию сына. Хон спал тяжело. Боясь потревожить его, мать не шевелилась, вглядываясь в горку золотисто-красных углей. Говорят, ночью тихо. Это неправда. Стоит задуматься, и вдруг почудится, что на улице негромко смеются и тихо переговариваются. В молодости мать Хона часто выходила крадучись из чума, но голоса смолкали. Иногда, правда, казалось, что они просто отошли подальше.

Так было на всех стойбищах, и женщина каждый раз хотела подслушать, о чём говорят, над чем смеются таинственные голоса. Разговор всегда был тихим, ласковым, будто говорящие боялись обидеть друг друга. И мать Хона решила, это добрые духи навещают её, чтобы успокоить, утешить, подарить приятные сны.

Но сегодня ей подумалось: быть может, вовсе не о добром говорят голоса. И смеются, наверное, не от чистого сердца, а издеваясь над людьми. Уж не злые ли это духи?

Женщина вдруг услышала, как кто-то осторожно прошёл правой стороной чума, наступая на края нюка. Остановился у входа, потрогал полог, словно раздумывая: зайти или нет?

— Это идолы. Они явились за нашими тенями.

Но шорох снаружи затих. И больше не повторился. А женщина ещё долго смотрела в темноту, вздрагивая от неприятного озноба.

Рана на лице Илира зажила, но шрам стянул щеку, исказил лицо так, что казалось, будто мальчик одновременно смеётся и злобно скалится.

Руки и ноги мучили больше всего. Кожа на них сначала почернела, потом сошла. Боль немного утихла, но всё ещё терзала мальчика. Особенно по ночам, когда он оставался один на один с ней и с тоской, словно обманутый, глядел на холодное переливающееся сияние над вершинами гор.

Работать в стаде теперь приходилось за двоих. Грехами Живущему стало совсем плохо. Он, не пробежав и десятка шагов, вдруг останавливался и скулил. Пёс ослеп на правый глаз, ходил боком, спотыкаясь первое время о кусты и камни. Илир оставлял ему в тайнике почти необглоданные кости. Грехами Живущий равнодушно грыз их, но от мальчика шарахался по-прежнему: он не верил людям.

Чувствуя весну, олени стали беспокойными. Молодые то устраивали драки, то гонялись друг за другом, будоража стадо. Среди них выделялся весёлый и сильный бычок. Шерсть у него была не серой, как у всех, а голубоватой, точно туман над озером. Этот олень был любимцем Маймы, хозяин ждал от него не только сильных, но и красивых детей. Они должны будут вернуть стаду прежнюю ценность, а Майме — уважение и зависть людей.

Именно этого оленя не уберегли Илир и Грехами Живущий. Однажды он вступил в драку с огромным быком — вожаком стада. Когда мальчик подбежал, понял — опоздал: голубой бычок, подурачившись, развернулся, чтобы ускакать к молоденьким важенкам, и в этот момент разъярённый вожак ударил его острыми рогами в пах.

Майма побледнел, увидев вечером, что его любимец плетётся среди ожиревших, обленившихся от тихой жизни менаруев. Побледнел и Илир. Понял: хозяин отомстит ему за своего любимца. И обрадовался, увидев, что тот, схватив нерпичью верёвку, пошёл не к нему, а к Грехами Живущему. Но тут же мальчик встревожился. Старый пёс не выдержит ни одного удара!

Грехами Живущий почуял опасность и, оскалившись на хозяина... бросился к Илиру. Спрятался за его спиной. Майма замахнулся было на мальчика, но тут же быстро опустил руку. Усмехнулся:

— Нет, я не буду бить ни тебя, ни его. Ты, новый Грехами Живущий, тоже, наверно, не любишь то, от чего бесится твой брат. Идём, я накажу тебя вместо этого старого пса. Ты молодой, быстроногий щенок, тебе и отвечать. Иди к поганой нарте.

Майма сложил верёвку и пошёл в чум. Илир понял, что

его ждёт. Грехами Живущий не выносил, когда его сажали на цепь. Он выл, задрав морду вверх, будто жаловался небу. Но порой в его голосе явно слышалось что-то похожее на угрозу. Тогда шерсть на загривке поднималась, а кожа на морде собиралась в грозные складки. Постепенно вой превращался в такую тоскливую песню, что Илиру хотелось тоже поднять голову и скулить.

Майма вышел из чума поигрывая цепью. Привязал её к ножке поганой нарты. Поглядел на мальчика, который уныло смотрел себе под ноги, приказал:

— Подойди.

Он был уверен, что сирота заплачет. Тогда всё кончится, как обычно: хозяин ударит виноватого. Конечно, этим не вылечишь загубленного оленя, но на душе станет легче.

Илир быстро глянул на Грехами Живущего и решительно подошёл к хозяину. Майма растерялся: каждый ненец знает — никогда не разговаривай с собакой, как с человеком, и ни о чём не спрашивай её, а то она ответит тебе... Что именно ответит собака, никто не знал, но все понимали: лучше не слышать!

«Ведь он что-то спросил у Грехами Живущего, — встревожился Майма. — Неспроста это. Надо уйти».

Но Илир уже протянул руку и ногу. Он не знал, как хозяин будет привязывать его. И даже сейчас Майма хотел только стукнуть мальчика, чтобы спокойно вернуться в чум, но вдруг увидел глаза сироты: ненависти в них было больше, чем страха. Казалось, что тот, опередив хозяина, ударил первым, не поднимая руки.

Скрипнув зубами, Майма несколько раз обмотал Илиру ногу выше ступни и, хотя знал, что мальчик не убежит, крепко затянул узел, будто привязывал хитрую, умную собаку. И пошёл не оглядываясь.

Но, откинув полог, не выдержал, посмотрел через плечо.

Сирота стоял на том же месте, у ног его вертелся Грехами Живущий. Старый пёс обнюхивал ненавистную железную верёвку и жалобно поскуливал.

Когда хозяин скрылся в чуме, Илир равнодушно поглядел на цепь. У щиколотки она была мелкая, с ржавчиной, а дальше — новая, блестящая. Приподняв ногу, мальчик почувствовал её тяжесть и не удивился. На душе было тяжелей.

Сирота стоял неподвижно, боясь шевелить головой, руками, губами. Нужно стоять долго и долго думать. Голубые великаны думали и стали камнями. Убежать от хозяина нельзя.

Жить так тоже нельзя, а уйти к голубым великанам не удалось. Но можно самому окаменеть. Если не двигаться, то станешь скалой, пусть даже совсем маленькой, а сердце из обыкновенного превратится в голубое. И его будет бояться Майма, потому что однажды оно, вместе с сердцами великанов, снова придёт в жизнь. Вот тогда-то хозяину и всем маленьким злым человечкам станет так страшно и больно, как Илиру после смерти матери.

В чуме все, кроме хозяина, сидели, как на похоронах. Произошло невиданное: человека посадили на цепь! Майма, уходя проверить стадо, сказал громко:

— Убью того, кто отвяжет щенка.

Мать Хона робко подала голос:

— Ты потерял сердце. Даже Великой Ямини не боишься...

— Молчи, женщина! Ум твой куц, как путь от очага до полога. Его не растянешь.

Мать с сыном и даже молодая жена знали, что Майма не шутил, когда пригрозил: «Убью!» В чуме стояла тяжёлая тишина, какая бывает, когда небо покрыто тучами, звёзды не светят и трудно дышать.

Мать Хона протянула руку, нащупала Мяд-пухучу. Пододвинув её поближе к себе, зашептала:

— Хочу поговорить с тобой...

Мальчик и вторая жена Маймы, услышав голос, насторожились.

— Ты видишь, как мы живём? — спросила мать Хона, сдерживая слёзы. — Волки в стаде живут лучше. Верни радость! Я знаю, ты любишь хозяина чума больше, чем нас. И может, сердишься на мой голос? Может, не хочешь помочь?

Женщина помолчала, ожидая ответа Мяд-пухучи.

— Не хочешь помочь нам, помоги сироте, — уже требовательно попросила она. — Помоги!

— Помоги, — тихо повторил Хон.

И ребёнок, и женщина надеялись, хотя знали, что не могла помочь им Мяд-пухуча. Она любит и охраняет хозяина чума. Того, кто приносит пищу. Только ему Мяд-пухуча обязана тем, что у неё есть ягушка, подушечка, на которой тепло и мягко. Помочь другим — значит навредить Майме. А этого Мяд-пухуча не сделает.

Мать Хона уже пожалела, что начала разговор с Мяд-пухучей. Положила её. Оглядела чум, в котором прожила много лет. При Мерче он был светлее. Любая женщина тундры была бы рада прийти сюда хозяйкой: разжигать очаг по

утрам, ходить в дорогих ягушках, дарить любовь хозяину, делить с ним счастье, тепло и еду.

Но из всех женщин хозяйкой стала она, мать многострадального Хона, которая сейчас, как нищая, бродит мысленно по своей жизни в этом чуме, надеясь отыскать в минувшем хоть один день, когда ей было легко и беззаботно. Но припомнить его не могла. Жизнь, от прошлого к настоящему, выглядела сплошной цепью обид, огорчений, страхов.

Проклят этот чум Яминей, Землёй и Небом! Давно проклят и забыт. И вместе с ним прокляты Великими и она, и её сын.

Испуганная такой мыслью, женщина прикрыла рот ладонью, чтобы не закричать. Женщины тундры никогда не кричат, как бы ни была сильна их боль. Она никому не скажет об открывшейся ей тайне. Особенно Хону. Сын не должен знать того, что поняла она: в несчастье её ребёнка виноват проклятый чум. Он ещё до рождения уготовил мальчику судьбу, полную горя. «И Илиру, — вздохнула женщина. — Пока он жил у родного очага, был счастливым. Перешёл в чум Маймы, и вот... «Представила сироту, прикованного к поганой нарте — голодного, одинокого, и закусила губу.

Но Илир не был один. Ночью, когда хозяин вернулся из стада и, не обращая внимания на мальчика, прошёл в чум, из-под нарты выбрался Грехами Живущий. Старчески вздохнув, он ткнулся носом в ноги Илиру. Тот наклонился, обрадовался:

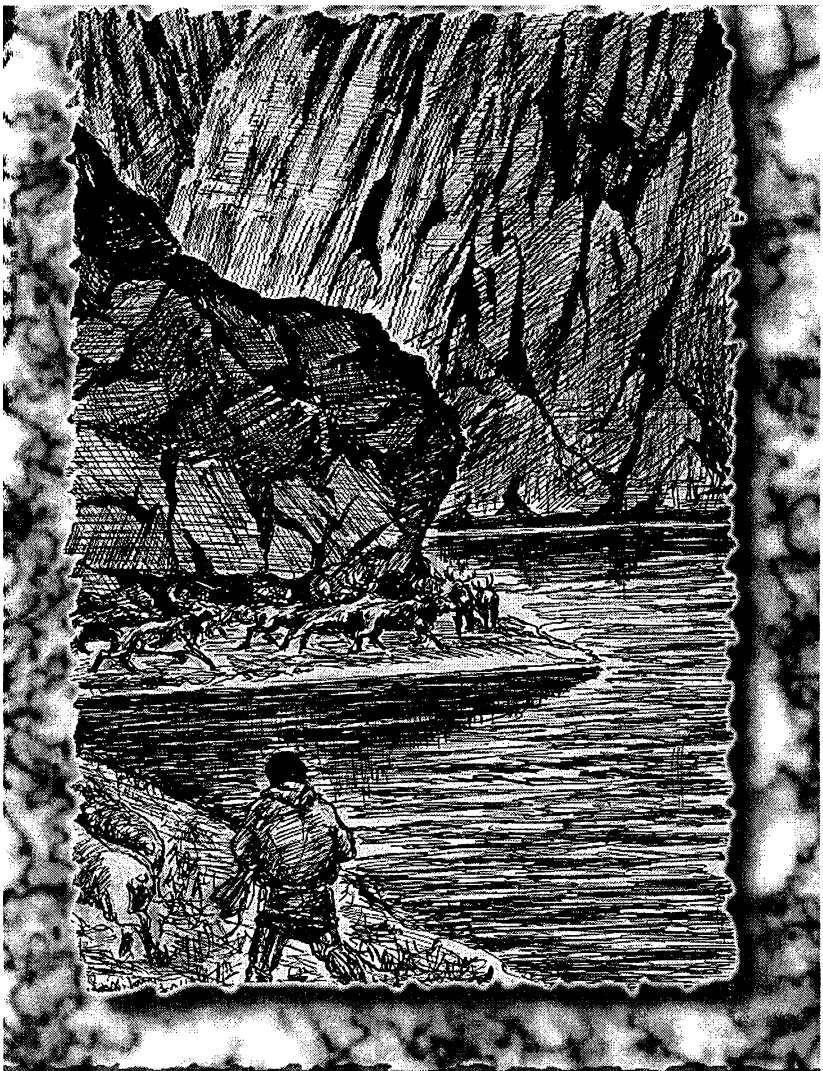
— Ты пришёл ко мне?

Пёс устало шевельнул хвостом, отвернул морду.

— Я хотел окаменеть и не сразу увидел тебя, — оправдываясь, торопливо объяснял мальчик. — Ты хороший, ты добрый. Я давно ждал тебя. Ты ведь хороший? Добрый? — бормотал он, согревая в ладонях дрожащую лапу Грехами Живущего.

Впервые за дни сиротства Илир почувствовал, как радостно забилось сердце. Так бывало, когда мать гладила его по голове и называла ласковыми именами, обидными для мужчины, но приятными ему, сыну. Повинуясь возвратившемуся дорогому чувству, мальчик обнял собаку. Нежные слова приходили сами, давно забытые, похороненные, как и тот человек, от которого сирота когда-то их слышал.

Грехами Живущий впервые так близко видел лицо человека. Сначала оно, и особенно глаза, раздражали своей близостью, но... этот маленький человек не был похож на других. От него ни разу не пахло угрозой и даже малой оби-



Боясь расплакаться, мальчик рывком поднял голову, поглядел вперёд. На фоне разгоравшейся зари высились горные вершины: сияющие, голубые, будто они для какого-то праздника надели малицы с сорочками из ярко-синего сукна.

дой. Наоборот, только лакомствами, которые ест он, Грехами Живущий. А сейчас... Пёс ещё раз понюхал цепь: пахло им самим, его потом. Он зарычал на эту твёрдую, не поддающуюся его зубам верёвку с дырками и опять сел, поворачивая морду к тому, от кого исходили добрые ласковые звуки, похожие на дружелюбное урчание.

А Илир тихонько смеялся, оживлённо шагая, насколько позволяла длина цепи, перед собакой. После долгого молчания собственный голос казался мальчику необыкновенным, а слова умными, как у старика Мерчи.

— Мы теперь будем жить вместе. Вдвоём. Согласен? Я думал, что ты никогда не придёшь ко мне и я всегда буду один. Понимаешь? Вот и хотел уйти к голубым великанам. И тогда, когда замёрз, и сегодня. А теперь — не хочу. Почему? Не знаю. Мне хорошо сейчас, и я радуюсь, что не умер.

Илир остановился, оглядел себя. Вот ноги, руки, они помогают телу, глаза видят снег, темноту ночи, старого доброго пса...

— Хорошо, что я вижу, — серьёзно, по-взрослому, сказал он.

Ещё долго ходил мальчик, побрякивая цепью. Если она, натянувшись, останавливала его, послушно поворачивал обратно. Старый пёс внимательно наблюдал за ним, и во взгляде собаки не было прежней злобы. Когда Илир наконец сел на нарту, Грехами Живущий лёг, положил морду на вытянутые передние лапы и закрыл глаза.

Наступило утро. Илир не спал. Ему вспомнились давние, виденные в детстве рассветы, когда земля была такой же яркой и многокрасочной, как и небо перед восходом солнца. Жёлтые, зеленоватые, розовые тени опускались сверху, точно прозрачные полосы разноцветного дождя. Но Илиру нравились голубые, и он находил их около больших камней на берегу речушки или озера рядом со стойбищем, в кустарнике или зарослях карликовых деревьев. А в ложбинках и овражках, известных только ему, прятался самый любимый цвет — фиолетовый.

Илир посмотрел на небо, горы, снег и увидел те прежние тени, красивые, живые. Он улыбнулся им. Улыбнулся своему возвращению к жизни, не зная ещё, что постиг одну из труднейших человеческих заповедей: надо возвращаться к лучшему в себе...

С этой ночи Илир и старый пёс стали жить вместе. Они делили постель — полуистлевшую облезлую шкуру. Делили

и пищу, которую ели из медного таза. Майма, брезгливо посматривая на мальчика, щедро подкладывал объедки. «Пусть наберётся собачьего ума, — посмеивался он. — Чем больше щенок возьмёт от старого пса, тем лучше».

Но скоро его стал тревожить этот странный союз. Конечно, с давних пор человек и собака соединены между собой. Но сирота и Грехами Живущий были уж слишком едины: казалось, они во всём понимают друг друга, не объясняясь, и знают какую-то тайну, неведомую другим. А главное — ведут себя так, словно счастливы. Сирота, встречаясь взглядом с глазами хозяина, смотрел, будто перед ним никого не было: не отворачивался, не пугался, а только улыбался, как много поживший старик. И от этой улыбки на его обезображенном шрамом лице становилось жутко.

Но настали тёплые дни, начался отёл; Майма полностью ушёл в дела. Лето выдалось беспокойным и тяжёлым: пастухов не было, и хозяину пришлось всё делать самому. Когда появились оленята, Майма сутками не спал, чтобы уберечь их от волков и хищных птиц. К осени он едва ходил, похудел и заметно постарел. И всё-таки был доволен. Лето оказалось добрым. Ещё один-два таких года, и оленей станет много больше прежнего. Можно тогда вдоволь посмеяться над теми, кто поверил Красной нарте, а теперь ходят нищие и голодные. Глаза сотен безоленных пастухов будут смотреть на него, хозяина богатого стада, не одни руки протянутся к нему в мольбе, а он будет плевать в лица глупым людишкам. От таких мыслей уходила усталость, и Майма, любуясь оленями, торжествующе улыбался.

Грехами Живущий проснулся от того, что около самого уха запел осенний комар. Не поднимая головы, собака несколько раз провела по уху лапой и снова задремала. Но настырный комар опять заныл, теперь уже под носом.

Старый пёс разозлился, сердито фыркнул, открыл глаза. Хотел встать, но удивлённо застыл: он не увидел солнца. Чувствовал, что ночь прошла, потому что было тепло, но кругом — темно, и не сумеречно, пасмурно, а до черноты.

Пёс яростно замотал головой, но чёрная пелена не исчезала. Не решаясь подать голос, Грехами Живущий сделал несколько шагов и опять остано-

вился. Плотный мрак перед глазами напомнил давно забытое: когда-то кто-то сунул его, ещё щенка, в мешок. В нём было темно, а потом на голову, спину, лапы посыпались удары.

Пёс знал, что сейчас он не в мешке, но от этого страх не проходил. Непроглядная темень и побои были для него неразрывно связаны. В ожидании боли он поджал хвост и оскалился. Ему казалось, что из темноты подкрадывается к нему враг. И он решил защищаться.

Илир проснулся, замер от изумления: старый пёс кидался во все стороны, щёлкал зубами, злобно и страшно рычал.

— Что с тобой?

Грехами Живущий повернулся на голос и, оскалившись, прислушался. Илир поднялся, стал медленно подходить к собаке.

— Это же я. Не узнал?

Слепой пёс неуверенно взвизгнул. Голос знакомый. Так говорит сидящий на цепи. Он ни разу не сделал больно. Но это раньше, когда можно было видеть его лицо, глаза. А сейчас?.. Зарычав, Грехами Живущий попятился.

— Это я, Илир. Ты слышишь меня?

Мальчик растерялся. Старый пёс никогда не был особенно ласков, но давно уже не проявлял такой открытой враждебности.

Осторожно, чтобы сухая трава не шуршала, Илир пошёл к собаке. Она, повизгивая, отступала. Но вдруг с лаем бросилась вперёд и крепко сомкнула зубы. Илир вскрикнул. Клыки Грехами Живущего впились ему в руку. Пёс дрожал и, казалось, был убеждён, что схватил врага.

— Я не ударю тебя. Не бойся. И ты тоже не кусай меня, — начал он, осторожно касаясь широкого седого лба Грехами Живущего. — Отпусти руку, ну, отпусти...

Пёс слушал, но челюсти не разжимал. Ненависть к людям боролась в нём с добрым отношением к этому маленькому человеку. Тем, что тот и сейчас не хотел драки: не угрожал, не сопротивлялся, но... тьма перед глазами вызывала отчаяние.

Илир продолжал уговаривать. Он давно понял, что пёс — умный. В последние дни Грехами Живущий держался так, будто знал, что гораздо старше и опытней Илира. Мальчик часто натыкался на его испытующий, оценивающий взгляд. Так смотрит мужчина на ребёнка, набрасывающего аркан на разбросанные по земле оленьи рога.

— Ты умный, — убеждал Илир. И обещал: — Я буду делать всё, как ты. Научусь лаять, скулить. А сейчас отпусти.

Грехами Живущий разжал зубы. «Наверно, он понял мои слова или поверил, что и по голосу можно определить доброго человека», — подумал Илир, поглаживая лоб друга. Прижав к груди дрожащее тело Грехами Живущего, Илир шептал ему в ухо о том, какой тот замечательный. Пёс, лизнув мальчику щёку, заскулил. Между ними никогда ещё не было такой близости, выливавшейся в нежность. Но всякое чувство — и плохое, и хорошее — растёт долго, а прорывается вдруг. Илир понял, что Грехами Живущий плачет, но не утешал. Отодвинул от себя его морду и, вдруг поняв, ахнул:

— Ты ослеп?!

Неподвижный глаз собаки смотрел мёртво и пусто. Только в глубине чёрного зрачка блеснуло что-то живое. Но нет, это был всего лишь отблеск солнца.

— Не бойся, ничего не бойся, — упрашивал мальчик. От волнения шрам на его лице покраснел, глаза наполнились слезами. — Я буду всегда с тобой. Ну, улыбнись. Но старый пёс продолжал скулить, тоскуя по погасшему для него свету.

— У тебя красивая шерсть, — врал Илир, перебирая пальцами свалявшиеся жёсткие клочья на животе пса. — Ты лучше всех собак. Я никогда не видел таких... — И, поражённый неожиданной мыслью, радостно засмеялся: — Понял, понял! Ты — собака голубых великанов! Вот почему хозяин ненавидит и бьёт тебя. А здесь ты живёшь, чтобы я не был один, чтобы знал: голубые сердца защитят меня.

Грехами Живущий мотал головой, снова пытаясь сбросить черноту, закрывшую свет.

— Теперь я буду кормить и защищать тебя. Не плачь! — Илир обнял собаку: — Мы всегда будем вместе.

Он был счастлив. Грехами Живущий, единственный друг, стал ему теперь дорог так же, как воспоминания о матери. Мальчик достал из-за пазухи уголёк, сунул под нос слепому псу.

— Нас теперь трое. Слышишь, мама говорит, что всё будет хорошо.

Грехами Живущий понюхал уголёк, лизнул. И, виновато вильнув хвостом, фыркнул, словно сказал «да»...

Пришла зима, морозная, злая. Снова у каждого деревца намело сугробы. Промёрзла земля и даже, кажется, воздух, небо.

Хон не встаёт со своей постели уже четыре дня. Ему не хуже и не лучше, чем обычно, но пропало всякое желание двигаться. Куда? Зачем? Ног своих мальчик давно не чувствует — их для него нет. Летом он не страдал от этого. Выползет из чума, и прямо перед глазами целый мир: трава, жучки, цветы, мох. Тогда не думалось о ногах. А сейчас... Сейчас, среди снегов, надо стоять во весь рост, чтобы разглядеть интересное.

Хон вздохнул и закрыл глаза. Разве человек, взгляд которого не приближен к земле, поймёт, оценит, полюбит лето? Кто, кроме него, Хона, знает, что трава дышит? Придвинешься к ней щекой, а от неё — тепло. Кто знает, что голубой ягель не любит руки? Возьмёшь его, а он весь всколыхнётся, начнёт трепетать ветвистыми рожками и даже побледнеет. А как интересны корни цветов и трав! Копнёшь землю, и вот они — гибкие, крепкие, точно жилки.

И совсем особое отношение у Хона к лужам, к обыкновенным тундровым лужам, которых так много весной и осенью. Мальчик называл их «маленькие озёра» и мог целыми днями смотреть в них: вода прозрачная, ясная, дно устлано чистыми травками, листочками. Видно, как маленькие деловитые подводные обитатели шныряют в зарослях покачивающегося мха: куда-то торопятся, о чём-то хлопочут.

Хон знал, что у каждого из них поставлен невидимый для человека чумик, а в нём дети. И старики тоже есть, которые плавать уже не могут. Иногда мальчик нерешительно и ласково беспокоил травинкой жителей подводного стойбища. Огорчался, если они со страхом бросались в разные стороны, тихонько смеялся, если былинку дружно атаковали, как непрошеного чужака.

Во время кочёвок по летним пастбищам Хон на каждой стоянке первым делом отыскивал самое прозрачное, самое обитаемое «маленькое озеро» и надолго замирал, наблюдая в нём жизнь. Задумавшись, он иногда мечтал о том, что хорошо бы самому стать паучком или, например, жучком с чёрной блестящей спинкой; тогда можно было бы позабыть и о беспомощных ногах, и о слабеющих вдруг руках, и о кашле, который разрывает всё внутри. Как приятно, наверно, лежать под упавшим на дно лепестком багульника и чувствовать, что тебя убаюкивает чистая и ласковая вода.

Хон улыбается, перебирая в памяти каждый солнечный день ушедшего лета. А тело опять обволокла обессиливающая слабость, от которой оно становится легче пылин-

ки... И вот уже мальчик видит, как плавно всплывает он над постелью и, выскользнув в верхнее отверстие чума, парит в синеве.

— Придёт лето, я подарю тебе маленькое озеро! — радостно кричит Хон толстому сиреневому облаку и садится на него верхом, как на кочку.

— Сынок, сынок... — почему-то говорит облако маминым голосом и осторожно покачивается. — Проснись.

Мальчик открывает глаза, но вместо лица матери видит расплывающееся сиреневое пятно.

— Поешь хоть немного, сынок.

— Я не хочу. — Хон чувствует, как слабость сменяется жаром; особенно горят коленки.

— Не поднимайся, лежи, я тебе поставлю рядом.

Мать копошится в сумраке чума, а Хон, приподняв горячую тяжёлую голову, смотрит и не узнаёт знакомые с детства вещи. Как они почернели, постарели! Вот котёл; летом он был совсем новый, а сейчас словно прожил долгую жизнь, столько на боках его жирной сажи. И огонь горит еле-еле, не пляшет. Он, наверно, больной и скоро умрёт.

— Ма, ты дала Илиру мяса?

— Костей из супа давала. Хорошие кости. Подними голову. Вот так... Хорошо тебе?

— Мне теперь всегда хорошо. Только вот в чуме...

— Что в чуме?

— Плохо здесь... всё умирает.

— Не говори так, сынок. За такие слова Яминя наказывает человека.

— Это она наказала Илира? Или он не человек для неё?

— Не знаю.

— А кто знает? Отец?

Мать поставила на постель миску с супом, погладила сына по щеке: как похудел он, глаза стали точно ягодки моло. «Ох, не будет жить... не будет. Видно, что не здесь он уже». Чтобы не заплакать, женщина быстро поднесла к губам сына миску.

— Пей суп. Ещё тёплый, вкусный.

Хон поморщился, отвернулся. От запаха варева его мутит и голова начинает кружиться.

— Не хочу я ни мяса, ни супа. Ты всё это лучше Илиру отдай...

Хон глянул в лицо матери и опять удивился: оно, оказывается, и вправду почти сиреневое. И сморщенное, как

кора старой, больной лиственницы. Мама тоже стареет вместе с чумом и вместе с огнём.

— Дам и Илиру. Придёт он, я отнесу. А ты поешь...

— Ладно. В подводном стойбище тоже едят.

— В каком, каком стойбище?

— Это я так... Скоро лето придёт?

Мать задумалась. Подняла глаза вверх, и пока она вычисляла, нашёптывая что-то, Хон торопливо сунул под подушку кусочки мяса. Мальчик знает, что мать только обещает отнести Илиру еду, а дать не осмелится: она боится отца.

— Сосчитала?

— Спуталась, сынок. Но долго до лета... Долго.

— Ничего, лето придёт. — Хон улыбнулся.

Погружённый в мысли о лете, он сидел, хрупкий и беззащитный, как горный цветок. Есть такой. Растёт среди камней в одиночестве. Стебель его невысок, грязно-серого цвета, и вся красота в головке с доверчиво раскрывшимися лепестками бледных, чистых тонов. Этот цветок встречается редко...

Грехами Живущий чутко вслушивался в шорохи, но среди них не было пока тех, которых он ждал. Слепой пёс сразу узнавал шаги Илира, скрип его лыж, дыхание; он давно уже научился различать их среди других звуков и шумов.

Побродив немного около поганой нарты, пёс улёгся на старый рваный мешок. Он служил подстилкой ему и мальчику, когда тот приходил, пахнущий оленями, и сразу же засыпал. Теперь время для пса определялось приходами и уходами маленького доброго человека. Пришёл тот — значит умерло солнце; ушёл — значит солнце встало и начало подниматься по небу.

Грехами Живущий вздремнул, но вскоре почувствовал привычный запах дыма. В жилище людей, которым служил раньше, до того, как ослеп, развели огонь. При воспоминании о костре в затуманенной памяти пса возникали лица хозяев и он сам, сидящий перед горячим огнём. Но теперь его не тянуло к этому свету, к теплу, а лица не волновали.

Запах дыма резко ударил в ноздри. Помотав головой, Грехами Живущий нетерпеливо перебрал лапами и медленно пошёл вдоль нарты. Каждый день в одно и то же время он проделывал этот путь и привык к нему.

Около двух небольших лиственниц остановился. Обнюхал деревца. Устало вздохнув, лёг на живот. Здесь пёс каждый день встречал мальчика.

Однажды, когда выпал уже первый снег, Илир пришёл сюда, упал на мох и заплакал. Грехами Живущий, обеспокоенный его долгим отсутствием, бродил вокруг стойбища и обострившимся за время слепоты слухом уловил далёкие всхлипывания. Подковылял к мальчику, лёг рядом и, встревоженно взвизгнув, лизнул его холодную руку. Но Илир продолжал плакать. Старый пёс отошёл, сел. Изнывая от тоски и жалости, задрал вверх морду и завыл.

Илир поднял от земли мокрое лицо и пристально посмотрел на Грехами Живущего. «Он плачет вместе со мной, значит, понимает!» — подумал мальчик, не спуская взгляда с взъерошенной собаки. И чем дольше глядел, тем сильнее росло странное желание: захотелось стать похожим на Грехами Живущего, на этого умного старого пса. Разве плохо быть хорошей собакой?

Умер Грехами Живущий у этих двух лиственниц. Сначала Илир подумал, что старый пёс, дожидаясь его, задремал. В последнее время он много спал и часто не слышал, когда приходил мальчик.

Илир осторожно погладил его по спине. Старый пёс не отозвался. Илир испугался, стал тормошить уже холодную собаку, гладить, пытаясь нежностью вернуть другу жизнь. Эта жизнь нужна была Илиру больше, чем солнце. Обняв худое, затвердевшее тело собаки, мальчик прижал его к груди и заплакал. Он держал сейчас самое дорогое, что имел, самое доброе и любимое, что дала жизнь ему после матери...

Закончив рыть яму, Илир пососал окровавленные пальцы, отогревая их, и бережно взял на руки Грехами Живущего.

— Я знаю, тебе будет больно. Мне тоже больно. Но так надо. А то песцы вытащат твоё тело и разорвут. Пойми и не сердись.

Мальчик засыпал землёй могилу, припорошил снегом и аккуратно разровнял её. Когда стало светлеть, встал на лыжи и побрёл в стадо.

Прошло два месяца, и наступил третий, как Хон не встаёт с постели. Лицо у него высохло, сморщилось, потемнело. Когда мальчик кладёт тоненькие ручки поверх заячьего одеяла, мать не может сдержать слёзы и, отвернувшись, тихонько плачет.

Хон кашляет теперь почти непрерывно.

Около него всегда стоит старый медный таз с погнутыми краями, и мать каждый день выносит его на улицу.

Смерть идёт к мальчику спокойно, медленно... А Хон живёт уже больше в своих мечтах и видениях, чем в чуме. Чаще всего мальчик видит себя в своём любимом маленьком озере, над которым склонились два весёлых куста багульника, осыпанные цветами. Лепестки их падают в воду, поэтому она всегда чистая и пахнет приятно. Тут солнечно и тепло. Хон устроился, как и мечтал, под большим жёлтым листком и очень рад, что у него, как и у всех жучков, есть тоненькие, но крепкие ноги. Мальчик счастлив. В гости к нему каждый вечер, когда наверху, на поверхности, плавают прозрачные пятнышки прощального солнца, приходит сосед — усатый важный паучок. Он очень умный и вежливый, поэтому постоянно поворачивается во все стороны и кланяется.

Хон любит беседовать с ним. Особенно много они говорят о среднем мире и его обитателях — людях. Паучок, успокоившись и перестав кланяться, чистит волосатой лапкой усы, чтобы придать им блеск. Они у него походят на тонкие, гладенькие рыбьи косточки.

У всех пауков, как узнал Хон, есть правило: радуйся сам и радуй других. Чтобы порадовать соседа, паучок всегда приносит во рту вкусные листики и лепестки, которые падают в воду с цветов.

Говорит паучок отрывисто, и видно, что он очень волнуется, потому что ещё один закон подводных обитателей требует: начинай беседу с другом, только когда взволнован, ибо в этот момент ты искренен сердцем!

— Ты... очень... интересный, — паучок поворачивает то влево, то вправо круглые глазки. Этим он выражает удивление, так как головой он не может ни покачать, ни повертеть.

— Чем интересный?

— Усов нет и глаза... плоские. Почему?

— Плоские... тоже скажешь. Зато у тебя как ягоды. И голова не шевелится. А у меня — смотри!

Мальчик покрутил головой, но паучок не оценил этого.

— Наш главный паук говорит, что люди глупые и жадные. Правда? — с удивлением спрашивает он.

Хон не знает, что ответить. Люди — разные. Есть отец, есть мать, есть пастухи и лекарь Красной нарты...

— А у вас все умные и добрые? — язвительно отвечает мальчик.

— Все! Мы дружно живём. Одной семьёй. А вы?

Хон не знает, что сказать. Вопрос, заданный паучком, смутил его. Какая уж дружба, если старого пастуха убили, Илир с собакой живёт. И в чуме... От стыда за родных мальчик закрывает глаза, чтобы не видеть насмешливый взгляд паучка.

Когда Хон открыл их, то пожалел об этом. Только что было светло, солнечно, а сейчас темно и пахнет едким дымом.

— Ма... почему темно? — спросил Хон и не услышал своего голоса: такой он был слабенький.

Но мать подбежала, пошарила руками по одеяльцу, нащупала лицо сына. Руки у неё холодные и твёрдые, точно деревянные.

— Мама, не трогай меня. Зажги огонь...

Мать торопливо отошла к очагу. Огонь — единственное, что теперь просит сын у неё и жизни. Человек перед смертью тоскует по теплу и свету, тоскует жадно, как по еде... Женщина , чтобы угодить больному ребёнку и отогнать чёрные мысли, развела большой, сильный костёр. В чуме стало уютней, светлей.

Хон, высвободив из-под одеяла руки, наблюдает за тем, как мечутся в дыму искры, и изредка посматривает на мать с нетерпением и любопытством. Надо что-то ответить паучку. Пусть все жители подводного стойбища знают о людях не только то, что они глупые и жадные.

— Мама, скажи, люди умно живут? Меня сейчас паучок спрашивал.

Мать вытерла слёзы, поглядела встревоженно.

— Какой паучок, сынок?

— Из маленького озера.

Мать покачала головой и всхлипнула. Хон досадливо махнул рукой и, отвернувшись, устало вздохнул. Повторил ласково и терпеливо:

— Ты можешь ответить, как люди живут? Мне это надо...

— Сыночек, маленький мой, я не знаю. Мы с людьми почти не жили. Всё время одни и одни. Нашу жизнь ты сам видишь, а как в других стойбищах — не знаю...

— Как не знаешь, ты же большая? — удивился Хон.

— Вот ты у меня вырастешь и узнаешь, обязательно узнаешь.

— Что же я паучку скажу? — Хон готов был заплакать от обиды, но даже для этого нужны силы, и он просто закрыл глаза.

Мать опять скорбно покачала головой, спросила ласково:

— Ты про кого говоришь, сынок? Кто этот паучок?

Но Хон не ответил. Он уже погружался в прозрачный и чистый подводный мир, с нетерпением поглядывая на коричневый листок на дне, из-под которого вот-вот должен показаться сосед-паучок...

Утром все в чуме проснулись от крика и бормотанья Хона. Майма протянул руку к постели сына и почувствовал на пальцах что-то липкое. Откинув заячье одеяло, запачканное кровью, он увидел маленькое усохшее тело, широко раскрытые глаза Хона, и леденящий озноб прополз по спине хозяина чума.

Мать кинулась к мальчику:

— Хон, сынок...

— М-а-а, — ребёнок пытался что-то объяснить, но не мог.

Майма опомнился и наклонился над ним:

— Что тебе, Хон?

— На волю, — еле выговорил тот и надсадно, с хрипом, закашлялся.

Отец вынес сына. Утро было тёплое, ясное.

При свете солнца лицо Хона показалось Майме страшным. Он хотел отойти, отдав сына жене, но мальчик попросил:

— Подними мне голову.

Майма посадил его на нарту, поправил подушку. Сел рядом и, ожидая ещё просьбы, снова посмотрел Хону в лицо. И поёжился. Он всякие видел глаза — хитрые, трусливые, умные, заискивающие, гневные, ненавидящие. Но такие — мудрые, усталые, словно знающие главную тайну жизни, — впервые. Даже у отца, многоопытного Мерчи, не припомнит такого взгляда. И это у ребёнка, тщедушного и немощного?.. А Хон тоже будто в первый раз увидел так близко отца. И был неприятно поражён жёстким выражением лица. «Каменное», — подумал он и отвернулся, чтобы не видеть отца. Тёплый ветер гладил его щёки, лоб; солнышко было настолько ярким, что даже если крепко зажмуриться, всё равно увидишь свет — жёлтый, весёлый.

— Маленькие озёра есть?

— Какие озёра? Лужи, что ли?

Сын нехотя кивнул.

— Луж много. — Майма рад, что сын заговорил с ним. Он улыбается, стыдясь своего чувства, хмурится и ворчит:

— Очень много... Даже под чум заползают. Скорей бы уж высохла эта грязь. Я все кисы промочил.

А Хон еле сдерживает стон. Ему обидно за друзей из подводного стойбища, которые, наверно, сами направили маленькие озёра под чум. К Хону пробираются. Уж очень долго он не идёт к ним...

— Ничего, сынок, скоро солнце их выпьет, — обрадованный вниманием сына, довольно засмеялся Майма.

— Замолчи! — крикнул Хон, приподнявшись с подушки. Повернул к отцу покрасневшее от обиды лицо: — Замолчи! Я люблю маленькие озёра, а ты... Я не люблю тебя!

Отец удивлённо посмотрел на сына, но постепенно взгляд его стал угрюмо-обиженным. Слова мальчика ошеломили его. Майма никогда не был нежен с Хоном и знал, что тот боится его, но такой ненависти не ожидал. И к кому? К отцу, который приготовил для сына лучшее в тундре стадо! С такими оленями любой калека может жить самым уважаемым человеком, не зная забот и печали. Майма хотел прикрикнуть на Хона, но из чума вышла старшая жена.

Она осторожно поднесла к губам сына блюдце с кровью, и мальчик увидел, что руки матери дрожат.

— Ты за меня боишься, мама?

— Руки, сынок, уже старые, вот и прыгают, — как можно спокойней ответила она. — Выпей.

— Когда вы успели оленя убить? — удивился Хон.

Мать смутилась... Кровь была несвежая.

— На рассвете, — опередил Майма жену, грозно взглянув на неё.

Он встал. Сын подсказал, что делать. Надо принести оленей в жертву отцовской скале. Она, наверно, ещё помнит щедрость Мерчи и на Майму не должна сердиться: он не обижал её, не отрекался, как от идолов. Сегодня же скала получит много мяса и крови, так много, что вся грудь её станет красной. И тогда можно будет попросить, чтобы Земля защитила сына, дала ему силы. Иначе останется в будущем стадо без хозяина.

— Фу, кровь-то старая, — Хон поморщился, но выпил всё.

Майма ушёл в чум — не хотел видеть в глазах сына вопрос: зачем обманул, что оленя убили утром? Вынес топор, аркан. Подозвал жену:

— Поеду жертвовать... Выберу для Хона самого молодого, сильного быка с горячей кровью. Пусть мальчик пьёт её,

сколько сможет. А когда устанет пить... — Майма подумал, — пусть пьёт ещё!..

На следующий день Хон почувствовал себя лучше. Он проснулся рано и, заметив на шесте чума солнечный луч, торопливо подтолкнул мать. Они были одни. Молодая жена Маймы ещё вчера ушла караулить стадо важенок.

— Мама! Мама! Солнце проснулось, видишь?

Мать повернулась, словно и не спала. Обняла сына, но Хон вывернулся из её рук.

— Мама, ну смотри же, солнышко проснулось!

Бледные щёки мальчика зарумянились, глаза весело перебегали от одного луча к другому, губы улыбались.

Мать, глядя на сына, тихонько засмеялась. Вскочила с постели, откинула полог. Чум залил ослепляющий, весёлый поток света.

— Мама, мама, — ликовал Хон. — Я весь в солнце. Погляди.

Она осторожно, словно боясь вспугнуть радость сына, подошла к нему, расчесала волосы. Мокрой тряпицей вытерла Хону лицо, набросила на его плечи свою ягушку.

— Не надо, мама. Мне тепло. — Он с ласковой улыбкой поглядел на мать, потёр худенькой ручкой щёку. — Мама, ты очень красивая сегодня.

— Солнце, наверно, меня помолодило, вот и красивая.

— Как хорошо! Ничего не болит, даже в голове. В груди не давит. Как хорошо...

— И мне хорошо, когда тебе не больно.

Хон откинулся на подушки, внимательно посмотрел на неё. Он давно уже почувствовал, что та неприязнь, с которой мать раньше относилась к нему, исчезла. Вместо неё пришла, всё разрастаясь, нежность, готовность взять на себя его, Хона, боль. Мальчик сначала настороженно встретил новое отношение матери, но, истосковавшись по доброте и ласке, скоро забыл о прежних холоде и враждебности.

— Мама, а ты бы хотела жить со мной, без отца? — неожиданно спросил он. — Ну, понимаешь, чтобы мы с тобой были совсем одни?

Мать вздрогнула. Руки её медленно опустились и замерли. Хон взял их, потрогал худенькими пальцами. Он понял всё. Давними, далёкими ночами мать мучилась из-за его уродства. Она стыдилась, когда к отцу приезжали богатые ненцы с жёнами и здоровыми, резвыми детьми. Сейчас, предлагая

матери жить вместе, Хон по-прежнему ничего не мог дать ей, кроме своей беспомощности. И любви.

— Не сердись на меня, мама, — попросил он.

— За что, сынок? — растерялась она. И добавила задумчиво: — Я тоже хочу жить с тобой, только с тобой. Ты стал уже большим. Как только тебе станет совсем хорошо, мы уедем отсюда к людям. Хочешь?

— Мама, милая, очень-очень хочу, — прошептал Хон и прижался щекой к её рукам, пахнущим дымом. — Мы поедем к людям и найдём деда.

— Да, и деда, сынок, найдём.

Женщина удивилась: почему мысль уехать не приходила в голову раньше? Кто ей Майма теперь? Совсем никто. Не только муж стал чужим, но и земля, и олени. Если и было что хорошее, всё осталось на старых стойбищах.

Она наклонилась к сыну и обняла его:

— Как только ты выздоровеешь, мы поедем. Поскорее поправляйся.

А потом они сидели молча и думали о предстоящей жизни, о будущем маленьком чуме, в котором вместо богатства станет жить любовь.

— Мама, давай позовём Илира. Пусть посидит с нами.

Хон знал, что сирота сейчас спит: отец отпустил Илира, чтобы днём он сменил молодую женщину.

Мать поколебалась: вдруг вернётся муж?

Заметив это, Хон скатился с постели и пополз, стараясь держаться как можно твёрже. Мать должна видеть, что у сына ещё есть силы, он может двигаться.

— Мама, я пошёл к нему.

— Сынок...

— Жди нас, мама.

До полога Хон дополз спокойно, но как только оказался на улице, в груди у него захрипело, и, чтобы не кашлять, он лёг лицом вниз, хватая ртом воздух. Когда приступ удушья прошёл, мальчик добрался до поганой нарты.

Илир спал. Хон испуганно разглядывал его. После смерти старого пса он почти не видел сироту. Тот всё время проводил в стаде.

Мальчики были сверстниками. Когда стойбищные дети играли, Илир сажал Хона на нарту, чтобы в суматохе его не ушибли, и держал над головой сына хозяина оленьи рога. Самому Хону поднять их было не под силу. Сейчас и не верилось, что такие времена были.

Хон кашлянул и тихо позвал:

— Илир...

Тот проснулся, вскочил и настороженно замер. Хон посидел недолго под злым взглядом Илира и вдруг быстро пополз к чуму.

Илир успокоился, лёг на нарту, но Хон вернулся. На шею его был наброшен аккуратно смотанный аркан. Илир вздрогнул... Когда-то, в далёком детстве, ему очень был нужен аркан. Не связанный из кусков кожи, а настоящий, чтобы защитить перед другими свою честь мужчины. Она — в красоте, силе и точности полёта аркана. Но аркана у Илира не было, и он попросил его у Хона. Тот не дал. Отойдя за чум, Илир плакал, и Хон, проползавший мимо, видел это...

Сейчас тяжёлый аркан дрожал на худеньких руках Хона.

— Возьми... — просипел он, задыхаясь. И, закашлявшись, упал лицом вниз.

Илир подхватил его. Глядя в мокрое, с красными пятнами, лицо бывшего друга, пытался улыбнуться и не мог. А Хон уже метался в судорогах, но угасающее сознание воспринимало всё происходящее с обострённой ясностью.

Наклоненное над ним лицо было изуродовано шрамом. А Хон помнил его чистым, красивым. И обезобразил Илира отец. Значит, и сын Маймы виноват перед сиротой... Хон протянул руку, погладил несмело лицо Илира. Тот вдруг всхлипнул. Хотел что-то сказать, но вместо этого из горла его вырвался странный звук, похожий на лай.

Хон, задыхаясь, метался. Умолял сквозь кашель:

— Уходи отсюда... Уходи. У тебя есть ноги. Ты можешь.

И вдруг, изогнувшись, вцепился в Илира, обнял его. И затих.

Илир закричал.

Из чума выскочила мать Хона. Бросилась к сыну, но долго не могла оторвать его от Илира.

Хон уже ничего не видел и не слышал. К нему опять пришёл паучок и открыл было рот, чтобы начать расспросы про людей.

— Молчи! — крикнул ему Хон. — Молчи...

— Я молчу. Молчу, сынок, — ответила мать.

Взяла на руки сына и, как ослепшая, спотыкаясь на каждом шагу, побрела к чуму. Илир некоторое время шёл следом. В чум он не решился войти, а, вернувшись обратно, торопливо схватил аркан и, как вор, оглянулся по

сторонам. Потом, задрав малицу, обмотал аркан вокруг пояса и, снова подойдя к чуму, прислушался, склонив набок голову.

Хон не дожил до вечера. Когда мать положила его на постель, он уже предсмертно хрипел, хватаясь руками за грудь, будто хотел разорвать её.

Мать закусила губу, чтобы удержать крик, который мог потревожить уходящего в нижний мир, и осторожно опустилась рядом. Когда мальчик умер и женщина поняла это, она взяла мёртвое тело Хона, вынесла его на улицу. Протянув к солнцу мёртвого сына, мать громко крикнула:

— Великое Солнце! Тебе нужна была жизнь моего ребёнка?! На, возьми его тело! Вытри им своё лицо.

Но солнце по-прежнему равнодушно сияло в вышине. Женщина подождала:

— Не надо? Значит, смерть Хона нужна была Великому Небу?!

Она подняла сына ещё выше и сделала движение, будто хотела подбросить Хона:

— Великое Небо! Ты хотело смерти моего мальчика? Возьми.

Но и небо не ответило женщине. Тогда она положила трупик на землю и отошла от него.

— Великая Земля! Ни Солнце, ни Небо не хотели его смерти. Значит, она была нужна тебе. Возьми!

Но и Великая Земля не приняла ребёнка: ей тоже не нужна была его смерть.

Тогда женщина поднесла к лицу сжатые кулаки, потрясла ими в воздухе и завопила:

— Старая безжалостная Яминя! Слышишь меня? Тебе, тебе нужна была смерть моего мальчика. Ты откупаешься от Нга, чтобы жить вечно. Откупаешься, поганая, нашими телами. Я плюю в твоё лицо!

Женщина несколько раз с остервенением плюнула перед собой и прислушалась, но Яминя — хозяйка жизни — тоже молчала. Женщина не поверила ей, потому что тогда пришлось бы признать: Великие не хотели отбирать у Хона жизнь. Почему же он, в таком случае, умер? Мать задумалась. Припомнила, что сын сильно страдал из-за своего уродства. Бывало, мальчишки бегают, играют, а Хон заползёт в чум, как щенок, ляжет на постель и плачет... А она? Ни разу не утешила, не приласкала его; больше того, смотрела на мальчика с досадой и раздражением. Однажды он попро-

сил, чтобы отец сделал ему нарту. Был Хон тогда совсем маленький.

— Ача...— в то время сын ещё называл отца этим ласковым именем. — Ача, сделай мне нарту. Я на охоту поеду.

Отец захохотал. Смех мужа ей не понравился, но она почему-то тоже засмеялась. Хон долго после этого обиженно смотрел на родителей, как на чужих.

Многое вспомнила женщина. И ужаснулась и взвыла с отчаянием, потому что поняла: не только жадность и жестокость мужа, но и её материнское равнодушие, недовольство сыном ускорили его смерть. Но она не хотела — поверьте, Великие Солнце, Небо, Земля и Яминя! — нет-нет, не хотела этого. Долго сидела мать, не зажигая огня. А когда Майма ночью пришёл в чум и развёл костёр, то не узнал жену: голова её была белой, точно покрытая запоздалым весенним снежком...

Хона хоронили вдвоём. Молодуху оставили дома; мальчик был ей чужим. А сейчас, в большом горе, отец и мать Хона хотели остаться одни, без посторонних, чтобы никто не обидел своим равнодушием их сердец.

Майма то и дело откладывал топор и угрюмо смотрел под ноги. Он знал, что Хон не жилец, и всё-таки смерть сына потрясла его. Сейчас Майма мог признаться себе, что, мечтая о крепком, здоровом ребёнке, который со временем будет хозяином стада, относился к Хону пренебрежительно, а иногда и с неприязнью, но всё же любил сына. Любил!

Майма вздыхал, вытирал ладонью глаза и продолжал работу: надо сделать крепкий гроб. Родовое кладбище далеко, и мальчику придётся лежать здесь одному...

Тяжёлая, пугающая тишина стояла в чуме в ночь после похорон Хона. Майма, не мигая, вглядывался в темноту. Молчал, хотя знал, что старшая жена не спит. Лишь под утро он забылся ненадолго в тревожной дрёме, а когда, словно от толчка, очнулся, матери Хона рядом не было.

Майма нашёл её на могиле сына. Жена соорудила вплотную к гробу маленький чумик из палок. Набросила на него ягушку, а сама почти голая сидела у входа рядом с кучкой сырых веток и листьев. Видимо, женщине казалось, что перед ней костёр, потому что она подбрасывала в кучку траву, мох, потирала руки, отдёргивая их, точно обожглась.

Майма опешил и с изумлением рассматривал жену. Она смеялась, но негромко, как смущённый ребёнок.

— Теперь, сынок, у нас есть свой чум и свой огонь. Я сделала всё, как ты хотел. Ты доволен?.. Я тоже. Мне сейчас, сынок, очень хорошо.

Майма видел, что жене действительно хорошо: глаза у неё блестели, впалые щёки зарумянились, растрёпанные волосы легонько шевелились, будто тоже радовались. Ему стало жутко. Он быстро отвернулся, закрыл глаза и увидел всю свою жизнь с этой женщиной. Немудрёная была жизнь, простая. Майма попытался представить в ней жену радостной, счастливой, как сейчас, и не смог. Вспоминались только наклонённая спина и голова с чёрной косой. Такой он увидел жену после первой ночи, такой видел её каждый день. А где же остальная жизнь? Ведь не всё время эта женщина сидела согнувшись, была же она молодой, была матерью, женой...

Мать Хона почувствовала наконец, что рядом кто-то стоит. Посмотрела безумными глазами и не узнала мужа. Перестала бормотать и хихикать и, медленно выпрямившись, заслонила телом гроб сына, широко раскинув руки.

Майма сдёрнул ягушку с чумика, набросил на плечи жены. Она вскинула руки, чтобы вцепиться в мужа, но тот прижал её к себе. Женщина завизжала, начала вырываться.

— Это мой чум. Мой и сына! — кричала она.

Задела шесты ногой, и они развалились. Женщина вскрикнула и зарыдала. Майма отнёс жену к нарте, бережно укрыл шкурой и поехал домой.

Утром матери Хона опять не оказалось в чуме. Муж нашёл её на покрытой мелкими розовыми цветами поляне. Казалось, что женщина просто решила отдохнуть, прилегла с открытыми глазами и залюбовалась небом, улыбаясь светло и счастливо. Она умерла на полпути к могиле сына, и смерть её, видимо, была лёгкой и радостной.

Однажды утром оттуда, где жили люди, о которых начал забывать глаз, показалась упряжка. Человек ехал уверенно, по сторонам не смотрел, будто бывал в стойбище не раз.

Майма ждал его, сжимая в руке рукоять ножа.

Приезжий остановил оленей, слез с нарты, пошёл не спеша к чуму.

Майма невольно сделал шаг вперёд. «Кэле! Неужели Кривой Глаз?!» Напряжение, сковавшее тело, ослабло, и он сел на нарту, вместо того что-

бы идти навстречу старику, как требовали приличие и возраст гостя.

Кривой Глаз, наклоняясь, будто на загривке у него лежал мешок с камнями, подошёл к хозяину стойбища, опустился рядом. Словно видел Майму вчера и позавчера, сказал без выражения:

— Устал я... Тяжело.

Майма промолчал. Поднял взгляд и ничего, кроме старости, не увидел на лице гостя. Правда, показалось, что у старика искривилось и маленькое худое тело, а в остальном он был как прежде. Гость поздоровался.

— Торово. Ты далеко забрался. Сколько ехал, ехал, а дымом не пахнет ни на земле, ни с неба.

Майма, не глядя на старика, спросил:

— Ты-то как нашёл?

Старик лениво обвёл взглядом тесное, угрюмое кольцо гор, посмотрел на чум, на следы своей нарты.

— Это места твоего отца... — и умолк.

Майма выжидательно поглядел на гостя, очень хотелось спросить, почему он приехал именно сюда. Ведь отец кочевал и в других местах. Но старик, чуть кивая головой, продолжал всматриваться в окрестности, словно что-то выискивал взглядом. Не дождавшись продолжения разговора, хозяин позвал гостя в чум.

Около костра Кривой Глаз снял малицу и сразу стал походить на осеннюю болотную кочку, пожухлую и ободранную. Это удивило Майму: как-никак старик был раньше далеко не нищим и в нарту запрягал не собак.

— Хэ, хэ, далеко ты забрался, — повторил с досадой Кривой Глаз, выпив глоток чаю. Досада в его голосе не понравилась Майме, и он решил ответить осторожно:

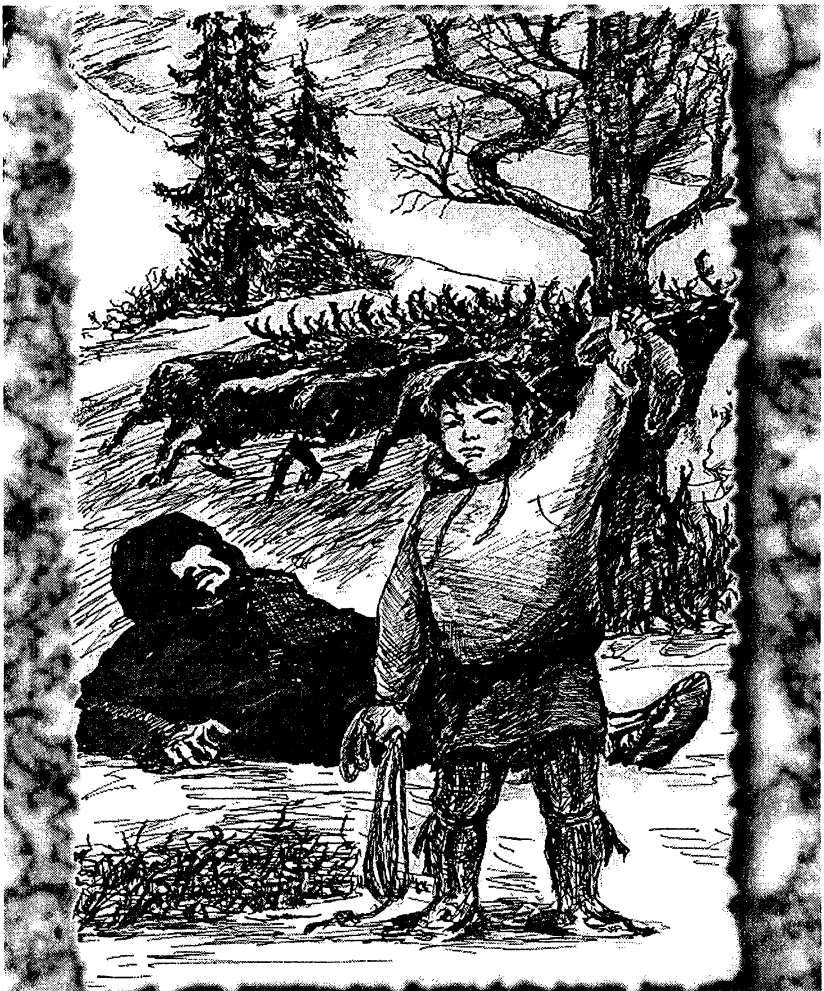
— Места здесь ягелем богатые. Мне ещё отец говорил.

— Ягель дикие места любит... — старик помолчал. — А места здесь дикие.

Майма, помня привычку гостя говорить хитро, подозрительно покосился на него: «Ишь, крутит словами, как арканом. Старый менаруй».

— А я не так уж и стар, как говорят тебе глаза, — хитро и совсем неожиданно усмехнулся Кривой Глаз.

Майма деловито отхлебнул чай, чтобы скрыть изумление. «Кэле, кости у старикашки гнилые, а ум ещё свежий, гляди, как по моему следу прошёлся», — подумал он. И чтобы долгое молчание Кривой Глаз не принял за негостеприимство, сказал:



Олени, привыкшие к тишине и своему молчаливому пастуху, неслись от него в паническом страхе. А Илир мчался за ними, швыряя в животных камнями, визжал, вопил. Бег оленей становился всё быстрей. Земля под копытами глухо стонала.

— Ведь у тебя есть слово, говори.

— Не было бы слова, не стал бы... — Кривой Глаз посерьёзнел. — Слово у меня нехорошее, сын.

Майма прищурился, будто от яркого огня, и всё-таки, как полагалось, заметил:

— От плохого слова никто ещё не умирал.

Гость покивал, соглашаясь, поставил чашку.

— А где жена твоя?

Майма показал на молодуху, затаившуюся в тени у входа.

— А сына и его матери нет больше на земле, — кашлянув, пояснил спокойным голосом.

Старик помолчал.

— Хорошо, что Нга забрал калеку, — словно про себя, тихо сказал он.

Майма опять насторожился. «Нет-нет, старик не тот, что был!» — и решил больше слушать, меньше говорить.

Кривой Глаз, пошарив у себя за спиной, достал выструганные из оленьего рога ножны и положил их перед хозяином чума.

Майма так и прилип к ним взглядом. Пустые ножны Мерчи...

— Велел передать тебе. Его тоже нет на земле.

«Тоже нет... Значит, Земля отказалась носить на груди и отца. А ведь она-то хорошо знает, что он не виноват...»

Майма наклонился над столиком. Годы не изменили простеньких ножен. Те же непонятные знаки, которые отец вырезал на них. Он никогда не говорил сыну, что они означают, и это обижало Майму. Но сейчас он смотрел с теплотой — последняя память об отце. И вдруг увидел новое: прямую линию, процарапанную глубоко и старательно.

— Какое слово он сказал?

— Просил, чтобы ты понял его.

«Ножны без ножа... Ясно: напоминание о Сэротэтто. Из-за него увезли отца. А о чём говорит эта прямая, без закорючек, борозда?»

— Что это? — Майма ткнул ногтём в линию.

— Жизнь Мерчи, — подумав, ответил Кривой Глаз. — Оборвалась.

Майма не мог больше терпеть. Все эти годы он копил не только оленей... Злоба, посеянная Красной нартой, тоже росла, наливалась силой. Резко повернувшись к старику, он схватил его за рубашку обеими руками и сильно тряхнул:

— Когда они ушли? Куда?

Кривой Глаз не обиделся, не удивился. Понял, о ком спрашивает хозяин чума, поэтому посмотрел на него насмешливо:

— Они не ушли. Люди новой жизни — хозяева в тундре.

Майма засмеялся. Старик тут же отвёл взгляд. Смех хозяина был ему неприятен.

Майма разжал руки, оттолкнул гостя. Тот начал что-то рассказывать, объяснять, но слова его не доходили до сознания. «Как же так?! — отупело размышлял Майма. — Столько создавал, берёг стадо. И зря?! Хотел вернуться сильным, чтобы люди каждое слово, каждое движение моего мизинца ловили... Всё зря! Голодранцы-пастухи не передохли от голода. Они — хозяева? Как же так?!»

Огонь в чуме давно потух, и лишь робкий глазок головёшки алел сквозь золу, но и он, словно засыпая, покрывался пеплом. На закопчённых шестах ожили, встревожились тени и, казалось, внимательно слушали чужой голос. «Как духи... Или души идолов», — безучастно отметил Майма и вдруг подумал, что это, может, действительно пришли оскорблённые им идолы. Давно пришли и прокляли чум. Из-за них отправились в другой мир жена, сын, отец. Они, обиженные, ушли к пастухам, сделали их хозяевами земли, оленей и жизни.

Майма украдкой посмотрел на тени. Он боялся увидеть своего покровителя, деревянного старичка, которого пнул в лицо. И обомлел. Всё-таки и этот идол пришёл! Вот он. Теперь у него и глаза открылись. Что это?! Глаза старика Сэротэтто! И кровь по щеке течёт: наверно, от давнего удара ноги хозяина...

«Я схожу с ума! Какая кровь?.. Идол же деревянный».

— Женщина, оживи огонь! — крикнул Майма.

Стараясь смотреть только на костёр, вцепился в шкуры, чтобы не видно было, как дрожат руки. Когда пламя лизнуло подброшенные женой ветви, Майма краем глаза заметил, что тени нехотя стронулись с мест и уползли. Он облегчённо вздохнул и, успокоившись, прислушался к голосу гостя.

— Я тоже теперь... — нарушая приличия, рассказывал о чём-то Кривой Глаз женщине, точно равной.

— Тоже? Теперь?! — Майма захохотал. — Ты теперь тоже — пастух! И ешь кости с чьего-то стола.

Старик растерялся, но тут же высоко вскинул голову. Маленький, с морщинистым лицом, он выглядел как об-

щипанная куропатка. И всё-таки вид у него был гордый и самоуверенный.

— Если я и ем кости, то со своего стола. И открыто, ни от кого не прячусь.

Наступила тишина, во время которой только огонь продолжал что-то рассказывать шёпотом. Майма уловил обиду в голосе старика и намёк понял, но промолчал.

— И я жил, как ты. Из-за этого, может, и сына... — Кривой Глаз опустил голову, ковырнул пальцем кисы, — сына, который заменял мне солнце, потерял. Он ушёл от нас... к ним. И мы теперь одни с женой.

Майма вспомнил сына Кривого Глаза. Когда видел его в последний раз, тот всего пятнадцать лет жил на земле. От стойбища к стойбищу разъезжал всегда один, без отца и друзей, на белых, резвых оленях. Упряжь красивая, нарядная, из дорогого русского сукна. На нарте и за столом вёл себя беспокойно, будто его кто-то постоянно тыкал хореем в сердце. Майма, глядя на него, говорил: этот не станет хозяином.

— Перед тем как уйти, — скорбно продолжал Кривой Глаз, — он сказал мне: «Отец, ты похож на ворону, которая сидит на дерьме, а думает, что на золоте».

Старик говорил тихо и, хотя в чуме было тепло, зябко потирал руки.

— А ты? Что ты говорил ему?

— Что я мог ответить... Он приехал, снял мой чум и поставил там, где ему надо было. Говорит, отдохни около людей. Старая жизнь, говорит, не вернётся.

— И ты отдыхаешь? — ехидно спросил Майма.

— Отдыхаю. Да и тебе, сын, придётся, — опять с намёком, нехорошим тоном проговорил Кривой Глаз, откинувшись на богатые подушки.

— Почему? — Майма постарался остаться спокойным. Посмотрел прямо в глаза гостя и повторил: — Почему?

Старик сделал вид, что не заметил взгляда. Понюхал табаку и после этого ответил:

— Тебя ищут. Я поэтому и приехал.

— Кто ищет?

— Новая власть. За прежнюю твою жизнь. За грехи... — Гость глянул насмешливо на хозяина чума. Помолчал. Добавил безразличным голосом: — И ещё сирота у тебя. А у него родственники нашлись.

Майма схватился за ближайший шест — тот жалобно и тонко заскрипел.

— Кто сказал, что он у меня?

— Варнэ. Ты её помнишь?

Майма помнил её. Она тоже тенью жила здесь, в чуме. Сумасшедшей старухе было за что мстить бывшему хозяину.

— А у меня нет сироты!

— Ну... мне-то не говори. Проезжал мимо стада, заметил, — самодовольно засмеялся старик, видимо, вспомнив обидные слова про кости с чужого стола. И не только это. Проходя в чум, он привычным взглядом отметил, что нагруженных нарт стало ничуть не меньше, а может, даже больше. Но главное — олени. Какие олени! Поднялся Майма тут, в тишине, в укромном местечке. Пожалуй, богаче его сейчас в тундре и нет никого.

А хозяин чума почти успокоился. Понял, что торопливостью может сделать из старика врага. Надо прежде всего выяснить, насколько Кривой Глаз остался прежним, а то он как налим: ни за хвост, ни за голову не ухватишь. «Если умело взяться, — размышлял Майма, — старик спасёт меня. Недаром и душа его была крива, как рога бодливого оленя. Погоди, не радуйся, я тебя возьму за горло, а ты и не заметишь».

— Пойду распрягу твоих оленей, — сказал Майма.

— Распряги, распряги. — Кривой Глаз не ожидал такого почёта и приосанился. — Пусть попасутся. Ты умный человек, знаешь, как уважить гостя.

Он опять неожиданно захихикал, а взгляд маленьких глазок был завистливый, хитрый.

На улице Майма торопливо распряг оленей гостя, отпустил их и деловито подошёл к нарте, на которой были уложены тюки с мехами. Вдали от людей Майма не только восстанавливал стадо и копил злобу на новую жизнь, но и набивал пушниной мешки. Дикий край кишел непуганым зверем, и добыть его мог даже ленивый.

Он разобрал поклажу и высыпал прямо на снег песцовые, лисьи, заячьи шкурки. Голубые, белые, солнечно-рыжие меха лежали пёстрым ковром, пушистым и сказочным.

Если бы Майме когда-то сказали, что со временем ему придётся отдать часть богатств, чтобы купить остаток жизни и продлить свой путь на земле, он плюнул бы в лицо обидчику. Но день этот пришёл. Майма действовал подобно волку, который, попав в капкан, перегрызает собственную лапу.

Поразмыслив, он положил поверх отобранной пушнины двадцать золотых шкурок пыжика. Положил, а у самого

сердце сжалось: чтобы получить их, пришлось загубить своих — своих!— оленей. Вернуться бы в чум да придавить коленом горло отдыхающего гостя. Майма побледнел от этой мысли... Но нельзя. И не потому, что Кривой Глаз тоже станет тенью и начнёт преследовать. К чертям собачьим эти тени, ими только старух пугать... Нельзя, потому что, как знать, старик мог заранее объяснить людям новой жизни, как проехать в эти места.

А Кривой Глаз, откинувшись на подушки, смотрел вверх. Неясные, тревожные мысли толклись у него в голове. Старик пытался ответить себе, зачем приехал сюда. Зачем, напрягая память, отыскивал дорогу в однообразных снегах почти забытого края? Может, потому, что старый Мерча вернулся в тундру белый, как ледниковая сопка, и умирал на его постели, около его очага? Наверно, ранили душу спокойствие, с которым уходил из жизни Мерча, и его слова: «Найди моего сына и скажи ему...» Но смерть не дала договорить старику, и он только успел вложить ножны в ладонь хозяина чума. Жаль, что отец Маймы не сказал другую, главную, половину прощальных слов, и они остались за губами умершего. Кривой Глаз иногда пытался договорить их за Мерчу, но... Чужая мысль — как чужая упряжка: трудно с ней сладить, трудно понять, куда повернёт. К тому же слова умирающего святы, и грешно пришивать к ним свои, точно новый капюшон к старой малице.

Кривой Глаз закрыл глаза, попытался вздремнуть и удивился: какая тишина — ни одного голоса, ни лая собак, ни смеха ребятишек. В чуме жутко, будто все, даже вещи, неизлечимо больны и умирают.

Старик быстро поднялся. Схватил малицу и вышел. Облегчённо вздохнул, увидев Майму.

Тот, обернувшись на скрип снега, спешно прикрыл мешком кучу пушнины у своих ног.

— Надолго приехал? — спросил он, и Кривой Глаз увидел, что хозяин чума растерялся, не знает, как себя вести.

— Сын отпустил на неделю, — старик покосился на шкурки.

— Он знает, что ты поехал ко мне?

— Нет.

Майма раздумывал: «Кривой Глаз теперь не так богат. Если промолчит, никто не узнает, где я...» И принялся неторопливо складывать меха в мешок.

А Кривой Глаз ловил себя на том , что не может отвести

взгляда от богатого меха. Когда-то у него мешки были полны пушнины.

— Хорошие шкурки, — сказал он, стараясь, чтобы голос не звучал слишком завистливо.

— Хорошие, — согласился Майма и пытливо глянул на гостя. Помолчал. — Тебе завтра в дорогу. Ты первый, кто приехал сюда. И об отце весть привёз. Хочу, чтобы мой гость покинул довольным чум сына Мерчи. — Завязал мешок. — Пора поесть да отдохнуть, — и пошёл, не оборачиваясь, к чуму.

Только взявшись за полог, посмотрел на старика. И решил, что разговор продолжать не надо: Кривой Глаз и пушнину возьмёт, и молчать будет. А старик, хоть и думал непрерывно о мешке, понял вдруг, что Майма его боится. От этой мысли стало так радостно, что Кривой Глаз засмеялся.

Хозяин и гость вошли внутрь, не заметив, что за чумом притаился Илир. Увидев проезжавшую мимо стада нарту, пастух не выдержал, бросил оленей и, крадучись, вернулся в стойбище.

За столом Кривой Глаз начал рассказывать о новой жизни, о новых людях. Догадавшись о страхе хозяина, говорил смело, словно ему с самого начала нравились изменения в тундре. Старик видел, как темнел лицом Майма от этих слов, и чувствовал себя совсем хорошо. Такое наслаждение он испытывал только в детстве, когда во время драки удавалось разбить противнику нос.

Илир стоял, зачарованный голосом человека. Сами звуки, интонация, уверенная и восхищённая, вызывали в мальчике смутную надежду на что-то светлое, ожидающее его впереди. В чуме хозяина никогда не говорили так. Здесь голоса и звуки не жили постоянно, а лишь возникали время от времени. При матери Хона Илир часто слышал ночами тихий плач. Потом, когда её не стало, зазвучал голос молодой женщины. Она иногда пела, но и песни тоже походили на плач. Сегодняшний голос был другим. И говорил такие красивые, непривычные слова, каких Илир никогда не слышал. Хозяин боится этих слов, такого голоса, поэтому и не обрывает приезжего. Надо запомнить!

Илир сел на поганую нарту, но тут же рывком поднялся. Глаза его сверкали. Теперь он знал: голубые великаны ожили! Новые люди — это они. Пришла на Землю улыбка, умеющая побеждать зло! Илир выпрямился. Сейчас ему каза-

лось, что и он вырос, стал равным горам. Лицо его, без шрама, чистое, как в детстве, мудрое и величественное, точно у великанов.

После ужина Майма запряг оленей гостя, чтобы тот мог на рассвете отправиться домой. И уехал в стадо, уверенный, что старик заснул. Но тот не спал: тревожило непонятное беспокойство, охватившее его ещё во время еды.

И вдруг Кривой Глаз вспомнил: на улице будто кто-то поскуливал, подвывал. Вроде собака... А ведь он никакого пса у Маймы не видел!

Старик осторожно, чтобы не разбудить молодую жену хозяина, оделся и тихо вышел. Взгляд его сразу наткнулся на тёмную фигуру человека. Тот сидел на поганой нарте, и это так поразило старика, что он вскрикнул.

Илир резко поднял голову.

— Торово... — нерешительно сказал Кривой Глаз. — Ты сирота, сын Хаулы?

И не мог оторвать глаз от оскала мальчика. «Нет, человек не может так скулить и показывать зубы. Это оборотень. Нылека. Человек-волк...»

Илир закивал, подтверждая, что он — сын Хаулы, хотел заговорить со стариком, но неожиданно для себя взвизгнул, как Грехами Живущий, когда тот получал вместо кости кусок мяса.

Кривой Глаз испуганно отошёл от него. Так вот какую собаку завёл себе Майма! Вот в кого он превратил ребёнка! «Нет, нет, бежать отсюда. Сейчас же. Как бы этот зверь Майма и со мной чего не сделал... И мальчонку забрать...» Старик влетел в чум, принялся шарить по постели, разыскивая свой пояс с ножом. И отдёрнул руку, потому что кто-то неуверенно прикоснулся к ней. Кривой Глаз почувствовал, как сердце чуть не остановилось от страха.

— Дедушка... — еле окликнул робкий голос.

«Тьфу... Женщина!» — вздохнул с облегчением старик.

— Дедушка, возьми меня с собой... Забери отсюда, — страха в голосе молодой жены Маймы было больше, чем мольбы. — Я умру тут! Умру, как Хон и его мать. Увези...

— Нельзя. Ты — его жена, — решительно отказал Кривой Глаз, хотя ему было жаль её.

— Пожалей меня, дедушка. Я не могу... Не могу я жить с ним. Мне страшно... — Она тихо заплакала и, чтобы не рассердить старика, попыталась сдержать себя.

Он задумался: видать, очень тяжело женщине, раз обратилась ночью к чужому мужчине.

— Если олени устанут, я побегу рядом с нартой...

— Помолчи, — попросил Кривой Глаз. — Помолчи. Ум мой решает.

— Саво. Я молчу,— с готовностью согласилась жена Маймы, и Кривой Глаз почувствовал, как она замерла.

Некоторое время старик молча смотрел перед собой. В другой раз он не размышлял бы — женщина должна знать своё место! Но сейчас стоял в его глазах оскал сироты, слышалось его собачье повизгивание. Кривой Глаз представил самоуверенное сытое лицо хозяина чума, когда тот прощался перед отъездом в стадо, и тихо засмеялся. Смешок прозвучал хитренько, как будто лемминг в траве прошуршал. Не говоря ни слова, Кривой Глаз надел малицу, подтянул кисы и взял в руки пояс. Женщина тоже поднялась.

— Собери свои вещи.

— Они тут, со мной. Вот, сумочка...

«Ничего, значит, не берёт. Ни ягушек, украшенных дорогими мехами, ни кисов богатых, — одобрил Кривой Глаз. — Хорошо... А за мальчиком приедет мой сын...»

— Я сейчас выйду, а ты потом, — сказал он.

На улице старик внимательно посмотрел по сторонам. Ни звука, ни живой тени. Даже сироты не видно: наверно, в стадо ушёл. Олени в упряжке, узнав хозяина, подняли головы. Вожак потянулся к руке.

— Сейчас поедем. Но сначала надо идти тихо. Очень! Понимаешь?

На нарте старик, как и ожидал, нашёл мешок. Поднял его, покачал, с сожалением, на руках. Хорошая пушнина. По нынешним временам это и соль, и табак, даже ружьё, но сын... Сын спросит: «Где это ты, отец, взял такое богатство? Что продал?» Как ответить ему? Что может продать он, Кривой Глаз, чтобы получить взамен целый мешок отборных шкурок? Свою совесть? Хватит. Уже достаточно нагрешил за свою жизнь.

Кривой Глаз решительно отбросил мешок. Вернулся к чуму. Тихо кашлянул. И тут же из-за полога вынырнула с сумкой в руках женщина в лёгкой ягушке.

— Не замёрзнешь?

— Нет, дедушка.

— Сначала мы поедем медленно, — объяснил Кривой Глаз по пути к нарте. — Надо быть осторожными. Если он услышит...

Женщина хорошо знала, что будет, если муж услышит, и поэтому прошептала:

— Я поняла.

Старик умело придерживал оленей, чтобы и шаги их, и скрип полозьев сливались с естественными звуками ночи. Только когда чум скрылся из глаз и от стада отъехали далеко, Кривой Глаз с силой ткнул вожака хореем. Женщина вцепилась в старика, а тот, то и дело оглядываясь, всё подгонял и подгонял оленей.

Утро застало их далеко от гор. Кривой Глаз остановил упряжку, схватил пригоршню мягкого весеннего снега, обтёр им лицо. Посмотрел назад.

— Хэ-хэ, укусил я тебя, Майма! Я очень больно укусил тебя. Пока не умрёшь — не забудешь.

Женщина с опаской глядела по сторонам.

— Не бойся. Теперь не догонит. Да и не решится: вдруг здесь люди? Она ничего не ответила. Поднялась с нарты и опустилась к ногам старика.

— Нум нарка, — услышал он её шёпот.

— Нум нарка, дочка, — ответил Кривой Глаз с лёгким поклоном. Он верил в её благодарность и позволил коснуться своих ног. Улыбнулся, погладил склоненную голову женщины:

— Вставай...

Утром Майма вернулся в стойбище взбешённый: проклятый щенок Илир, оказывается, бросил стадо. Не хватало ещё, чтобы Кривой Глаз увидел сироту. Но и здесь, около поганой нарты, мальчишки не оказалось.

Майма огляделся. В груди тревожно заныло. Полог чума был откинут: из жилища веяло не теплом и дымом, а холодом, как из норы, которую покинули её обитатели. Майма рванул полог, бросив его за спиной, и тут же увидел Мяд-пухучу. Она лежала, уткнувшись лицом в золу погасшего костра. Хранительница чума, тепла и жизни валялась в нём, как полено.

Майма схватился за шесты у входа и, задыхаясь от злобы, не мог ни крикнуть, ни пошевелиться. Наконец он с трудом сделал шаг к Мяд-пухуче, но тут же повернулся и выбежал из чума.

— Кривой Глаз, я задавлю тебя! Слышишь?!

Задавлю! — заорал он что было силы. — Ты не доедешь до своего логова! Я ещё увижу, как будет выходить жизнь из твоего скрюченного тела!

Он побежал к месту, где стояла упряжка старика, пнул подвернувшийся под ноги мешок с пушниной. Трижды плюнул на землю, не побоясь осквернить её лица. Земля, которая не удержала человека, оскорбившего приютивший его чум, — собачье дерьмо, не чище.

Кинулся к нарте. Беглецов ещё можно догнать. Нужно! Жаль, что в упряжке только два оленя.

— Убью! Глотки перегрызу!

Испуганные животные неслись не разбирая дороги, а хозяин всё лупил их хореем по мягким, молодым рогам. Кровь алыми лоскутами падала с пантов на землю. Вид её опьянял Майму, и он совсем озверел. Левый олень уже задыхался, высунув язык. Наконец он упал, завалил и правого, Майма, соскочив с нарты, попробовал поднять их — пинал, бил по мордам. Но животные только вздрагивали, хрипели и смотрели на хозяина слезящимися глазами. Он свалился рядом с ними. Крепко сжатыми кулаками принялся колотить в грудь Земли. Он ненавидел её — равнодушную, холодную. Выхватив нож, несколько раз вонзил его с силой в землю.

Ехать обратно было не на чем. Один олень уже не дышал, другой, когда Майма пнул его, приоткрыл сонно глаз и вздохнул.

Усталый, осунувшийся, только к концу солнца пришёл Майма на стойбище. Только теперь он по-настоящему понял, что случилось. Он остался один. Совсем один. Ошеломлённый, растерянный, смотрел Майма на полные добра нарты, на мешок, оставленный Кривым Глазом, на безжизненный чум, брошенный женой. Женщиной, которую он кормил, от которой ждал сына как ничего в жизни не ждал. Это слова Кривого Глаза о новых порядках в тундре, рассказы о жизни пастухов, бывших нищих, соблазнили её!

Солнце давно уже ушло за горы. Но Майма и не собирался ложиться спать. В темноте чума он перебирал в памяти не дни, а ночи своей жизни.

Были такие, когда Майма, как волк после удачной охоты, был сыт и горд собой. Как осторожно, хитро умел он угонять оленей у заспавшихся соседей!

Бывали ночи, когда в глубоком сиянии луны Майма отправлялся, просто так, в тундру на четырёх чёрных, избалованных и диких оленях. Медленно ездил по знакомым ме-

стам. Любовался собой, упряжкой, спящей землёй, красивой, как спящая женщина. Как он пел в эти ночи!

А были ночи, когда кровь кипела в жилах, и женское тело не могло насытить страсть, и счастье, казалось, способно лишить рассудка.

Но такую, как сегодня, ночь, вывернувшую душу, Майма познал впервые. Он, прижав к груди крепко стиснутые кулаки, лежал на шкурах с широко раскрытыми глазами. Один, в пустом чуме.

Под утро на улице раздались тихие шаги. «Мальчишка! Он, наверно, видел, как Кривой Глаз увозил эту... И не сказал! Щенок не защитил чум хозяина!»

Схватив нерпичью верёвку, Майма приоткрыл полог и выглянул наружу.

Илир сидел на поганой нарте. В правой руке его был топор, а в левой кусок мяса.

— Собака! — выдохнул Майма и вышел.

Мальчик оглянулся. Хозяин стоял, широко расставив ноги. Глаза его были бешеные, как у разъярённого быка-хора. Нерпичья верёвка подрагивала на снегу, точно живая. Илир поудобней взялся за топорище и медленно поднялся с нарты. Он не позволит ударить себя. Особенно теперь, когда ожили голубые великаны, а значит, кончились на земле зло и боль.

А Майма чувствовал, как от ненависти начинает вспухать голова. Всё началось из-за болтливого языка сироты: отобрали оленей, спрятанных в Капкане Злых Духов, пришлось уехать сюда, где умерли сын и жена; ушёл из жизни отец, а старая гниль, Кривой Глаз, обманул его — Майму! — как мальчишку. Он взмахнул верёвкой.

Илир отскочил. Высоко поднял топор и оскалился. Удар пришёлся по ногам, но мальчик устоял.

Поигрывая верёвкой, распарывая ею снег и обнажённую весной землю, Майма медленно наступал. Ему стало весело. «Что, собаки, думаете, с уходом поганой жены ушла жизнь? Нет. Смерть и дряхлая старость не заглядывают ещё в глаза, не хватают за руки. Оленей много, не одна тысяча. Можно купить любую красивую женщину. Поехать за Уральские горы и купить!»

Илир развернулся и, поглядывая через плечо, пошёл к стаду. Майма время от времени взмахивал верёвкой, стараясь сбить его с ног. Мальчик грозил хозяину топором и прибавлял шаг.

«Надо завтра же отогнать оленей в другое место. Снять чум, забрать самые богатые нарты и укочевать за горы. Там никто не знает меня, — размышлял Майма. — Кривой Глаз наверняка пришлёт сюда людей...»

Илир и хозяин подошли к стаду. Мальчик замешкался перед плотной стеной животных. Майма изловчился, хлестнул его верёвкой. Увидев, что из уха сироты пошла кровь, рассмеялся и сел на камень.

И тут же забыл об Илире. Жгучая радость охватила хозяина: огромное, многотысячное стадо паслось в узкой расщелине. Вот его жизнь, спокойствие, сила! Его будущее! А над землёй, как обычно, сияло солнце, и оно, как вчера и сегодня, всегда будет греть Майму и его оленей. Так где конец жизни? Нет конца.

Майма посмотрел вокруг себя радостными глазами. Нынешняя ночь, наполненная неимоверной тоской, раздирающей душу, прошла, как проходит всё плохое. Исчезла и злость; лишь острые, режущие льдинки в груди напоминали о пережитом. Спокойно вздохнув, Майма склонился и не заметил, как сон украл его...

Разбудил Майму странный, нарастающий гул, топот, хрип. Он открыл глаза и не сразу понял: проснулся или нет. Прямо на него неслись олени. Надвигались как туча: неумолимо и грозно.

На противоположной стороне стада, не видимый хозяину, метался, размахивая жёлтым, подаренным Хоном, арканом, Илир. Он выкрикивал давно забытые слова, перемешивая их с собачьим лаем и рычанием. Олени, привыкшие к тишине и своему молчаливому пастуху, неслись от него в паническом страхе. А Илир мчался за ними, швыряя в животных камнями, визжал, вопил. Бег оленей становился всё быстрей. Земля под копытами глухо стонала. Майма понял: это не сон. Быстро вскочив, принялся махать над головой верёвкой и орать что было сил. Крик потонул в гуле, рёве, хорканье быков. Живая стена разгорячённых тел, копыт, рогов приближалась.

— Эй! Эй! Голубые великаны! Это я! Эй! — кричал Илир, глотая слёзы. — Посмотрите, я тоже стал сильным. Теперь я сам справлюсь со злым человеком, который мог убить вашего брата.

— Эй! Ата! — раздавалось радостно в утренних горах. Именем голубых великанов мальчик гнал стадо на хозяина, освобождая Землю от зла, а свою душу — от нелюбви к жизни.

Майма всё понял: оленей, его любимых оленей, не остановить теперь ничем. И он побежал. Споткнувшись, ощутил совсем близко, прямо за спиной, большую группу рослых менаруев, которыми особенно гордился.

Не успел Майма вскрикнуть, как быки ударили его, сшибли с ног. Он упал на спину. Несколько оленей шарахнулись в сторону, и хозяин совсем рядом увидел их красивые, стройные ноги, промелькнувшие в беге.

Закрывая лицо руками, Майма умолял оленей не наступать на него, так любящего их.

— Эй! Мама! Мама! — со слезами радости выкрикивал Илир любимое, родное слово. — Наши великаны, голубые великаны, очнулись! Ты слышишь, мама?!

И снова кидал в оленей комья талого снега, камни. Обезумевшие от его криков и многоголосого горного эха, мирные прежде животные неслись дикой лавиной, оставляя под ногами растоптанных оленят и стельных важенок.

Майма уже не умолял, а проклинал своих оленей. Страшная боль разрывала тело хозяина стада. А мальчик кричал:

— Мама! Голубые великаны! Грехами Живущий! Я больше не собака! Я отплатил за всех!

Ему вторило мощное горное эхо.

Стадо ушло далеко, за соседнюю гору. Илир не сразу нашёл хозяина. А увидев, приблизился смело. Постоял и, бросив топор, достал из-под малицы кожаный мешочек. Высыпал из него какую-то чёрную труху, похожую на угольную пыль.

— Пусть успокоится душа моей матери и старухи Варнэ.

— Со... бака! — прошептал ему в лицо Майма.

Илир отвернулся и пошёл прочь. Такое обращение к нему больше не относилось.

1978 г.
г. Тюмень


Молчащий

Посвящается памяти убиенного
Даниила Андреева

Я боюсь предсказывать. Заметила, что предчувствия мои сбываются. Это обязывает быть осторожным со Словом, особенно с тем, что приходит в душу в минуту ни с чем не сравнимого волнения, схожего со странной болезнью: ум разгорячен, внутренний взор видит то, что в обычном состоянии вовсе не заметно. Тогда можно сказать всё. Ум ловит малейшую пылинку мысли, но силу глаз я не помню. Своих глаз непомню вообще, будто слепая. И букв, слов, строчек — ничего не видно. Есть только пульсирующая мысль, живое дыхание того, что написано и что понято.

Бывает жутко, когда задумываешься о том, что кто-то ведёт твой ум и душу. Выполняет волю, облечённую в слово, сказанное в неистовом состоянии болезни. Так только могу назвать бред души, нападающий на меня в иные минуты.

Не дай Бог, если этим Словом подписываю невольно приговор своему маленькому народу, который я люблю. Дьявол или Бог мной руководит, сказать не могу. Если Бог, то воля его. А если Дьявол? Тогда я боюсь... до содрогания своей мысли.

...Я вижу впереди крах. Крах придёт ко всем. Не рак, не спид, а совсем иная болезнь угрожает нам. В нас начала гнить Душа. Как может гнить любой орган нашего бренного тела: печень, лёгкие, почки...

Начало краха ненцев я вижу в жестоком убиении оленя. Ненец перестал видеть в олене своего брата по жизни, а лишь кусок мяса для утоления голода и тщеславия. Но голод всегда был предвестником смерти.

...Когда срубишь дерево, некоторое время в нём продолжает двигаться сок-кровь. Испорченный ствол из последних сил питает свои ветви, даёт тень, блед-

неющую изо дня в день, и, наконец, иссыхает медленно, без видимых глазу агоний.

Вот так же погибнет и народ. Мы убеждаем и себя, и его, что он жив, здоров, благоденствует. Между тем это будет лишь тень.

То будет так... Не со злорадством говорю это, но с печалью.

Пусть я ошибусь. Пусть мои слова останутся бредом больной Души. А ниженаписанное — плодом минутного отчаяния.



тарый седой Орёл сильно взмахнул крылом и, пока тело его держалось силой этого взмаха, высматривал взглядом место смерти. Хотелось, чтобы оно было тёплым, сухим и освещаемым солнцем.

Силы покидали птицу. Последний взмах совсем обессилил Орла, а замутнённый предсмертной слезой глаз никак не мог усмотреть желаемое место. Острые чёрные камни, облитые слабым малиновым отсветом, продолжались долго, и нигде меж ними не виделось уюта.

Земля неумолимо тянула к себе. Орёл ещё взмахнул онемевшим крылом и вскрикнул от тоски-боли. Крик его ударился о чёрные камни, и казалось, что вскрикнули и они.

Небо больше не держало Орла. Воздух проходил сквозь перья. Орёл понимал, что он падает. Падает как камень. Падает навсегда, и небо за ним умирает. Больше не будет неба — это была последняя мысль обессилевшей птицы. Птицы, бывшей последним Хозяином неба. Уже много лет он одинок, в небе не осталось ни одной малой птицы. Небеса опустели внезапно, и он, одряхлевший, ошалевший от страха, метался один от вершины к вершине, пока не устал смертельно.

Три года он напрасно оглашал клекотом опустошённые горы и небо над ним. Созывал своих сородичей. Горло его воспалилось и болело. И он замолк. Ушедшее лето жизни летал по старым заброшенным гнёздам таких же, как он некогда, птиц и везде встречал только смерть. Смерть жила в разорённых гнёздах, пещерах, ущельях.

Пришла пора умереть и ему. Одному в огромном небе пусто. Орёл упал уже мёртвым. Как и хотелось, тело его не попало на острые камни, а угодило в небольшое углубление между скал, где стелился мягкий серебристый мох. Под тяжестью птицы мох прогнулся, и если бы сознание было ещё живо, Орёл остался бы доволен своим одром.

Старая птица была умна. Место, которое она выбрала для покоя своей головы и костей, — высокая гора с резко очерченными тремя хребтами.

Эти хребты, находящиеся примерно на одинаковом расстоянии друг от друга, утыканы чёрными скалами и походят на людей, поднимающихся вверх. Сходство с людьми разительно. Рядом с высокими, сгорбленными под тяжестью пути иль мысли есть маленькие утёсики-дети. Будто давным-давно вспугнутые чем-то, а может, гонимые, стали подниматься вверх на гору толпы и, не осилив Великого Пути, окаменели. Если так, куда они шли? К кому?

Сама вершина трёххребтовой горы неожиданно представляла собой место, которое некогда было бы названо людьми Игралищем.

Игралище — спокойная ровная площадка, какая может уместить в себе большое количество людей, животных и детей. Игралище — прекрасное место Земли. Здесь люди играют. Во времена жизни в таких местах звучали песни длиной в несколько дней. Голоса людей, зверей и птиц смолкали, и звучала лишь песня, гордая, смелая, дивная. Ею заслушивались небеса, камни и зверьё. Потом смолкала песня, и начинали говорить люди. Слово людское звучало на Игралище, и снова им заслушивались небеса, камни и зверьё.

На Игралище сходились люди Семи Земель. Ехали издалека, везли детей, девушек, стариков, слепых, калек, уродов, умирающих.

Раз в жизни должны были играть все. Горе тому, кто не бывал на Игралище. Умереть, не поиграв, считалось позором.

Семь дней играли люди. Семь дней смеялись дети, старики, женщины, уроды, калеки. Вместе с ними играли их животные. И небо не могло устоять перед людской игрой. Великое солнце семь дней веселилось, глядя на Игралище. Не всякому видимые играли среди людей спустившиеся с небес боги. Честь и слава тому месту, которое люди выбирали своим Игралищем. Кусочек земли, на котором хоть раз играли люди Семи Земель, бессмертен.

После себя на нём обязательно оставляли кто что мог: золотые монеты, серебряную посуду, медные украшения или просто белый металл. Это знак того, что люди хорошо играли, что миром начиналась игра, и миром продолжалась жизнь. По местам Игралищ можно было читать, чем дышал век людей.

Вот такое ровное место осветило заходящее солнце на вер-

шине трёххребтовой горы. Было ли оно когда-то Игралищем — неизвестно. Было ли святым местом поклонения — тоже неизвестно. Но во времена, когда с небес упала последняя птица, одинокий обречённый Орёл, оно являло собой обитель скорби, и предсмертный клекот его был единственным звуком, потревожившим жуткую тишину. Не один только старый Орёл упокоил здесь свою голову. Кругом, насколько видел взор, лежали кости, черепа, конечности и хребты. Одни вросли в землю и торчали из неё, как деревья. Иные сгнили и были поглощены, другие ещё цвели, и сейчас отливали то розовым, то малиновым, голубым и зелёным. Скелетики очень маленьких птиц лежали вперемешку с гигантскими остовами, навевая несуразную мысль о чудовищной битве. Будто земные звери и небесные птицы, а может, и люди, затеяли невесть почему драку, из которой живым никто не вышел. Может, кто-то, играя на Игралище, поступился законом игры и, сжигаемый тайной злобой, убил собрата? И неудержимый никаким размахом, вспыхнул огонь вражды, и никто не сумел остановить его? И поэтому костями, а не золотом, серебром и медью — величественными знаками мира, усыпана грудь земли. И говорит ли это о том, что смертью дышит нынешний век людей?

А может, подобно старому Орлу всяк изнемог в отчаянии и собственной волей принёс свою долю на место всеобщей скорби, чтобы приходящие миры могли постичь трагедию ушедших. Как бы там ни было, вершина горы о трёх хребтах, усыпанная грудами костей, никак не могла называться Игралищем. Не могла быть и святым местом поклонения, в какие ездили люди, ушедшие во тьму времени.

При взгляде вниз со странной горы мысль о чудовищной трагедии вспыхивает вновь. Раскинувшиеся у подножия и далеко вокруг земли не несли в себе ни малого признака жизни. Многие горы, лежащие поодаль от трёххребтовой, потерявшей имя своё, выворочены, и нутро их обнажено бесстыдно и беспощадно. Земля меж ними, облысевшая и израненная, лишена самой простой травы, и лишь местами торчат ущербные побеги-недоросли и деревья-уродцы. И всюду... бесконечные мёртвые воды.

Далеко от Потерявшей имя своё, в глубь Земли, в сторону больших и малых лесов есть Скопище. Только так можно назвать общество, в котором живёт много бледнокожих, затравленных, нео-

пределённой нации людей. Скопище походит на огромный муравейник. Вернее, не совсем так, ибо в муравейнике есть порядок и закон — труд. И в нём муравей-труженик тащит былинку и травинку именем труда, но Скопище...

Ужасное Скопище можно сравнить с прорвой червей, поедающих нечистоты, а после набрасывающихся друг на друга. Как выросло Скопище, говорить больно. В нём живут скопийцы, потомки людей, населявших Землю во времена, когда корнем человека в жизни был труд. А силу, гордость и смысл бытия составлял олень — животное о четырех ногах, с коротким пушистым хвостом, с удивительно красивым тёплым мехом различных расцветок, от иссиня-чёрного до лёгкого голубого, как утренний туман над озером.

Венцом величия оленя были рога. Они росли на голове животного ранней весной, вместе с лучами поднимающегося солнца, нежными ростками пробивались сквозь мех и постепенно из розово-пушистого отростка превращались в дивно крепкую кость, со множеством грациозных ответвлений. Так рождается только песня. А рога были песней оленей, как говорили предки скопийцев. Люди и олени жили одной жизнью. Были настолько связаны, что смерть одних повлекла за собой физический и нравственный крах других.

Скопийцы живут кто в чём. У иных дома с большими глазами-окнами. В них зимой холодно, как на лесной поляне. Другие обитают в маленьких полуслепых избушках, согнутых низко к земле. Самые старые из скопийцев живут в жилищах, каким трудно и невозможно подобрать имя. Не дома, не избы, не палатки, а странные жилища в форме конуса, поставленные на землю вверх остриём. Они ветхи, и покрытия их рвутся при сильном ветре, словно худая бумага. Хозяева их жалки, бедны и нищи. Но любят свои жилища и из последних сил латают чем попало образующиеся на них дыры. Зимой почти совсем не выползают на свет, подобно кротам, обитающим под землёй. Молодые скопийцы смеются над ними и учат этому своих детей — маленьких скопят.

Кроты живут отдельно на самой плохой земле, в низине у берега озера. Тут земля мокра и чавкает от сырости, а зимой в морозы тверда, как асфальт. Эти скопийцы одинаково стары и отличаются от всех. Часто сойдясь в одном конусе, они сидят тесно, плечо к плечу, поджав под себя ноги, уронив на грудь седые головы и глядят часами в глаза Огня. Их лица выражают скорбь и память. Мужчины-скопийцы

кладут при этом руки на ножны, висящие у них на боку, — единственное, что осталось у них от прошлого. Пальцы их дрожат.

Женщины-скопийки в чёрных изодранных одеждах сидят жалкой кучкой по другую сторону Огня. Они не поднимают глаз. Ветхий полог конуса стережется одной из скопиек. Часто высовывая голову наружу, пугливо прячется обратно. Она стережет вход. Вражда давняя, её корни длинны, и их не найти ни близко, ни далеко.

Кроты-скопийцы были последними из свободных. Они долго и упорно не признавали Скопище. Халы-Мя — жилище червей — имя это дано Скопищу ими. Скопийцы отвечали презрением, называя их грязными.

Жилище червей — самое большое скопище в этих местах. Рядом лежит каменный пояс Земли — основательно порушенный Полярный Урал. Пробегает и худосочная речонка с грозным именем Щучья (была такая страшная зубастая рыба, теперь её и в помине нет).

В жилище Халы-Мя нет заводов, буровых, станций. Скопища берут начало с «революционных времён» — так называлось одно из многочисленных заблуждений человека по пути к своей теперешней бездуховности — самой страшной болезни людей. Самой коварной, какой только может быть подвержено человечество. Заблуждение было глубоким, выход из него не был найден, и люди запутались, как беспомощные комары в липкой паутине стоящего на страже паука.

Скопищ, которые можно назвать жилище червей, много. Их рождению скопийцы обязаны своей лучшей половине — интеллигенции. Их слепота, трусость, их чисто мышиная философия (вода, если разольётся, разрушит чужую, соседнюю норку, но никак не мою) привели к нынешнему состоянию нации, обезобразив её до неузнаваемости.

Скопище, о котором идет речь, в своём начале было небольшим национальным поселком. В него по мере того как земля отнималась под дороги, буровые, станции, шли обедневшие, уже без оленей-кормильцев люди. Молодежь, погулявшая и не устроившаяся на Земле, пыталась взяться за извечный труд отцов, но, увы... браться было не за что. Корни порублены раз и навсегда. И тогда началась самая позорная сделка, какая только может быть. Зачинщиком её была лучшая часть нации — интеллигенция. Она стала торговать землёй своего народа. Метр земли — комфортабельный гроб. Эта торговля шла до тех пор, пока земли не оста-

лось совсем, а гробов, то бишь домов, было настроено много, половина их долго стояла пустыми.

Но свято место пусто не бывает. Скоро в один гроб селилось по две — три семьи.

Последними в Скопище приползли те, кого сегодня зовут кротами. Не вынеся изнурительной борьбы за живот свой, они прикочевали на оставшихся оленях. Их встретил едкий смех тех, кого они так презренно называли червями. Черви дождались часа торжества. Хохотом, улюлюканьем, визгом и рычанием озлобленных псов встретили они аргиши, пиная оленей в морды, кидая в них острые камни.

Последние из свободных прошли через Скопище как сквозь ад. Многие были убиты, покалечены, изуродованы, оставшиеся поставили жилища, тогда ещё добротные, на вечную стоянку, на позорное место смерти. Женщины облили слезами морды оленей. Мужчины погладили по загривку животных, заменявших им товарищей по жизни, и, постояв перед ними на коленях (кому сколько отпускала душа), подняли над их головами палаческий топор. Подняли и сильно опустили, ещё не зная, что покончили они с собственной душой. И с тех пор начался другой отсчет времени. Пришло время рабства. Ибо народ, потерявший работу, определенную ему Богом, по рукам, по душе и силе, становится рабом.

...Кроты-скопийцы враждуют со Скопищем. Их ненависть к нему беспредельна. Жалкие, оборванные, сгорбленные — они ещё помнят, что были последними из свободных. Многие из них хорошо помнили и последний день Свободы.

Сойдясь в одном из конусов, мужчины-кроты кладут свои руки на рукоять ножа, а женщины-кроты не поднимают глаз от земли. Кроты-скопийцы жаждут суда над Скопищем. Вот почему так долго, мучительно, до рези в глазах смотрят они на Великий Огонь, горящий посередине конуса.

Из всех Великих, вершащих суд, у них остался только Огонь. Он должен совершить суд за поругание смысла жизни.

Но Огонь не отвечает кротам-скопийцам. Он болен, дряхл и немощен, как они. Вяло поедает гнилые дрова, которые, усердней чем всегда, подбрасывают ему скопийки, — Огонь молчит. Тело его хило, взгляд тускл. Он не видит в дыму лиц, обращенных к нему. Немощь не дает силы его уму, не волнует души. Он обречен на гибель.

Отчаявшись ждать слова от Огня, кроты-скопийцы обращаются к самому старому. Его память жива. Язык остер,

как нож. Освободив от всклокоченных усов рот, пригладив бороду, старый крот затягивает чудаковатую песню. Длинную-длинную, как шелковая веревка, на какой молодые скопийцы вешают бельё.

Кроты-скопийцы замирают. На лицах боль, страдание и тоска. В песне жизнь, прекрасная и волнующая...

Ночь застает скопийцев за песней. Старый крот-скопиец становится молод, голос его чудесен. Морщинистое лицо покрывается благостным покоем. Поющий прекрасен, как бывал в былые времена прекрасен работающий.

Кроты-скопийцы забывают о Времени. Их души летят через толщи времени в мир, в котором они были не кротами-скопийцами. На их лицах нет уже боли, сострадания и тоски, а только благость.

Совсем иные чувства рождает Песня в Скопище. Дребезжащая мелодия сначала вызывает смех у скопийцев. Но долго смеётся только безумный. Потом мелодия кажется лезвием остро отточенного ножа. И в черной холодной ночи им становится больно, будто их сердец касается орудие смерти. И в каждом гробу-доме тревожно и неуютно. Слышится скопийцам, что поет не крот-скопиец, а много-много старых дурных гагар сошлись и, вытянув несуразные шеи, тянут из пустых желудков тянучий противный вой.

Страх у раба развит лучше иных чувств. Скопийцами овладевает непонятный ужас. Они посылают детей усмирить глупых. Те вооружаются на берегу камнями, набив ими карманы одежды, идут разгонять одуревших вконец кротов.

Песня обрывается. Вырвав полог конуса, молодые скопийцы отбрасывают прочь от него женщин, топчут разгоревшийся от чего-то Огонь. Он не поддаётся их ногам. Тогда дружно, с хохотом скопята расстёгиваются и мочатся ему в лицо. Огонь захлёбывается. Мужчины-кроты встают защитить его, но тут же падают от ударов кулаков-кувалд. Упавшие уползают друг от друга с короткими криками боли. Камни в темноте бьют точно, даже маленькие скопята метки и быстры (откуда у них это?).

Синяки и ссадины появляются мгновенно. Потончавшая кожа рвётся под острыми камнями. Кровью и сукровицей исходят выбитые глаза. Молодые волки-скопийцы и скопята-волчата долго преследуют уползающих. Войдя в азарт, окружают какого-нибудь неповоротливого крота и, посмеиваясь, постепенно ожесточаясь, забивают свою жертву насмерть.

Усмирение прекращается под утро. В черной ночи группы молодых возбужденных скопийцев в окровавленных одеждах сходятся в условное место, созывая один другого кличем своего времени.

Наутро в лагере кротов валяются трупы, зимой уже окоченевшие, зверски растерзанные. Летом засиженные, поеденные мухами и червями. Разрушены, растоптаны жилища несчастных, разбросаны, разорваны, разбиты вещи. Оставшиеся в живых кроты хоронили погибших молча, не решаясь ни плакать, ни говорить. Клали трупы тут же, под ногами, где и стояли, еле прикрыв истерзанные тела комьями снега, если дело было зимой, и теплой землёй летом.

В самом Скопище скопийцы не помнят ни первого дня свободы, ни последнего. Они родились рабами. Их отцы и матери открыли глаза уже в скопище и не знают ни оленей, ни длинных песен, ни вольных кочевий. Первое и последнее, что видели и познавали они во всю свою жизнь, — Скопище и в нём таких же, как они, нищих, вечно голодных, озлобленных скопийцев.

Государство время от времени выделяло средства для поддержания тела и духа скопийцев. Но это так мало, все равно, что истощенному голодному псу бросить крохотную, с ошмётками мяса кость. Такая малость только раздражает и озлобляет. Если же, что случалось очень редко, появлялась работа, сулившая кость пожирней, скопийцы-мужчины в силе дрались из-за неё остервенело, проламывая друг другу черепа. Цена куска хлеба поднялась до человеческой жизни.

Большой работы, где могло кормиться сразу много скопийцев, не было. Ни заводов, ни комбинатов. Земля скопийцев, суровая, нелюдимая, гнала отсюда даже самых предприимчивых дельцов. А что так притягивало и манило: меха, рыба, мясо — все кануло в бездну ещё в конце прошлого века. Остались одни скопийцы. А скопийская шкура, она и в лучшие дни ничего не стоила, а теперь и подавно.

Поначалу каждый скопиец работал отдельно. Что-то шил, плёл, строгал, скоблил, но постепенно из-за отсутствия сырья и спроса все эти изморочные работы умирали. Наконец скопиец остался один на один с собой. Когда от одинокого больного зверя отрекается стая, отгоняя беспомощного укусами, вырывая из шкуры собрата клочья шерсти, а у того нет зубов защищаться, он уходит. В темном ущелье, где никто не увидит его, один на один с собой, зализав раны, отдаётся отчаянию. Дождавшись ночи, зверь садится в позу

повиновения: закрывает глаза и, приоткрыв пасть в почтительном оскале, поднимает покаянную голову к небу.

И тогда на небесах раздаётся голос верующего. Бог принимает жалобу сына. Нам же в ночи слышится жуткий, выворачивающий душу вой. Зверь знает — в своём отчаянии не будет один. Бог-отец не оставит своей милостью. Но совсем другое дело — отчаяние скопийца. Он не знает Бога. Сами того не ведая, предки его тело и кровь Господню продали за тот же гроб. В его сознании Бога нет, небо над ним пусто. Земля под ногами мертва, и отчаяние скопийца подобно смерти.

Дети скопийцев, научившись какой-нибудь работе, уходили в мир и бесследно исчезали. О них не беспокоились. Скопийки мало рожали, почти все они научились убивать младенцев ещё в утробе и поэтому не маялись излишним материнством. А те, которых оставляли живыми, были нужны для того, чтобы в драке отстоять работу.

Все скопийцы нервны, раздражительны и очень больны. Врачи, живущие среди них, месяцами исследуя трупы, болезни и социальные условия, говорят: организм скопийцев сам по себе урод. В нём произошло чудовищное, непоправимое искажение, в будущем грозящее полным исчезновением этой несчастной ветви человечества.

А причиной всему зловредный витамин, содержащийся во всём неварёном, прежде всего, рыбе и мясе. Этот витамин имеет животворную силу. Но рыба и мясо. Что это такое? Их просто нет. И поэтому скопийцы жили недолго, к 40—50 годам умирали.

Врачи, сторонники загадочного витамина, прописывали больным и всем скопийцам сыротерапию. Для этого из мира привозились большие партии картофеля, моркови, арбузов, капусты и еще чего-нибудь сырого. Всё это строго воспрещалось варить, жарить, парить и предлагалось есть, макая в соль. Но эти экстрамеры не помогали. Скопийцы морщились, ерепенились и всячески отбрыкивались от сыротерапии. И из-за своей глупости мёрли как мухи. Но иногда... из-за чужедальних морей привозили рыбу действительно сырую, пахнущую живой водой и кислыми морскими травами.

Что было?! Скопийцы бросали на помойку картофель, морковь с капустой (назавтра всё подбиралось обратно) и вставали в очередь. Сырое давалось по норме — столько-то на душу. Поэтому в очередь записывали хилых малолеток, даже тех, кто ещё в пелёнках. К вожделенной рыбе, протух-



Небо больше не держало Орла. Воздух проходил сквозь перья. Орёл понимал, что он падает. Падает как камень. Падает навсегда, и небо за ним умирает. Больше не будет неба — это была последняя мысль обессилевшей птицы.

шей за долгую дорогу, подходил не всякий стоящий. Очередь являла собой чудище, пожиравшее свои жертвы, не моргнув. Сломанные ноги, забытые, растоптанные младенцы, искалеченные, вспоротые животы, убитые сзади в спину... Дошедшие живыми, не осматривая добычи, стремглав бросались домой и ели тут же, торопливо проглатывая кусок за куском...

Голодный зверь за едой, по сравнению со скопийцем, получившим свою норму сырого, выглядел верхом приличия.

В такие дни возбуждённое Скопище замирало. Двери всех видов жилищ крепко запирались на все имеющиеся засовы и запоры. Семьи пировали до осоловелости в глазах, до острых режущих болей в желудках. С наступлением темноты двери запирались ещё крепче. Ни один лучик слабого света не проблёскивал сквозь плотно занавешенные окна и стены. Громоздкие жилища, обезображенные, распухшие в черноте ночи, похожи на жуткие, кое-как сколоченные домовины-гробы. В них обездушенные нищетой и страхом скопийцы, когда-то дети великой природы, теперь трупы, объятые тлением, продолжали пировать, объедаясь, обделяя слабых членов семьи. Не было семьи, объедали самих себя. И в тишине, особенно чуткой в ночи, раздавалось торопливое чавканье, щелканье зубов, захлёбывающийся крик обездоленных младенцев, беспомощное бормотание старцев-скопийцев. Слёзы, стоны, рыдания, всхлипы неслись всю ночь с окраин одьявленного человечества, заполняя ужасом предсмертия насторожившуюся Вселенную.

Утром двери гробов открывались, и из них выносились жертвы, павшие в семейных драках, сдохшие от внезапных отравлений или не вынесшие всеразъедающей тоски и страха.

Проклятый инстинкт ко всему сырому резал за ночь целые Скопища. Многодумное государство бралось за голову. Горы золота обещало тому, кто сказал бы, как сохранить для полноты национальных рядов вымирающих скопийцев. Но таких не было, хоть захлебнись собственным криком, ни среди врачей-социологов, ни философов-психологов, ни среди самих скопийцев.

Зато встречались среди скопийцев особые сорта. Впрочем, они были всегда. Обладающие природным самородным умом, владеющие словом не хуже ножа. Умники эти имели особую привилегию — говорить правду. Не мелкую правду

случая, которую каждый кроит по себе, словно одежду, выделяя выгодную часть. А другую — Богову правду.

Во времена, когда жизнь походила на сказку, на груди земли собиралось до семисот чумов, а в середине, в окружении остальных стояло семь больших, и в центре этих — один, возвышавшийся над всеми. Он принадлежал хозяину гиганта-стойбища. В нём, кроме него самого и сочадцев, обязательно жил Салла, единственное богатство которого — злой ум. Одетый в отрепья, грязный, пропахший собачиной, он спал на семи поленьях. Саллу всегда держали впроголодь, лишь бы не умер. Любой бросивший ему кость без позволения жестоко избивался. Сверкая из-за угла воспалёнными глазами, Салла не смотрел, а ненавидел, не говорил, а лаял, не жил, а источал из себя гной.

Чум хозяина по красным дням заполнялся званными и незваными гостями, богатыми, важными и достойными, имеющими многотысячные стада. Прислонясь к подушкам, как глыбы-утёсы, в раздумье сидели избранные по одну и по другую сторону хозяина, заслонявшего всех ещё большей важностью, достоинством и спокойствием.

А через огонь, тесно, как близнецы-деревья в здоровом лесу, возлежали их воины. У каждого под одеждой по три, а то и по пять железных рубах. Тела и сердца могущественных хозяев защищены семью железными панцирями, и каждый из них подпоясан поясом с семью сверкающими ножнами. Подобно Богу гости и хозяин. Уже сразились силой в местах для игр, ловкостью не могли один другого переловчить, в хитрости изощрились, не вышло победителей. И вот сошлись они за столом о семи дубовых ногах отведать нежного мяса, исходящего жиром, и уж серебряный ковш-лебедь трижды прошёл в круг огня. Но ещё холодны и не блестят жемчугом пота величественные лбы избранных Семи Земель.

Снова серебряный ковш бежит, и уже повеселели, зашумели, как братья-деревья в ненастье, воины-охранники. Но, как ветру не сдвинуть глыбы-утёсы, так и избранные Семи Земель не дрогнули ещё, и их крепко сомкнутые уста не выронили слов. Холодно и хозяину. Велит он женщинам кормить хорошо гостевой огонь. Три дня не затухает огонь. Великое солнце три раза спряталось за гору Саурей и снова поднялось в небе в положенном ему Богом месте. По другую сторону огня воины шумят, пробуя друг о друга силу и удаль, и уж руки давно лежат на ножнах, подрагивают игриво их пальцы.

Дрогнули утёсы. Ураганный ветер загулял меж ними. Погорячели каменные лбы, и ослепительные молнии слов сверкнули не раз, ударяясь о каменную мощь бронированных грудей. Отверзли уста избранные Семи Земель. Каждый из них — краса и честь земли своей, её кость. А сила слова и ума не глупцу даётся, как взмах крыльев и блеск вершин — не ворону...

Но не всегда богатейший и достойнейший своих гостей достоин; низко падает его слово, как пришибленная ребёнком птица. Чернотой ночи покрывается лицо и, выждав момент, он злобно, три раза коротко свистит свистом, каким зовут к себе верных псов. И тогда из-под груды шкурья вскакивает Салла. Костлявый паук, с телом, чуть прикрытым, он встряхивается, распространяя вокруг себя смрад. Смиренно сгорбившись, оправляя отрепья и щетинясь, подходит Салла к дубовому столу. Среди сверкающего великолепия он отвратителен. Люди Семи Земель смолкают. Хозяин небрежно скидывает со стола кусок мяса пожирней, и Салла тут же проглатывает его. Заметив в глазах своего шута жадный блеск, хозяин чуть слышно бросает:

— Работать!

Салла знает свою работу. Поймав глазами того, кто был хитрей, метче в слове, некоторое время он душит его взглядом, затягивая невидимую петлю всё туже и туже. Гримасничая, но не ослабляя хватки, начинает говорить правду, какую человек и перед смертью не вынимает из себя. Оставалось тайной, как проникал Салла в святая святых — душу, в ту трущобу, где хранится грех, порок, что есть в закутке даже самой сильной и яркой души. Гости каменеют от ужаса. Хозяин теряет дар речи. Он вдруг забывает о времени, не помня, откуда появилось это чудовище. Малым ли ребёнком, не знавшим отца и матери, спрятанным от смерти в ямке огня, нашёл он его? Или пьяным купил у такого же дурака, как сам. Кто он, этот паук-человек, испускающий одурманивающий яд? Может, сам дьявол во плоти выбрал себе место на семи поленьях в углу чума? И что, если ему, вызванному из угла свистом и брызгающему слюной на дубовую столешницу отцов, чудится совсем обратное? Что не он Салла, а достойные и избранные?

Салла продолжает дело. Но странное беспокойство охватывает его. Хозяин понимает, что Салла слышит его мысли, как бы он слышал биение своего сердца. Салла торопится. Углами черных воспалённых глаз он следит за хозяином. Ворочая словами, как глыбой камней, не сводит глаз с жер-

твы. Он работает. Правда — палка. Ею можно убивать. Он зарабатывает свой хлеб.

Внезапно колотушка из слоновой кости взлетает вверх, и мгновение спустя Салла захлёбывается. Из глубокой, как пасть, раны по грязным космам течёт чёрная струя. Слёз, смешавшихся с потом и кровью, никогда не видно. А судороги смеха так похожи на судороги боли, поэтому, торопливо глотая кусок за куском, брошенные вслед за ударом, Салла закатывается смехом.

Смеются хозяин и гости. Громче всех — полузадушенная жертва. В Скопище Салла — первый человек. Он не спит на семи поленьях где-нибудь на скопийской помойке, не одет в отрепья, не укрывается гниющими шкурами. Кровь его не льётся под ударами тяжёлой мамонтовой кости и сегодняшние раны не гнездятся на вчерашние. Жилище его в отличие от других, неопрятных, еле сбитых, сколочено добротно и крепко, как толстая упитанная скопийка, уперевшая в довольствии руки в боки. Ему не бросают обглоданных костей с лица дубового стола. Он сам с брезгливостью скидывает объедки, и их тут же подбирают скопийцы, как щенки после сильного, властвующего пса.

Салла скопийский не знает вкуса собственных слёз и крови. В холоде ночи его не согревают вонючие псы. В отличие от своего далёкого предка, он смеётся и плачет не в толпе, и не в избранном застолье, а в зловещем тайном одиночестве.

А ещё в Скопище есть Улыб. Улыб — хозяин Великой Тьмы. Губы его всегда в крови и сложены в улыбку. Утроба его ненасытна. Ему нужно много крови — море, океан. Каждую секунду, каждое мгновение Малая и Большая тьма должны запылать кровавым огнём. Тьма человеческой души должна поглотить свет, а тьма Вселенной — властвовать. Миры и времена простираются под ним, и там, где повиснет длань Улыба, наступит ночь жизни.

Скопиец Улыб — страшен. Ложь... Ложь... Ложь... В мире должно быть много лжи, чтобы скопиец Улыб был доволен и сыт. Ложь должна быть во всём: в ребёнке, в любви, на земле, на небе. Ложь в радости, море лжи в любви, миллион лживых смертей. Ложь должна родиться. Ложь надо воспитать, взрастить, а чтоб она была действенна, озлобить. Ложью должен быть опутан каждый. Травы должны иметь ложный блеск и силу, цветы — ложные лепестки и запах. Жизнь должна быть покрыта мраком лжи, чтоб задохнулась.

Мало того, в эту душу надо положить камень, взращённый ложью, и тогда слова человека станут змеями. И люди сами будут жалить друг друга. Никаких усилий. Ложь будет рождать ложь. Да здравствует ложь! Вечная, непоколебимая, непобедимая!

В жилище червей, в Скопище, в этих некогда купленных во благо гробах произошло... невиданное.

Салла, любимый, воплощавший в себе силу Бога, заключил союз с Улыбом. Салла, с его умением залезать в человеческие души, согласился питаться кровью, и утро перестало наступать в скопийских душах.

Умерло утро в Скопище. Утро с его Божьей свежестью, радостью жизни и мысли. Умерло чудесное дрожание Души от восторга перед солнечным лучом. В душах скопийцев настала вечная ночь, с её душными сумерками, с близостью смерти. Страшно, когда не наступает утро, в бесконечной ночи не наступает день.

В одну из светлых северных ночей с гор, по направлению к Скопищу, как бы намеренно выбирая места потемней и дичей, двигалось непонятное существо.

Двигалось оно странно. На ровном месте быстро и проворно поднимало своё тело и походило на шагающего человека. Но на пологих склонах вдруг падало вниз и так же проворно продолжало путь на четвереньках, смахивая на огромное животное, вспугнутое снизу внезапным звуком. Особенно крутые склоны существо брало одним махом, напрягаясь всем телом, и тогда, задумываясь о его происхождении, можно было поклясться, что оно было зачато в любовной игре двух диких зверей. Но стоило ему подняться, как тут же вспыхивала обыкновенная мысль: родители его были человеческие самец и самка.

Но третья мысль, невольно приходящая на ум при взгляде на странное существо, казалась всего верней: это плод безумства. Матерью его была самка человека, отец же зверь. Сильный, изнемогший, ослепший от ярой страсти. И ни этот зверь, ни женщина в диком безумстве не мыслили о страшном последствии случившегося.

Но судьба существа была, видимо, ещё загадочней и жутче, чем факт зачатия. Его не растили ни мать-человек, ни отец-зверь. Его поднял к жизни некто третий, неизвестный, и поставил на нём ужасный знак своих трудов, который одинаково можно назвать печатью жестокости, сарказма, смерти и в просторечии называемый уродством.

Зверь-урод в нём выглядел примерно так: у существа чрезмерно развита верхняя часть тела, грудь, раздвинутая как бы на две части, мощна. Крепкие руки-лапы длинней обычных, а кисти рук с такими сильными пальцами, что хватка их может быть только смертельной. На ногах сильно развиты колени. Они резко выдвигаются вперёд, как наросты на деревьях. От повадок своих зверь-отец передал ему настороженность, когда любой малый звук вызывает одновременно и страх, и готовность напасть самому. Собранность во всём теле — ведь всё должно подчиниться одной мысли, одному порыву — прыжку.

И неожиданное умаление: поджатый меж ног хвост, неровная, как бы спотыкающаяся поступь, униженный в полрта полуоскал-полуулыбка.

Мать-женщина передала своему сыну мягкую беспомощность, вообще заключённую в человеческой сути. Человек-урод имел небольшую голову, совсем не подчёркнутую шеей, которой не было начисто. И особенно заметно было, что слабо, почти совсем не развит у него таз, одним словом та часть тела, которую можно назвать средней. Где-то чуть выше таза, по линии талии человек-урод мог оборваться, если его сильно потянуть в обе стороны.

Но то, что дали ему отец и мать, было по сравнению с тем, чем наградил Некто, его вырастивший, ничтожным блефом. Так, когда мастер приступает к своему замыслу, первые его мысли, движения души и рук робки и неверны, как руки неопытного любовника. Сила удара, мысли, мазка, всегда неожиданна для самого мастера и в силу этого не видна простому глазу.

Тот, кто вырастил плод Безумства, и был ему отцом и матерью по-настоящему, распорядился по-своему. Опытный глаз на совершенно чистом белом снегу по следам хищника может понять, как, с какой мыслью выслеживал тот добычу, и если драма произошла, следы расскажут, как именно.

Теперь, когда дневной свет приглушён наступившей ночью, усевшийся на большом камне полузверь-получеловек был виден очень хорошо...

Ложь, что лицо человека не служит отражением его души. Лицо, как чаша цветка. Как цветку питается, так и цветётся.

Полузверь-получеловек, поднявший короткую голову к ночному небу, был красив совершенно. Насколько незатейливо уродливо тело его, настолько же прекрасно лицо. Чёрные большие глаза — два озера, застывшие в ночном величии покоя и согласия.

Красивые, твёрдо очерченные губы — лепестки дневного цветка, нежно-розового, как заря.

Если бы его растила мать-человек, получила бы она сына-кормильца, добывающего кусок не руками и ногами, а совсем иным орудием. Изумительный, совершенный по форме лоб, в меру широкий, в меру высокий, с чуть заметным изящным возвышением посередине, говорил о том, что он мог бы не шевелить ни рукой, ни ногой, а всё вокруг него двигалось бы по велению его мысли. Одной-единственной мысли. Мысли-молнии, мысли-огня, мысли-тайны.

Рубец топора на золотистой коре дерева вызывает содрогание. Лицо существа, высоко поднятое к небу и не опущенное вниз, вызывало ужас. Оно не было лицом человека и не было мордой зверя. На нём расписался Некто, имя которого неизвестно. Бесчисленные шрамы от острых предметов вились на щеках, лбу, губах и веках, как дороги на теле земли. Многие из них зарубцевались и походили на заросшие овраги, иные ещё кровоточили и из них временами стекали юркие капли крови. Третьи гноились...

Но даже самое изуродованное лицо вызывает жалость. Лицо полузверя-получеловека отвращало и ужасало. Его хотелось обойти взглядом, как случайно попавшую под ноги гадость. Его хотелось топтать, как ядовитую змею, которая, если не будет убита тобой, ужалит обязательно тебя. Его хотелось накрыть, чтобы не сойти с ума. И, наконец, в беспомощности перед ним, закрыть глаза, чтоб не задохнуться в тоске.

Но самое жуткое, что приходило к закрывшему глаза, это мысль о собственном лице. И дрожащие суетливые пальцы ощупывают щёки, лоб в поисках шрамов и рубцов, но пальцы чисты, на них нет крови и гноя. Но разве это говорит о том, что лицо прекрасно? Кто видел сам себя? Может, Некто расписался и на наших лицах? И наши глаза источают ад. А оскал гиен, шакалов и волков стал нашим оскалом? Убежищем тоски и мрака, может, стали наши черты? Кто расскажет нам наши лица? Кто станет их судьёй?

Как мы стали судить лицо несчастного полузверя-получеловека?

Сидящий на камне будто уснул. Ужасная голова уютно устроилась на большой груди. Плечи еле покрыты грубым тряпьём. Волосатые ноги не обуты совсем. На могучих плечах крохотная котомка, перевязанная грязной бечёвкой.

Неожиданно сзади в кустах раздался сильный шорох. Два огромных лемминга, волоча по земле раздутые животы, пронеслись один за другим, как выпущенные подряд пули. Спавший мгновенно вскочил...

...Охотник не охотник, если хоть раз в жизни не загонял хищника под дерево, камень: в место его смерти. И животное понимало это. И самое жуткое тогда — морда обречённого, затравленно дрожит каждая шерстинка, ноздри сжаты, в глазах тоска, угроза, надежда. С глухим рычанием смотрит он на острие ножа или дуло ружья. И кто знает, кто уверен в том, что бедное животное не выбирает в этот момент что-то среднее между подкупающей улыбкой и ответной угрозой.

Заполошный бег двух леммингов вызвал на лице вскочившего именно такую затравленность. Он не скоро успокоился, всё продолжая оглядываться туда, куда скрылись лемминги. Особенно корёжило ему спину, и он часто оглядывался назад, сжимая и снова разводя лопатки.

Внезапное беспокойство, видимо, отогнало сон, и существо продолжило свой путь, так же, как и раньше, где шагом человека, где рысью зверя.

Летняя ночь коротка, и скоро поднимающееся солнце осветило высокий крутой берег и на нём сверкающее в лучах Скопище. Оно ещё спало, и ни один скопиец не заметил существа, быстро нырнувшего со своей котомкой в какую-то полунору, полуконуру, одиноко стоящую под обрывом. То неопределённое жильё, куда оно вползло, можно скорей назвать убежищем, в какое зверь, находясь в панике, быстро ныряет, не заботясь о степени его безопасности. Жилище червей, вольготно раскинувшееся на высоком обрыве, сейчас грозно и величественно возвышалось, как небо высится над Землёй.

Внизу песчаный обрыв кончался, словно логовом, озером. Вода в нём так застоялась, что давно умерла и в этот утренний час смердила, как ночной горшок. В озеро скопийцы спускали свои нечистоты, сбрасывали трупы павших животных, бросались в диком опьянении и сами, не-

надолго потревожив чёрную жирную зыбь последним криком отчаяния. В него жуткими ночами сталкивали убитых, и озеро сонно чавкало в ответ, как младенец во сне, внезапно нашедший губами материнский сосок.

По берегам его, вскормленным помойным пойлом, тучнели и жирнели кусты черного дерева ольхи, бросающие сейчас около себя тёмно-розовые тени.

По сравнению со сверкающим Скопищем и дремавшим в довольстве черным озером убогий приют странного существа напоминал не то покорёженный ящик, не то какую-то посудину, небрежно сброшенную пинком вниз за ненадобностью.

Вблизи же оно было ни тем и ни этим. Нелепое строеньице, когда-то сколоченное из того, что было скинуто скопийцами, подпиралось со всех сторон глыбами камней, чтобы не развалиться. Щели между камнями заткнуты мхом и просто кусками земли, и на них в этот ранний час блестели самые разные цветы и нехитрые травы.

Так кто же этот полузверь-получеловек со страшным и изуродованным телом? Скопийцы кличут его Молчащим. Его рождение — тайна и для них, но ещё большая тайна — он сам. Молчащий потому, что ни один скопиец не слышал от него не то, что короткого слова, но и звука. Он не свистел и не пел трелями, как лесные птички, не пищал подобно кочковым мышам, не рычал, не лаял.

Молчащий никогда не поднимался вверх по песчаной стене, в само Скопище. В своём полудеревянном каменно-травяном жилище он жил непонятной скопийцам жизнью. Казалось, он родился здесь, среди сбрасываемого хлама. Вдоль всего обрыва тут и там валялись кости, обмываемые дождями и снегами, и уже нельзя было сказать наверняка, кому они принадлежали, животным ли, иль скопийцам. Всё, что отторгалось от жизни наверху, сбрасывалось вниз, как в преисподнюю, и хозяином всего становился Молчащий. Сам, как хлам, одетый в отрепья из скопийской помойки, он был отвержен скопийцами и скинут на самое дно. Так сброшенное ураганным ветром в мокрое угрюмое ущелье прорастает крохотное зёрнышко, не видя солнца, довольствуясь лишь его запахом и предугадывая живительное тепло. Крохотным зёрнышком был Молчащий. Зёрнышком, сброшенным жестоким ветром. Ветром-убийцей.

...Душная летняя ночь в самой середине. Сердце ночи черно не по цвету. Родившийся в сердцевину ночи будет

тёмен не только кожей. Именно в сердцевину ночи приходит к человеку страх смерти, иных заставляя плакать, других каяться, третьих хвататься за слабое сердце. Цветок, расцветший в ночи, убивает вокруг себя всё живое. Мысль, вспыхнувшая в сердце ночи, будет оружием смерти.

В самую середину ночи, когда небо и земля слились в одну-единую чёрную пелену, как любовники в порыве страсти, тридцать лет тому назад из душного чрева Скопища к самому обрыву торопливо метнулась тень. Тонкая, стройная, как тальниковая лоза, с золотисто-коричневой кожей скопийка замерла у края песчаного обрыва. Из-под босых ног её мягко соскользнули вниз струи белого тёплого песка. Как лёгкая зверица, отпрыгнула назад скопийка. Тело её дрожало, объятое ночью, и было прекрасно, но настороженно. Слушая сзади себя тишину, скопийка слышала одновременно и сонное дыхание Чёрного озера внизу.

На полусогнутых красивых руках зверица держала голое дитя, примерно от году рождения. Лицо его выделялось среди темноты светлым, нежным от светлости пятнышком. Невнятный лепет радости вдруг раздался из его полураскрытых губ, и зверица быстрым движением закрыла ему рот. Обернувшись назад, она резко отбросила от себя прекрасные руки и развела их в разные стороны. Ребёнка поглотила чернота ночи.

Улыбнувшись, зверица послушала тишину внизу и ей не понравилось, что озеро не чавкнуло. Она решила ждать. Несколько мгновений было тихо. Потом тоненько-тоненько раздался детский вскрик, а после плач. Зверица замерла. Было ясно, что она промахнулась и ребёнок не попал в рот озера смерти.

Сзади неё раздались шаги. Она обернулась. Молодой и сильный, даже в темноте ночи красивый, к ней подошёл скопиец.

— Не думай, — сказал он, тоже слушая звуки внизу. — Волна сама слизнёт его. А если нет, ещё никто не поднимался вверх по сыпучему песку.

— Ты прав. Никто не поднимался вверх.

И они отошли. Будто и не стояли. Сердце ночи прошло. Темнота вокруг чуть порозовела. Но скопийская ночь продолжалась во всей своей красе, покое и сладости. Двое отошли недалеко. У края того же обрыва они нашли прогретую ложбину, упали в неё, и немного спустя оттуда раздался стон вожделения и тихий приглушённый звук, похожий на смех.

...Несколько ночей и дней подряд слышала Земля хриплый плач ребёнка, и если бы она не была так глуха от старости, то слышала бы и тихий назойливо сухой шелест песка, текущего вниз, и вкрадчивый плеск, будто кто-то жуткий и настойчивый облизывал похотливые губы, глядя на недоступное лакомство. Зверь и зверица были правы: ещё никто не поднимался вверх по сыпучему живому песку.

Потом внизу долго было тихо. Так долго, что прошло много лет. И за всё это время опять же только ещё более постаревшая Земля слышала иногда в своём чреве звуки, похожие на чавканье, ползание, хождение. И в силу того, что ей дано чувствовать ползание даже крохотного червячка глубоко в чреве, она поняла, что беременна странным плодом. А понявши, глубоко вздохнула. И когда этот плод вышел из неё, она в изумлении смутилась и не проронила ни одного слова.

Странные звуки крепли, становились явственней. И уже не было сомнения, что странный плод пытался жить.

Так появился на свет Молчащий. Неважно, кто первым видел непонятное Существо, одинаково хорошо стоящее на ногах, быстро и юрко ползующее на коленях и сильных руках с длинными, как у зверей, когтями. Такими крепкими и чуткими, что, казалось, они не только цепко держались за землю, но и слышали её под собой.

Для того, кто увидел Молчащего первым, тот напоминал чудовищного червя, поедающего листья дерева и ставшего на свои самые крепкие лапки-ноги. Взгляд Молчащего не был взглядом животного, когда он отводит глаза, при этом щерясь в оскале. Глаза его были черны, как сердце ночи, а в расширенных зрачках застыла печать ужаса. И в них порой явственно колыхалась тень, отражая зрачок и вновь светлея. Так светит и темнит вновь прибрежную гальку озёрная волна, подлизывая свой берег. Умел ли радоваться Молчащий? Умел ли плакать? Это оставалось тайной, ибо ничто не прорывалось в его глазах сквозь вечную завесу ужаса.

Первым, кто увидел Молчащего близко, лицом к лицу, была скопийка по кличке Золотистая Лоза. Блудливая, как сучка, ещё не старая, она износила своё тело и теперь походила не на золотистый лозняк, светящийся по берегам рек, а на сухой небрежно подрубленный пень с осыпающейся корой и трухой.

В это раннее утро, после ночи, полной обычного блядства, едва вытащив себя из кучи крепко сплетённых тел ско-

пийцев и скопиек, занимавшихся тем же, чем и она, Золотистая Лоза вышла на свет. Глаза её опухли и видели плохо. Лицо горело от кровоподтёков и было свинцово-тяжёлым. Так отделал её последний партнёр этой ночи. Опьяневший больше меры, он не смог больше выжать из себя и капли наслаждения и, озверев, мастерски отдубасил её. Лоза отошла за длинный тощий сарай, откуда начиналась бесконечная скопийская помойка, и только села за надобностью, как почувствовала сзади метнувшуюся тень. Она обернулась и оцепенела. Перед ней, в сумерках молодого утра встало человекоподобное существо. Оно молча смотрело на неё, сжимая в обеих безобразных руках-лапах какое-то тряпьё, с которого ещё стекала отвратительная жидкость помоев и нечистот. Но не это ввергло скопийку в то состояние, в каком пребывает она до сих пор. Укус ядовитой змеи смертелен, укус бешеного зверя вызывает не мгновенное, но сумасшествие, удар острого ножа — потоки крови и боли. Но силу взгляда стоящего пред ней нельзя было сравнить ни с одним из этих увечий. Как под действием сильнейшего напряжения, задёргало Лозу. Жестокий страх сотнями, тысячами игл пронзил каждую клеточку её тела. И это было хуже смерти, хуже сумасшествия и несравнимо с физической болью. Это было последнее ощущение, которое было дано испытать скопийке с красивым именем Золотистая Лоза. С того утра прошло много дней, ночей и лет, и теперь никто не знает, чувствует ли она что-либо вообще. Лоза никогда не выходит из самого тёмного угла своего жилища, куда она вползла в памятное для неё утро, и никуда не выходит. Все члены её дрожат, как в лихорадке, и с каждым прожитым ею мгновением умаляются. Она ходит под себя; ест и пьёт, если ей дают, не пьёт и не ест, если ничего не бросают. Забытая, брошенная партнёрами по любви, дракам и пьянкам лежит и тает скопийка Лоза, и неистощим её страх. Необъясним и, кажется, вечен.

Что увидела Лоза в глазах Молчащего, не знает никто. Она приросла к своему углу. От некогда золотистой её кожи, за которую ей дали чудесное имя, осталась серая, полугнилая береста. И давно она не скопийка, некогда много любившая, много объедающаяся, много убившая в себе младенцев, забывшая своего прекрасного первенца через несколько мгновений после его смерти в объятиях молодого красивого скопийца. Она — тень, и когда эта тень умрёт, останется в углу один серый вонючий пепел. Кучка пепла от Золотистой Лозы. Запах смрада и тления.



Тут, у пьедестала остановились соблудники. Как ни были они встревожены исчезновением Царя, многие с удовольствием отметили, что Храм Наслаждений цел и невредим.

Так шла жизнь. Скопище наверху, Молчащий внизу. Раз всё противопоставлено друг другу: день — ночи, рождение — смерти, любовь — ненависти, добро — злу, — Скопище враждовало с Молчащим.

...Молодые скопийцы играли с Молчащим в жестокую игру своего времени. Сначала совсем маленькие скопята, все дни проводившие в пустых играх и раздорах, обычно заканчивавшихся большими и малыми войнами, где-то нашли несколько проржавевших «зверей» с острыми рваными зубьями и такими же челюстями. Железные тела многих из них истлели, превращаясь в мелкую пыль от прикосновения. Но иных, казалось, лета, наоборот, укрепили, и злобный оскал могучих челюстей только и ждал добычи, так давно желаемой. Скопийцы не знали, каково их назначение. Но сам вид железного зверя, его крепко сомкнутый хищный рот намекали на какой-то злобный смысл. На дне многих скопийских душ начинало томиться чувство, которому они не могли найти никакого объяснения.

Неведомо, кто первый познал секрет железного капкана — нехитрого орудия смерти, каким пользовались предки скопийцев в далёкие времена. Неизвестно, какая мысль и потом чувство завладели скопийцем, когда широко растянув зубастую пасть орудия, он обратно захлопнул её и сам испугался и звука молчащего металла, и той силы, что угадывалась в мёртвой хватке сомкнувшихся челюстей.

И может, этот же скопиец, не выбирая особенного, тёмного и уединённого времени, отнёс железное существо на окраину скопийской помойки. Насторожив его, прикрыв гнилыми останками съестного, оставил на ночь. Минувшие времена и миры не знали такого сладостного ожидания, какое испытал кусок железа с острыми отравленными зубьями, с челюстями, сведёнными от предвкушения наслаждения, чутко прислушиваясь к шорохам ночи. Прислушиваясь и ожидая чудовищной добычи. А скопиец-крот, шедший по раннему утру торопко, чтобы опередить таких же,

как он, голодных, одиноких, оборванных, надеясь подобрать лакомые куски помойки, и не знал, что станет первой добычей затаившегося чудовища. Что именно капля его крови начнёт другой отсчёт времени, и поведётся в веках страшная охота человека на человека. Капля крови родит Океан страданий человеческих. А вскрик ужаса, когда отравленная ядом слюна потечёт по углам железного рта, станет первым криком Великого Ужаса.

Тот, кто настораживал капкан, нашёл свою добычу уже мёртвой. Скопиец-крот держал в окоченевших пальцах найденный кусок пищи. А железная пасть и всё лицо были залиты кровью. Если бы скопиец-охотник умел видеть невидимое и слышать неслышимое, то он увидел бы дьявольскую улыбку радости и услышал неудержимый хохот торжества.

Предки скопийцев, найдя в своём капкане добычу, ели её или, сняв шкуру, меняли на съестное, но дитя скопийского времени, увидев добычу, убедился, что она подобна ему. Поэтому, освободив из железной пасти, небрежно пнул. Вырвал из сцепленных рук кусок и отпихнул несчастного дальше, в глубь скопийского дерьма. И чувство, всколыхнувшее его, так понравилось остротой, новизной и необычностью, что он снова раскрыл кровавую пасть железного существа и насторожил ещё более искусно и тщательно.

И началась охота на кротов-скопийцев. А также на тех, кто жил милостями и щедротами скопийской помойки, не имея больше других путей прокормления. Тех, кто не умирал в ночь, не сумев себя освободить, молодые сильные скопийцы забивали по молодому утру. Так в давние времена делали хищники-звери, используя часть усталости, когда переставало бдить всё живое, засыпая глубоким безмятежным сном, становясь добычей сильных и хитрых.

Совсем другую участь, похожую на бесконечно продолжающуюся казнь, придумали скопийцы-охотники для Молчащего, когда и он стал их добычей. Пляс безумства и радостного восторга исполнили молодые убийцы. Завидя в железной пасти своего дьявола того, кто был им непонятен не только своим происхождением, но и смыслом бытия. Урод не урод, калека не калека, не скопиец — он был настолько непонятен, что стал ненавистен. Их жестокий ущербный разум, не привыкший даже к малейшему напряжению, протестовал против странного существа. Уже не раз они охотились и гнались за ним, упуская уползающего в свою нору,

не решаясь заползти за ним. Сильные руки и ноги, весь способ движения, приспособленный ко всякому месту; когда в лесу он пропадал, словно становился деревом, на склоне гор мелькал зверем, на песчаных отмелях исчезал червяком, не позволяя скопийцам не только догнать, но и даже взором уследить.

Молчащий был жуткой тайной. Сладкой до дрожи, ненавистной до омерзения.

И вот он в капкане. Два крупных железных зверя, настороженных друг от друга на расстоянии, строго рассчитанном, залитые кровью, держат Молчащего подобно цепям, прибитым к земле. При виде распростёртого тела возникает мысль: капканы были замыслены так, что, попав одной ногой и силясь освободить себя, теряя равновесие, Молчащий попал в другой. И тут в панике, цепляясь за землю, падая от дикой боли, потерял единственную возможность защитить себя и рукой попал в капкан, настроенный на высоту человеческого роста. Всюду следы отчаянной борьбы: на несколько метров скопийская помойка разворошена, разрыта. Один капкан вырван из своего укрепления-логова. На остальное не хватило сил, и Молчащий, обессиленный, распят на кровавом одре. Глаза его горят. Кровавые кольца от зубов капканов по лодыжкам ног, и руки тоже пылают под лучами утреннего солнца.

Редкий круг оживлённых скопийцев вокруг Молчащего растёт неимоверно. Сюда спешат все, кому не лень двигаться и пялить глаза. Спешат те, кто видел Молчащего, словно золотую тень в тумане прекрасного утра. Те, кто слышал о нём хоть краешком уха, так и не сумев понять, о чём и о ком идёт речь, поленившись даже подумать всерьёз. Спешат те, кто охотился за ним, мечтая в темноте ночей настичь и уничтожить. Спешили молодые и старые, чтоб позабавить глаза и поскалить зубы. Даже кроты-скопийцы ползут, увлекаемые потоком бегущих, попадая под ноги и стеная от боли. Спешат скопийки, невидимо глазу распявшие в разуме и душе своих чудесных младенцев. Спешат предавшие и распявшие любовь позабавиться всласть. Ибо ничто во все времена не влекло толпу так, как зрелище беды и смерти...

Первыми внутри круга гудящих скопийцев стояли те, кто настораживал в ночи чудовищное орудие. Кто родил в тёмной глубине души мысль-ловушку, в которой распят Молчащий. Младенец, брошенный в озеро Смерти. Кусочек Бога в недрах опоганенных душ. Свет и радость...

Они стояли плечом к плечу. Сильные, рослые, как могучие деревья, сцепившие в согласии руки-ветви, и глядели на Молчащего глазами, полными полыхающего торжества. Поймали, наконец поймали Того, кто беспокоил Скопище даже своей тенью. Постепенно, опьянённые победой, они закачались в кругу, как покачиваемые ветром деревья, в странном судорожном танце, похожем на угрозу.

Не всякий танец красота. Судороги тела, рук и ног скопийцев, круживших в неистовом восторге вокруг распластанного Молчащего, не были рождены чувством красоты. Звуки, выкрикиваемые резкими голосами, походили на клич, которым хищники сзывают на пир опоздавших и не ведающих ещё о найденной добыче.

И словно понимая их, откликаясь на зов, подходили всё новые толпы, напирая на передних, пока танцующий круг не сузился и не навис над Молчащим, как неизбежность.

Скопийцы-охотники остановились. Двое из них сорвали нехитрую одежду Молчащего. Все увидели, что странное существо некогда было обыкновенным скопийским дитём. Но сейчас оно так отличалось от них, что невольно, обозревая распластанное уродливое тело, многие замерли в недоумении...

Так бывает в лесу. Стоят деревья, сильные, одинаковые, навевая чувство устойчивости мира, спокойной гармонии, радости и любви.И вдруг встретишь застывшее в одиночестве сгорбленное, потрёпанное, искривлённое ветрами дерево и невольно задумаешься... Какой неимоверной силы должны быть обстоятельства, чтобы так изогнуть стан, покорёжить ветви, положить оземь голову-верхушку.

Недоумение скопийцев длилось недолго. Они не привыкли думать и рассуждать разумно, а тем более жалеть. Чьё это было дитя — разве важно?! Мало ли скопийских детей брошено на помойки, съедено животными и погублено в пьяных драках? Почему судьба какого-то полусущества, полускопийца должна тревожить и интересовать?

Но всё-таки скопийцы забеспокоились. Многие, забыв обо всём, смотрели на распятого Молчащего и, казалось, были поражены не столько уродством его тела, сколько красотою лица. Тёмно-синие глаза, как два озера, взволнованные непогодой, бились в тревоге. Чёрные волосы длинными волнистыми прядями падали на щёки и сильную грудь. Но не одна красота смущала скопийцев...

Если в дороге застигнет путника пурга и затянется на несколько долгих дней, он, отчаявшись бороться, отдаётся на волю Неведомого. Собрав последние крохи тепла и духа, простившись со всем дорогим, готовит Душу к неизбежному. Вдруг его утомлённый взор усматривает в чёрной хмурости спасительно-чистый кусочек. Голубой лоскуток неба говорит, что пурга не вечна, и в Душе погибающего оживает надежда. Заворожённо, по-детски преданно смотрит путник в высоту и знает, что не умрёт.

Что-то подобное надежде смертника испытывали скопийцы, глядя в лицо Молчащего. Поле человеческой Души посеяно семенами добрыми и злыми. Кто на нём лучше поработает, тот и получит урожай. Не одно-два столетия Зло сеяло семена вражды, ненависти, лжи, невежества и греха. Но не потому, что отец Духа бросил нас, детей своих, на произвол и не сеет. Неустанно и терпеливо, вновь и вновь засевает он гнилые поля наших душ семенами изумительными, божественными. Нет конца его долготерпению и любви. Не его вина, что души чад подобны гиблым болотам, вонючим от смрада, где гибнет всё прекрасное... На дне загубленных скопийских душ затеплилась, зажглась в дебрях нелюбви неугасимая лампадка. Напряжение, вызванное внезапной злобой, ушло, и многие отвернули глаза от наготы распятого. Те, кто сорвал с него одежды, бросили их обратно. Старые и пожилые скопийки, приложив руки к груди, смотрели на несчастного, и неистребимый материнский инстинкт говорил им, что этот жалкий, брошенный некогда, был всё же ребёнком. Молодые скопийки заворожённо, не смея дышать, любовались Молчащим. Хрусталики нежной любви заиграли в их потупленных глазах, и вздохнула не одна девичья грудь.

Настала тишина. Не все знают, как прекрасно молчание, настоянное на любви и радости. Как крепко пьянит оно чуткую душу. Молчащий, измученный и истекающий кровью, тело которого ныло и пылало, вступил в эту тишину, как в материнскую ласку. Из его прекрасных глаз потекли слёзы. Выросший в земле, принятый и вскормленный ею, он обладал душой неизмеримо чудной, и слабые всплески любви, но всё же любви, исходящие мягкими волнами от стоящих, томили и звали его неудержимо.

Если скопийцы могли видеть только то, что зримо глазу, и слышать, что слышно уху, он сознанием, данным ему Матерью-землёй, зрел другое: над младенцем накло-

нилась молодая красивая женщина с кожей, золотистой, как кора дерева, подпалённая летним щедрым солнцем. Она играет блистающими, золотыми пальцами перед младенцем, и он искрится смехом. Он полон любви к ней, протягивая стебелёчки рук и ног, улыбается розовыми лепестками губ, говорит на своём диковинном языке, что любит тепло её рук, глаз. Любит мир, из которого она приходит и уходит. Как, наверное, он прекрасен, если одна женщина, приходящая из него и уходящая, так хороша. Молчащий улыбался не только видению. Он улыбался стоящим вокруг. Его лицо стало ещё прекраснее. Он чувствовал и видел в них то, о чём скопийцы даже не догадывались: они были полумертвы, лишь в немногих угадывались признаки жизни, а в основном стояли тени. Скорбь и печаль — два великих брата — светились в его глазах и лились непрерывным потоком на толпу.

Мудрость и Терпение вглядывались из его глаз в несчастных, высматривая следы былого величия. Эти дети природы когда-то не знали себе равных по разуму и милости. И Любовь — царица и венец — рыдала в его глазах. Так неутешно плачет мать над любимым дитём, ушедшим безвременно. А оставшиеся в живых слепы и, стоя над пропастью, напрасно шарят вкруг себя неверными руками. Пустые глазницы их душ, обтянутые белёсыми пеленами, наводят ужас. Слепые дети у края пропасти... Чьё не содрогнётся сердце?!

Скопийцы не знали, как им быть. Тот же, кто наставил чудовищные капканы, знал: очутись он наедине со своей добычей, не думал бы долго, как поступить. В отличие от других скопийцев, решимость расправиться со странным существом не покидала всё время. Улыбка Молчащего, расцветшая, как голубой цветок весны, вызывала яростное желание топтать, вогнать в землю само лицо. Так тревожно красивое и призывающее. Но к чему? Скопийцев можно призвать лишь к крови. К большой или малой — всё равно. Лишь вид крови будоражит душу, будит силы и обещает сладкое волнение, задорит страсть. Он переглянулся со своими сообщниками. Они стояли в первом, самом тесном кругу и, судя по лицам, испытывали то же самое, что и он. С ними, братьями по блуду, десятки и сотни раз в темноте недозрелого утра он находил в своих капканах несчастных. Вид их страданий, крови и мольбы вызывал в них сладкое, неудержимое содрогание физической плоти. И если попадались ещё не старые скопийки, блудники предавались сначала изощрённой похоти и лишь

после чинили кровавый суд. И сейчас блаженная улыбка, не сходившая с прекрасного лица существа, будила в них самые низменные страсти. Если бы не плотная стена скопийцев, свершился бы давно не только суд...

Крепкие, мускулистые, мощные скопийцы сгорали от нетерпения и посматривали на своего вожака призывающе. Он понимал их. Намного старше, лет пятидесяти, но могучее и красивей, он казался моложе соблудников, был неудержим в своих желаниях. Уж они-то знали, что ночи, и не только летние, даются совсем не для сна. Что скопийки молоденькие в темноте намного слаще и бесстыднее, а стоны и вопли вожделений так сладки слуху и плоти.

Молчащий встретился глазами с Царём Блуда, и улыбка умерла в его лице. Неугасимый взор Души представил перед ним прошлое, умершее для тех, кто окружал, но вечное и трепетное в нем. Он ощутил во рту тёплые струи песка, в них завяз язык, и крик оборвался. Выплюнув, сколько мог, он всхлипнул. Младенческий плач утонул в ночи и в шелесте волн за спиной. Розовая темнота слабо нежнела вокруг, а сердце ребёнка задыхалось в страхе. Жирные чёрные волны жадно лизали ноги и спину, затягивая в жуткую бездну. Слабые пальцы впились в струи песка. Он попытался ещё раз крикнуть, позвать золотую женщину, что несла на руках, тёплых и мягких, но не смог.

А сверху, шипя, всё бежал белый песок, и слышался жаркий шёпот двоих: «Не думай, волна сама слизнёт его, а если нет, ещё никто не поднимался вверх по сыпучему живому песку». «Ты прав, никто не поднимался», — ответил золотой голос. Золотой от молодости, красоты и вожделения.

Взор души уже не ребёнка, но Молчащего, видел теперь и другое: скопиец высокий, с широкими разлетающимися плечами, повернул к себе Золотистую. Сжал руками ей плечи и, целуя влажные губы, уже вожделел её. От того, что сейчас выбрала его, и во все ночи будет принадлежать ему без помех. Они, как два зверя, будут отдаваться друг другу, когда захотят и где захотят. Тёмно-синие глаза его пылали сладострастным огнём. Последний раз блеснул он в пропасть, где пропал его сын, быстрым, хищным взглядом, будто бросил вниз сверкающую молнию.

Эту же сверкающую звериной страстью молнию испытал на себе Молчащий сейчас. Она шла от седеющего скопийца. Сведённой судорогой рукой он заслонил лицо, защищаясь от злой, вспыхивающей силы, исходящей от сто-

ящего над ним. Прежде, чем им завладел страх, похожий на кошмар, испытанный тридцать лет назад, сознание подбросило ещё одно видение, на первый взгляд совсем не связанное ни с прошлым, ни с настоящим...

Замызганная, вонючая комната, напоминающая скопийскую помойку. Тут нет и признаков мебели. Куски чёрного, грязного дерева, превратившегося в труху, заменяют стол и сиденья. Свет, просачивающийся сквозь засаленные, слепые окна, еле освещает страшную нищету. Воздух наполнен запахом тления, нечистот, лежащих тут же, во всех углах. По комнате двигаются тени. Они бесцельно бродят от стены к стене. Худые, измождённые, будто от непосильного труда, еле таскают себя, спотыкаясь и вновь поднимаясь. Некоторые лежат или спят, прикрывшись рваным тряпьём. Есть и группы, бесстыдно занимающиеся блудным делом, но так вяло и серо, словно их принуждают к этому под страхом смерти. Иные сидят в неровном кругу, передавая из рук в руки поганое, вонючее курево. Задыхаются от него и падают, хрипя, тут же, где сидят. По ним ходят те, кого ещё держат ноги, а некоторые, в чьей голове бестолково и неприкаянно носится захудалая мыслишка, не находя себе приюта, пытаются произнести обрывки слов и полуслов. Везде запустение духа. Ни искорки любви, ни пылинки радости. Всё мертво и уродливо, словно в лесу, где свирепствовал разгневанный, мстительный огонь. Сознание Молчащего, как в увеличенном кадре, высветило один из самых запущенных углов. Тут под тряпьём полулежит живой скелет, обтянутый коричневой, даже нельзя сказать кожей, скорее, обсыпанный вонючим полупеплом. Скелет дрожит, как в лихорадке. Иногда в наступившей тишине слышится стук костей и нечто не схожее ни с одним звуком, издаваемым человеческим существом.

Но вот скелет неожиданно вздрогнул. Сильно вскрикнул и рассыпался прямо на глазах удивившихся теней. На короткий миг вспыхнул ярким сполохом, отчего в комнате стало неестественно светло. И уже мгновение спустя, из кучки пепла, оставшегося от несчастного скелета, несло запахами смрада и тления. Будто ничего не было. Ни света, ни крика. Ни прожитой жизни, ни любви, ни радости. Ни тела и духа, только кучка пепла. Тени, ходячие и лежащие, застыли в шоке. Вспыхнувший свет ослепил их. Многие из них повели себя так, словно ослепли на самом деле. Протирая руками глаза, они натыкались на стены. Другие, наоборот, прозре-

ли, в диком отчаянии оглядывали всё вокруг, не понимая, что происходит. Где они? Так, наверное, ведёт себя заживо похороненный. Эти попадали на хлипкие колени, и не умея покаяться, объяснить своего состояния, подняв головы вверх, взвыли в тоске.

Как легко сотворить зло! Как тяжело подвигнуть себя на добро. Привыкшие вершить мелкие пакости, всегда готовые оскорбить, подавить, раздавить скопийцы никак не могли сделать простого — освободить Молчащего из железных пут. Этого требовало пусть и крохотное, но оставшееся в них милосердие. И промедление дорого обошлось Молчащему, но ещё дороже обойдётся впоследствии самим скопийцам.

...На крики мелких воронов, сорок, халеев и прочей глупой дичи, если она начинает суматошно делить найденное и никак не может сговориться миром, обычно слетаются хищники покрупней. Разметав, разбросав несговорчивую свору в стороны, эти сами становятся обладателями дармового застолья. Так случилось и сейчас. Расталкивая расшумевшихся скопийцев, отпинывая скопят, в тесный круг ворвались Салла и Улыб. Улыбу хватило одного взгляда, чтобы понять, что произошло. Но главное, что может произойти. В течение жизни ему снился странный сон, объяснить который не мог даже его дьявольский ум. Златоголовый червь с сапфировыми глазами, покрытый мягким серебристым мехом, впивался ему в горло и в руки, не давая дышать и двигаться. Вот он — златоголовый червь с глазами из сапфира цвета утреннего весеннего неба. Скопийцы — дураки, глупцы, слепцы. Не те суды, что вершатся, решают судьбы и судьбу. Не те ветра, что носятся по земному лику, как сумасшедшие, разрушают гнёзда, вырывают дерево и жилища. Не ничтожные войнушки и войны уносят жизни. А скопийская шкурка — всего лишь вонючка — всё это мгновенно пронеслось в воспалённом сознании Владыки Скопища, пока он рассматривал распростёртого перед ним Молчащего. Уж он-то знал, кто перед ним. Но сегодня и сейчас не его войско за спиной и вокруг. Эти трупы принадлежат ему — Улыбу. Смрад, идущий от них, приятен и бодрит. Тут он Владыка и Властелин. По мановению его мысли и руки всё запляшет, забурлит и заблещет. Закружится в сатанинском вихре-танце.

Тепло и сила улыбки Молчащего ещё гасли, а Улыб знал, что сделает. Кровью и омерзением зальёт он цветок Любви, чтобы не дышать и задохнуться не только в удушье, но и в позоре.

Седеющего блудника — царя вожделений Улыб заметил сразу. Его услугами в ярости и кипении страсти пользовался он не раз и знал, как неистощима его похоть, ярка и зажигательна. И почти женская красота Молчащего сейчас ему помощник. Дурак и глупец тот, кто сказал, что красота спасёт мир. Красота зальёт мир блудом, кровью и яростью Дьявола. Блуд — главный и единственный инстинкт, который оставили себе эти трупы. Так возьмём его в руки, назначив орудием не только расправы... Улыб видел: в первых рядах вперемежку с молодыми скопийцами стояли и скопийки, юные, полные зрелости тела. Одежды их накинутые по-утреннему небрежно, выказывали соблазнительные формы и формочки. Скопийки во все глаза смотрели на обнажённого Молчащего, и в их глазах сверкала далеко не чистая любовь.

Подойдя к блуднику-красавцу, Улыб почувствовал, что ему не нужно много трудиться. Тот уже горел в огне страсти. Понимали его и соблудники. Уже многие из них, будто в невинной игре, посрывали скудные одежды скопиек и начали любовную пляску, как бы нехотя и невзначай. И вокруг распятого Молчащего, истекающего кровью, наблюдавшего за всем с молчаливым укором, началась, постепенно разжигаясь, одна из самых позорных и унизительных игр человеческих.

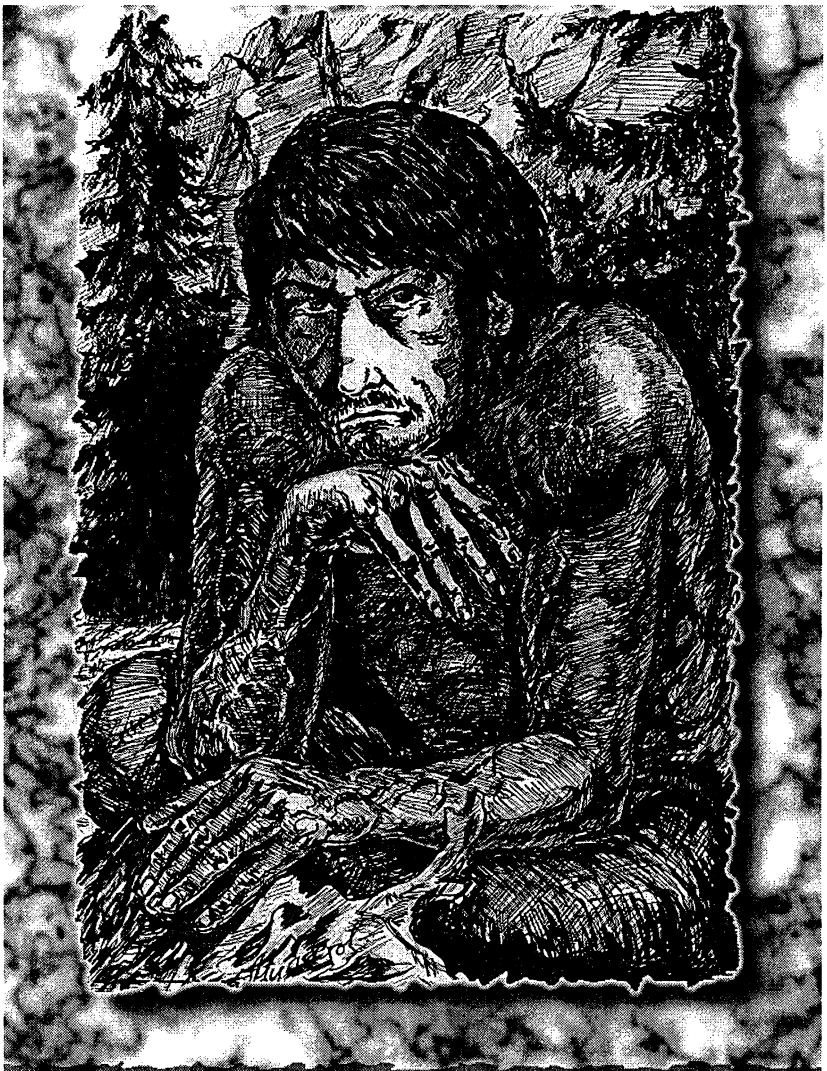
Скопийцы вступили в неё легко. Так бездумно и беспечально падают осенние листья со своих веток-домов. Полёт и кружение лишь веселят их. Смерть на груди Земли не вызывает омерзения, досады. Всё забылось. Прочувствованное за короткий миг, прекрасное, чистое и благородное обратилось в мерзкую пыль. Скопийцы поняли друг друга мгновенно, и каждый выказал готовность вступить в игру. Улыб не отходил от Блудника. В некоторых кучках, взъярённые страстью молодые скопийцы срывали последние одежды со своих избранниц. Под ногами, как опавшие листья, смешались все виды скопийских туалетов. Из них торопливо сооружались ложа страсти. Но все понимали: никто не смеет прежде Царя Блуда начать пир похоти. Их всегда открывал Великий Блудник, а скопийский щенок, отважившийся поторопиться, получал смерть.

Молчащий наблюдал за всем с тревогой. Несколько раз он дёрнулся, стараясь освободиться от железных пут, но это вызвало лишь потоки крови из ран. Задыхаясь от боли, Молчащий закрыл глаза. А вокруг полыхала бесовская страсть, которую Великий Блудник доводил до совершен-

ства. Сам он вкрадчивыми шагами, весь горя, срывая с себя ненужные одежды, ходил вокруг Молчащего. А вся орущая, стонущая от сдерживаемой похоти толпа приветствовала и призывала своего Царя на акт насилия. Скопийки извивались перед ним, сверкая и потрясая формами, облизывая голые ноги, лаская языками изнывающее, исходящее слюной вожделения его мужское тело. Иные ложились перед ним, дразня и призывая. Иметь его — считалось великим счастьем. Но Царь Блуда небрежно отпинывал их, и они, визжа, откатывались прочь. Он видел только Молчащего. Позади, толкая в спину, шипел ему в ухо, изнывая, Улыб. А вокруг рычала и вопила скопийская толпа, точно свора кобелей, не разделивших единственную сучку. И когда Царь Блуда, распалённый и озверевший от страсти с помощью соблудников, схвативших Молчащего в мёртвые тиски, овладел своим сыном, нездешний вопль Ужаса и дикий стон многих вожделевших слились в один крик. И начался праздник плоти...

Улыб, усевшись на груды сброшенного белья, наблюдал за всем с пеной у рта. Хрипя от наслаждения и торжества. Вид живых трупов, взбесившихся от блуда, не только веселил. Он знал: нужно дать волю нижней части человека, чтобы превратить его сначала в животное, а потом овладеть душой. За свободу и наслаждение плоти скопийцы отдадут всё. Беспредельный блуд — единственное, что у них осталось. Всё прочее продано, растоптано, заложено и убито.

Уже знакомый хохот злорадства носился над воплем и смехом скопийцев. Но они этого не слышали. Их праздник продолжался и в глубокой ночи, не стихая, а набирая дьявольскую мощь. Казалось, сами силы мрака и преисподней посетили блудное веселье. Кругом, в наступившей темноте, полыхали огни, похожие на красно-жёлтые цветы. И около них бесновались тени. Иные тут же ели, пили и снова предавались тому, ради чего собрались. Каждый имевший мужское тело изливал на Молчащего свою мерзость, и по прекрасному лицу его текли ручьи плотской гадости. Молодые скопийки извивались на нём, призывая ко блуду, а он лишь стонал от невыносимой боли. Тогда они терзали губами и острыми зубами его лицо, и по нему, вместе с нечистотами скопийцев, текли слёзы и кровь от многочисленных укусов. Те же, кто не был способен на какое-либо наслаждение, простались на нём. Скопийские дети, наблюдая за всем, предавались своим утехам, постигая азы позора.



Для того, кто увидел Молчащего первым, тот напоминал чудовищного червя, поедающего листья дерева и ставшего на свои самые крепкие лапки-ноги. Взгляд Молчащего не был взглядом животного...

Сознание не покидало Молчащего. Он беспрерывно стонал. По мере того, как распалялся вокруг него Огонь безумства — плоти, в глазах его росло, крепло великое чувство — Терпение. Нет могучей, удивительнее этого чувства. С кровавого одра испачканный, опоганенный скопийскими нечистотами, он сверкал глазами. Те, кто попадал под его взгляд, съёживались, как растения от внезапно наступившего резкого холода.

У каждого живущего своя мера терпения. Каждому дан свой крест. Камень должен терпеть то, что по нему ходят, топчут лицо и плечи. Дерево — любые ветра, играющие головой-верхушкой, как им вздумается и захочется. Река терпит тесные берега, не дающие ей волю. Человек терпит боль, унижение, утраты. Один больше, другой меньше. Иной согнётся под тяжестью груза раньше времени, всё проклянёт; другой, не стеная, падая и поднимаясь вновь, несёт свою долю страданий до спасительного конца.

Но... Терпеть Великое блудство, первородное несовершенство человека, его предательство и гнусность дано только избранным. Непомерно тяжёл и жесток их крест. Плечи в ссадинах и крови. Ноги подгибаются в тяжком пути, руки опускаются, душа в смертельных ранах, а груз не должен быть скинут. Нужно нести и нести, терпеть и терпеть... Но не дай Боже никому, даже Избранным из Избранных, сравнить меру своего терпения и тяжести креста с тем Единственным, что на Голгофе. Непомерно тяжелы мы для Отца нашего. Многочудно его терпение и не сравнимо ни с чем...

Горели рядом два сильных огня. Два существа по разные стороны Бытия кидали в пламя каждый своё. Даже небо в вышине окрасилось в два цвета. Душно-красным, багровым от тяжести греха стояло оно над местом, где сидел, торжествуя, насилуя Души, Улыб. Где вокруг него и под ним копошились снедаемые низменной страстью скопийцы, насилуя брошенного сироту и друг друга. В огонь безумства кинул Улыб живые трупы скопийцев. В огонь, в котором и сгинули души и тела, судьбы и миссии, поколения и миры.

Второй Огонь горел в лоскуточке неба, в который упёрся неподвижным сверкающим взглядом Молчащий. Уже давно не замечал насилующих его и ползающих на нём, снедаемых неразделённой животной страстью скопиек. Прекрасное лицо его в чаще размётанных волос оставалось спокойным. Над ним небо светилось безграничной голубизной, уходящей в нездешние дали. Огонь Терпения пылал в нём. И

Огню безумства было не сравниться с ним. Ни в силе , ни в яркости, ни в цвете. Голубые сияния текли на Молчащего. И тело его не то, что было покрыто слоем похоти, а другое — нежное, нетронутое, светилось ответной пульсирующей голубизной...

Ночь эта длилась не длинней и не короче остальных. Первые лучи, как всегда, осветили всё вокруг. Осветили и место, где безумствовал Огонь страсти, в ответ ему ровно и сильно горел Огонь Великого Терпения. Скопийская помойка походила на поле чудовищной битвы, где в пылу сражения всё смешалось: тела врагов, оружие и доспехи, кровь и слёзы, отдельные члены и целые остовы. Кто ещё спал, а кто уже не поднимется никогда, ни с первыми лучами, ни попозднее. Улыб имел полное право торжествовать. Половина праздновавших мертва, побита, искалечена, измочалена. Молодые и старые скопийки, как цветы, побитые жестоким градом, не могут поднять голов. Кругом лужи крови. Не один Огонь страсти буйствовал в ночи... Мёртвые скопята, полуобгорелые скопийцы, разбитые головы, поломанные руки и ноги. Оставшиеся в живых, одурманенные, словно мухи, почувствовавшие тепло, обратили свои взоры на место, что служило им в прошедшей ночи Святилищем похоти, — на смертный одр Молчащего — и удивлённо застыли. Молчащий пропал! От трёх капканов остались одни обломки, будто кто-то сильно ударил по ним. Вместо крепких ржавых цепей, вбитых в землю, валяются обрывки железных колец. Лишь по пятнам крови можно судить, что здесь действительно был распят Некто и происходил «праведный» суд. Судьи, побитые, ещё пьяные, опьянённые видениями и картинами неслыханной, невиданной похоти, никак не могли понять: где тот, кого казнили, предали суду. Окажись он сейчас перед ними, продолжили бы суд и казнь ещё яростнее, чем начали.

Молчащий пропал, как сквозь землю провалился. Несколько особенно рьяных молодых скопийцев опустились к его странному жилью. Вблизи оно было таким беззащитно простым, что скопийцы опять удивились — ведь поймать неуловимого Молчащего в его ничтожном жилье раз плюнуть. Жилище, куда они вползли через ветхую, почти травяную, дверь, оказалось таким бедным, что скопийцы при своей тупости опять удивились. Почти всё нутро жилья оказалось из мха. Из него сложено небольшое возвышение постели, стены, пол. Мох самых чудных расцветок свисал с низкого потолка. Стол — квадратный валун тёмно-синего

цвета, и на его глянцевой поверхности от долгого пользования появилось несколько углублений вроде маленьких тарелок. Будто живущий тут никогда не пользовался обычной посудой, а ел прямо из странных тарелок-ложбинок. Второе, что везде замечал взгляд, и вызывало немалое удивление, разные-разные травы. Они цветут на стенах, лежат, свисают с потолка. Небольшое округлое отверстие, куда заглядывает малиновое цветение солнца, заменяет окно. Но что больше всего удивило скопийцев, это стоящие по углам, заросшие у подножия мхами-цветами огромные глыбы камней. На одном, имеющем форму какого-то зверя, растут небольшими кучками малиновые цветы, как горящие свечечки. Такие же камни, поменьше, облепленные пластами и целыми букетами цветных ягелей, стоят по другим углам жилья, навевая ощущения, совсем не знакомые скопийцам.

Разинув рты, стояли скопийцы, не помня себя. Они забыли вдруг, зачем, собственно, пришли. Кто они и откуда. Так бывает в лесу с высокими, уходящими в небо деревами, где каждый могучий ствол поёт и никак не может закончить прекрасную песню. Так она хороша, песня жизни! Где до отчаяния захочется стать цепким зверьком и, забравшись на поющий крепкий ствол, от сучка к сучку подняться, уйти в небо и не возвращаться назад. Скопийцы подняли взгляды вверх, будто стояли в поющем лесу и, помимо воли, взволнованные неизвестно чем, вышли в растерянности. Что случилось — по сердцу струится чистый ручеёк радости, переходящий в тёплую трепетную волну.

Молчащий пропал. А скопийская жизнь вошла в обычные берега, и две скопийки, встретившиеся на помойке поутру следующего дня, обкаркали одна другую, как и прежде. Они не признавали святости утра. Скопийцы вообще не знают любви, а законы развития тела и духа, основой коих является труд, нарушены так, что скопята выглядят дряхлыми стариками. Пора зрелости мужчин-скопийцев выражается до странности болезненно: глаза наливаются кровью, тело нездоровой злой силой. Они ведут себя неспокойно, томясь от непонятной тоски и страха, избивая один другого в неистовой ярости, в жестокости, не знающей границ...

Всё это коротко, как цветение. Полгода спустя эти же скопийцы превращаются в сонных, одурманенных мух, дрябнут телом, опускаются. Женщины-скопийки любят похотливо, жадно и тоже отцветают быстро, как нежный цветок багульника после сильного порыва ветра.

Пора зрелости... Чудное время. Оно одинаково для всего живого. Дерево в эту пору шумит не под любым ветром. Кора его гладка, бледно-зелена и недоступна морщине. Ствол могуч, прекрасен. Луч, обнимающий его, подобен женщине, душа и тело которой не разъедены сомнениями в собственной красоте. Корни, питающие его, сильны, добры и щедры. Птица в пору зрелости любит дыхание облаков больше, чем тепло земли. Редко пробует силу крыльев, поднимаясь на высоту, парит спокойно. Голос подаёт нечасто, лишь в минуту высокого торжества или великой боли. Не кричит суматошно при виде добычи, отлетает без клёкота, если молодь опередит. Шуметь и волноваться — дело молодое, говорит его медленный величавый полёт, не прерываемый суетливостью. Бестолково заболтавшаяся птица может разбиться о гранит его груди.

Зрелость духа... Есть в жизни каждого из нас особое время. Оно приходит внезапно...

Когда высоко в небесах за плотной завесой облаков, за ночной громадой гор рождается первый луч, ещё не видимый никому, живые существа, будь то цветок-травинка, животное иль человек, чудесно дрожат от предвкушения света и тепла.

Наступающее утро потревожит человека, не давая ему вернуться в сень сна и лени. Если человек работящий, у него чешутся руки от желания приступить к своему радостному труду. Человек думающий поспешит к мысли красивой, сильной и светлой. Понимая, что мысль — орудие Добра и должна быть одета в прекрасные изящные одежды, как дерево в листья иль хвою, как поляна в цветы и травы. Мысль — «орудие» веков, но мысль, одухотворённая светом и любовью, — знак вечности.

Первый луч, пробившийся сквозь плотную завесу мрака, убеждает человека, что можно прожить Большую хорошую жизнь, полную духовных подвигов во имя Господа. Луч солнца призывает каждого из нас творить радость и любовь. Как в старости взывают наши старенькие родители, прося любви и защиты, так Отец Духа просит своё, ибо кончается у человека время личное и начинается другое... Богово. Оно не принадлежит ему, ни одно мгновение жизни уже не является своим и не может быть потрачено по воле человека, но по воле Отца...

...Так прошли три обычных скопийских дня. Они ничем не отличались от прочих и были заполнены драками, блу-

дом, пьянством и вязкой ленью. Ожиданием ночного мрака, когда всё принимает вдруг особый смак — будто Душа просыпается для дьявольского действа. Дневной божий свет влиял на скопийцев как-то странно. Его красота, сиятельные творческие токи, час, когда ты убеждён, просто уверен — именно сегодняшний день дан для подвига духа, для неслыханного доселе. Для этого ты готов, если нужно, сгореть дотла, до последней клеточки. Готов стать искрой, если свет её нужен для спасения чьей-то души. А скопийцев луч солнца беспокоил и раздражал. Он был нескромен и слишком светел. Дома, притоны, улицы становились пусты, скучны и безмолвны. Даже скопийские дети, словно больные птицы, прятались в подвалах, нишах и лишь с наступлением вечерних сумерек выходили бледные и измождённые, словно прожитый день стоил им физических сил и усилий воли.

Три скопийских дня прошли, растаяли, как туман, и ничья душа не вздрогнула о пропавшем. А внутри Земли, в её коридорах-кельях три дня находился без сознания Распятый. Не физическая боль, испытанная им при разрыве цепей и порушении капканов, а вопиющая скорбь души унесли сознание Молчащего, когда он достиг своего Главного убежища. Здесь его дух восстал к жизни, мать-земля вскормила молоком тепла, любви, живительной влагой и соками трав. Здесь он познал не только милость матери, но и любовь Отца Духа, она сочилась к нему сквозь физические толщи и мерзость скопийского мира. И тут слышны были не только ужасные звуки жизни скопийской, но понятны шёпот-ласки трав и цветов, когда они просыпались для труда в божьем миру и умирали для нового чудного рождения. Он понимал и пение мелких птиц, славящих солнце и волю. Повзрослев духом, слышал Великие звуки благословений по вечерним зорям, когда Отец изливал на детей потоки несдерживаемой любви, различал голоса просящих, внимал раскалённому шёпоту кающихся, переживал стоны погибающей в нечисти души. И терпел... Терпел беснования и какофонии дьявола над своей головой.

Молчащий лежит в своей самой светлой келье. Тут всё хорошо. Голубоватый, ярко вспыхивающий свет просачивается сюда невесть откуда, его источник оставался тайной для Молчащего, но именно тут он любил бывать. Здесь, под Скопищем, сильными руками вырыл он, подобно червю, своё настоящее жильё, ибо всегда понимал, как хищен и жесток наверху мир. И что придёт время, когда мир захочет

его убить. Не для жизни ребёнок был сброшен вниз, просто рука Золотистой Лозы дрогнула не вовремя. В своём царстве он не был Молчащим. Мог говорить и слушать. И всё живое общалось с ним, а он отвечал им на языке, о котором Скопище даже не догадывалось. Мир наверху слеп, глух, и ничто не может сравниться с ним в нищете и невежестве Духа. Там правит Тот, в чьей власти погубить не только маленькую душу, но миры и сонмы душ. Урожай его богат, закрома забиты, кладовые неистощимы...

Из последних сил заполз Молчащий через убогое жилище, что посетили скопийцы, и достиг, изнывая, самого укромного уголка, где никогда не был одинок. Где уже не младенцем, а подростком сворачивался на сиротской постели из золотого мха, излучающего аромат и тепло, и с годами становился похожим на Златоголового червя.

На исходе третьего дня Молчащий открыл глаза. Сознание вернулось к нему. Он чувствовал над собой горячее, живительное дыхание. Лепестки летучего огня ласкали губы, щёки и глаза, опалённые кровью и похотью скопийцев. Заживляли раны от укусов, ударов и омывали следы вожделений. Молчащий чувствовал на лице чистоту и покой. Те же лепестки горячо касались их. Рваные глубокие раны рук и ног продолжали кровоточить, вызывая судороги, потрясающие измученное тело Молчащего. И голос, чудный голос увещевал, что страдания обернутся славой, слёзы — радостью, терпение — наградой... А пока покой и неведение... И Молчащий, входя в ласковый ручей сна всё же слышал, как дрогнула земля. Будто раскололась земная твердь. Иль падали со страшной силой камни. «Суд!» — раздалось сквозь грохот, и это было последнее, что слышал Молчащий, впадая в неведение...

...Когда в горах, в мрачном сыром ущелье рождается ураганный ветер, лес, стоящий далеко за сотни километров, чувствует тревогу, смятение и страх. Ветра ещё нет, небо чисто, ветка спит, не дрогнув телом, но над лесом стоит стон. Припав ухом к спине старого дерева, можно услышать непрерывный гуд. Этот гуд есть страх перед рождающейся загадочной силой. В борьбе с ураганом дерево должно выстоять, не должны обломаться ветви-руки, слететь голова-верхушка, поломаться ствол-спина, и должны выдержать корни-ноги... И всё же не бывает урагана без жертв, то в одном конце чащи вскрикнет от резкой боли берёзка, то, тяжело крякнув, рухнет старая морщинистая ель, молодые деревья падут без дыхания. И стонет лес...

Ночь едва перешагнула свой обычный рубеж, когда в Скопище, которое готовилось отдохнуть после вечерних кутежей, все до единого скопийцы вдруг почувствовали приступ ни с чем не сравнимого Страха. Он походил на физическую боль, когда острие холодного оружия вонзается в сердце.

Прошло после этого совсем немного времени, и кромешная тьма опустилась на Скопище. Будто не одно, а несколько неб, тяжёлых, мрачных, застывших в исступлённой злобе, нависли над землёй, грозя своей тяжестью и гневом раздавить, уничтожить. Ниоткуда, ни с какой стороны не светилось ни малой звезды, ни марева, ни тоненькой полоски просвета. Со всех семи краёв закрылось небо на крепкие затворы, и куда бы ни посмотрели ошеломлённые скопийцы, их взгляд нигде не видел светлой точки, крошечной искры. Так в гробу не темно, как стало вдруг в Скопище. И к тому же через некоторое время внезапно перестал дуть ветер, дававший ощущение не только свежести, но и движения. И тут всё остановилось. Скудные травы и цветы замерли в шоке, деревья-уродцы выпрямились в агонии смерти, и листья на них повисли головами вниз. Дома-гробовины набухли и стали похожи в наступившей темноте на диких чудовищ, готовых вступить в бессмысленную драку не только друг с другом, но и со всем, что могло встретиться им. Казалось, на этом куске земли и Бытия остановилось само Великое Время. Ещё через час застывший в неподвижности воздух стал постепенно нагреваться, будто там, наверху, за семью небами, нависшими над грешной землёй, разгорелся чудовищный пожар. И только эти плотные, слипшиеся небеса не дают упасть и посыпаться кускам огня, пыли и искрам. Не жара, а удушающая духота нависла над Скопищем, и скопийцы заметались в ужасе. Многие упали на землю, прижавшись лицами к прохладным ещё телам хилых трав, и дышали запалённо, набирая в задыхающиеся лёгкие воздух, отнимая его у детей земли. Вот когда они стали похожи на червей. В темноте, наползая один на другого, шарахались беспомощно, затаиваясь в высокой траве, подобно змеям. Иные, что были послабже, упали без дыхания. Другие вопили, и постепенно в душной темноте настроился тоскливый вой. Заживо замурованные, лишённые малой толики воли, скопийцы отдались отчаянию, но никто из них не обратился к небесам. Ни из чьих уст не раздалось, кроме воплей и боли, ни капли раскаяния. Ни в ком

не поднялся великий неистребимый дух и не призвал погибающих встать на хлипкие колени и возопить... возопить о прощении и милости. Ничья душа не зарыдала от жалости и любви к скопийским детям. Они гибли от жары и страха. Ничья голова не упала на грудь в неистовом повиновении. Все ползали, прижавшись к груди земли, выпивая из неё, хотя она сама задыхалась, последние капли воздуха и мужества. Множество пальцев судорожно, в конвульсиях впивались ей в лицо. Спастись! Любой ценой спастись! Никто, ни один не осудил себя за грязь, за духовное ничтожество, за поругание чести и достоинства жизни. Никто не обрадовался смерти, как чудному спасению, освобождению от позора и рабства. Никто не осенил грудь крестным знамением и не произнёс: «Спаси нас, Господи!».

Наконец нашлись те, что не залегли в траву и не упали на грудь земли. Эти вспомнили про искусственный свет, освещавший дома и улицы. Были включены все имеющиеся машины, дающие свет и воздух. Скопийцы воспряли, вернулись в дома. Во многих притонах снова раздались смех, крики и ругань, шумела громовая музыка, похожая больше на поступь дьявола. Жизнь скопийская зашевелилась, освежаемая и освещаемая искусственным светом многочисленных ламп. Темнота и духота отступили на окраину Скопища, а в самом его центре-сердце нездоровое, вздорное веселье возобновилось с новой силой. И уж многие со злорадным торжеством поглядывали на семипластовое небо, будто хотели сказать, что никто и ничто не может грозить Скопищу. Ничто не может оборвать хода жизни, раз и навсгда заведённого. И громче прежнего заиграла, зазвучала простенькая на первый взгляд, неслышимая и невидимая всякому музыка скопийского бытия. Лишённая благородных, высоких, чистых нот, духовно-божественного смысла, состоящая из мусора слов и чувств, матерков, похабности и жестокости. Жуткая музыка. Чьё она радует ухо? Чью питает Душу?

И тут, в самый разгар возобновившегося адского пира, случилось то, чего никто не мог и предугадать. Скопийские тело и душа, закалённые в бездуховности, выдержали давление неба, душность темноты и отсутствие солнца. А машины — нет. Враз, как единый гром, раздался вдруг взрыв неимоверной силы. Множество искр вскинулось в воздух. Это лопнули и погасли светила. Остановились, замерли и умерли машины, дающие свет и воздух. Скопийцы не успели и

вздохнуть. Многие из них погибли в тот же миг. От страха, от ярких вспышек огня ослепли и просто сгорели от мгновенно занявшихся мелких пожарищ, тут же заглохших от нехватки воздуха. Скопище погрузилось во тьму...



е нам судить деяния Господа...

...Три долгих дня горстка людей, покрытых гневом Господним, замурованных во тьму и жар, держались один другого, ища спасения... А может, и милости. Стоны, вопли и ужасы невыносимы человеческой душе... Да не нам судить деяния Господа...



ркие брызги солнца, аромата и чудесного воздуха, настоянные на любви и милости, лились с небес на обожжённый кусок земли. Мир раздался вширь и блестел, как Божье око, и многие росы, упавшие на бледные, обгорелые цветы и дерева, так походили на слёзы.



копище являло собой... Но не нам судить деяния Господа. Дома-гробовины обрушились, схоронив под собой ужасные трупы. Обломки, куски, пепел, тела. Среди всего этого бродят бледные, шатающиеся тени, отыскивая в развалинах то ли съестное, то ли тех, кто им был близок по жизни. Во многих глазах вообще нет мысли, а в движениях смысла. Руки и ноги иссохли, волосы облезли... Иные тени, сойдясь вместе, подолгу смотрят друг на друга. Смотрят до слёз, но язык и мозг отказываются что-то объяснить им. Остальные ещё лежат, и их широко раскрытые глаза полны только синего неба, высоко стоящего над ними. Больше в них нет ничего.

Земля, устало и повинно вздохнув, улыбнулась небесам и взялась за свой труд. И уже к вечеру, в прохладе ушедшего жаркого дня, погибшие дерева подняли головы, увядшие листья упали оземь, и обозначились новые, пушистые комочки почек. Мать всего сущего вновь забеременела для жизни. Начали отходить и скопийцы. Самые простые работы по восстановлению жилищ всех видов придали им силы. Умерших собрали в од-

ном месте, кое-как засыпали землёй и хламом, что образовался в результате хаоса. И так как не было ни отцов, ни матерей и детей, то слёз не лили. Лишь некоторые скопийцы усиленно вглядывались в черты усопщих, будто хотели вспомнить о родственных с ними отношениях. Молодость всегда сила. Больше всего уцелело молодых скопийцев, и они уже который день были озабочены одной мыслью — искали везде своего повелителя — Царя вожделений и блуда. Так стая, потерявшая своего признанного вожака, зовёт его день и ночь, оглашая окрест всё тонким, пронзительным воем.

Царь Блуда сгинул. Его труп, ни обгорелый, ни распавшийся, ни разделённый на части, нигде не нашёлся. Хотя дом, в котором он жил, один из самых богатых, больших, остался целым и невредимым. Молодые скопийцы обшарили все углы, чтобы труп своего владыки отдать земле со всеми почестями, совершив над могильным холмом ритуал Блудодейства. Дом и внутри не пострадал, ничто, ни одна вещь не стронулась с места, не разбилась, не сгорела, не исчезла. Поэтому после тщетных усилий молодые скопийцы, не зная, что предпринять, собрались в святая святых — Пещере наслаждения. Эта глубокая, широкая ниша-зал, вырытая скопийцами под домом Царя вожделения, являла собой Храм. Здесь всё сверкало от множества притушенных огней разного цвета от перламутрового и до кроваво-красного. Эти, вспыхивающие ярко брызги бесстыдного света, освещали широкий, поднятый надо всем пьедестал, покрытый тем, что уже давно стало редкостью и говорило об изысканной роскоши и богатстве — шкурами самых разных существ. Шикарный, изящный пьедестал сверкал и сиял мехами самых необъяснимых расцветок. Так богата только лесная поляна, чудесная, вся благоухающая цветами, и как эта поляна освещена сверху сиянием солнца, так же Святилище Блуда было пронизано светом, исходящим из-под земных толщ, обливая всё окрест багрово-душными отсветом.

Здесь происходило то, чему нельзя дать имени, и невозможно рассказать. Все стены большой залы Пещеры наслаждений увешаны детскими трупами и трупами скопиек. От многих остались только кости и скелеты. Рядом, подобно научным пособиям, висят фотографии изумительного исполнения. Делал их Великий мастер. Так хороши они, ясны, отчётливы... и ужасны. На них запечатлены жертвы, акт насилия во всей красе, в подробностях и деталях, от которых

мутится разум, хоть сколько-нибудь сохранивший каплю человечности. И во весь план лицо Того, Кто испытывал сжигающее наслаждение. Чьё тело и орудие блуда воспеты и выписаны так, как не рисовал ещё ни один художник. С таким талантом, вдохновением и жаждой. Каких только нет гримас... высунутые языки, выпученные от страсти глаза, искажённые вожделением черты, и... жертвы, боль, унижение, страх, страх, страх...

Здесь, во время оргий, сердцем и душой которых был Тот, Кого искали в тоске соблудники, включалась и лилась из невидимых репродукторов, как из самой преисподней, Музыка. Сначала тихая, чуть ли не нежная, тянущая душу в бездну сладости. Потом всё громче, дичей и яростней. Стоны вожделений, вопли, шёпот, когда человеческие слова, что говорились предками скопийцев друг другу лишь в минуты божественной любви, всё здесь имело другой тон, смысл, бесстыдство, обнажённое до невыносимости. И крики жертв — детей, женщин. Эта музыка звучала по ночам. Сотни скопийцев и скопиек, избранных и выбранных Царём Блуда, бесились тут в немыслимых оргиях. Сам он, воссев на блистающий пьедестал, правил балом, таким, которого ещё не знали поколения и поколения. Близ него сидели сотоварищи в ожидании часа, который определить мог только Он, и поэтому никто не знал, когда начнётся главное действо...

Тут, у пьедестала остановились соблудники. Как ни были они встревожены исчезновением Царя, многие с удовольствием отметили, что Храм Наслаждений цел и невредим. Неизвестно, кто первым взглянул, но вдруг побледнел, затрясся: в самом центре пьедестала, на блистающих мехах, где сам Царь вожделений достигал немыслимых блаженств похоти, и откуда на всех совокупляющихся только при одном виде его искусства нисходил бешеный азарт, и они были готовы отдать всё ради этого: хлеб, детей, тело, душу... в самом центре, поднимаемый взволнованным дыханием многих стоящих, вился тоненький столбик пепла. Обыкновенного, вонючего пепла, оставшегося от Царя Блуда.

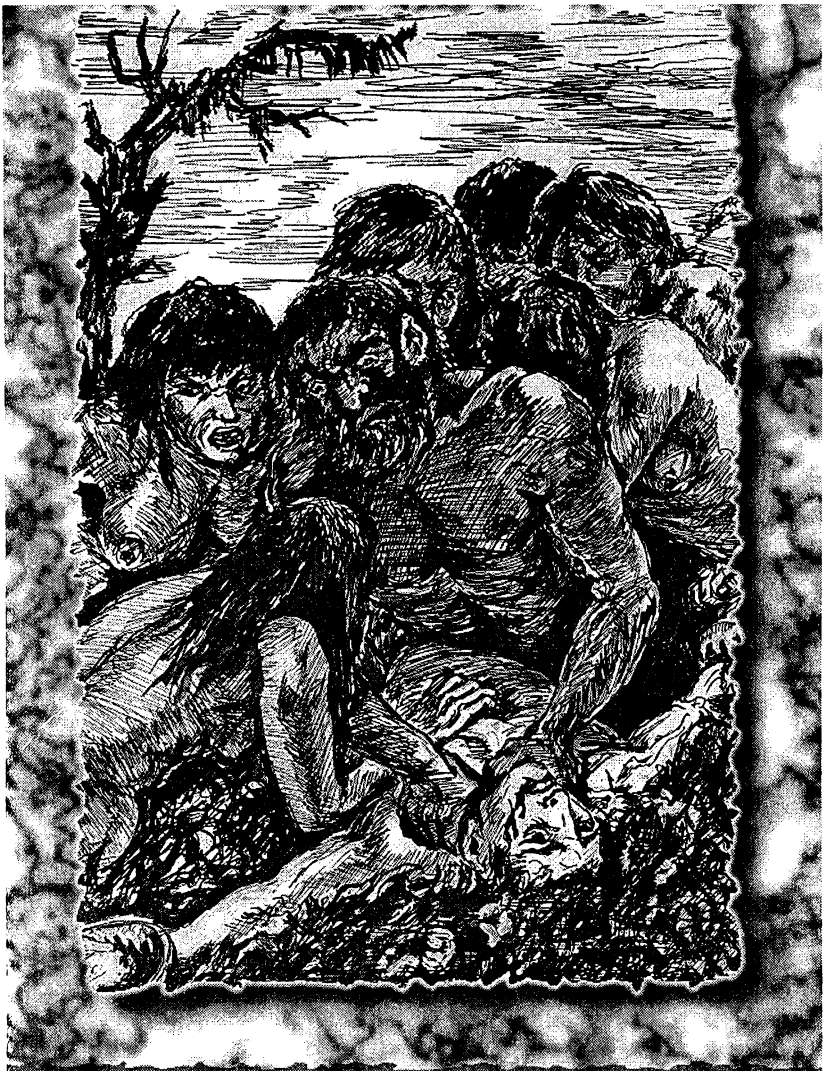
Прошло время. Скопийцы воспрянули. Жизнь наладилась. Упавшие жилища подняты. Умершие завалены землёй, и уже через несколько дней на них играли скопийские дети. Всё пошло своим чередом. Вода жизни вошла в берега, и скоро уже ничто не напоминало о случившемся. Выжил и Молчащий. Золотую тень с развевающимися длинными во-

лосами видели по утрам встающие рано скопийцы и плевались в его сторону так же неистово, как и прежде. Они не могли простить ему то, чего и сами не понимали.

Вражда с ним не умерла, а только укрепилась и пустила другие корни, более зрелые и крепкие, чем доселе. Однажды, в прекрасное, дивное утро, залитое больше обычного золотым солнцем, радостью простого, нехитрого бытия, когда трепетной надеждой было обьято всё живое, даже самое крохотное, произошло чудо.

Скопийцы спали. Ещё не остыла, не отступила от многих шумная, дурная ночь, полная страха, крови и похоти. Глаза других ещё застилала туманная одурь, свинцовая тяжесть голов, мрак усталости и лень души. Не прояснились окончательно силуэты домов-гробовин. По углам прятались жуткие тени уходящей ночи. А проснувшиеся изнывали от тягучей тоски. Бредили мыслью о новой ночи, не умея прожить Божий день, призывали блудную тьму. Те, для которых не было дня и ночи, а время превратилось в ничто, в сознании коих еле мерцал свет, понятия семьи, уюта, труда умерли, не родившись, — рылись на скопийских помойках, отыскивая хоть что-либо, напоминающее пищу. Жалкие, оборванные, потерявшие облик детей Божьих, эти несчастные жадно и торопливо ворошили смрад отбросов. Оттуда неслись крики увечных, не поделивших найденное. Именно эти вскормыши, калеки, уроды, увидевшие свет на помойке, и там же кончавшие дни свои, стали первыми свидетелями Чуда.

Никто не заметил, как снизу, с опущенного конца помойки появился Молчащий. Он не шёл, а, казалось, поднимался вверх на невидимых крыльях. Так стремительно, что калеки, уроды и нищие, которые боялись его смертельно, не успели скрыться, и каждый остался на месте, застыв в соответствующих позах. Молчащий был как бы безумен. Уже то, что он сам поднялся вверх после встречи со скопийцами, было настоящим безумством. Он боялся встреч со скопийцами, как огня. Каждый видел его только на расстоянии зоркого взгляда. А теперь он стоял так близко, что ущербные застыли от одного его вида. Молчащий был прекрасен. Могучие плечи стояли отдельно и, казалось, он мог уложить на них целую дюжину средних скопийцев, захоти он это сделать. Длинные сильные ноги подобны деревам в середину жизни. Но необычней всего лицо. Такого лица не видывали нигде, ни в одном из земных Скопищ. Ущербные



Вид живых трупов, взбесившихся от блуда, не только веселил. Он знал: нужно дать волю нижней части человека, чтобы превратить его сначала в животное, а потом овладеть душой. За свободу и наслаждение плоти скопийцы отдадут всё.

готовы были потом отдать головы на отсечение, утверждая, что оно светилось солнцем от нездешней красоты. Целое мгновение видевшие его забыли обо всём: о времени, о скопийстве и только чувствовали, что они глубоко несчастны. Им хотелось пасть на колени, целовать опоганенную землю и плакать горько, неутешно. Когда мгновение прошло, ущербные скопийцы оцепенели. А Молчащий, возвышаясь над ними, как скала, прекрасным голосом, полным силы, выкрикивал и часто повторял:

— Смотрите! Смотрите! Вот он, видите! — и указывал могучей рукой на сияющие солнцем вершины гор. Его крик вызвал великий переполох во всём Скопище. Как если бы среди чистого дня под всеми живущими затряслась и сгинула земная твердь. Скопище вздрогнуло. Двери домов-гробовин раскрылись с грохотом, и все — малые, слепые, горбатые, ползущие, пьяные, кривые — торопились туда, откуда нёсся дивно сильный голос никогда не говорившего. Молодые скопийцы, подобно урагану, сметая на пути ползущих, идущих, ступая на головы и спины, мчались к доселе невиданному. Так несётся взъярённая река, распираемая неудержимым половодьем, сокрушая всё, и нет силы, способной остановить её. Так несётся Время, невзирая на человеческие судьбы, трагедии, смерти, счастья и несчастья. Огромный валун, сброшенный с вершины, рождает обвал, и нет на него укорота.

Скопище окружило Молчащего, продолжавшего показывать вдаль, где сияло только солнце, щедро разлитое на блистающих сединах. Там, куда указывал Молчащий, не было ничего. Одни Вершины. Но скопийцы видели их и день, и два, и годы назад. Удивить этим никого невозможно.

— Смотрите! — продолжал Безумный. Вдохновлённые напором его голоса скопийцы вновь воззрились на горы. Возбуждённые, они даже не придавали значения тому, что говорил немой, молчавший многие годы, кто не произнёс ни звука. С необъяснимой жаждой, нездешней надеждой смотрели несчастные скопийцы, куда указывало странное существо, в которого в обычной жизни каждый, даже самый нищий, считал нужным плюнуть или бросить кусок нечистоты. Кто недавно был растоптан и унижен. Молчащий не отрывал блистающих глаз от вершин. То, что он видел, потрясало его. Рваные, свисающие одежды светились на нём изнутри, как будто под ними было не бренное тело. Стоящие близко скопийцы, ошеломлённые падавшим на них светом, не могли пошевелиться. Ожидание чуда... не этим ли

жили века? Не этим ли томясь и мучаясь, как в темнице, несёт Душа свой земной путь. В чудесном ожидании замерли скопийцы. Так, затаив дыхание, ждёт младенец грудь матери. Мать не может не дать груди, иначе дитя погибнет в голоде. Но ни те, что стояли, озарённые светом, ни задние, оставшиеся во мраке дня, не видели того, что зрел Молчащий. Смутливые, потухшие в вечной злобе глаза скопийцев не были способны узреть чудо. Только что подошедшие пришли в надежде, что идёт раздача чего-нибудь съестного. Предвкушая дармовое, эти глотали слюни, торопя и толкая в спину стоящих впереди. У иных, привыкших к побоищам, уже чесались кулаки и сводило в беспричинной злобе скулы. Просто любопытные искали для глаз забавы и зрелища, способного расшевелить стынущую от безделья кровь, и, ничего не увидев и не услышав, медленно озлоблялись, переругиваясь для начала друг с другом. А Молчащий от своего видения будто ослеп, но язык его обрёл неслыханную силу, гибкость. Он говорил! Слова его не были блудом Улыба, не походили на всепожирающий огонь, что занимался в душах от речей Саллы. Неведомое, не слыханное никогда говорил Молчащий. Перед скопийцами стоял не помойный урод, питавшийся отбросами. Не униженный, и если бы хоть капля праведности сохранилась в скопийцах, они узрели бы чудо. Свет, полыхавший в глазах Молчащего, освещал всё вокруг. Но скопийцы не чувствовали на себе дыхание его красоты. Безумство гения смешит толпу или озлобляет, точно так же, как свет далёкой звезды не светит и не греет.

Упорство Молчащего начало раздражать скопийцев. Уже отовсюду неслись знаки угрозы. Почувствовав это, Улыб, стоящий у самого края толпы, облизнул пенящуюся на губах слюну. Жало его змеиного языка несколько раз выскользнуло изо рта и вновь сокрылось. Не одна капля крови Молчащего ещё не упала на землю, а он уже обонял её, алкал, сладострастная судорога покорёжила его лицо. Отделившись от взволнованной толпы, он подступил к Молчащему:

— Униженный?! Что видишь ты такого, чего не видим мы?

Дышащий, сияющий радостью Молчащий протянул руку вперёд. От этого движения свет вблизи него колыхнулся, как поверхность воды от движения ветра или весла. Улыб близко от себя увидел взметнувшиеся пальцы и почувствовал, как от них струится тепло, не обжигающее, а ласкающее, мягкое. И тут же поспешил обратиться к скопийцам, стоящим по обе стороны:

— Он ничего не видит. Он слеп, — и уже обратившись ко многим, громко сказал: — Он нарочно собрал нас своим криком. Он слеп. Он хочет обмануть нас. Он мстит, — воскликнул Улыб.

Его слова, подобно змеям, вскинулись в высокой траве скопийского невежества и лжи. Чёрным своим зрением Улыб видел вновь льющуюся из многочисленных ран кровь Молчащего. Мысленно он уже слизывал с пальцев эту кровь. Кривая усмешка поползла по его губам. Салла, стоявший рядом, мгновенно понял его.

— Да! — громко завопил он в толпу. — Обмануть много людей легче, чем одного. Нельзя видеть того, чего нет. Бейте его! Убейте!!!

Толпа — стадо. Скопийское стадо ничем не отличается от животного. Всякий, попав в него, против воли своей попадает под его неумолимый закон. Восставший против будет раздавлен. Почуявший её волю, будь он трижды подлец, возвеличен. Слово, брошенное в толпу, становится знаменем, искра — пожаром. Толпа выбирает вождя моментально, и тот волен повести её на подвиг, разрушение, смерть. Страшно обмануть толпу. Если она хотела есть — не дать ей хлеба. Если пить — не дать питья...

Молчащий не видел, а всё теснее и теснее сжималось вокруг него кольцо разъярённых скопийцев. Не слышал вкрадчивого шёпота Улыба. Яростного гнева обманутого Саллы. Слова которого уже не искрами, а горящими головёшками летели в толпу, занимаясь тут и там очагами злобы и ярости, красными цветами ненависти...

...Растерзан, растоптан, убит Молчащий. Он лежит в невысокой траве, залитой кровью. На краю песчаного обрыва, всегда служившего границей между его жилищем и помойкой, выше которой Молчащий по своей воле не поднимался никогда. По лбу, подбородку и всему лицу вьются глубокие раны. Из них льётся и уже устала литься кровь. На короткой обнажённой шее красные борозды, разорвавшие кожу в нескольких местах. Все тело обнажено и превращено в кровавое месиво. Рёбра поломаны, и всюду торчат концы костей. В груди зияющая чёрная рана, будто тот, кто пытал Молчащего, имел мысль вынуть его сердце. Рук и ног, как таковых, нет. Они раздавлены, вывернуты в суставах. Скудная одежда порвана и окровавлена, куски её брошены далеко в траву. Особенные мелкие части напоминают дьявольски-красные цветы, на лепестках которых утро раскидало свою жуткую росу.

Тучная свора мух гудит над растерзанным, опускаясь на потоки крови и прерывая свой пир, поднимается в воздух для отдыха. Но не в силах удерживать тяжести напитанных тел, падает вниз и осоловело бродит. И тогда другая свора, числом не меньше, появляется из чрева Скопища и садится на место прежней, насыщаясь торопливо и жадно.

Так, сменяя друг друга, неисчислимые множества всяких тварей питались кровью и мясом растерзанного, пока нещадное солнце стояло в небе. И когда к вечеру, в стыде, оно прикрылось тёмной тучей, вокруг потянуло холодом, сытые, разбухшие существа уселись тут же, на кусках окровавленных одежд и затихли в сладкой полудрёме. Затихли, чтобы подняться с первыми лучами и вновь продолжить пир.

Перед ночью, в полутьме слабого летнего месяца, окрасившего всё вокруг в нежное золото, раздался в наступившей тишине странный звук. Он не походил на крик, не был плачем, и вплёлся, как некий клич. И тут же ему в ответ с дальних окраин Скопища ответили те же звуки, и скоро всё окрест огласилось жуткой какофонией. Это плакали и звали друг друга к пиру животные скопийцев. Тощие, забитые существа с длинными, ободранными хвостами, с глазами, полными страха и ненависти, с вечно голодной слюной, стекающей из пастей.

Когда-то далёкие предки этих существ служили скопийцам, были не только помощниками в трудах, но и друзьями в радости, сотоварищами по Любви. Крах в отношениях меж ними и скопийцами наступил неожиданно. Жестокие времена голода заставили навсегда забыть о некогда существовавшем согласии. Теперь между встретившимися невзначай скопийцем и зверем верх брал тот, кто первым успевал перегрызть горло другому.

С наступлением дня скопийцы охотились на животных, устраивая шумные, жестокие облавы, а когда приходило царство тьмы, вступали в закон Животные ночи.

Дни они проводили в заброшенных подвалах и руинах, прячась от всего. Иные из них жили стаями, быстрыми, жестокими на расправу. Для них не существовало страха и запрета. Под покровом ночи они чинили разбой в самом сердце Скопища. Звери приходили от запахов крови в неуёмную ярость. Трупы погибших в драке поедались ими мгновенно. Хруст костей, рычание, лязг зубов и визги заполняли чрево ночи. Взъярённые, опьянённые, и всё равно не сытые, не утолённые малым куском, бродили и рыскали, поджав хво-

сты, Животные ночи. Втягивая в себя жирный воздух, настоянный на тлении скопийской жизни. Им грезились битвы, полные крови, огня, забавы и сладкого страха, когда собственный хвост кажется чудовищем.

Особенно любили они жилища скопийцев, в глазах-окнах которых полыхал яркий, обжигающий огонь. Оттуда неслись, вырываясь наружу, крики, ругань, свист, дикие песни и стоны вожделений.

Притаившись в укромных тенях, приоткрыв жаркие пасти, готовые к прыжку, к смерти, сидели до самого утра Животные ночи. С их окровавленных клыков стекала на землю вязкая слюна. В нетерпении подрагивали все члены, а в прищуренных глазах полыхал не только огонь голода, но и мести.

Иногда в ночи им везло несколько раз. Двери шумного жилища вдруг раскрывались, как огненно-дышащая пасть, выбросив из себя смрадные запахи нечистот и в образовавшийся круг огня с криком дикого отчаяния шлёпалось тело.

Несчастный скопиец, если был жив, не успевал и вздохнуть, как мгновенно жаркие клыки впивались и сжимались на его трепещущем горле. Но приходил день, и медленно, словно тень уходящей ночи, отползали животные. Только по следам безобразных пиров можно было судить о трагедиях, вызывающих не печаль, но великое содрогание Души.

В отрезке человеческого времени, называемого людьми — утро, день, вечер, есть особый момент. День кончился, потухли краски неба, но ещё не пришла ночь. Человек отработал. Душа утихла или устала, но ещё не время спать. На короткий час всё живое растеряно и заворожено. Иные садятся, не помня себя и окружающих. Другие волнуются в горячей радости, не чувствуя усталого тела. Третьи — отдаются волнующей любви, им кажется, они летят невесомо. Многие уверены, что их вообще нет на этом свете. Старики чувствуют себя счастливыми детьми, уроды видятся красавцами. Калеки полны сил и здоровья. Странное время. Задумавшись невольно, укрепляешься в мысли, что в этот час шар земной пуст. Его покидают все до единого. Люди ушли к Отцу Вечному. На короткий час, но ушли в Отчий дом. Кто погреться, набраться запаса терпения и мудрости, черпнуть радости, освятиться любовью. Уходят и возвращаются вновь. Без этого невозможно пронести мучительный земной крест. Без встреч с Вечным Отцом непосилен груз жизни. Как не допустить, что прощает он нас, терпит и, оделяя любовью,

отпускает. И ждёт обратно умудрённых, исполненных кротости и смирения. Вот почему, не чувствуя себя, сидим мы на границе дня и ночи. Потому что нас здесь нет...

В час, когда воздух наполнился скликающим плачем животных и скопийцы заперли двери гробов на последние засовы, неожиданно с неба упал сильный тёплый дождь. Он шёл недолго. Но небо засветилось, будто опять наступил день, и умытые солнечные блики засверкали на посвежевших травах. Дивный дождь промыл чудовищные раны Молчащего. Освежил глубокие шрамы лица. Если бы скопийцы не были так ленивы и вышли под дождь, они бы увидели, как с неба падал яркий свет. Словно Тот, кто светил сверху, хотел выжечь кровавую траву и вогнать в землю насытившихся, неподвижных от тяжести чрева многочисленных паразитов. Свет отпугнул Животных ночи. До падения дождя воздух Скопища наполнился запахом крови, будоража и беспокоя их. В нетерпении повизгивали они, поднимая вверх оскаленные морды, и с их уст раздались стоны, переходя на восторженный вой. Животные ночи предвкушали пир. Большие и малые стаи, предводимые каждая своим вожаком, втягивая в себя горячий воздух, направились на поле брани. Спешили и одиночки, выбирая потемнее места. Внезапный свет застал Животных ночи врасплох. Они застыли, как изваяния. С полуоскаленных морд стекала вязкая слюна. Злоба, ненависть и страх горели в глазах животных, но ни один из них не мог и зубом щёлкнуть.

В образовавшемся круге света происходило непонятное. Растоптанный, раздавленный, искалеченный множеством острых предметов, Молчащий, словно цветок земной, вдавленный в грязь, стал медленно оживать. Первыми вздрогнули пальцы, бессильные, раздробленные, они вдруг зримо для взгляда видящего стали наливаться силой. Всё остальное ещё не дышало, но пальцы уже жили, обрели память и торопились в трепетной работе. То именно была работа. Так оживает цветок под лучами, стряхивая с окоченевших членов отжившее, ненужное, выбиваясь из-под тяжести листьев и песка. И так же, словно дивные цветы-братья, вместе встречающие начало дня, открылись глаза Молчащего. В них не было боли, ни капли злости, будто не его тело ломали, резали, пинали и терзали скопийцы время назад. Они, как и пальцы, были полны напряжённой работы — продолжали видеть то, чего не могли узреть скопийцы.

В них горело теперь нетерпение. Радостное нетерпение —

успеть... успеть. По прекрасному лицу его текли кровавые ручьи. Глубокие раны тела, как чудовищные рвы, сочились. Перебитые ноги и руки, казалось, не мешали ему. Он не замечал своих ран. И не только. Он не замечал себя, будто всё изувеченное стало лишним.

В Великом нетерпении полыхали его глаза. Вдруг сломанное, растерзанное поднялось во всю мощь. И снова потоки крови упали на землю. Но это не остановило его. Каждый шаг — и лужа крови. Разорванное, искалеченное тело двигалось само. Только удивительные глаза и пальцы говорили, что во всём этом есть живой, неистребимый дух.

Он шёл к своей мысли. Шёл к видению. Перед ним расступалась наступившая темнота. И в образовавшемся коридоре света сияющая окровавленная фигура Молчащего уходила на окраину скопийской помойки, а казалось, что поднимается вверх по лестнице света.

Смотрящему виделось, что он не идёт, а летит на невидимых, блистающих крыльях. В оставшейся за ним черноте ночи долго колыхались лёгкие сияющие тени, будто золотые полотна.

Вновь небо окрасилось в два цвета. Над Скопищем, гудящим от пьяных криков, тёмные красно-багровые облака клубились, словно чудовища, будто праздновали смерть Молчащего. Там, куда ушёл Молчащий, чистое мягко-голубое небо жило совсем другой жизнью. И там был праздник, но иной... В торжественной радости, рука об руку, дрожа от восторга, а может, от несдерживаемых слёз, шли те, кто видел надругание и молился в неистовой жалости. И тут двигалась каждая небесная пылинка. Зоркий, вдумчивый взгляд разглядел бы картины и сцены жизни, а пытливая душа угадала бы в них прекрасный смысл и радостные действа...

И... вторая смерть Молчащего имела свою цену. По истечении трёх дней, глубокой ночью, когда вопли постыдных оргий, стоны несчастных жертв похоти и жестокости, прорезали небо, в невидимых далях раздалось... Будто в сильном гневе могущественная рука разорвала полотна нависших туч, и до самой середины вздрогнуло земное чрево. А на тверди скопийские гробовины-дома распались и отвалились каждый на свою сторону, обнажив бесстыдства, от которых мутится разум. Молкнет, немея, язык. Будто острый нож разрезал взбуревшее тело язвы, и потоки нечистот полились, заливая всё окрест. И испугались скопийцы своих рук в крови, творящих погань над детьми, собой, старика-

ми. Испугались сердец пустых. Взглянув один на другого, вскрикнули. И каждый в безумном страхе скрылся, где только мог. В развалинах, руинах, в уцелевших гробовинах и просто в воронках. Скопище будто вымерло. Прекратилось всякое малое движение. Скопийцы заперли сохранившиеся двери, занавесили уцелевшие окна. Кроты-скопийцы заползли в свои норы и заткнули все ходы и выходы. Ничто живое не ходило. Любой малый шорох вызывал в Скопище потрясение. Доселе невиданное стало твориться со скопийцами. Встреча двух скопийцев в эти дни кончалась гибелью обоих. Они падали тут же, на месте, от непонятного, странного шока. Живой боялся живого. Семья, запертая в своём жилье один на один с собой, страдала больше, чем одинокий скопиец. Скопята захлёбывались криком, потому что боялись родной матери. Мать-скопийка, связанная страхом перед младенцем, выла голодной зверицей. Мужчины с побелевшими, застывшими лицами, оставались недвижными во все дни страха. Иные не вставали совсем. Застывали навечно в ужасной позе парализующего страха. Целые семьи лежали окоченевшими, и не улыбка смерти красила губы мертвецов, а незнакомый, озлобленный оскал, искажающий лица до неузнаваемости.

Никто не мог объяснить, дать имени случившемуся. Дни Страха приходили и уходили. Пережившие их заново учились понимать, видеть, ходить. Ум скопийцев, и без того ущербный, изнемогал в болезни. Долго они ходили безмолвно, ибо язык не подчинялся им. Сказать простое слово скопийцу было так же невозможно, как младенцу произнести фразу. Матери-скопийки, как больные, перенесшие тяжёлую травму мозга, не узнавали своих скопят. Проходило много времени, прежде чем скопийская жизнь входила в обычные берега. Немногие знатоки скопийской жизни и вообще жизни были склонны объяснить происходящее изощрённым убийством, которому подверглось одно из замечательных чувств, заложенных в предков скопийцев. И с этим даром обошлись жестоко. Как если бы земное дерево вынуть из логова, перевернуть вверх корнями, призванными питаться подземными соками, и воткнуть верхушкой, обязанной поглощать солнечное тепло и влагу, вниз, в лоно земли. И чувство-дерево, поставленное вверх ногами, верхушкой вниз, превратилось в урода. А имя ему давнее — Любовь. Но в скопийские времена дерево-чувство, посаженное необычным образом, стало давать соответствующие плоды. Ибо если

пользоваться ножом, повернутым остриём к себе, то оно из орудия труда и защиты, становится орудием самоубийства. В дни Страха одна смерть следовала за другой. Непереносимое отчаяние нависло над Скопищем.

Однажды в чёрной беспросветной ночи вспыхнул Живой огонь. Его никогда не видели и не знали скопийцы. В начале века вышел закон, запрещающий общение с живым огнём. Живой огонь — одно из великолепнейших святых чудес жизни. Равного ему нет на земле. На небе — да, но на земле живой огонь в жизни предков-скопийцев имел ни с чем не сравнимую силу. Ему поклонялись, верили, его любили. Его любовью грелись и творили целые поколения. Живой огонь воплощал в себе всё: мечты, радость, прошлое, будущее, Судьбы и Надежды... Миг и Вечность...

Живой огонь был единственной защитой последних из свободных. Когда они, гонимые, доживали остатки жизни в потаённых, недоступных пещерках, в ущельях и просто в расщелинах скал. Ему вверяли Души, умирая в болезнях, в тоске и старости. Глубоко в горах, в тени угрюмых скал, в кельях опустевших пещер, где свищет теперь ненасытный ветер злобы, до сих пор встречаются куски земли. Здесь всё выжжено, и только низко стелется жёлтенькая колючая травка, образуя неровный круг. Заблудшая Душа невольно остановится над печальными незаживающими ранами земли, тщетно высматривая следы какой-либо жизни. Иногда осатаневший зверь пронесётся, обнюхивая холодные склизкие камни, заросшие ползучим лишайником.

Постигший или желающий постичь тайну Живого огня, предавался смерти. Постепенно, поколение за поколением, скопийцы теряли не только таинство и ритуал его рождения. В них умерло всё, что навевал, дарил и чем благословлял Живой огонь. Скоро ни один ум, ни одна рука и душа не умели родить крошечной искры того, что называлось Живым огнём. Так один за другим умирали прекрасные цветы всего сущего: огни, песни, молитвы, чувства. Навсегда умирали. И когда в кромешной ночи скопийской жизни, в огне самосожжения вспыхнул скопиец, неизвестно, как, в каком отчаянии, во сне или в откровении, познавший тайну рождения огня, то был предан смерти три раза. Его пепел собрали до последней пылинки и под сильным высоким напором воздуха, рождённого машиной, развеяли. Убогое жилище разрушили, сровняли с землёй. Огромная хищная машина, яростно скрежеща железным телом и ногами, топ-

тала обломки, пока не превратила в жидкое месиво. И уже нельзя было подумать, что тут некогда обитал несчастный Дух. Душу его предали анафеме. Произнесший его имя был казнён мучительной смертью. Такая же участь ожидала всякого, кто вздумал бы отдать тело и Душу Живому огню.

Так влачились дни и месяцы жизни скопийской. Наросты несмываемой грязи, порочности и лжи нагнетались на скопийское бытие. Во всей этой тинной болотине только Улыб и Салла чувствовали себя сытыми удавами. А невидимые стены скопийского мира сжимались, вызывая у всякого, имеющего каплю раскаяния, приступы душевного удушья.

Среди всего этого Молчащий, вылетающий из-за скопийской помойки, упорно и безумно выкрикивающий: «Смотрите, вот он!» — вызывал в скопийцах подобие жизни. Постепенно встречи с ним превратились для них в праздник. Но в праздник злобы, похоти и жестокости. А Молчащий заболевал своим таинственным видением всё чаще, был бит ещё яростнее. Часто его, неподвижного, мёртвого, сторожили несколько жестоких скопийцев, в ожидании, когда он пошевелится, чтобы вновь убить. Если дело было зимой, снег вокруг него таял от горячих потоков крови. Осенью зловещие лохмотья прожорливых хищников витали над ним, чтобы насытиться.

Но Молчащий вставал. Его могучий Дух не гнушался искалеченным, поруганным телом. Рубцы и раны заживали. Закрывались чисто и крепко. От смерти к смерти становился прекраснее Молчащий. Он как бы рос. Плечи крепли, тело наливалось дивной силой. Как лесной цветок, выживший после бурь и дождей, он смотрел на мир с любовью и удивлением. Не мог надышаться и нарадоваться. Если бы скопийцы умели видеть...

Если бы только умели видеть... Как от смерти к смерти становилось дивным его лицо. А с каждой чашей принимаемых страданий, увечий и оскорблений похотью, тёмно-синие глаза полыхали безумной любовью.

Если бы скопийцы умели поднимать глаза и головы к небу! Они увидели бы, как волнуется небесный свод. Как отделены зримо глазу, видящему золотые кручи сияющих небес, от стоящей неприступной стеной гряды тяжёлых, полыхающих злобой облаков. И за каждым из них громоздятся тени, несметным числом. Как воины, непримиримые духом.

Ибо примирение невозможно. Раз в год, когда солнце поднимается на высоту двух невысоких деревьев, в Скопи-

ще — жилище червей, происходят сборища. Из самых дальних Скопищ приходят, выползают из жилищ-нор кроты, целыми сворами, озлобленные и агрессивные, собираются молодые и сильные скопийцы.

...Как хорошо, что земные звери и птицы никогда не сходятся. Как умно, что им этого не дано природой. Ни в ярости, ни в радости, ни в большой, ни в малой беде земные звери и небесные птицы не сойдутся. Они не выцарапают друг другу глаз, не оборвут хвостов и перьев, не бросят один другому отравленные ядом стрелы-слова, не вытопчут слабых телом, не осудят слабых духом, не зарядят один другого слепой ненавидящей злобой. И никогда не сговорятся всем вместе крушить вокруг себя прекрасный и ласковый мир — ломая и разоряя собственные норы, лёжки, гнёзда, дупла и всё, что дает покой и уют.

...Один человек добр, разумен. Один цветок в расщелине скалы вызывает нежность и жалость. Его никогда не хочется сорвать, прикосновение к нему посчитаешь кощунством. Одиноким цветком хочется быть: пить прохладу ночи после каждого дня, покоить на себе ранний мягкий луч, пить туман, умывшись им. Хочется умирать и рождаться.

Два цветка, касающихся друг друга плечами, вызывают сладкую зависть, если ты одинок.

На Севере не так, как в середине земли, на юге. Цветов может и не быть, и вдруг где-нибудь увидишь их небольшую семейку. Три цветка в тиши, в прохладе куста или дерева пахнут покоем и миром, и хочется быть одним из них, зачастую самым маленьким со слабеньким прозрачным стебельком, с прочной нежной головкой, с ясными, без единой морщины, лепестками.

Четыре цветка не вызывают определённых чувств. Пять цветков заставляют остановиться и задуматься. И в мыслях продолжишь путь, не заметив шести цветков.

Но семь цветков... задерживают дыхание. Семь простых детей Земли и Солнца держат в плену душу всегда. Семь цветков встречаются редко. Спокойные в своём величии, достигшие возраста мудрости. Крепкий, налитый силой и соком стебелёк не каждый ветерок погнёт и не всякое дуновение, резкое и сильное, сорвёт атласный и мужественный лепесток. И не кружат над их головами жёлтая ослепляющая пыльца. За семь цветов не испытываешь страха, и кажется, знаешь, о чём могут говорить семь цветов. Семь цветов — согласие с собой и милость ко всему.



Младенческий плач утонул в ночи и в шелесте волн за спиной. Розовая темнота слабо нежнела вокруг, а сердце ребёнка задыхалось в страхе. Жирные чёрные волны жадно лизали ноги и спину, затягивая в жуткую бездну. Слабые пальцы впились в струи песка.

Много одинаковых цветов, заполнивших собой весь берег, всю поляну, всю долину, — раздражают. Много цветов, склоняющих голову даже не под сильным ветром, — озлобляют. Много цветов, застывших в одинаковой пыльной молитве, облитых горячим палящим солнцем, — наводят уныние и тоску. Их запах одурманивает, принося головную боль и усталость. Шёпот многих цветов напоминает шипение змеи.

Много цветов хочется скосить, яростно размахивая косой или ножом...

Один червь, ползущий по своим делам, вызывает умиление, говорит о мудрости мира и тоже заставляет поторопиться в работе... но много червей заставляют содрогнуться.

О, лучше бы скопийцы никогда не собирались вместе. В былые времена предки скопийцев ненадолго собирались вместе. Их одежды, сшитые из тёплых оленьих мехов, говорили о разумности и прочности жизни. Одеяния женщин, расшитые чудесными творениями их рук, говорили о любви, нежности и душевном покое. Лица детей были схожи с лицами цветов.

Разговоры мужчин, севших вместе, напоминали совет богов. Женские голоса звенели серебряными монистами, вплетёнными в их косы. Смех же детей звучал журчанием молодых горных ручейков, сходящих с вершин в долину для общей любви и игры.

Встречаясь и расходясь, люди становились чище, свободней душой, снимая с неё раковую накипь злобы. И мир людской очищался сам, живя в чистоте, как человек, аккуратно прибирающий каждый день свою обитель.

...Было бы лучше, если бы скопийцы не собирались вместе. Рождённые в душной темноте рабства, с телами, облачёнными в нелепые одежды, скопийцы были не людьми, а мертвецами, вышедшими в ночи. Одежды их давно истлели, расползлись, потеряли цвет и целостность. Но, сойдясь вместе, тайным, не убитым кусочком сознания, они догадывались о совсем ином прошлом. Как покойники, которые в месяц Большой темноты вспоминают о жизни. И в это время тени их посещают землю, где жили. Беспокоят людей, некогда им дорогих.

Так и скопийцы, сойдясь, вглядываются друг другу в глаза, застывают, как в столбняке, будто пытаются вспомнить обрывки неясного сна, взволновавшего душу.

В эти мгновения они смутно и тревожно чувствуют, что

между ними были какие-то другие отношения, отличные от теперешних драк за работу, от тошнотворной похабности, холодной отчуждённости и равнодушия, животных убийств друг друга.

Особенно пристально смотрят они на кротов-скопийцев, зная, что именно они помнят ушедший мир, и в нём всё иное, чем теперь. Но несчастные, запуганные, много раз битые кроты уползают от ждущих взглядов, унося с собой золотые крупицы воспоминаний о жизни-свободе. Унося и навсегда хороня в себе, а значит, унося навечно, в жуткое небытие.

И ещё долго скопийцы в первые мгновения сборищ чего-то ждут друг от друга, сами не понимая, чего именно. Так и мы в жизни своей вдруг до острой душевной боли хотим, чтобы наши близкие сказали нам особенно ласковые слова, посмотрели не так, как всегда, или обняли крепко, ничего не объясняя и не говоря...

...Но зыбкие видения умершей памяти у скопийцев настолько слабы и расплывчаты, что мгновенно исчезают, подобно обрывкам лёгкого тумана при первом же дуновении слабого ветерка. Так гаснет в тёмной холодной ночи чуть не загоревшееся от прикосновения к другой золотая искорка задремавшего костра. И уже не родиться огню. Не быть теплу и свету. Будет царствовать тьма.

В этой тьме, сгущая её до удушья, принимаются за работу Салла и Улыб. Они выждали свой час. Беззубым налимом, притаившимся в липких зарослях водорослей, сидит Улыб, разевая кровавую пасть, от чего его единственный хитроумный ус-язык пошевеливается, заманивая глупую добычу. Салла, усевшись в глубокой норке молчания, шныряет зоркими зверьками глаз из одной толпы в другую, чутко прислушиваясь ко всему. Так хищный зверь слушает ночную тишину близ себя, в ожидании добычи.

У всякой охоты свои законы. Птицу небесную бьют, притаившись в прибрежных кустах, давая ей хорошенько обмануться тишиной. И только после этого — выстрел из-за спины молчаливого берега.

Волку нужно дать возможность вонзить зубы в добычу, сполоснуть зубы в тёплой крови, дать одурманиться. Волк, убивая, не смотрит, глаза его намертво закрыты, хоть бери его за загривок. Собаку приманивают сладкой костью, потом быстро бьют по голове. Человек тоже животное, и правила охоты на него почти ничем не отлича-

ются. Человеку нужно змеёй, чёртом, солнечным лучом пролезть в душу, осмотреться там, а уж потом решать, в какое место и чем бить.

Первым на охоту выходит Салла, будто стремительный вихрь, сидевший в горах на привязи. Весь горя волнением, полыхая глазами, он начинает говорить, словно бельё полощет в проруби. Слова его ярки и сильны, как молнии в грозу, разрезающие небо на несколько кусков. Он зовёт скопийцев к Вечной правде. Зовёт яростно, как будто сам только что был у неё в гостях, пил с ней чай. И стоит только поверить ему, но только ему, и он всех: обиженных, голодных, больных, срамных — поведёт за собой.

Скопийцы вспыхивают, как облитое горючим полено. Они загораются быстро. Да, идти! Идти! У Правды хорошо. У ней много хлеба, тепла и еды. Еды! Еды! Еды! Идти к Правде немедля, сейчас же! Глаза несчастных залиты слезами. Губы в пене. Их трясёт. В голове, как гром, трещит только одна мысль — идти! Прийти первым и есть. Есть! Есть!

Салла поднимает нервно трясущуюся руку. Волшебный жест вождей. Жест бессилия и лжи — дрожащие, алчущие пальцы, как склизкие черви, нависают над головами. К ним тянется море разинутых ртов, кричащих о еде. Тысячи глаз, вспыхнувших при мысли о еде, рук, ответно поднятых вверх в безумной истерике, готовых нести его, если он по пути к Правде ослабеет.

Внизу, под ногами Саллы, под нависшими пальцами-червями, море человеческой гнили, готовой поверить опять, готовой любить и обожать, море сердец, готовых захлебнуться в очередной дозе лжи, нужной им как воздух.

Салла делает движение всем телом, скопийцы принимают это за готовность двинуться в путь. Они делают такое же движение, и лес человеческих тел приходит в жуткое волнение, как в густой чащобе, вспугнутой наскоком ветра.

Но тут... как притаившаяся меж склизких камней гадюка, выползает Улыб. Высунув язык, густо политый ядом-мёдом, облизывая кровавые губы, он крепко сомкнутым кулаком тычет в сторону Саллы, и тонким посвистом возвещает о... другой Правде. Правда тут, в сердце Скопища. Совсем недалеко, под ногами. К ней не нужно идти, ломая руки, ноги, теряя в пути головы. Правда в Скопище. Скопище солнцеподобно!

Слюна вдохновения течёт по углам его лягушечьего рта. Клочья кровавой пены падают на головы скопийцев, как

осенние листья на грудь земли, находя в ней тёплый смертный одр.

Салла готов убить Улыба. Он видит, как болванчики голов скопийцев с их горящими глазами, разинутыми ртами, будто цветы-часики к солнцу, поворачиваются к Улыбу. И уже готовы его нести, куда он прикажет, его любить, ему верить. Салла заносит руку для удара. Улыб, извиваясь от сладостного томления, чуть отползает, но не отступает.

Игра-драка слов возобновляется. Если камень сначала хорошенько накалить и потом облить студёной водой, он развалится на два или несколько кусков. Несколько раз обливаемые до одури-жара Саллой и тут же поливаемые Улыбом скопийцы раскалываются на два лагеря. Между ними ложится чёрная стрела несогласия и раздора.

...Спровоцировать собачью драку — раз плюнуть, нужно только бросить в свору не обязательно самую жирную кость, брось хоть камень и можешь быть уверен, что даже сытые из них и те, кто с ног валится от слабости, все кинутся туда. И скоро визг, рычание и кровь, оборванные хвосты, клочья мяса и шерсти, убитые, раненые — всё будет, чего только душа пожелает. А если ещё время от времени выкрикивать, вскидывая вперёд руку, «Пырь, Арь» — собачья драка доставит много часов наслаждения и азарта.

Коль скоро это надоест, прекратить смертоубийство собачье тоже просто. Нужно взять дубинку поувесистей, поудобней для руки и бить всех по головам, по спинам, не разбирая виноватых, сильных, слабых, любимых и ненавистных. И снова будет при этом кровь, визг, лязг зубов и прочее, но будет ещё и порядок. Все собаки разбегутся, поджав хвосты, ощетинив загривки, волоча подбитые члены. И всё это можно повторить бесчисленное множество раз. И ещё, если какая-то собака, сильная в груди, с мощными лапами, и вы знаете, гордая в душе и в упряжке иль в работе добрая — вдруг, оторвавшись от своры, обернётся к вам, лязгая зубами в крови собрата, пойдёт на вас, её нужно непременно убить. И никак иначе. В крайнем случае смертельно ранить и бросить опять туда, в круг тел, и будьте спокойны — уж они-то прикончат её сами в два счёта.

Салла и Улыб от потуг ума краснеют, как кровяные мешки, и только лишь капли крови не падают с их лиц. Они клянутся в любви к правде так, как не клялись ни одной скопийке в час вожделения.

Скопийцы наливаются тёмной злобой друг к другу. Одни

готовы идти с Саллой, потому что его правда — Правда. Другие плюют на эту правду, если к ней нужно идти далеко. Улыб прав — Правда тут. Жилище червей — обиталище Правды и Солнца. Пропасть между ними растёт. Чем громче кричат Салла и Улыб, тем мрачней и решительней скопийцы.

Когда разгорается слабый огонь, надо быть к нему очень внимательным. Вовремя подложить сбоку, не в сердцевину, а сбоку, сухих берестяных веточек. Класть что-либо в сердцевину опасно, огонь может задохнуться. Нужна осторожная, артистическая подкормка с боков.

Мастера своего дела Салла и Улыб раздувают вражду между скопийцами гениально. Через каких-то два, три мгновения обе стороны, как горная лавина, крушащая на своём пути всё живое и мёртвое, сталкиваются, и там, где сомкнулись первые ряды, земля даёт будто трещину.

Салла и Улыб успевают отскочить и, обменявшись улыбками Иуд, тоже начинают дубасить один другого, создавая видимость непримиримой борьбы.

Кровавое побоище науськанных друг на друга скопийцев ничем не отличается от собачьей драки. Те же визги, плачи, рычание, кровь, разлитые мозги младенцев, раздавленные кроты-скопийцы. И среди этого стон — неизбывное, человеческое горе. Стон, как музыка, сопровождающая фальшивые фильмы. Стон — голос обманутого человечества.

Устав от ложных тумаков, Салла и Улыб тихонько отходят. И тут, в покое, наблюдают поле скопийской брани. У Саллы она вызывает дикую радость. Все члены у него дрожат, как в лихорадке. Он смакует человеческую смерть, как лакомство.

У Улыба на лице что-то среднее между жалостью и отвращением, и ещё тень такого чувства, имени которому найти невозможно... Может, он поражён своей чудовищной догадкой, как молния, прорезавшей его дъявольское сознание.

«Чего ради дерутся эти уроды? — думает Улыб, и змееподобная улыбка корёжит его губы. — Что не поделили эти низкие духом и телом? Правду — обглоданную кость, которую бросил я им? Так она того не стоит. Правда — всего лишь миф, пустой миф. В жизни правды нет, и она совершенно не нужна. Как не нужно земле второго солнца, встающего по утрам на другом краю неба. Всё сгорит, останется пустыня. Ведь живут же звери без правды, в поисках которой люди угробили не одно поколение, не одно прекрасное чувство, изуродовали и самих себя, извели на нет. И всё

ради какой-то дурацкой правды, которую никто в глаза не видел.

Правда — сверкающая ложь. Она была придумана тогда, когда убивали Бога. А убив его, взамен него подсунули эту самую правду, которая сама есть ложь. Но прибрали её заманчиво, шикарно, обвесили всем, что звенит и сверкает, дав пинка под зад, выпустили в мир, чтобы дурачить всех налево и направо. А она, не будь дурой, устроилась в мире вольготно и смело, как жаба в родном болоте. И она сейчас тут, среди этих несчастных».

Улыб смотрел и видел её. Ловкая, гибкая, звеня ложными побрякушками и украшениями, она носилась от одного к другому невесомым призраком, и как только когти скопийцев вонзались в грудь один другому, отскакивала назад. И там, где правда стояла, земля окрашивалась кровью. А она алкала её ещё больше. С тех пор, как народилась правда, кровь лилась целыми морями, океанами. Всё прошлое залито кровью, усыпано костями, заполнено опоганенными душами, и сейчас на груди Времени эти мёртвые смрадные трупы тоже рвут друг друга на части ради неё. Рвут это миллионоголовое чудовище, сожравшее уже их самих и их детей тоже. На много веков вперёд заложены человеческие тела и души, а эти слепые, мечущиеся в темноте всё ещё уверены в том, что всё их принадлежит им.

Уже ничего не принадлежит. Всё заложено.

...Улыб поднимается и идёт восвояси. Губы его подрагивают в неудержимой судороге. Не смех, а всепожирающий хохот теснит его грудь, и чтобы не задохнуться, он спешит. Отыскав укромный уголок, Улыб отдается своей страсти.

Над поруганным кусочком земли, на котором горстка людей, оставшаяся от целого народа, нещадно бьёт и грызет самих себя, несётся дикий хохот. Несётся, то усиливаясь, то сникая. Так в непогоду, срываемый ветром бьётся в тоске на кладбище подвешенный колокольчик, извещая сгнивших и полусгнивших жителей, что в мире, как и тысячу лет назад, беснуется ветер.

...Объятые неуёмной злобой скопийцы ещё продолжали бить и резать друг друга, когда Молчащий взлетел к ним, как большая, сияющая птица. Волны волос развевались за ним. Освещённый малиновым сиянием заходящего солнца, он совсем не походил на того Молчащего, которого знали скопийцы. Которого убивали и никак не могли убить.

Он поднимался стремительно. Не успели скопийцы ото-

рваться один от другого, ещё горячие в своей злобе, как он уже высился над ними. Такого Молчащего никогда не видели скопийцы. Он стоял перед ними, как гигант. Как могучее дерево-красавец, голова-верхушка которого величественно упирается в облака. Черты лица, казалось бы, знакомы. Сколько раз скопийцы резали на нём знаки жестокости. Пинали и топтали, кусали зубами, рвали ногтями. Сейчас это лицо было чисто и девственно, как у младенца. Лишь лучи солнца покоились на нём, и в их свете великолепные глаза Молчащего источали свет и радость. Будто пред ним были не его мучители, предавшие его смерти не раз и не два, а братья по духу, по любви и радости.

Он протянул высоко перед собой могучие руки, и все увидели его пальцы. Много раз перетоптанные, перебитые, раздавленные, выбитые из суставов, они являли чудное зрелище. Как животрепещущие исполинские корни, они светились. Были изрезаны, самые кончики их сочились кровью, которая стекала вниз по потрёпанным одеждам.

— Смотрите! — как всегда воскликнул Молчащий и ещё выше поднял свои израненные, разбитые пальцы. — Я руками сотворил того, кого вы не могли увидеть глазами. Смотрите, ждите и славьте!

И как только он произнёс это, скопийцы оторвались друг от друга. И каждый приготовил своё орудие, направив его на Молчащего. Этот Безумный должен быть уничтожен. Навсегда! Если кто и хочет обмануть их, так это Он. Он обманывал их столько раз. Куда смотреть?! Что видеть, когда кругом отчаяние и смерть, когда кругом тьма.

Озлобленные, науськанные друг на друга скопийцы стеснились вокруг Молчащего. Их лица, искажённые злобой, с оголёнными зубами-клыками, их орудия — всё приближалось. Но Молчащий не сдвинулся с места. Он смотрел на несчастных сверху вниз. Протянул перед собой руки, чтобы всех их собрать в горстку и, прижав к груди, как малых, прикрыть и спасти.

Слёзы любви к безнадёжно слепым прилили к глазам, и он только мог произнести, как заклинание:

— Смотрите, ждите и славьте!

Эти слёзы скопийцы приняли за страх. Нищие духом, они не подозревали, что для Молчащего нет смерти. Нет страха. Что выросший во тьме, в теле земли, он не знал Тьмы.

С воплями, рычанием и лязгом зубов двинулись скопий-

цы на Стоящего. Лезвия их орудий блестели, как молнии. Как два могучих дерева, дрогнули ноги Молчащего, когда бесчисленные лезвия и ножи впились в них. Скопийцы рубили эти могучие ноги, как рубят деревья. Потоки крови брызнули на них, но это только взъярило всех. Те, кто не мог проникнуть поближе к добыче, протягивали дрожащие в злобе руки, пытаясь достать до терзаемого.

Но Молчащий стоял. И если бы хоть один из убийц осмелился, нашёл в себе духовную каплю милосердия взглянуть вверх на лицо Молчащего, может, остановились руки, ножи, топоры, и озлобленная слепая кучка прозрела бы, ужаснулась содеянному. Слезами раскаяния омыла раны, смыла мрак и грязь собственной души.

...Стонет дерево, содрогается могучий ствол. Боль пронзает каждую хвоинку, напряглись дивные корни. О!!! Кто и зачем вложил наши души в тела?.. Кто придумал кровь, стекающую по острым лезвиям ножей и топоров...

Качается синий небосвод. Откуда эти слёзы? Кто плачет? Или Золотистая женщина из далёкого прошлого роняет на дитя свои слёзы и не может сдержать их. Мама... Чьи слёзы текут по щекам моим? Чьё дыхание на лице? Чей я слышу голос? Чья любовь разлита кругом? Иль это тёплая кровь?.. Нет. Это Любовь... Они любят меня. Я показал им свет и радость. Их слёзы омывают мои раны... Господи, помилуй их!

Издав крик победы, скопийцы расступились, чтобы освободить место падающему. С их орудий стекала на упавшего обильная кровь. Её вид будоражил и веселил скопийцев. С криками радостного торжества они вновь обступили умирающего.

...Господи!!! Благослови их... Они омывают мои раны слезами радости. Очами души ласкают мой взор. Лепестками нежности касаются чела. Они прозрели, Господи! Помилуй и люби их так, как они любят меня. И как я люблю их.

Расталкивая всех, к телу Молчащего пробрались Улыб и Салла. Их час настал. Они обнялись в неуёмной радости. Улыб обмакнул свои жирные пальцы в лужу крови под ногами скопийцев. Смочил губы и, облизав их, обратился ко всем:

— Вы должны убить его навсегда. Убить, чтоб не ожил. Убить... И тогда жизнь будет спокойной, полна наслаждений и еды.

При упоминании о наслаждении и еде, скопийцы вскрикнули, как один. Волна дикого восторга обуяла их. Надо

убить это Чудовище, и жизнь Скопища наладится. Придёт покой, наслаждение и изобилие...

— Он беспокоил и обманывал вас. Убейте его каждый кусок. Раскидайте тело по ветрам, болотам, киньте на съедение Животным ночи, — вскричал Улыб и сам еле успел отскочить.

Множество топоров и ножей впились, врезались в тело Молчащего. И скоро каждый в диком торжестве поднимал над собой куски окровавленного тела. Невиданное ликование охватило скопийцев. Они целовались, будто наступил Великий праздник. Мазали лица друг друга кровью Убиенного. Каждый вырывал из рук куски мяса и костей Молчащего и подбрасывал их вверх, как дивную игрушку, доставляющую детскую, озорную радость.

Голова Молчащего осталась у ног Улыба. Открытые, чистые глаза с невысохшими на них слезами смотрели на Повелителя Тьмы. И в них Чудовище видело то, чего больше всего боялось. Любовь... Умирая, Молчащий любил своих убийц. Жалких, сгнивших заживо скопийцев. Сейчас торжествоваших победу над ним, делящих и отбирающих друг у друга куски его мяса. Будто это были ломти хлеба, могущие утолить их голод, а капли крови — удивительным питьём, способным залить тёмную жажду.

О, эти несчастные... Не знали и не знают другой пищи. Их духовные глаза закрыты, и на них печать Дьявола. Духовные уши заткнуты наглухо, и их не касается ни дивная песнь небес, ни голоса увещевающие. Их уста сгнили для молитвы, их дыхание смрадно. Осознание — закрытая дверь, и напрасно стучатся, бьются об них, терзая и разбивая себя, Сыны Света во все времена. Другая пища ублажает их сердца и наполняет чрева.

Но, Боже, образуми их! Чтобы слёзы и кровь мучеников, сынов твоих, кровь сына Единородного, распятого на Голгофе, доставляла им не радость, а дивные слёза раскаяния. Чтобы плакать им неутешно о тех, кого предали-распяли.

Улыб в бессильной ярости хотел пнуть лежащую перед ним прекрасную голову. Хотел, как всегда, скривить свои губы в усмешке дьявола. Но одеревеневшие вдруг члены не слушались его. Он попытался вызвать из тёмных глубин души своей мертвящий сатанинский хохот. Но этот ужасный звук застрял у него в горле, распух и превратился в огромный ком. Дыхание распёрло грудь. Будто ужасное Чудовище воцарилось в нём и, не находя выхода, заметалось в диком отчаянии. Улыб схватился за горло. Перед ним продолжали

бесноваться скопийцы. Их искажённые, страшные лица и выпученные, одичавшие глаза полыхали неудержимым торжеством. Последнее, что почувствовал явственно Улыб, теряя себя в своём разорвавшемся существе, презрение и отвращение к падшим. На глазах у изумлённых скопийцев Улыб разлетелся на множество мелких кусочков со страшной скоростью, растворившихся в пространстве. И вслед за этим раздался над ним так хорошо знакомый дивный голос:

— Смотрите, ждите и славьте!

В небесах, над землёй, под ней, отовсюду, куда бы ни повернулись, ни взглянули ошеломлённые скопийцы, отовсюду нёсся высокий, прекрасный, уходящий в выси голос Молчащего:

— Смотрите!

Вздрогнули небеса над Скопищем.

— Ждите! — звенел голос Молчащего.

И будто множество ликующих в восторге повторяли кряду за ним:

— Ждите... Ждите...

— Славьте! — раздался последний возглас Молчащего. И всё небо от края до края, до самого дальнего горизонта озарилось, вспыхнуло ярчайшим светом, никогда доселе невиданным. Казалось, вспыхнула и загорелась земля. Домагробовины осветились, невыносимым уродством, гнилью, уродством, ничтожеством обнажилось всё скопийское.

Под этим горящим, сияющим небом заметались скопийцы, перепачканные кровью Молчащего. Невыразимый ужас наполнил все их существа. Совсем близко, в ярком полыхающем свете они увидели друг друга, сжимающих в руках куски убиенного. Эти куски вдруг стали жечь им руки, в ушах неустанно слышалось:

— Идите! Смотрите!

Сияющее небо опустилось низко над Скопищем, и чудилось, будто множество голосов повторяли настойчиво:

— Идите! Смотрите!

И под этим сияющим небом, на испоганенном кусочке земли, на самом краю страдающей, задыхающейся планеты, объятой гневом Дьявола, произошло чудо, которое не стыдно назвать чудом. Да благословен будет глаз, узревший его. Благословенно ухо слушающее. Благословен разум понимающий, и чудотворна душа принимающая.

...Скопийцы остановились, как вкопанные. Куски убиенного выпали из их рук, и ещё не доходя до земли, прямо

на лету превратились в чудные цветы невиданной красоты, наполняя своим ароматом и благоуханием всё вокруг. Чудные цветы не только цвели, но и пели. Их песни не походили на песни скопийцев. Сойдясь вместе, эти дивные песни сплелись в цветной венок и вились вокруг скопийцев, сходясь и расходясь. Их голоса и все звуки непередаваемой нежности и любви летали и витали вокруг изумлённых скопийцев. И казалось, что кто-то ласковый гладит скопийцев по головам, спинам, по обнажённым ногам.

И правда, взглянувши друг на друга, скопийцы увидели, что на них нет одежд. И у ног каждого лежат серые кучки пепла, будто кто невидимый раздел их заботливой, неслышной рукой и поджёг их гнилые, тошнотворные одёжи огнём невидимым, негорючим.

Взглянувши в себя теми очами, о которых так тосковал Молчащий, скопийцы увидели себя детьми.

«Идите! Смотрите!» — сказал уже знакомый голос, полный любви и нежности, и именно таким услышали его скопийцы. И они пошли. Пошли сами. Голос Молчащего не сказал им, куда идти.

Скопийцы-дети, взявшись за руки, спустились туда, куда никогда не спускались. Никакие чувства не владели ими, кроме детского желания увидеть то, о чём им говорил Молчащий.

Скопийская помойка исчезла, как будто её и не было. Им встречалось множество поющих цветов, которые вились вокруг них, заигрывая и ведя как будто. Многие садились на плечи идущих и пели им на ухо шелестящие лёгкие песни, сладко щекотавшие души тех, кто слушал.

Путь привёл к жилищу Молчащего. Все узнали его сразу, хотя многие в жизни не видели в глаза. Убогое жилище Ушедшего являло собой небольшое возвышение земли, заросшее детьми природы — травами, цветами, деревцами. Они приветствовали всех тихим печальным шорохом...

И опять скопийцы почувствовали себя маленькими, одинокими, без матери и отца, как будто брошенными, позабытыми родителями. Почувствовали себя растерянными, не знающими, где их путь. Где дом, где прошлое. Что было в нём, где будущее, и что будет в нём. Где смысл, где радость, где смерть и где жизнь. Будто они родились миг назад, и ничто неведомо им. Они забыли совершенно ужасное скопийство, Дьявольское Скопище.

Золотая, звенящая пустота осталась позади, и они даже не посмотрели назад, на Скопище. В одно дыхание дышали

они. В одни глаза смотрели. Вложив в свой взгляд всё, что составляло сейчас их суть — они дети.

И от этого дыхания, от силы глаз убогое жилище Молчащего распалось, как лёгкий туман. И на золотых его руинах удивлённые дети-скопийцы увидели... Увидели теми глазами, о которых тосковал и плакал Молчащий...

...Со груди сверкающей глыбы на скопийцев глянул... Божественный Лик... Глаза того, кто был распят на кресте две тысячи лет назад, изливали на людей своих тот же свет — любовь и милосердие.

И спала белёсая полоса мерзости с душ и глаз скопийцев. Волны света, тепла и радости прошли по ним от макушки до пят. Встали они перед Ликом, как в неведомом прошлом для них... как бы в начале пути. А в распахнувшемся сознании каждого прошла сиятельная тень Божественного Отца, и неутолимая жажда прикоснуться, дотронуться, в великой усталости преклониться овладела скопийцами. Так, пройдя тяжёлый, мучительный путь, припадаем мы к отчему порогу, не имея сил переступить его. Но каждая клетка нашего существа вопиёт — там нас ждут, там простят, там нас любят.

Усталые, изнемогшие, обливаясь слезами, скопийцы воздели руки к Зовущему... И тут же небо в вышине, до сих пор молчавшее, застывшее, раскололось на части, и оттуда, из сверкающего далека упали на землю, на Скопище горящие куски огня. Они неслись, как яркие золотые стрелы и, падая, достигая своей цели, вспыхивали.

Не прошло и мгновения, как Скопище, от края и до края занялось огнём. Живым огнём. Горели дома-гробовины с их затхлым гнилым чревом, где человеческий дух был осквернён и унижен. Горели убогие вонючие притоны — убежища похоти и разврата. Горели, трещали, распадаясь брызгами огней, дома богатых, жестоких, сытых. В праведном огне горела мразь, погань, страх. Горела сама Тьма.

И в этот миг горящее небо соединилось с пылающей землёй, и сплошная золотая гудящая стена диковинного Огня встала перед скопийцами.

Никто не сделал шага назад. Озарённые лица были серьёзны, торжественны. Печать усталости уступила место величию. Последние поднялись с колен, когда первые, воздев глаза, прошептали:

— Отче, прими нас, — и шагнули в бушующее пламя.

— Отче, прости нас, — прошептали последние и скрылись в золоте Огня...



боюсь предсказывать. Но ничего не могу с собой поделать. Золото спасительного Огня стоит перед глазами Души. Золото Огня искупительного.

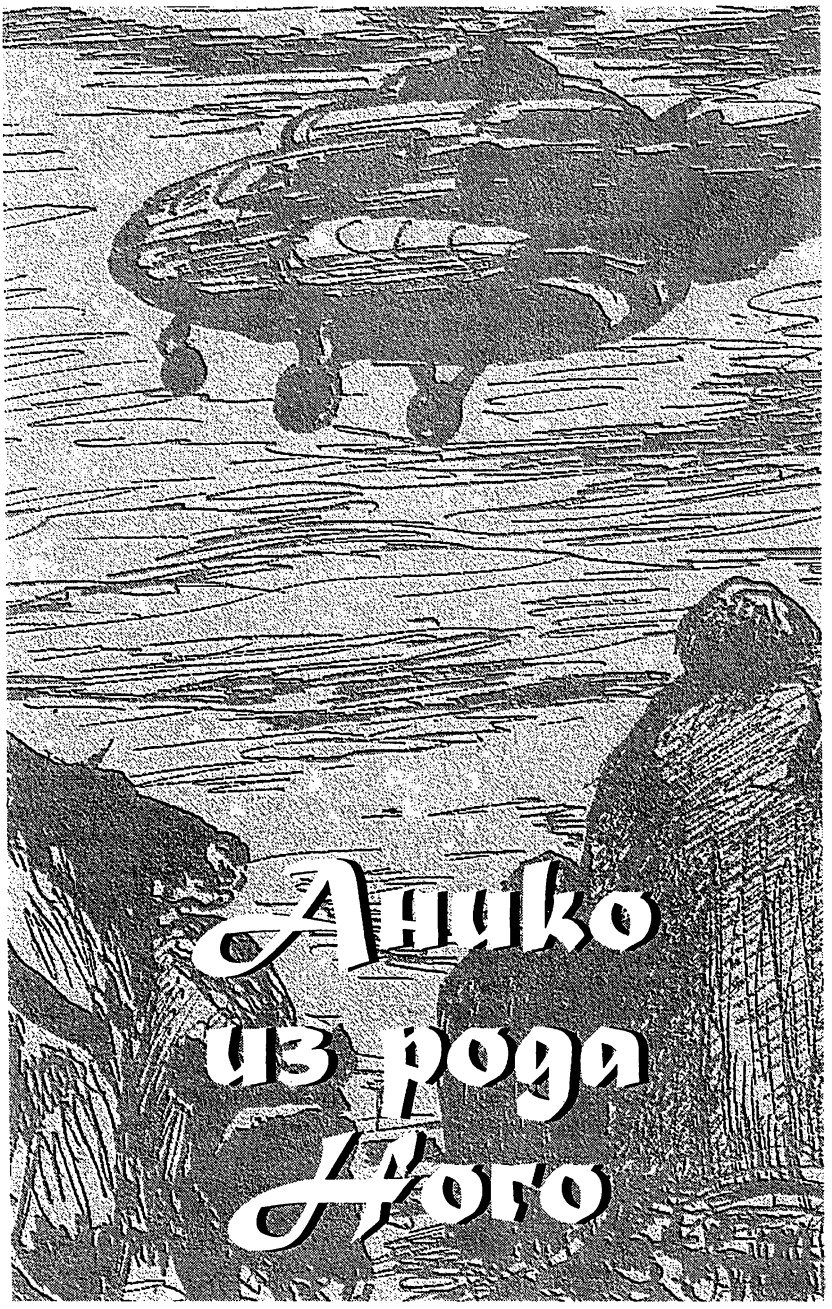
Слышу голос Зовущего. Чувствую любовь Любящего. И ему одному известно, сколько слёз пролито. Сколько мук Души испытано. Но чего не было и нет — сомнения. Самой лучшей участью тела и души посчитаю ту, что описана. Повесть эту считаю своим покаянием и очищением. И вместе со скопийцами в миг последний перед лицом Огня восклицаю:

— Отче — прими нас!

— Отче — прости нас!

За себя восклицаю и за всех.

9 сентября 1996 года
п. Лабораторная


Анико
из рода
Ного



олк положил морду на лапы и прислушался к вою пурги. Здесь, в укрытой снегом норе, было тепло и спокойно, но тело зверя иногда вздрагивало, и он крепко жмурился. Ему хотелось уснуть, чтобы набраться сил, — вот уже несколько дней живот волка пуст. Ненцы прозвали его Хромым Дьяволом за хитрый ум и чёрные дела. Поспит он, потом поднимется и на зимнике задерёт оленя.

Люди часто оставляют на дороге до утра измученных животных, которые не могут дойти до стойбища. Рядом с обессилевшим оленем ставят пугало: надевают на палку или деревце шкуру, пахнущую человеком, прикрепляют сук — будто кто-то с ружьём стоит.

Хромой Дьявол не боится этих «сторожей». Однако подходит к оленю осторожно. Он давно усвоил жестокий, несправедливый закон: зверь на двух лапах всегда убивает зверя на четырёх. Тут свой мир, свои законы и счёты. Хромой Дьявол знает это: потерял из-за людей заднюю лапу... Прежде у него не было к людям зла и ненависти. Он был счастлив. Имел своё логово под землёй, четырёх широколобых волчат и волчицу. Но однажды, возвращаясь с охоты, попал в капкан. Капкан был большой, не такой, что люди обычно ставят на глупых песцов, насторожен, видно, на крупного зверя. Волк провозился с ним всю ночь. А под утро, когда рядом остро запахло человеком, перегрыз себе лапу.

После этого Хромой Дьявол ушёл из стаи. С годами одиночества пришли и ум, и ловкость.

...Внезапный звук, похожий на крик человека, прервал чуткий сон волка. Он насторожился. Повернул, прислушиваясь, морду, и на шее обозначились рубцы и шрамы.

Крик, заглушаемый стонами вьюги, повторился. «Зверь на двух лапах!»

Злобу, горячую, обжигающую, почувствовал волк.

Глухо зарычав, он сжался, бока втянулись.

С тепла на холод — не очень приятно. Ударил ветер, и Хромой Дьявол чуть не упал. Три лапы — не четыре. Постоял недолго и не спеша заковылял на запах.

Стойбище затаилось. Ночью буран всегда кажется опасней, чем днём. Бывает, что шесты, составляющие скелет чума, не выдерживают — и ветер ломает жилище людей, уносит с собой вещи, нарты. Здесь, в тихом ущелье, буран не так страшен — ветер со свитом пролетает выше, оставляя за собой белёсый снежный хвост.

Чумов в ущелье три. Один принадлежит Ного Себерую, рядом стоит чум его друга Ледкова Пассы, а чуть подальше живёт Лаптандер Алёшка с матерью и братишками.

Чумы стоят в окружении нарт с туго упакованной домашней утварью. Есть и порожние нарты, на которых сейчас полно снегу. Перед каждым чумом лежит большая куча сухого валежника. В тундре с топливом плохо.

Ветер хотя и не очень свирепый, всё-таки проникает в ущелье, скрипит нартами, сердито бьёт по стенкам чумов, но они только стонут, не подвластные ни снегу, ни ветру.

Сурова тундра не только климатом, сурова самой жизнью. Время здесь словно остановилось, и кажется: вот-вот появится из белой метельной круговерти огромный мамонт.

К утру буран затих, но от того, что тяжёлое свинцовое небо нависало низко, на земле было сумрачно и неприветливо. В такую непогодь никому не хотелось шевелиться, и чумы, стоящие в ущелье, ещё не курились сизым дымком.

Недалеко от стойбища на заснеженном урочище сбилось в кучу стадо. Покачивается на ветру лес могучих рогов. Олени держатся вместе, согревая друг друга.

Вчера утром Пасса, заметив, как хмурится лоб хребта Саурей, пригнал оленей в глубину ущелья, поближе к людям. Мало ли что может случиться... И не ошибся.

Пасса с Алёшкой всю ночь охраняли стадо, а сейчас Пасса сидит на своей нарте, смотрит в сторону чумов: не появится ли дымок. Очень хочется чаю. Кажется, всё внутри застыло, хотя савак у него новый, тёплый и шерсть его ещё довольно густа. Звенящие сосульки повисли на бровях и усах Пассы, и он осторожно обдирает их. Рядом Алёшка пытается закурить, но в спички попал снег, и они не загораются.

— Сей год это последний буран, — сказал Пасса, подавая Алёшке свои спички.

— Почему?

— Злости в нём много. Недобрый буран.

Небо теперь смотрело почти невинно; кое-где сквозь взъерошенные облака проступала даже робкая голубизна, обещающая нечто весеннее, и лишь над хребтом Саурей попрежнему висела лохматая чёрная туча.

Себеруй не спал почти всю ночь, слушая истошное завывание метели. В такие бураны даже десять шкур, укрывающих чум, кажутся паутинкой. К тому же в ногах ворочался Буро, огромный старый пёс, и всё время стаскивал ягушку, которой Себеруй прикрыл себя. Собака тоже не спала. Сегодня они с хозяином остались вдвоём в чуме.

Жена Себеруя вместе с маленькой дочкой уехала позавчера за продуктами и ещё хотела завернуть к подруге, чум которой, по слухам, стоял недалеко от посёлка. Внезапно начался буран, и Себеруй, конечно, забеспокоился: не застал ли он их в дороге.

Сон пришёл лишь к утру, и то ненадолго. Приснилось, будто жена с дочкой вернулись и уже пьют чай, девочка просится к отцу на руки, и Себеруй, радостно и нежно улыбаясь, тянется к ней.

Проснулся он внезапно и сразу заметил, что ветер уже ослаб — не так зло треплет стенку чума — и снег из мукаданзи, дымового отверстия, больше не сыплется.

Буро поднялся, насторожил уши, прислушиваясь к звукам, доносящимся с улицы.

«Пасса с Алёшкой приехали», — подумал Себеруй. И тут же услышал голос Пассы:

— Нэвэ, вставайте-ка, чуть не весь чум занесло.

— Ничего, бывает и хуже.

Себеруй откинул полог, закрывавший дверной проём, и услышал позвякивание лопаты — Пасса откапывал вход с улицы. Чтобы не сидеть без дела, Себеруй стряхнул снег с постели, с посуды, затопил печку. Жена, перед тем как уехать, приготовила сухих дров, и Себеруй возился недолго. Обычно после бурана затопить печь под силу только женщине.

Выйдя из чума, Себеруй прищурился — таким ослепительно белым был снег. Сел рядом с Пассой на нарту-легковушку, завёл разговор об оленях и буране.

Себерую шестьдесят четыре года. Роста он небольшого, серые глаза всегда внимательны и добры.

Пасса выглядит моложе Себеруя, хотя они одного воз-

раста. Он тоже небольшого роста, но в плечах шире, а походка... В походке ненца всё есть: и плавность, и твёрдость, и гордость, и достоинство. Пасса затянут поясом, обшитым красным сукном, с самодельными медными украшениями. Сзади на мелких цепочках висят пять волчьих зубов — знак доблести охотника. А сбоку — ножны, тоже украшенные пластинками меди, шило в костяном футлярчике. О мужчине судят по тому, как тот подпоясывается. Если полы малицы ниже колен и мешают ходить, то охотник и мастер он неважный. О Пассе этого не скажешь. Он всегда собран, и даже когда ненадолго выходит из чума, вид у Пассы такой, будто он отправляется на охоту. Пассу в стойбище, да и во всей тундре, уважают. Как охотник он мудр, знает места, богатые ягелем, умеет провести аргиш по любому бездорожью. Но люди тянутся к нему ещё и потому, что он настойчив. Услышит, что кто-то ребёнка в школу не хочет отдавать, спешит в то стойбище. Иногда специально упряжку запряжёт и поедет за много километров поговорить с отцом-упрямцем.

За чаем, узнав, как идёт песец, не беспокоит ли волк, как бы невзначай просит закрыть глаза и спрашивает:

— Темно?

Получив ответ, продолжает:

— Теперь открой. Светло. Бумагу знаешь — с глазами ходишь, а нет — мал-мал слепой. Сейчас в жизни не только след песца надо видеть.

Пастухи смеялись над его объяснениями, но ребятишек учиться отдавали.

И ещё Пасса отличался умением верить.

Пришла Советская власть — он первым в стойбище поверил и помог ей. Была война — верил в победу. И за веру и труд был награждён. Они с Себеруем получили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Сейчас он твёрдо верил: детей надо учить грамоте, чтобы те, у кого голова толковая, придумали хороший, тёплый чум, в котором зимой можно было бы снимать малицу, не только когда печка топится. Неплохо было бы иметь в чуме и радио, чтобы по-ненецки иногда говорили обо всём, что на земле делается, и хорошо бы ещё лампочку повесить, как в посёлке.

Все эти мысли Пасса держал пока в голове. Ждал, когда сын его, который сейчас учится в шестом классе, подрастёт и начнёт понимать серьёзные вещи.

Пасса пригласил Себеруя на чай, и теперь тот, сидя рядом с другом, допивал уже четвёртую чашку. Пили, как всегда, неторопливо, степенно. Чай в тундре всё: он и согревает в стужу, и снимает усталость после охоты или долгих переходов, это и ритуал, и знак уважения к гостю.

Женщины умеют готовить чай из травы, которую они называют «чай птички». Он получается зеленоватым, но очень вкусным, а старые ненцы говорят, что и полезным.

Себеруй радовался в душе, хотя радости своей и не выказывал: буран прошёл, скоро жена с дочкой вернутся. До посёлка недалеко. На сытых оленях быстро домчатся, к обеду уж дома будут.

Напившись чаю, он принялся вытёсывать новенький лёгкий хорей. Как-никак невеста растёт. А в школу Себеруй её не отдаст. Нет. Никогда. Сколько бы Пасса ни твердил «темно», «светло» — не отдаст. Уедет в город, как старшая, забудет чум, оленей. Тогда никто не поддержит очаг рода, и будет ни «темно», ни «светло», погаснет очаг.

У Себеруя есть ещё дочь, но никто в стойбище, да и сам Себеруй, не знает, где она сейчас и сколько ей лет. Может, девятнадцать, а может, двадцать. Девочке ещё и семи не было, когда в чум Себеруя приехал на лошади русский. Поговорил — и увёз Анико в школу. И с тех пор Себеруй не видел дочь даже во сне.

В ту же зиму Себеруй укочевал в горы, где летом меньше комаров и не так жарко. Приехала дочь на каникулы — ни мамы, ни папы. Пожила у чужих, зарабатывая себе кусок варёной рыбы, а на следующее лето уже не показалась. У русских-то, видно, лучше было.

Себеруя можно понять: не всякому доверишь то, что с трудом добывал и о чём мечтал всю свою жизнь. Приходилось покупать отощавших оленей, отдавать за каждого несколько бочек хорошей рыбы, а потом ухаживать за ними. Устраивал, охорашивал жизнь, трудился, как нехитрый олешка, никого не обманывая, а нет-нет да и мелькало в душе: «Вроде как виноват ты, старый, перед Анико».

В такие минуты Себеруй брал на руки вторую дочку, маленькую ещё, молча ласкал её, решив, что теперь вся его жизнь в этой девочке. А за Анико Идолы простят его.

К обеду погода совсем улучшилась. На земле и на небе стало ясно, только усталая позёмка медленно и задумчиво ползла, запинаясь о сугробы и камни.

Себеруй всё чаще смотрел в сторону леса, откуда долж-

на была появиться жена. Зная нетерпеливый характер Некочи, он тревожился. Жена всегда торопится домой, будто без неё чум развалится или огонь в нём погаснет. Иную женщину из гостей арканом не вытащишь, всё бы ей у соседки сидеть да чай пить. А Некочи любит свой чум и каждую вещь в нём. Она умеет радоваться всему. Иной раз неожиданно засветится от какого-нибудь пустяка и потом весь день дарит свою радость и Себерую, и соседям.

Неслышно подошёл Пасса, присел рядом на нарту. Себеруй отложил хорей и достал буро-жёлтую табакерку из мамонтовой кости. Насыпал на ноготь большого пальца табаку.

— Я сейчас савак твой из-под снега достал, — сказал Пасса.

— Его же Некочи с собой взяла, — Себеруй не донёс понюшку до носа, так и застыл.

— Забыла, видно.

Сердце защемило. Без савака даже в обыкновенный мороз замёрзнешь. Себеруй задумался. Подошёл Буро. Умными глазами посмотрел на хозяина, и Себеруй ясно увидел в его взгляде беспокойство, участие, ласку. Много лун, много вёсен на земле прожито, но он не помнит, чтобы взгляд у этой собаки выражал что-либо иное.

— Как твой ум ходит, Буро? Где хозяйка?

Буро отвернулся, всем своим видом показывая, что ответить не может.

— Кого ты запряг передовым? — спросил Пасса. — Подай-ка табакерку.

— Тэмуйко. Олень умный, сам знаешь, дорогу понимает...

Себеруй хотел ещё что-то добавить, но промолчал. Он вдруг подумал, что не всегда хороший олень спасёт хозяина в чёрную пургу...

Алёшка спал после ночного дежурства, и мать ходила на цыпочках. Разожгла огонь, повесила над ним чайник и котёл с мясом. Двух младших братьев Алёшки выпроводила на улицу. Буран стих. Пусть побалуются, а то сидят и стучат камнями. Покупает им Алёшка игрушки: зайцев, собак, пистолеты. Ничего не признают. Подавай им камушки, и всё тут. Красивые камни, некоторые с белой полоской посерёдке, есть с мудрёным шаманьим рисунком, а есть и просто чёрные. Мать собрала их, аккуратно сложила в мешок и спрятала в посудный ящик, куда детям не разрешается лазать. Пусть поищут, а то не дадут старшему поспать.

Мать подсела к огню с шитьём, прислушиваясь к голосам мальчишек на улице. Идолы подарили ей четырёх сыновей. Один учится в школе, но он вернётся, и четыре удалых охотника будут бороздить тундру на белых, как снег, быках. Разве может не гордиться сердце матери? Старшему только двадцать лет, а он уже настоящий мужчина, взрослые мудрые охотники говорят с ним как с равным, а могучие быки его ничуть не хуже быков Себеруя и Пассы. И бумагу Алёшка знает. Говорит на другом языке, как настоящий русский. И с людьми, которые чего-то в земле ищут, Алёшка беседует так же просто, как с ненцами. Когда чум стоял недалеко от Харасавэя, Алёшка однажды уехал к русским, и его целый день не было. Вернулся вечером, о чём-то долго думал, лицо его то загоралось радостью, то хмурилось. Мать ничего не спрашивала. Пусть думает, он мужчина, кормилец,— думай и за мать, и за братишек.

Мысли матери прервал один из мальчиков, который, просунув голову в чум, крикнул:

— Ма!

— Тише. Что?

— Пасса велел будить брата.

— Зачем?

— Не знаю. Пусть выйдет.

— Не дадут поспать. Будто Алёшка один, — заворчала мать, но, вспомнив, что у Себеруя уж который день болит спина, а сам Пасса тоже сегодня не спал, стала осторожно и нехотя будить сына.

Алёшка просыпается с трудом.

— Что, ма?

— Пасса зачем-то зовёт.

— Некочи приехала?

— Нет.

Алёшка встревоженно сел. Лицо, чуть припухшее со сна и от усталости, стало сосредоточенным. Мать подала ему сухую малицу и кисы. Алёшка вышел, а она, жалея сына, снова принялась ворчать, и он даже на улице слышал её недовольный голос.

Пасса ждал Алёшку возле чума.

— Потом поспишь. Некочи не вернулась... ещё...

— Мать говорила.

— Поезжай на моей нарте по дороге. Савак возьми.

— В посёлок заезжать?

— Да. Расспроси, когда её видели. Нашим не говори, что

едешь. А матери можешь сказать, что олень ночью от стада отбился. Надо, мол, искать.

Алёшка кивнул.

— Чаю-то попил?

— Успею.

— Попей. Кто знает, сколько придётся искать. От последних слов обоим стало нехорошо.

Себеруй не мог больше ждать. После обеда попросил Пассу пригнать ездовых и запрячь упряжку. Тот молча кивнул. И вдруг...

— Смотрите!— закричали дети, указывая на дорогу.

Кто-то приближался к стойбищу.

Собаки запоздало залаяли, чтобы оправдаться перед людьми, только Буро всё ещё колебался: стоит ли позориться? Вдруг это хозяйка?

Себеруй пристально, до рези в глазах, вглядывался в летящую навстречу упряжку. Сердце его будто сковало холодом. «Нет, не Некочи это. Алёшка».

А Пасса всматривался в то, что лежало на нартах за спиной Алёшки, и лицо его побледнело.

Алёшка с ходу резко остановил упряжку. Олени тут же упали. Дышали они загнанно, с хрипом. Алёшка, бледный, со страшно искажённым лицом, дикими глазами, молча прошёл мимо людей. Остановился, повернул было к Себерую, но, крепко закусив дрожащие губы, застыл около Пассы. Тот на него не смотрел.

— Нашёл, — выдавил Алёшка и медленно шагнул к Себерую.— Отец, пусть у тебя сердце будет больше неба.

Себеруй не слышал его. Он стоял неловко согнувшись и упрямо смотрел на нарту. Ветер шевелил край шкуры, прикрывавшей поклажу, пытаясь сорвать, будто хотел показать людям то, что лежало под ней. Себеруй, выпрямившись с трудом, сделал то, чего не мог или боялся сделать ветер...

Буро, до сих пор настороженно следивший за ним, вдруг прыгнул к хозяину и, неожиданно лязгнув зубами, зарычал.

— Ля-ля, — ласково позвал Пасса, но пёс оскалился и на него. Сел на задние лапы и протяжно, со стоном, завыл. Собаки поддержали его.

Себеруй стоял, закрыв лицо руками. От него отошло всё: и люди, и время, и даже он сам, остался один крик. Ужасный, разрывающий душу. Крик сердца.

Алёшка и Пасса осторожно положили на шкуры люльку

с девочкой. Её опухшая ручонка резко выделялась на меховом одеяльце. Истерзанное тело Некочи трудно было назвать телом. Лишь голова в пятнах крови на губах и щеках осталась нетронутой.

Буро продолжал выть, и Себеруй, словно проснувшись, поднял голову.

— Буро, ляг, — прошептал он.

Услыхав голос хозяина, Буро замолчал и лёг у его ног, вздрагивая и поскуливая. Пасса склонился над останками.

— Он. Хромой Дьявол!

Пасса знал следы зубов этого волка. Много раз видел их на тушах зарезанных оленей. А в тундре ему часто пересекал дорогу нервно-запутанный след трёхлапого зверя.

Видно, и сейчас скрестились их пути.

Кладбище рода Ного хмуро и неприветливо. Оно заросло бородатыми, корявыми лиственницами, и деревья образуют такую тень, что и днём здесь темно, как ночью. Звуки приглушены, они теряются: зимой тонут в снегах, а летом зарываются в сочный влажный мох.

Кладбище древнее. С далёких незапамятных времён хоронит на нём своих соплеменников род Ного. Земля освящена жертвенной кровью оленей, пламенем костров, думами и слёзами поколений. Нга, Идолу смерти, свирепому, мудрому и ненасытному, люди приносят жертвы не только в дни своих обид, но и в дни счастья и покоя.

Тут лежат отец Себеруя, его мать, дед, бабушка, дети, которых унёс Идол Нга. Теперь вот жена и маленькая дочка будут здесь ждать его, последнего мужчину когда-то большого, умного и доброго рода.

Самые первые люди рода Ного жили в горах. Они никогда не переходили через Уральский хребет и не знали, что там, по другую его сторону. Да и ни к чему это было — род большой, дел хватало всем: кто рыбу ловил, кто зверя добывал, а иные каменным делом занимались, топоры, ножи вытачивали.

Жили дружно, старались не вступать в войну с другими родами, не обижали соседей, и, если

кто-нибудь с чёрной мыслью смотрел на их богатые пастбища, Ного молча снимались и уходили.

— Земля большая, — говорили старейшие, — зачем ссориться.

Молодых учили мудро, спокойно. Учили миру, любви, ловкости и доброте.

Нельзя сказать, что род Ного был очень богат и знаменит. Его не сравнишь с родом Лаптандеров — жителей долин, которые и сейчас сильны, красивы и горды.

Люди рода Ного не отличались высоким ростом, как стройные, чернобровые и черноглазые Лаптандеры, не были так надменны, может, даже в ловкости уступали, но никто в тундре не скажет, что Ного кому-то уступали в силе ума, в доброте и достоинстве. Они были крепкие, со светлыми, цвета спелого ягеля, глазами. Любили охоту, спокойные игры, длинные кочевья с долгой песней. Щедро приносили жертвы Земле, Идолам, а вечерами, после жирного мяса, любили рассказывать-напевать легенды-яробцы. Их передавали из поколения в поколение, сочиняли новые. Род был счастлив. Войны и ссоры обходили их стороной. Ного ни на кого зла не имели и никого не обижали.

И тогда жизнь сама обидела их. В одно жаркое лето олени заболели копыткой. Умирали сотнями. Много семей осталось без мяса и шкур.

Старейшие держали совет. Оставшихся оленей не хватит на весь род. Решили часть людей поселить у больших озёр, чтобы они могли прокормить себя рыбой. А остальные должны были выхаживать уцелевших оленей.

Постепенно у Ного поднялось, окрепло новое хозяйство. Род трудился много и упорно. Старейшие ходили по древним, почти забытым, кочевьям и, напрягая седую память, доставали немногочисленные запасы, отложенные в вечной мерзлоте в дни беспечной жизни. Это были голубые меха песцов, рыжие, цвета солнца, лисицы, янтарные соболя и белки. Их меняли на оленей у богатых родов, и пришло время — Ного повеселели, снова послышались добрые, светлые песни о жизни и радости.

Много лет прошло. Род вступил в силу. Мог уже поспорит с богатством с Лаптандерами. Обиженные из всех родов приезжали к ним: нищие за помощью, богатые за невестами, друзья за добрым словом.

И кто знает, чем не угодил жизни добрый род Ного.

Свалилась на него новая беда. Люди умирали целыми

стойбищами. Смерть не щадила ни молодых, ни старых. Живые, здоровые приносили богатые, щедрые жертвы добрым Идолам. Старейшины и шаманы исступлённо упрашивали добрых духов не трогать хотя бы детей. Но напрасно. Идолы каменно молчали. Ничто не трогало их: ни слёзы, ни стоны, ни мольбы.

Много тогда в тундре людей погибло, много крови выпили ненасытные Идолы. Болезнь поглотила род. Из всех Ного осталось лишь несколько человек, которые попали в стойбище Яка, богатого ненца. Там и встретились отцы Себеруя и Пассы. Каждый из них оставил после себя двух сыновей.

Младший брат Себеруя ушёл на войну в 1914 году и не вернулся.

...Себеруй ходит от одной могилы к другой. Всё знакомо, дорого, на гробе отца в прошлом году поправлял доску. У многих гробов менял ножки.

Ненецкие кладбища отличаются от русских. Гроб имеет форму обыкновенного ящика, и его не зарывают в землю, а, наоборот, поднимают. Он стоит на четырёх метровых ножках, отдалённо напоминая египетский саркофаг.

Надписей на ящиках нет, но Себеруй помнит всех. Каждая смерть задела его сердце.

Некочи и её дочь положили в один саркофаг. Сейчас над ним хлопочут жена Пассы, его мать и Алёшкина мама. Они кладу в гроб вещи Некочи, котелки, кисы, ягушку старенькую, чашки. Только всё это разбитое и разорванное. Такой обычай.

Женщины тихо переговариваются:

— Иголку не забудь положить.

— Где её сумочка?

— Около головы.

— Напёрсток туда же положи. Там всё понадобится.

Некочи одета в новую ягушку с ярким орнаментом. Это её последняя работа. В посёлок ехала — не хотела надевать, усмехнулась ещё: «Успею, — говорила, — вся жизнь впереди».

Выражение лица женщины спокойно. Будто она в момент смерти ни о чём горьком не думала, словно не верила, что умрёт.

Зато лицо девочки страшно. Черты искажены, ротик скривился.

Пасса и Алёшка уже подводят оленей. Сейчас полагается забить двух самых лучших и самых любимых оленей по-

койной, чтобы не обижалась и чтобы там, в другом мире, ей было на чём ездить.

Люди не обижают Некочи. Пока варится мясо, они щедро насыпают табак в уголки саркофага, в костёр и просто на землю.

Молча, склонив головы, сидят вокруг костра. Всем хочется сделать приятное жене Себеруя и вместе с тем дать наказ, чтобы она там, в стойбище ушедших, замолвила слово за тех, кто остался, да подробно рассказала, кто как живёт. Это скорее не похороны, а проводы человека, решившего уйти в другой мир.

Мать Пассы старше всех. Она лучше знает обычаи и поэтому говорит:

— Не молчите. Надо говорить о чём-нибудь. Сейчас ведь их очень много к ней пришло. И все слушают её рассказ. Они должны слышать и наши голоса.

— Да, — добавляет Пасса. — Они должны знать, что мы пришли провожать её, что на земле она жила хорошо.

Старая ненка продолжает:

— Не обижайся, мать Анико. — Женщины редко когда называют друг друга по имени, чаще — матерью живого ребёнка.— Девочку мы хорошо одели. Ей не будет холодно. А на тебе, ты сама видишь, твоя новая ягушка. — Она дотрагивается маленькой рукой до ягушки покойной.— Я тебе не сделала больно? — спрашивает и сама же удовлетворённо отвечает: — Нет.

Потом достаёт из мешка платье из красивой шерстяной ткани. Медленно разворачивает его и держит так, будто показывает кому-то. Не тем, кто у костра, а тому, кто виден только ей.

— Мать Анико, передай это платье моей матери. У ней такого никогда не было. Видишь, какое оно. Я купила его на пенсию. Теперь мы, старухи, тоже деньги получаем, как все люди. — Старушка радостно улыбается. — Пусть она снимет платье из кожи оленя, в котором мы её похоронили, и наденет это. — И бережно кладёт в уголок гроба подарок для матери.

На лице её удовлетворение и покой. С тем же выражением достаёт табакерку, сыплет табак на ягушку Некочи и заботливо поправляет мешочек с игрушками девочки.

Пасса подложил в костёр валежник. Огонь вспыхнул ярче. Для Некочи он горел в последний раз, и казалось, понимал это. Языки пламени ластились друг к другу, образуя диковинные цветы и листочки.

Пасса взял кусок мяса, разрезал его на мелкие части. Жена подала ему две кружки крови. Он положил мясо и поставил кровь к голове и ногам Некочи.

— Мать Анико, отведай сама и дай всем, кто к тебе пришёл, мяса. Моему отцу скажи, что живу помаленьку, растут сыновья. Двое в школе, учатся жить по-другому. Совсем не так, как мы с ним. Передай ему, что осенью, когда у оленей будет хорошая шкура, я забью быков, шкуры он найдёт на священном месте у Хара-Пэ. Ему хватит на малицу.

Отец Пассы, работая батраком у Яка, не имел хорошей малицы, не говоря уже о саваке, и однажды в ночном сильно простудился. Через полгода его похоронили. Родные не могли ему на прощание справить новую малицу. Это навсегда запомнилось Пассе, тогда ещё мальчику. Отца положили в гроб в плохонькой, истасканной одежонке, и сыну всё время казалось, что отец мёрзнет. Пасса уже несколько раз забивал быков на разных священных местах, оставляя шкуры отцу на малицу: так он старался загладить перед ним вину родных и свою.

Помолчав, Пасса добавил:

— А за отца Анико не бойся. Сама знаешь, хорошо жили. И оленя делили, и чай, а теперь горе его, как еду, поделим.

Алёшка, опустив голову, сидит рядом с Себеруем. Совсем мало лун прошло с тех пор, когда он вот так же, как Пасса, говорил с покойным отцом. Обещал ему жалеть мать, помочь стать братишкам настоящими охотниками.

— У тебя, мать Анико, сыновей не было, — неожиданно говорит Алёшка. — Я помню, как ты называла меня сыном, когда я ещё маленьким был. Я буду дедушке Себерую сыном. Отец мой к тебе пришёл. Пусть он это слышит. И ещё: я обещал отцу, что помогу братишкам стать охотниками. Я не хочу обманывать его. Стал вот по-другому думать. Был я у геологов. Такие же парни, как и я. И по всей нашей земле ищут нефть. Из неё керосин делают. Иногда в посёлке его не достанешь. А найдём нефть — будет свой керосин.

Алёшка специально говорил про керосин, хотя знал, что из нефти можно сделать много и других нужных вещей. Но покойная Некочи и его отец знали только керосин.

Все внимательно слушали Алёшку, заметив это, он с увлечением продолжал:

— Мы, ненцы, лучше знаем свою землю. И если мои братишки выучатся на геологов, то им будет легче. И комаров они не боятся.

— Да, это правильно, — подтвердил Пасса. Ему очень понравилась мысль о керосине.

Сварилось мясо, и Алёшкина мать разложила куски по тарелкам, расставила их у головы и ног Некочи. Раздала и всем сидящим у костра по тарелке бульона. Бульон пробовали и остатки выливали на землю вокруг гроба.

Себеруй угощал тех, кто пришёл встречать умершую в подземном стойбище. Он машинально сыпал табак, брал мясо, а сердце ныло, горело. Старик смотрел на костёр, на пылающие головёшки: ему казалось, что это его жизнь выпала из рук доброго Идола и теперь обугливается, шипит.

«Доченька... Жена... Их нет». Голоса людей привели его в себя, и он долго смотрел запавшими глазами на сидящих у костра, стараясь понять смысл слов.

Пасса внимательно следил за ним.

«То, что случилось, словами не объяснишь. Да, этот день поистине чёрен в своей черноте. И дай, Идол жизни, силу Себерую, чтобы он вынес этот день», — так думал Пасса, ухаживая за другом. Думал он и о Тэмуйко, любимом олене Некочи. Алёшка сказал, что оленей не было, они разбежались, почуяв волка. Но что стало с Тэмуйко?

Солнце садилось. Надо завершать обряд, пока на землю идут лучи жизни. Потом людей здесь не должно быть; придёт время других, тех, кто не провожает, а встречает покойников.

Пасса с Алёшкой выбрали место, где поставят гроб. Снег ещё глубокий. Придётся пока вбить ножки в снег, а весной сделать всё как полагается.

Алёшка приготовил гвозди, чтобы забить крышку, и вдруг застыл: Себеруй смотрел на него так, что ему захотелось бросить молоток и бежать отсюда.

Долго держался Себеруй. Мужественно вёл себя и вчера, и сегодня. И когда тела любимых людей положил в холодный ящик, и когда ночью караулил их вечный сон.

А сейчас схватился за голову: «Один-одинёшенек...»

Человек понимает это остро лишь тогда, когда действительно остаётся один. Сирота среди людей — как пень среди густого леса.

— Я один, — прошептал Себеруй, и сказанное прозвучало настолько ясно и глубоко, ясно до обнажённого режущего страха, что он вздрогнул и только сейчас по-настоящему понял, что случилось непоправимое.

Умерли жена и дочь. Значит, нет ни прошлого, ни буду-

щего. Если у человека нет будущего, он опирается на прошлое и этим живёт. И вдруг темно и впереди, и сзади. Как и для чего жить дальше?

Последний луч солнца ещё прощался с землёй, когда всё было закончено.

Люди тушили костёр, негромко повторяя хором:

— Мать Анико, не обижайся, это не мы тушим огонь, а снежный буран.

Алёшка вдруг подтолкнул Пассу:

— Смотри!

Пасса вздрогнул. В лучах уходящего солнца, гордо неся голову, шёл олень. Тэмуйко!

Да, это Тэмуйко. Ночью он попал в чужое стадо, остался там до утра. А теперь торопился к людям. Подойдя, олень осмотрел всех. Взгляд его задержался на Себеруе, казалось, он спрашивал: «Где мать? Где хозяйка?» Потом приблизился к саркофагу, обрадовался — нашёл свою хозяйку. Потёрся мордой о доски, устало опустился рядом.

Себеруй боком, пытаясь скрыть от людей слёзы, подошёл к нему, чтобы попрощаться. Тэмуйко был самым любимым оленем Некочи. Она должна его взять с собой. Таков обычай.

Олень обдал теплом ладонь Себеруя и опять опустил морду. Он устал и хотел спать. Хозяйка была рядом, почему не отдохнуть? Пасса подхватил топор, собрал в кольцо аркан, подозвал Алёшку:

— Пойдём, поможешь.

Себеруя они отстранили молча. Тот хотел что-то сказать, но только бессильно махнул рукой.

Тэмуйко не двинулся, когда к нему подошли. Пасса накинул петлю. Тэмуйко не испугался, тряхнул головой, чтобы петля удобно сидела и не тёрла шею.

Суров закон тундры. Кто уходит из жизни, забирает своё. Не отдашь — покойный придёт за ним. Бывало, целые стойбища забирал.

Боль сдавила горло Тэмуйко. Он вскочил, зашатался, пытаясь утвердиться на уходящей из-под ног земле.

Себеруй отвернулся, но тут же, задыхаясь, крикнул:

— Стойте! Не надо! Я беру грех на себя. Пусть живёт. Она его грудью кормила.

Пасса будто ждал этих слов. Бросив аркан, сказал Алёшке:

— Отпусти.



Когда в стойбище стало тихо, она снова принялась кормить маленького упрямца, и опять напрасно. Тогда женщина опустилась рядом с ним, сбросила ягушку, расстегнула ворот платья. Закрыла ладонью глаза оленёнку. Тот даже не пошевелился. Когда Некочи поднесла ему грудь, он вздрогнул, затем, помочив слюной сосок, втянул в себя молоко.

Той ночью, когда Тэмуйко был с матерью-хозяйкой, он в снежном буране потерял дорогу и остановился. Хозяйка распрягла оленей, ласково потрепала своего любимца по шее и ушла к нарте. Тэмуйко слышал оттуда её голос.

Потом случилось неожиданное. Олень, что был в упряжке крайним, шарахнулся и пропал в снежном вихре. Вскоре и остальные учуяли запах волка, разлетелись в разные стороны. В беге повернув голову, Тэмуйко совсем близко заметил тень и даже услышал лязг зубов и нервное дыхание волка.

Тэмуйко бежал легко. Спасали длинные ноги. Не отставал и Хромой Дьявол. Немного погодя олень взглянул в ту сторону, откуда ждал нападения. Волк медлил, как-то нелепо готовясь к прыжку.

Хромой Дьявол не мог решиться. Прыжки давались ему трудно, к тому же сейчас сбивал дыхание азарт.

Сильный порыв ветра спас Тэмуйко. В то время как волк распластался в прыжке, ветер ударил так резко, что Хромого Дьявола отшвырнуло в полёте на несколько метров.

Бой Тэмуйко решил не принимать. Он то ускорял бег, то еле шагал, тяжело раздувая бока, будто совсем выбился из сил. Хромой Дьявол понимал оленя и, обманывая себя, плёлся за ним.

Ушли довольно далеко. Потянуло дымом, и Тэмуйко умчался к стойбищу. Волк бросился было за ним, но тут же остановился и, задрав морду, завыл от бессилия и отчаяния. В глазах его была тоска, злая, голодная. Но плакал Хромой Дьявол недолго. Вспомнив о чём-то, замолк и повернул назад по свежему, ещё не совсем занесённому следу.

...В одну из вёсен Некочи готовилась кормить ребёнка. Но девочка родилась и сразу умерла.

В ту же весну, в последнюю, яростную пургу, появился на свет Тэмуйко. Маленький, с любопытной мордочкой, красивыми длинными ножками, он стал любимцем Себеруя и Некочи.

Мать Тэмуйко была годовалой важенкой. Частенько отбивалась она от стада, уходила в тундру. Оленёнок, бывало, охрипнет, ища её, она же лишь под вечер приходила к нему.

Однажды ночью, когда дежурил Себеруй, волк отогнал её от стада. Важенка металась из стороны в сторону и всё рвалась к одиноко стоявшему кусту ольхи. Но волк оттеснял её в тундру. Скоро они потерялись во тьме.

Олени в упряжке запутались, и Себеруй не мог помочь важенке.

— Угнал собачий сын, — с досадой плюнул он. И тут вспомнил о кусте ольхи. Что ей там надо было?

В кустах, раскинув ножки, запрокинув далеко назад лобастую голову, спал Тэмуйко, любимец Себеруя. Что теперь с ним делать?

— Хороший был бы олень, — тяжело вздохнул Себеруй.

Тэмуйко проснулся, поднял голову, поводя фиолетовыми глазами. Увидел Себеруя, вскочил испуганно, отбежал. Подозрительно посмотрел — мол, что за зверь такой.

А «зверь» любовался им, и сердце его сжималось от жалости: выживет ли без матери?

Весь день Тэмуйко звал мать, бегал на старые пастбища, принюхивался. Важенки не гнали его, но к вымени не подпускали.

Себеруй надеялся: прикормит какая-нибудь, примет нового сына.

Вечером Алёшка сказал:

— Кончай ты его, дедушка. Весь день ходил и плакал голодный...

Себеруй не ответил.

За чаем Некочи была расстроена, просыпала на пол сахар и чуть не уронила стакан.

— Ты что?

— Поймай Тэмуйко.

— Зачем? У нас что, мясо кончилось?

— Да нет. Не примут его важенки. Попробую приучить к ухе. А потом ко всему привыкнет.

Некочи знала, как это трудно. Она уже поднимала на ноги беспомощных оленят. Они плохо привыкают к людской пище, грубой для них.

Себерую знакомо упорство жены. Он поймал Тэмуйко, принёс в чум. Некочи привязала его у постели, приготовила уху и, радуясь, что оленёнок ведёт себя тихо, поднесла ему миску с едой.

Но есть Тэмуйко не стал. Мотал головой и брыкался. И так весь день. Измучилась с ним Некочи.

Когда в стойбище стало тихо, она снова принялась кор-

мить маленького упрямца, и опять напрасно. Тогда женщина опустилась рядом с ним, сбросила ягушку, расстегнула ворот платья. Закрыла ладонью глаза оленёнку. Тот даже не пошевелился. Когда Некочи поднесла ему грудь, он вздрогнул, затем, помочив слюной сосок, втянул в себя молоко.

— Себеруй!

Тот поднял голову и обомлел: Тэмуйко, непризнанный сын стада, сосал грудь, упёршись ножками в пол.

Уснули только на рассвете. Тэмуйко, укрытый ягушкой и обласканный своей новой матерью, лишь изредка поднимал голову, но уже не плакал, а что-то высматривал в негустых сумерках чума.

Некочи кормила его неделю, потом приучила к ухе, хлебу и даже сахару.

Спустя семь дней после похорон между Пассой и Себеруем случился коротенький разговор.

— Старика надо убить, Себеруй.

Между собой мужчины часто называют волка стариком.

— Не надо. Это он сделал по своим законам, — ответил Себеруй, глядя прямо перед собой так, будто хотел найти в мартовском снегу свой грех, за который был наказан. — Не делай этого. — Себеруй посмотрел в глаза другу.— И парню скажи.

Себеруй копошится у печки. Иногда он ходит ужинать к Пассе, иногда вечерний котёл готовит мать Пассы в его чуме. Но часто беспокоить старую женщину неудобно, Себеруй пытается варить сам.

В чуме темно и холодно, хотя печка-«буржуйка» уже затоплена. Это, наверно, оттого, что на душе плохо.

Себеруй зажёг лампу, поставил на печку чугунный котёл с супом, который остался со вчерашнего дня.

С улицы в открытую дверь заглянул Буро.

— Ля, — позвал его Себеруй.

Буро понимает хозяина лучше, чем кто-либо. Они и характерами-то схожи. Работает Буро, как и хозяин, степенно, без лишнего шума. Олени его слушаются и побаиваются, а собаки признают силу и ловкость Буро.

Когда у Себеруя не было ещё оленей, то на рыбалке Буро был незаменимым. Он помогал тащить лодку. От озера к озеру носил на себе вёсла и мешки с рыбой. И на охоту, конечно, ходили вместе. Однажды в капкан попалась рысь. Ружьё Себеруй не взял с собой и, увидев в капкане такую зверюгу, немного опешил. Глаза рыси горели бешенством, и на неё жутко было смотреть, не то что подойти.

Себеруй остановился, обдумывая, как поступить. Близко она к себе не подпустит. Буро посматривал в глаза хозяину, будто тоже спрашивал: что делать?

Пока они стояли в растерянности, рысь рванулась изо всех сил и сорвала капкан. Разъярённая от боли и голода, она бросилась на Себеруя, но он не успел даже испугаться — Буро появился между ним и хищником.

Дрались они недолго. Но какая это была драка! Когда рысь стала затихать и Себеруй уже добивал её, шкура на Буро висела клочьями, из ран сочилась кровь. Он едва стоял на ногах, а в глазах всё ещё пылала волчья злоба.

После Буро тяжело болел. Себеруй ухаживал за ним и думал: не будь Буро, сердце его, Себеруя, давно умерло бы от боли.

Теперь он любит поговорить с Буро. Остаться одному и молчать тяжело. Как ни стараешься быть с людьми, горе найдёт время напомнить о себе.

Буро всегда слушает хозяина внимательно. Вот и сейчас он проходит, ложится у печки так, чтобы видеть Себеруя, но не мешать ему. А тот посматривает то на собаку, то на маленьких Идолов, которые стоят на шкуре оленёнка в центре постели. Идолов два, один ростом в две ладони. Судя по одежде — женщина. На голове платок из кусочка красной материи, на шее ожерелье из бусинок, колечек, старых монет. Ягушка на ней очень красивая. Это Некочи. Второй Идол совсем маленький, его едва заметно под малицей.

Себеруй поставил перед Идолами небольшой столик. У ненцев так: не я хожу к столу, а он ко мне. Налил в тарелки супа, одна из них, маленькая, видимо принадлежит Идолёнку. Рядом с тарелками положил по куску хлеба.

Ели молча, сосредоточенно. Умерший продолжает жить в кругу родных в образе Идола. Считается, что он бережёт покой в чуме. Идолов почитают, меняют на них одежду. Они участвуют в праздниках, жертвоприношениях.

Себеруй, не всегда следовавший обычаям, на этот раз с радостью согласился выполнять всё, что требовалось. И вот жена и дочь с ним. Он этому верил и пищу всегда готовил на троих.

Чум свой не разобрал, хотя Пасса не раз предлагал перейти к нему.

Кстати, вот и он.

— Что делаем, старики?

Старики — это Себеруй и Буро. Пасса весёлый. Ещё бы: три солнца всего прошло, как родился сын. Быть счастливым рядом с Себеруем неприлично, и Пасса погасил свою радость, нахмурился. Подбросил в печку сушняку и, внимательно поглядев на друга, негромко сказал:

— Нэвэ, ты меня знаешь не один день. — Он, видимо, боялся ранить друга каким-нибудь необдуманным словом, и поэтому голос его прозвучал тихо и вкрадчиво.

Себеруй насторожился.

— Подожди. Чаю попьём.

И торопливо расставил на столике чашки, не забыв и про Идолов. Руки его чуть дрожали. Пасса заметил это, нежно посмотрел на друга. То была нежность, никогда не высказываемая и потому особенно сильная.

Первую чашку чая кирпичного цвета выпили молча.

«Разговор будет непростой», — подумал Себеруй. Он с нетерпением ждал, что скажет Пасса — самый близкий теперь человек.

— Себеруй, у тебя ведь есть дочь Анико?

Себеруй вздрогнул. Чай в блюдце плеснулся. Старик ожидал любого вопроса, только не этого.

Мысли об Анико, о далёкой, совсем незнакомой дочери, стали в эти дни одиночества его новой радостью, болью и надеждой. Он берёг их, боялся выдать, словно опасался, что кто-то будет смеяться над его думами. Даже Пассе не говорил: кто знает, захочет ли дочь вернуться к нему, помнит ли отца?

— Была у меня дочь.

— Почему была? — с притворным удивлением спросил Пасса.

— Прошло много лет. Мы с ней не виделись... Она нашу жизнь забыла, наверно. Я думаю, не нужны мы ей.

Он не верил в это, но сказал, точно хотел приучить своё сердце к тому, что Анико никогда не придёт.

— Нехорошо ты думаешь и говоришь. Человек свой дом не забывает, — медленно и тихо ответил Пасса. — Она к нам вернётся. Только ей надо об этом сказать. Вот я тут... — И достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги, конверт и карандаш.

Пасса умел писать. Конечно, не ахти как грамотно. У него всегда было целое «стадо» ошибок, как выражался его старший сын, но суть дела он излагал точно.

Себеруй, взволнованный короткой речью друга, смотрел на него и на принесённые им бумагу и карандаш с такой детской надеждой, словно ожидал чуда. Но тут, к своему огорчению, он вспомнил, что не знает, на каком боку земли живёт его дочь.

— А я и не знаю...

— А я знаю.

— Откуда?

— Узнал. — И сказал, что на днях ездил в сельсовет.

— А там как знают?

— Сам не понимаю. Старый Езынги всё знает. Он говорит, чтобы мы сами написали.

— Конечно, конечно, — торопливо поддакнул Себеруй.

— Говори.

Письмо сочиняли час. Но вышло оно коротенькое и выглядело так: «Точь Аника. Сиву я отин. Мата твоя и маленький систра уморла. Приесзжай...».

Дальше речь шла об оленях, немного о Буро и о людях стойбища.

Пасса перечитал и перевёл письмо на ненецкий язык. Себеруй одобрил, только попросил добавить, чтобы дочь надевала малицу, а то замёрзнет. Откуда было ему знать, что дочь давно забыла о таких вещах.

Дело сделано. Улыбаясь, заклеили конверт. А потом, словно вспугнутые чем-то, притихли и сидели, не глядя друг на друга.

«Какие-то прутики, чёрные, корявые, будто куропатка прошла по снегу», — подумал Себеруй и, вздохнув, передал письмо Пассе.

— Приедет ли? — спросил глухим голосом, сгорбившись над чашкой с холодным чаем.

— Приедет, — твёрдо, насколько мог и насколько верил, сказал Пасса, поглаживая рукой белый конверт.

На другой половине чума Пассы живёт старик Як, в прошлом очень богатый человек. У него батрачили отец Себеруя, отец Пассы и многие другие. А в ранней молодости и Пасса с Себеруем прошли через это.

В советское время, оставшись один, без родичей и пастухов, и получив от новой власти разрешение на семьдесят голов оленей, Як долгое время кочевал со своей старухой, полусумасшедшей и жадной женщиной. Оба не привыкли к тяжёлой работе с оленями и вообще к какой бы то ни было работе. И последние дни свои провели в постоянной злобе друг на друга. Оба одряхлели и походили больше на побитых собак, чем на людей.

Як хорошо знал отца Себеруя. Спокойный и задумчивый был человек. Сын всё перенял у отца. Это было заметно, когда Себеруй был ещё мальчиком, а теперь к нему ёдут за советом и разумным словом многие ненцы. К нему и перекочевал Як несколько лет назад.

Стойбище встретило его молча, недобро. День был ветреным, с колючим снежком. Управиться вдвоём со шкурами, которые укрывают чум, старикам было трудно, но помочь никто не пришёл, а это никак нельзя было назвать гостеприимством. Да, люди помнят обиду.

— Ничего, — успокаивал себя Як, — не выгнали, как собаку, на холод, и это хорошо.

А потом, когда уже попили чай, Як вышел на улицу и долго сидел на нарте. Сердце громко стучало, в глубине души кипело что-то горячее и жалкое. Он исподлобья следил за мужчинами: не подойдёт ли к нему кто, хотя бы из уважения к возрасту. Он тогда ещё не понимал, что возраст не преимущество и тем более не достоинство. Уважение в старости, как награду, надо заслужить.

Як так и не дождался никого и впервые в жизни уронил седую крупную голову на грудь, и впервые ему захотелось заплакать.

Через два года жена умерла, и он даже обрадовался. Жена никогда не понимала Яка, не одобряла ни дурных, ни хороших его поступков. К тому же детей у них не было.

Як надеялся, что после смерти жены люди придут к нему, пусть не с уважением, но с жалостью. И правда, соседи помогли похоронить, хотя и скромно, а Пасса взял старика к себе. Ночью, лёжа на своей новой постели, Як не смог сдержаться и зарыдал. Пасса подошёл к нему, тихо тронул рукой:

— Не надо старик. Ничего не вернёшь.

В первые дни Як был довольно бойким, мог принести вязанку хвороста, стараясь угодить женщинам, и радовался, если они улыбались, пусть не ему, а своим мыслям. Ходил по воду и даже чинил ребятишкам санки.

Но к старости пришла болезнь, связавшая руки и ноги. И Як давно уже не видит солнца.

«Помру скоро», — думает он каждое утро и не может понять, хочется ему умереть или ещё пожить. На скуластом худом лице Яка живёт только один глаз, в котором отражаются его мысли так же, как отражается в озере погожим днём солнце. И если бы хоть один человек заглянул в него, то удивился бы: столько там чувств и оттенков.

На втором глазу чёрная повязка. Отметина молодости. Як со своими дружками в те времена тёмными ночами угонял немногочисленные стада у бедняков, для которых каждый олень был не раз выплаканной слезой, радостью, надеждой и гордостью.

Однажды, когда Як менял клеймо на ушах украденного быка на своё (это нетрудно: клейму нужно лишь придать другую форму), тот ударил его рогом в глаз, и хотя был тут же убит и принесён в жертву добрым Идолам, глаз всё-таки вытек...

Сейчас вся жизнь Яка замкнулась в беспокойно-тягучих думах о прошлом, о людях. Именно о людях, а не о стаде, которое когда-то принадлежало ему, не о богатых, красивых шкурах, оставшихся после покойной жены.

Он был бы рад, если бы вдруг лишился ума, потерял возможность помнить прошлое. В последние дни ему каждую ночь чудится голос, от которого становится жутко и начинают стучать зубы.

«Виноват ты. Каждый день твоей жизни был кому-то слезой».

«Что же мне теперь делать?» — со страхом спрашивал себя Як.

«Вспоминай. Ничего не забудь. Умирать будет легче...»

...День подходил к концу. Огромное стойбище, состоящее из бедных и богатых родственников Яка, а также из его пастухов, кричит и гудит.

Под копытами тысячного стада Яка земля содрогается и, кажется, глухо стонет. Тяжело, наверное, было земле носить на себе этого человека.

Стойбище собирается кочевать. Убраны чумы. И длинные аргиши уже готовы к долгому пути.

Як взмахнул хореем, и аргиши тронулись. И в этот миг кто-то крикнул:

— Подождите!!!

Все недоумённо остановились. Як вскочил с нарты и в раздражении подбежал к кричавшему. Это был его пастух.

— Что ты кричишь, собачий сын? — И не поленился пнуть стоявшего на коленях (Як был очень толст).

— Вот... — пастух не мог ничего выговорить и дрожащей рукой показал на землю. Там, в куче шкур, под худенькой ягушкой, лежала старая ненка. Она плакала совсем тихо. Глаза её смотрели умоляюще, а старческая беспомощность, с какой она размазывала слёзы, была невыносима, и люди отворачивались.

Отец Себеруя (тот, что стоял на коленях) растерянно смотрел на богача.

Больную мать некуда было положить. Когда здоровой была, шла пешком всё кочевание, но теперь... она не могла уже двигаться.

— Як, помоги. Дети будут пешком идти, но мать-то. Сам видишь, нарта одна.

— Ты хочешь, чтобы я положил эту старую гниль себе на нарты? — взревел Як, словно его укусили.

— Нет... Я не это... Я хотел...

Но богач не дал ему договорить.

Размахнувшись арканом, невесть как попавшим к нему в руки, Як ударил пастуха по лицу.

— Собака, хочешь умереть — ешь кости этой ведьмы! И щенятам своим не забудь по косточке кинуть! — и захохотал, довольный и всесильный. Широко расставив ноги, поигрывая арканом, он долго смеялся.

Лежавшая на земле слабо пошевелилась, и сын принялся жалко и торопливо поправлять лохмотья, которыми он кое-как прикрыл уже посиневшее тело матери.

— Сынок, оставь меня. Вам жить надо. Успокой детей.

— Как я тебя оставлю. Не смогу... Нет... Нет... — повторял сын с беспомощной нежностью, а кровь из раны на лбу заливала лицо.

Голос матери неожиданно окреп:

— Нет, слушай моё слово. Останетесь со мной — умрёте! А это... — Она показала на Яка, который, ехидно улыбаясь, слушал её. — Это собака... И весь его род был собаками. Пусть дети знают это.

Як уже не улыбался, собрал в упругие кольца аркан и, чуть разбежавшись, ударил старуху. Та закрыла глаза, но не застонала.

— Поезжай, сын. Да не плачьте! — прикрикнула она на

внучат, приподнялась, поцеловала сына, который всё пытался поймать неверными руками её маленький, крепко сжатый кулачок.

— Оставь меня, — попросила она усталым голосом. Помолчав, совсем тихо добавила: — Разговор у меня к Земле есть.

Сын встал. Горбясь, прошёл к нарте, и аргиши тронулись. Старуха долго смотрела им вслед, потом слёзы застлали глаза, и не стало видно ни сына, ни неба. Старая ненка повернулась к земле, лицом вниз, и долго что-то шептала ей. Доверительно, тихо, ласково, как малое дитя...

На улице раздались голоса Себеруя и Пассы. Як вздрогнул. Боль почти прошла и только где-то у самого горла остановилась комком. «Скоро помру», — опять подумал Як, но теперь испугался своей мысли и долго неподвижно смотрел вверх, где в узкой прорези чума виднелось синее небо. Захотелось солнца, хоть немного тепла. Як беспомощно повернул голову к огню. Огня не было, и людей тоже.

— Все на улице. Там много-много солнца, — тоскливо закрыл глаза, пытаясь представить себе солнце, и... не смог. — Неужели я никогда не видел солнца? — Як хотел крикнуть, но получилось тихо, сдавленно: не то шёпот, не то стон.

Стойбище вот уже с месяц живёт ожиданием Анико. Все знают о письме, которое написали Пасса с Себеруем и послали в те края, где не бывал ещё ни один ненец из стойбища. Той бумаге доверяют ещё и потому, что писал её Пасса, уважаемый всеми человек.

За Себеруя радовались открыто, не скрывая своих чувств и готовности помочь ему достойно встретить Анико.

Мать Пассы решила сшить ягушку для Анико, и теперь по утрам она, залитая весенним солнышком, вышивает узоры, а вечером отделывает шкуры. Сам Пасса взялся за нарту-легковушку для Анико, изготовить которую тоже большое искусство.

Окне, жена Пассы, делает женскую сумочку. Эта работа хлопотливая, тонкая и требует большого мастерства и терпения. Шьётся сумка обычно из мелких шкурок с оленьих ног и украшается разноцветными кусочками сукна.

Себеруй помолодел и тоже готовился к приезду дочери. То он подбирал оленей для упряжки Анико, то строгал лёгкие тонкие хореи. А иногда просто сидел в задумчивости, стараясь угадать вкусы и желания дочери.

И Алёшка ждал Анико. Они когда-то в одной школе учились. Она всё в вожаках ходила, сначала у пионеров, потом у комсомольцев. И сейчас, может, где-нибудь начальствует. Нравилась она Алёшке тогда, да он всё стеснялся, а когда мальчишки советовали написать Анико записку, только усмехался.

Алёшка с силой вонзил топор в чурку, которая заменяла стол в его хозяйстве.

Себеруй сидит на нарте, загибая один палец за другим.

— Хореко, рогатый Хабтко, Прасеко, Тэмуйко... — У него не хватает оленя на упряжку для дочери. Надо пять быков — летом и весной на четырёх далеко не уедешь. И к тому же Прасеко повзрослел, стал хитрить и для такого ездока, как Анико, не годится, не будет лямку тянуть.

— Никак не могу крайнего для Анико подобрать.

— Сямдука почему не хочешь? — подсказывает Пасса.

— Он только в передовых ходил.

— А Нюкча?

— На нём женщине нельзя ездить. Он принадлежит Идолу удачи. Наверно, я Прасеко хорошенько погоняю, он по масти к остальным подходит.

Себеруй замолчал. От чума бежал испуганный сынишка Пассы.

— Ты чего? — спросил отец.

— Одноглазый умирает. Дедушку зовёт.

Сплюнув с досады, Себеруй буркнул:

— Не пойду.

— Умирающий живущего не играть зовёт, — осуждающе посмотрев на друга, сказал Пасса. — Пойдём.

У входа в чум Себеруй остановился:

— Посмотрим, что скажет старый волк.

Як вздрогнул, когда полог распахнулся. Острая боль разрывала грудь, и он закусил губу, чтобы не стонать.

Себеруй сел рядом. Як ясно представил себе его лицо, которое никогда не было добрым к нему. «Не простят. Каждый помнит обиду: один мёрз, когда мне было тепло, другой голодал, когда я ел жирное мясо, третий плакал, когда я смеялся. Не простят».

Люди молчали. Это пугало ещё больше. Як приподнял одеревеневшее веко. Свет был мутным, но напряжённое лицо

Себеруя он видел отчётливо. Медленно повёл взглядом. Все знакомые, но ни одного близкого, родного. Начали подступать слёзы.

«Вот когда пришлось и мне заплакать», — рассеянно подумал Як и снова посмотрел на Себеруя.

— Я слышал, ты ждёшь дочь, Себеруй.

— Да.

Як обрадовался, что услышал голос собеседника, попытался поднять голову, но не смог.

— Я много плохого сделал. Не могу говорить, но мне страшно, сын.

Он замолчал и с трудом вытянул руку перед собой.

— Возьми для дочери моих оленей. Всех. Сколько есть. Не убивайте ни одного после меня.

В чуме возник шумок торопливого говора. Но тут же смолк.

— Твои олени не нужны моей дочери.

— Знаю, тебе сейчас ничего не нужно. И всё-таки возьми. Может, я тогда спокойно умру. Пожалей меня.

Единственный глаз старика уставился в лицо Себеруя и, казалось, прощупывал, сверлил каждый сантиметр на нём.

Себеруй молчал. Это было жестоко. Он понимал, но не мог простить Яку обид. Его жестокость была ответом на жестокость человека, теперь уже умирающего и никому не нужного. Себеруй не мог прощать за других.

— Откройте дверь... — тихо попросил Як.

Кто-то быстро откинул полог чума.

Луч весеннего солнца проворно скользнул внутрь и ненадолго задержался на лице умирающего. Як вздрогнул всем телом, медленно выпрямился и затих.

Ужас застыл на его лице, словно он в последний момент понял непоправимость своей жизни.

А глаз не закрывался. Он подсматривал, как приняли люди смерть его хозяина.

Пасса, прикрывая лицо покойного, заметил слезу, которая быстро и суетливо пробежала по сухой щеке и потерялась в бороде умершего.

В Салехарде, в аэропорту, Анико узнала, что пассажирских рейсов на Лаборовую нет. На вопрос, как можно туда попасть, дежурная в справочном отделе сказала коротко и ясно:

— Не знаю.

— То есть как «не знаю»?

Полная рыжая женщина ответила с раздражением:

— Туда, девушка, летают только грузовые самолёты да почтовые два раза в месяц.

— А сегодня ничего нет?

— Нет.

— А завтра?

— Тоже. А тебе что там?

— У меня мама умерла...

Женщина сконфузилась и тут же посоветовала:

— Ты возьми билет до Аксарки. На днях почта будет. Тебя здесь на почтовый не возьмут...

— Почему?

— По инструкции не полагается, а там, может, возьмут. А то здесь ты просидишь долго.

— Спасибо.

В Аксарке, районном центре Приуральского района, Анико просидела три дня. Этот посёлок она знала: кончила здесь десять классов. Сходила в интернат, навестила школу. Но время беспощадно ко всему. Всё стало чужим, непонятным. Знакомых учителей не встретила, друзей тоже. Зайдя в свой класс, где теперь была спальня, Анико почувствовала обиду и горечь, и когда шла по коридору, скрипучий пол как бы жаловался ей на старость.

Больше никуда не пошла, боясь, что всё дорогое когда-то сердцу обернётся только обидой.

На поездку ей дали десять дней. Скоро сессия, и деканат приказал не опаздывать. Три дня можно вычесть. Осталась неделя. Слава богу, на почтовый взяли, а то невмоготу стала эта неопределённость.

Когда уже летели, Анико всё время смотрела в иллюминатор. Места незнакомые, а сердце волнуется, будто узнаёт и эти озёра, и редкий лесок, что остался позади.

Садились в Белоярске и Щучьем. Оба посёлка Анико помнила. В первом она кончила восемь классов, а в Щучьем — начальные четыре. Сейчас они были не те, что раньше, и Анико не узнавала в них ничего из своего детства.

...Письмо от отца подруга принесла вечером. Собирались идти в театр на спектакль «Король Лир», и второпях Анико не прочла даже обратного адреса на конверте. Вернулись поздно. Не включая света, разделись и нырнули в

постели. Анико вспомнила о письме. Пошарила рукой по столу, но письмо куда-то запропастилось. Включать свет было неудобно, и она легла, подумав, что всё равно ничего важного и нового никто не напишет. А утром рано убежала на лекции. После занятий — на почту, разносить телеграммы. О письме вспомнила только вечером. Немного поискала и махнула рукой.

— Не от парня было? — спросила подруга.

— Нет у меня парней.

— Тогда не расстраивайся.

Письмо нашлось почти через месяц. Оно лежало в шифоньере, куда его бросили вместе с юбками и кофтами. Обычное на вид, оно не отличалось от множества других, которые она получала от школьных друзей.

Письмо оказалось страшным. У Анико вдруг в душе что-то перевернулось и теперь болело нудно и тревожно.

Мать...

Анико вспоминала о ней, когда была маленькой и когда ей было особенно трудно. Ещё в интернате. Ох, сколько же длилась эта жизнь в интернате! С подготовительного по десятый. Одиннадцать лет среди разных, в сущности чужих, людей.

Смерть мамы напугала. В сознании всё время жила мысль, что мать и отец есть, пусть где-то далеко, но они живы, и значит, по окончании института у Анико будет возможность съездить к ним, полюбить, простить их. И от них получить прощение за то, что в жизни по-прежнему много суеты и мало времени для любви.

Внизу показались горы. Анико вдруг вспомнила, что когда её брали в школу, она прощалась с горами и плакала. Сейчас представила себя маленькую, в старенькой малице и мокрых кисах. Как давно это было!

Мысленно поставив рядом с собой эту зарёванную девчонку, Анико удивилась: «Неужели это было?»

Коротенькая картина детства насторожила. Доставит ли радость отцу её приезд на несколько дней? Ведь она даже не помнит его. Как и маму... Не может быть, чтобы детство так быстро ушло. Из памяти ещё может, но из души... Нет, неправда, вот что-то припоминается...

...Вечер. На улице, около чума, Анико с мамой развели костёр. Анико перебирает свои куклы. Они сделаны из полосок материи, а лица им заменяют птичьи клювы. Мать шьёт новую ягушку для куклы, и на мгновение Анико даже по-



Мамин олень. Его ласкали её руки. Он хорошо знал маму, может, и любил. Хотелось шепнуть ему ласковое слово, погладить по стройной шее.

казалось, что она увидела, очень отчётливо увидела, озабоченное лицо мамы.

Но мгновение прошло, и Анико, как ни старалась, его вернуть не могла. Оно ушло, и, видимо, навсегда.

Вот она, родная земля!

Вертолёт встречала небольшая кучка людей. И пока лётчики передавали почту местному радисту, Анико не выходила, прислушиваясь к голосам. Может, кто встречает? Вдруг отец?

Но потом поняла: слушать бесполезно, голос отца ей не узнать, — и нерешительно подошла к выходу.

— Девушка, а портфель?

— Да-да... простите.

— Ничего, бывает, — понимающе кивнул пилот.

Как мучительно и тревожно хоть ненадолго возвращаться в детство. И стыдно...

К ней подошёл пожилой ненец, протянул крепкую руку.

— Иван Максимыч Езынги. — И с доброй улыбкой пошутил: — Местная власть.

— Я...

— Уже догадываюсь. Пойдём к нам. Все отправились почту смотреть. И Павлуша мой.

— Сын?

— Нет, квартирант.

После уличного холода тепло кухоньки особенно приятно.

Иван Максимыч поставил стул к печке и предложил:

— Раздевайся и садись. Замёрзла, наверное. Холодно ещё у нас. Сейчас чаю поставлю.

— Спасибо, я не хочу.

— Это ты брось. Чаю обязательно надо попить. — И завозился у печки.

Анико искоса поглядывала на него и думала:

«Как они тут живут? Тихо и пусто. Вот он старик. Лицо морщины изъели. Ему бы живот на солнышке греть, а он с печкой возится».

— Отец тебя ждёт, — сказал Иван Максимыч, пригладив рукой редкие волосы, и совсем тихо, будто к чему-то прислушиваясь, добавил: — Очень ждёт.

Анико ничего не сказала. Отошла к окну.

«Ждёт отец. Как всё это непривычно!»

Кто-то вошёл, Анико оглянулась.

На пороге стоял высокий чернявый парень в такой же шубе, как у Ивана Максимыча. В руках письмо.

— Здравствуйте, — а голос пружинится радостью. Верно, письмо хорошее.

— Здравствуйте.

Иван Максимыч подошёл к Анико:

— Это Павел Леднёв. Геолог. Гостит у меня.

Павел улыбнулся хорошо и открыто.

— А это Анико Ного. Я тебе говорил о ней.

— Помню. Вы прямо из Тюмени?

— Да.

— Ну как там?

— Даже не знаю, что сказать. Всё по-старому.

— Мама у меня в Тюмени. Вот письмо получил. Упрекает, совсем, мол, забыл... В Тюмени всё цветёт, наверно.

— Нет ещё. Только готовится.

Павел замолчал, осторожно рассматривая гостью.

Ей лет двадцать, не больше. В лице, во всей фигуре, неплохо сложенной, и даже во взгляде, в манере смотреть прямо на собеседника чувствуется что-то серьёзное, нелегкомысленное. Меж тёмных бровей — складка, неглубокая, почти незаметная. Скулы широковаты, глаза небольшие, но выражение их настораживает. Будто она знает какую-то тревожную тайну и хочет передать её другим. Губы полные, цвет лица городской, бледный.

Иван Максимыч расставил чашки, выложил на стол нехитрую провизию и уже разливал красный чай. Анико пожалела, что не купила в городе чего-нибудь вкусного, чтобы хоть немного порадовать людей, так хорошо встретивших её.

Чай пили молча. Выпив одну чашку, Иван Максимыч пошёл в сельсовет: к нему должны были приехать ненцы решать вопрос с дровами. В посёлке плохо с топливом.

Анико тоже встала из-за стола.

— Извините, я пойду отдохну. Устала.

Павел молча кивнул.

Павел приезжал в эти края третий год. Партия геофизиков вела разведку месторождений бокситов, и за это время он успел близко познакомиться с ненцами. Невысокие, но удивительно ловкие, они поразили Павла. Сблизился же он с ними, полюбил после того, как один из них спас ему жизнь. Случилось это в конце прошлого сезона. Испортилась рация, кончались продукты, и Павел ре-

шил идти в ближайший посёлок, а до него километров восемьдесят, если не больше. Нелёгких, суровых. Вышли вдвоём: Павел и рабочий.

Неожиданно ударил злой и холодный ветер, пошёл снег. Но они брели вперёд, понадеявшись на компас.

Когда выбились из сил, сели спиной к спине. Павел задремал, да так сладко, что буран уже не пугал — наоборот, его завывание успокаивало, убаюкивало.

Проснулся он внезапно, от боли. Его кто-то бил. Павел увидел над собой странное лицо, кричащий что-то неслышное рот, руки, растирающие лицо и шею чем-то горячим, мокрым. И снова всё исчезло. Очнулся Павел уже около огня, закутанный во что-то жёсткое. Тело горело, а в воздухе пахло спиртом. Рядом тяжело дышал рабочий.

И опять Павел увидел то же лицо, но уже улыбчивое, он тоже улыбнулся... и уснул. А потом вернулся к жизни.

Ненец оказался пожилым человеком небольшого роста. По-русски почти не понимал, и Павел не мог поблагодарить его. И тут впервые пронзила его мысль, что человек человека иногда не в состоянии понять.

Лёжа около костра, он решил, что даст ненцу много денег, потом отклонил это. Разве жизнь купишь за деньги, хотя бы даже за большие? Хотел дать бинокль, но и это показалось слишком мелочным. Так и ушёл, не сумев отблагодарить. Но с тех пор осталось у Павла по отношению к самоедам чувство большой благодарности и уважения.

А сколько у них выдержки!

Один случай особенно поразил Павла. Было это совсем недавно... Пришёл он в стойбище поздновато, темнеть стало. На лай собак из чумов выглянули женщины и быстро исчезли. Павел остановился, положил ружьё на нарту и стал ждать. Вот откинулся полог, и наружу высунулась голова. Павел сразу и не понял, кому она принадлежит — женщине или мужчине. Зашёл. Ему молча освободили почётное место в центре постели. Налили чашку чая, крепкого, с запахом дыма и снега. Чай пили долго. Наверное, час.

На улице совсем стемнело, когда в чум вошёл молодой парень и что-то сказал отрывисто. Все испуганно повернулись к нему.

Старик ненец, который казался Павлу воплощением спокойствия и мудрости, приказал что-то коротко мужчине, сидевшему рядом. Тот торопливо надел малицу и вышел.

Павел спросил, что случилось.

— Волки отогнали третью часть стада, — спокойно ответил старый ненец.

— А это сколько?

— Сто.

К ночи искавшие не вернулись. Василий — так звали старика ненца — не спал. Не спал и Павел. Слышал, как Василий несколько раз выходил на улицу и потом долго пыхтел трубкой.

Пастухи приехали только к утру. Усталые, но спокойные.

Василий посмотрел на них внимательно, но ничего не спросил. Те разделись, сели за стол. И всё молча. Павел не мог понять, почему они молчат. Выпили по первой чашке, и только тогда Василий спросил:

— Как съездили?

— Нашли, — ответил сосед.

Павел понял, что оленей нашли: где, как — не важно. Сто оленей всё-таки не десять. И Павлу подумалось: если бы даже эти сто оленей не нашлись, внешне ненцы остались бы спокойны и сдержанны.

Уходя, он подарил Василию свои часы. Тот не стал отказываться, взял их двумя руками и так же подал ему свою трубку, совсем новую, из мамонтовой кости.

Сейчас, вспоминая встречи с ненцами, Павел думал об Анико. Четырнадцать лет жизни вдалеке от своего народа должны были изменить её характер, взгляды, привычки. Как она теперь отнесётся к своим соплеменникам и как они к ней?

Анико не спит. Луны нет, и потому окна глядят неприветливо и мрачно. На душе нехорошо. Анико закуталась с головой и попыталась уснуть, но под одеялом душно, и она снова присела на кровати.

— Не уснуть. Лучше выйти.

В темноте она нащупала сапоги и пошла вдоль стены. Взяла первое попавшееся пальто. Тяжёлое. Кажется, шуба Павла. Больно уж огромная.

Вышла на крыльцо и чуть не упала. Ступеньки очень крутые и частые.

Ночь незнакомая, непривычная, тихая. Ласковый характер здесь у ночи, кажется, она нашёптывает: «Спи, уставший человек. Крепко спи. Успокойся. Не так уж всё сложно, как кажется. Встретишься с отцом. Поговоришь с ним. Увезёшь его с собой. В городе жить можно. Там не так холодно. Здесь вон в какой шубе идёшь, и то до костей пронизывает...» Анико представила, как, должно быть, смешно она выглядит в шубе до пят. Улыбнувшись, пошла по тропинке. Недалеко от дома должна быть лиственница, Анико помнила её с детства. Так и есть. Стоит ещё. Верхушка её чуть покачивается от снега, словно приветствует... Анико прислонилась к холодному стволу и прошептала:

— Здравствуй, бабушка!

Потом осторожно опустилась на пенёк рядом с деревом. Сжалась под шубой, послушала глухой шёпот лиственницы, и вдруг её охватило чувство уюта, покоя и жалости к себе. Обняла сморщенный, пахнущий ветрами ствол и заплакала.

Вспомнилось: она возвращается откуда-то, а навстречу бежит мама. Полы ягушки развеваются, и кажется, что мама летит, только очень медленно.

Мама стаскивает мокрые кисы Анико, сажает дочь за стол и даёт вкусную лепёшку из рыбьей икры. Как хорошо было уходить и каждый раз возвращаться к маме, чувствовать себя усталой, маленькой и нужной.

Павел не спал и слышал, как Анико вышла. Она долго не возвращалась, и он забеспокоился. Оделся и тоже вышел на улицу.

Возле лиственницы услышал не то плач, не то шёпот. Осторожно закурил трубку, не зная, как утешить человека, потерявшего мать, да и нужно ли? Может, ей лучше побыть одной?

Анико замолкла.

«Уж не замёрзла ли?» — испугался Павел. Тихо подошёл к девушке. Она не удивилась.

— Не думала, что мне будет так тяжело. Я, оказывается, всё помню. — Анико говорила медленно.— Боюсь встречи с ними. Понимаете? Я могу оказаться не такой, какую они ждут.

Павел почувствовал, что она не всё сказала, опять ушла в свои думы. Но откровенность девушки тронула. Они постояли молча и молча же вернулись в дом.



енщины начали готовить вечерние котлы, чтобы к возвращению мужчин были чай и горячее мясо.

Сегодня Алёшка с Пассой с раннего утра поехали осматривать пастбище, а Алёшка хотел снять ещё последние капканы. Охотничий сезон кончился в начале апреля.

Себеруй с утра от нечего делать тоже возился с капканами, смазывая их песцовым салом, чтоб не ржавели, и ждал Пассу. Тот обещал вернуться пораньше. Надо успеть дотемна осмотреть копыто у важенки. Уже третий день хромает. Скоро начнутся длинные кочевания, и она может совсем из сил выбиться, и оленёнок с ней измучится.

Себеруй отложил в сторону капкан и задумался. Появились маленькие оленята, забот стало больше. За малышами нужен хороший присмотр, ладно что дни тёплые, а то начинать жизнь с ощущения холода даже оленю не очень приятно.

Себеруй поднялся и только сейчас заметил Алёшку. Тот распрягал оленей.

Подошёл к нему.

— А где Пасса?

— Он не приехал? Мы же разошлись.

— Опаздывает. Как песец?

— Семь, отец.

«Настоящий охотник, — подумал Себеруй. — Покойный Янзи был бы доволен сыном. По земле ходит человек, а не его подобие».

Себеруй ходит от нарты к нарте. То верёвки, которыми укреплён багаж, подтянет, то хорей подберёт, чтобы детишки не сломали. Почему долго нет Пассы? Себеруй уже с неделю живёт у него, но огонь в своём чуме поддерживает. Всё осталось, как при жене. Анико приедет к себе домой, а не к чужим. Вернётся к отцу, в свой чум. Там каждая вещь принадлежит матери. Когда Себеруй заходит в чум, ему кажется, что жена вышла и вот-вот возвратится, а маленькая шаловливая дочурка спряталась от него за подушкой, как всегда делала.

Потом обхватит за шею тёпленькими ручонками и долго будет заливаться довольным смехом...

Жена не заходила, и смех дочурки не раздавался. Но Себеруй всё равно каждый день подолгу сидел в своём чуме, оглядывая вещи. Иногда засыпал и, проснувшись, молча лежал, стараясь сердцем уловить родные звуки, голос жены, писк дочери. Он пытался представить Анико, хлопочущую у огня, но это не получалось. Однажды, порывшись в мешках со старыми вещами, Себеруй нашёл детские куклы. Они были потрёпанные, и он подумал: а вдруг это её игрушки, Анико? Расставил их, как это делают дети, приготовил куклам постели. На женские фигурки надел ягушки...

Вместе прожито немало, и эти случайные задержки всякий раз тревожат. Охотник может запоздать, в этом нет ничего особенного. Зверь иной раз умней человека, и обхитрить его непросто. Но сейчас охоты нет. Может, заехал к кому-нибудь?

Буро, следивший за хозяином, увидел, что тот наконец успокоился, подошёл, лёг у ног.

Скоро к ним подсел Алёшка с ракетницей в руках.

— Ты куда?

— Пойду оленей поближе подгоню.

Буро поднялся, сел на задние лапы, настороженно подняв уши. Себеруй и Алёшка тоже прислушались. Чуть слышно скрипели полозья со стороны дороги из посёлка.

— Видно, кто-то по пути к нам решил заехать. Сейчас все дрова возят. Может, кому ночлег нужен, — предположил Алёшка.

Когда упряжка вынырнула из леса, Себеруй узнал Пассу. За спиной у него кто-то сидел, неловко держа на весу ноги.

Себеруй привстал. Неужели?

Нарта остановилась. Пасса не успел ещё отбросить хорей, как Себеруй пошёл к нему. На ходу поправил старенькую малицу, торопливо провёл ладонью по усам и щекам.

Анико спрыгнула с нарты. Повернувшись к чумам, увидела маленького человека. Он шёл к ней спотыкающейся, суетливой походкой.

«Отец! — мелькнуло в голове, и сразу же пришли страх и недоумение. Вот этот совсем незнакомый невзрачный старичок и есть её отец? Его надо обнять, собрать крупицы чувства, некогда жившего в ней, полюбить, считать самым

родным человеком? Она растерялась, зачем-то схватила с нарты портфель, выставив его перед собой, словно хотела защитить себя или оттолкнуть того, кто спешил к ней. Когда отец подошёл вплотную, она невольно сделала шаг назад: от старика тяжело пахнуло дымом, табаком, грязным телом. Себеруй не замечал ничего. Он два раза провёл ладонью по своей грязной малице, будто вытирал её, и протянул перед собой руку.

Но Анико не ответила на приветствие. Она со страхом смотрела на чёрную малицу отца, на его спутанные, сальные волосы, морщинистое лицо, грязные руки и чувствовала, как к горлу подступает тошнота.

Себеруй не видел состояния дочери. Всё отцовское, исстрадавшееся в одиночестве и горе торжествовало в нём, радовалось, тянулось к Анико, которая приехала к нему, хотя и стала большим человеком. Он не смутился, когда Анико не пожала руку, наоборот, даже рассердился на себя, что только руку подаёт, а не целует свою дочь.

Себеруй неловко потянулся вперёд, и тут Анико увидела на его усах что-то чёрное, мокрое. «Табак»,— поняла она. Отстраниться не успела и лишь закрыла глаза, когда губы отца коснулись её щеки. Портфель выпал, больно ударив по колену.

Отец, стыдясь своего волнения и радости, отвернулся. Анико выхватила из кармана платок, вытерла щёку. Алёшка, стоявший неподалёку, не поверил своим глазам. Можно надеть чистое красивое пальто, пахнуть духами, но чтобы так... стирать отцовский поцелуй, будто плевок. Он подошёл поближе, захотел увидеть лицо девушки. Может, глаза наврали и не было ни платка, ни омерзения. Подошёл и помрачнел. Да, глаза её суетились, в них ещё не погасло отвращение.

Себеруй справился с собой, повернулся к Анико, взял её за руку и радостно посмотрел на людей, приглашая их полюбоваться на дочь. Те уже подходили ближе, решив, что теперь и им можно поздороваться с гостьей.

Себеруй поднял портфель и зачем-то передал его Алёшке. Руки старика дрожали. О, Алёшка отлично знал, что это значит, когда у ненца дрожит рука.

Первой подошла пожилая женщина.

— Торова.

— Здравствуйте, — Анико понимала, что нехорошо здороваться по-русски, но язык не повернулся сказать ненец-

кое «торова» — отвыкла, застеснялась. Откуда-то из-под ног, словно куропатка, выскользнула старушонка в старенькой дырявой ягушке.

— Торова, ты узнаёшь меня? — спросила она, подавая сухую коричневую руку.

— Нет,— тихо ответила Анико.

— Кэле, кэле, — подосадовала старушонка, покачала головой и добавила: — Ты была маленькой.

Анико показалось: старушка пожалела, что девушка стала большой.

Алёшка решил не здороваться. Он отошёл к куче валежника и начал зло ломать холодные ветки.

Мысли теснились, как непослушные олени, обида за старика не проходила. «Хорошо, что он ничего не заметил, — успокаивал себя Алёшка, аккуратно складывая ветки, — но что... как понять всё это? Неужели она брезгует нами?»

Было ещё не темно, да и какая в апреле ночь! Люди будто и не собирались спать, они суетились, готовили мясо, прибирали в чумах, торопливо переодевались в чистое, хотя это считается большим грехом: не покойники же, чтобы к ночи надевать хорошее, но кто знал, что именно вечером придёт неожиданная радость.

Только Алёшка продолжал рубить валежник. Он знал, что Себеруй с Пассой пошлют его за оленями, если сегодня надумают делать праздник. Кто же гостя встречает без свежего мяса! Но на этот раз ему не хотелось праздника, и не потому, что он не уважал Себеруя и обычай. Что-то другое, похожее на протест против гостьи, испытывал Алёшка. Он знал, что это нехорошо, ему было стыдно, но продолжал упорствовать.

Подошёл Пасса, держа в руках снятые с нарты постромки.

— Ты что это набросился на валежник, как песец на приманку?

Алёшка взмахнул топором, откинул его и исподлобья взглянул на старика. Глаза у соседа были спокойны, а губы кривились в улыбке.

— Погонишь оленей туда, где мы с тобой сегодня были. Доброе место. Ягеля много, — сказал он. — Можешь взять мою собаку, она хорошо отдохнула.

— Не надо. Моя тоже отдыхает. — Алёшка кивнул на Икчу, спавшую под нартой.

Только сейчас Пасса заметил, что парень не в себе.

Хмурится, а с чего бы? Что он, за Себеруя не рад? Нет. Тут что-то не то... С этими мыслями направился к Себерую и Анико. Себеруй беседовал с дочерью, но так тихо, что Пасса даже без капюшона ничего не слышал, но он заметил на лице друга обиду и прибавил шагу. Подойдя, озабоченно спросил:

— Нэвэ, Анико, наверное, чай пить хочет, — и предложил ей: — Иди ко мне в чум, жена чаем напоит.

Когда девушка ушла, мужчины помолчали. Себеруй сидел сгорбившись.

— Сидишь так, будто тебя хореем по спине ударили. — Пасса чуть улыбнулся и взял из рук Себеруя табакерку.

Тот не пошевелился, будто и не видел Пассы, лишь посмотрел на чум, в котором скрылась дочь, и ещё ниже опустил голову.

— Что с тобой? — уже серьёзно спросил Пасса и услышал тихий, потухший, тоже будто сгорбленный, голос друга.

— Она языка нашего не помнит.

Пасса опешил. Такого он не ожидал. Дети уходили, приходили, и снова их не было, но чтобы кто-то забыл свой язык, родной, тот, что дан Идолами как богатство, как вечное отличие человека, — такого никогда не было... На душе стало холодно, будто он съел чересчур много холодного мяса, на язык просилось страшное проклятье, обращённое неизвестно к кому, но вслух Пасса сказал:

— Она вспомнит всё. — А про себя добавил: «Если захочет».

Рядом с отцом было неловко, потому что надо было любить, а любви нет, есть только жалость. Анико всякий раз вздрагивала, когда отец касался её рукой или полы его малицы задевали её пальто. Не было легче и среди женщин. Они радостно суетились вокруг стола, посматривали на портфель, видимо, ожидая подарков, угощали торжественно, со смешной важностью. Мясо брали руками, подкладывали поближе к чашке Анико, она снова чувствовала тошноту, смотрела исподтишка — чистые ли платья у женщин, тарелки, руки. И тот же запах табака, псины, прелой кожи, сырости. Хотелось выйти на улицу. Еле выпила одну чашку, радуясь, что женщины молчат. Откуда ей было знать, что разговор за гостем, а за хозяевами — стол.

Оказавшись наконец на улице, Анико вдохнула чистый

воздух и, положив на нарту портфель, села, чувствуя себя усталой и одинокой. Отец с Пассой стояли около третьего чума и о чём-то тихо переговаривались.

Анико вскочила. Мать... Это её чум. Как же она могла забыть, что мамы нет? И все забыли. Никто не сказал о ней ни слова... Бедная мама ждала, когда дочь вспомнит о ней, вспомнит, что приехала не к этим женщинам, и даже не к отцу, а именно к ней.

Быстро подошла к чуму. Дом мамы. Здесь она жила.

Себеруй встал рядом с дочерью. В чум нужно войти вместе, чтобы жена видела: всё хорошо, они пришли к ней. Правда, ему казалось, что он ведёт к себе не дочь, а чужого, совершенно чужого человека. Дочь должна была хоть немного походить на ту, которую они с женой любили, берегли до шестилетнего возраста, а эта девушка не похожа на ту, маленькую, в продырявленной малице. Хочется плакать, вместо того чтобы радоваться.

Анико напрягала память, умоляла напомнить, что она должна сделать. Чуть отвернулась, чтобы отец не заметил глаза, полные слёз. Себеруй подумал, что дочь забыла, как надо заходить в чум, и торопливо откинул полог двери.

— Заходи, заходи.

Чум мамы... Мир, созданный её любовью, усталыми, но неутомимыми руками.

Анико проглотила слёзы. Не надо расстраивать отца.

— Проходи, садись, — сказал Себеруй. — Я сейчас печку затоплю.

Анико хотела сказать, что сама сделает всё, но голос пропал. Отец вышел.

Анико постояла и села на ящик, в котором, помнится, хранилась чайная посуда.

Из всех углов, из каждой вещички на неё смотрели детство и мама. Анико закрыла лицо руками, но прошлое уже пришло к ней, оно стояло перед глазами...

...Отец, вернувшийся с охоты; песцы, что лежат у костра головой к рассвету. Тепло чума, и не только от весёлого огня, а больше от улыбок. Мама возится у костра, поторапливая вечерний котёл с мясом.

Но самое хорошее начиналось потом. К ним приходили соседи, степенные, с красивыми трубками и табакерками. Некоторые приносили небольшие рога и делали из них ручки к ножам, ложки, пуговицы. Отец, положив около себя неизменную табакерку, начинал петь яробцы-легенды.

Анико усаживалась возле него и могла слушать всю ночь, потому что яробцы очень длинные.

«Зачем я вспоминаю?» — спросила себя Анико. Ей вдруг показалось, что этими воспоминаниями она хочет в чём-то оправдаться перед детством и мамой. И перед отцом.

Поднялась, прошла к месту, где всегда сидела мама, занятая шитьём и своими нехитрыми мыслями. О чём она думала всю жизнь, без неё? Как ей жилось?

Отец появился неожиданно. Чуть коснулся плеча:

— Пойдём пока к соседям.

Анико молча кивнула. Да, там будет легче.

Алёшка, попив чаю, поехал в ночное. Стадо спокойно паслось вдоль речки. Ягель сейчас влажный, и даже самые шустрые олени далеко не уходят. Лёжа на нарте, Алёшка думал об Анико. То, что она изменилась, — естественно. Время берёт своё. Но по тому, как она вела себя при встрече с отцом, Алёшка понял: Анико не останется в тундре и все надежды старика напрасны.

Были у Алёшки и тайные мысли. Он даже сам краснел, когда они приходили. Годы бегут, как олени под гору, а он не женат. Мать уже несколько раз заикалась о невестке и как-то сказала, что есть у неё на примете девушка. Алёшка тогда усмехнулся. Чего уж скрывать, он часто думал об Анико, особенно после письма Пассы. Он, конечно, не надеялся, что она останется в тундре, но вдруг? И тогда... тогда Алёшка сделает всё, чтобы она стала его женой. А как будет доволен старик... Но Алёшка понимал и другое: той Анико, что была в его мечтах, нет. Он знал, что думали пожилые ненцы о своих детях, проучившихся в школе семь-восемь классов: дети уходят.

Сам Алёшка закончил девять классов. И учился неплохо. После девятого приехал на каникулы с мыслью, что это, пожалуй, последнее лето в кругу родных. Потом начнётся большая жизнь и будет не до них. Но вскоре не стало отца, а вместе с ним ушло затянувшееся детство.

В тот день Алёшка с охоты вернулся поздно. Спал до четырёх часов дня. Разбудил его плач. Плакали братья.

«С чего это они?» — подумал Алёшка, подняв голову, да так и замер. Поперёк входа в чум на мокром брезенте лежал отец, неподвижный, огромный.

Алёшка вскочил и нагнулся над ним.

Широко раскрытые глаза отца смотрели на него. Алёшка

закрыл их, но они медленно открылись и снова уставились с прежним выражением недоумения и страха.

Плакал Алёшка тихо, по-мужски сдержанно, положив голову на мокрую и холодную грудь отца.

Отец ушёл, оставив жене четырёх сыновей.

Алёшка стал старшим мужчиной в семье и хозяином чума. Трудно было, особенно в первый год. Сказывалась интернатская избалованность и изнеженность. И если бы не Пасса с Себеруем, Алёшка сейчас не стоял бы прочно на земле, как говорят ненцы. Несколько месяцев подряд он не приносил с охоты ничего. Однажды нашёл в капкане песца, а рядом человеческие следы. Кто-то подложил ему добычу. Пожалел, значит. Тогда Алёшка впервые после смерти отца заплакал, и у него дрогнула рука, подбиравшая чью-то милостыню.

Алёшка загрустил. Долго глядел в ночное небо, чувствуя рядом тепло собаки. Она всегда устраивалась у него под боком, что особенно хорошо в буранные дни. Вот кому не о чем думать. Погоняла оленей — и отдыхай себе спокойно. Как говорится, сердце молчит и душа не тревожит.

Анико проснулась поздно. На улице лаяли собаки, слышались оживлённые голоса, плач маленьких оленей. Торопливо оделась и вышла. У самых дверей столкнулась с большим быком. Тот испуганно отскочил, остановился и, казалось, с любопытством посмотрел на чёрного человека (Анико была в пальто чёрного цвета).

Подошёл Себеруй. Они с Пассой издали наблюдали встречу Анико и Тэмуйко.

— Это олень твоей матери.

— Он меня почему-то испугался.

— Ещё не знает, поэтому и убежал. Попробуй ему хлеба дать.

Себеруй достал из-за пазухи кусок хлеба.

Тэмуйко при виде лакомства заволновался. Сделал несколько шагов навстречу, но опять остановился. От незнакомого человека тянуло неприятным, нетундровым, запахом.

Анико шла к нему, держа хлеб. Мамин олень. Его ласкали её руки. Он хорошо знал маму, может, и любил. Хотелось шепнуть ему ласковое слово, погладить по стройной шее.

Но Тэмуйко, развернувшись, ушёл к стаду и затерялся среди оленей.

Анико растерянно оглянулась на отца.

— Он привыкнет к тебе. Пусть немного погордится.

Себеруй улыбнулся. Ему понравилось, что дочь огорчена. Значит, не совсем чужая.

— Пойдём. Я покажу тебе твоих оленей.

— Моих? Разве у меня они есть?

— У тебя их много, дочь. Третья часть стада твоя. Да, старик один, умирая, завещал тебе своих.

— А зачем мне олени?

Себеруй не ответил. Но Анико поняла, что её приезд он принял за возвращение навсегда. И верит в это. Но оставаться в тундре глупо. Это означает, что надо переучиваться жить. Перестраивать себя. Ломать всё, что достигнуто за четырнадцать лет?! Зачем тогда надо было учиться?

Праздник в стойбище — редкое явление. Здесь не празднуют даты. А вот удачная охота — праздник, сын у когонибудь родится — самый большой праздник. Гость приедет — всем радость.

Правда, за последние годы появились Дни рыбака и оленевода. Но их не особо почитают. Для бездельников лишний повод выпить.

Себеруй велел Пассе и Алёшке заколоть двух годовалых бычков. Туши разделали на речке, где снег был чище.

Анико сидела рядом с отцом на нарте, наблюдала за приготовлениями. Повернулась к отцу. Он нюхал табак. Вспомнила вчерашнюю встречу с ним, грязные усы, своё отвращение и ужас. Стало стыдно за себя, и Анико опустила глаза. Увидела, что пальто в шерсти. Испугалась: а вдруг и вши есть? Хотела сорвать пальто, выбить его о снег. Удержалась. Сделать так — значит опять оскорбить отца.

Анико осталась сидеть, только сжалась и незаметно подобрала под себя полы пальто.

Около оленьих туш стали собираться соседи.

Поднялся и отец.

— Пойдём.

«Отказаться? Нет. Получится нехорошо».

Они прошли к месту пира. Перед ними расступились.

Анико неловко села на корточки. Отец подал ей нож с тонким лезвием. Анико поискала взглядом хлеб, но не нашла.

«Хоть бы немножко съесть».

Себеруй подал дочери кусочек сырой печени... Он вспом-



Капкан был большой, не такой, что люди обычно ставят на глупых песцов, насторожен, видно, на крупного зверя. Волк провозился с ним всю ночь. А под утро, когда рядом остро запахло человеком, перегрыз себе лапу.

нил, что маленькая Анико очень любила печень; покойная жена, бывало, забирала её всю и солила, чтобы потом давать дочери.

Анико густо посолила кусочек, стараясь выглядеть спокойной. Рот был полон соли, и всё же запах крови чувствовался сильно. «Надо выдержать, надо выдержать...» — думала Анико.

Когда с куском печени было покончено, все заулыбались, да так приветливо, что Анико чуть не заплакала. Значит, переживали за неё, понимали.

А гости уже ели. То, что губы и подбородки были запачканы кровью, теперь не казалось противным, а вся картина праздника дикой. Ненцы питались так испокон веку, и, может, ещё много лет пройдёт, а сырому мясу они по-прежнему будут отдавать предпочтение.

Алёшка отгонял оленей на пастбище, но сцену с кусочком печени застал и обрадовался за Анико.

Анико больше не ела, а, устроившись поудобней, смотрела на земляков и старалась понять, как они могут жить тут. Ни кино, ни театров, ни книг. Чем они живут? Задумывался ли кто-нибудь из них, ради чего он появился на свет? Маленькие, некрасивые, а круглые капюшоны малиц делали лица мужчин похожими на физиономии каменных Идолов, которых Анико помнит с детства.

Почти у каждого озера, в котором отец ловил рыбу, гордо полулежали каменные хозяева озёр.

Перед тем как закинуть невод, отец обязательно угощал Идолов, ставил перед ними что-нибудь вкусное: варенье из морошки или хлеб с маслом. Чаще всего отец мазал рыбьим жиром то место, где, по его мнению, у Идола был рот.

И только после этого закидывал невод. Если улов был хороший, отец разделывал самого большого, жирного сига и опять угощал Идола. Если рыбы было мало, отец некоторое время молча смотрел Идолу в лицо и говорил:

— Ему сегодня ничего не надо.

Сейчас Анико поразило не столько внешнее сходство людей с теми Идолами, сколько общее выражение значительности и достоинства на лицах ненцев и их каменных богов. Должно быть, сидящие перед ней знают что-то очень важное и основное в жизни, чего не знает она, иначе не вели бы себя так спокойно и уверенно.

Около каждого мужчины лежали собаки. Их не отгоняли, не кричали на них. Им кидали кости и внутренности, и

в движениях людей не было ни пренебрежения, ни злости. Подавали как друг другу, как равный равному.

И только большой бурый пёс лежал в сторонке и наблюдал за всеми полусонными глазами. Отец кидал ему кости, и тот подбирал еду с достоинством, не жадно и не торопливо, а если кость не долетала, не поднимался.

Анико почувствовала к этому псу особое уважение. Может, оттого, что он не давился куском и не скалил зубы, как другие собаки, может, оттого, что он, как показалось Анико, тоже отошёл от суеты жизни, чтобы хорошенько подумать обо всём, не сделать ошибки.

После чая Анико пошла к матери. Кладбище было недалеко.

Анико достала из кармана скляночку с табаком, переложила в портфель, чтобы не потерять. Отец просил передать матери.

Веночек из ярких цветов решила нести в руке, боясь измять его. Он был маленький и изящный. Купила на базаре перед самым вылетом. В стойбище не хотела показывать, стеснялась, да и боялась, что не поймут, а может, и осудят.

Идти нетрудно. Зимник твёрд, как асфальт. Видно, не один десяток лет ездят по нему. Кое-где из-под мокрого снега выглядывает прошлогодняя трава. Анико пытается представить её зелёной и сочной, но не может.

Скоро показалось священное место, а за ним и кладбище.

Могилу матери нашла сразу. Молча постояла, потом высыпала табак на гроб и на землю, как велел отец. Села на доску, оставшуюся с похорон, и прислонилась плечом к гробу. «К живой не пришлось, так хоть к мёртвой приласкаться, прощения попросить за то, что не была с ней».

— Прости меня. Я была виновата в нашей разлуке, ушла от тебя, чтобы учиться и быть лучше. Только лучше ли я стала? — И ей вспомнилось, что несколько раз после геологической практики могла поехать домой. Можно было хоть раз в месяц писать письма, посылать маленькие посылочки, родители были бы рады любой весточке от неё.

Им простительно. Они никогда не знали точно, где живёт их дочь. Как ужасно, что ничего не изменишь в прошлом. Она почувствовала, что сейчас заплачет. Поправила на венке цветочки, положила его на гроб, придавила камнем. Попыталась представить лицо матери... и не смогла. «Какое же оно было? Доброе? Злое?»

Сняла варежку и погладила холодные доски.

Лицо матери... Она никак не может вспомнить его... Вот суровое лицо Елизаветы Ивановны, воспитательницы интерната. Когда Анико училась в четвёртом классе, Елизавета Ивановна хотела сделать из неё хорошую гимнастку... Улыбнулось добренькое, исковерканное оспой лицо бабки Лизы, ночной няни. К ней Анико ходила пить чай, часами слушала её рассказы и песни... Светло и строго глянули глаза Валентины Георгиевны Старенко, любимой учительницы, которая во многом, чуть ли не в главном, заменила ту, что лежала здесь...

Анико заплакала. Пусть поздние слёзы, пусть стыдно.

Как должно быть уютно, спокойно и хорошо людям, у которых есть мамы. Пусть старенькие, сморщенные, пусть глупенькие и смешные, но живые.

Мы приходим к маме, несём к ней свои обиды и нужды, забывая о её обидах и нуждах. Счастье несём к маме реже, хотя знаем, что она не попросит от него ни кусочка, а только удвоит его.

Тяжело приходить к мёртвым, знать, что пришёл поздно, и в этом твоя, только твоя, вина, ни при чём тут житейская суета, на которую привыкли валить всё.

Анико больше не плакала, понимая, что слезами прощения матери не заслужишь.

Тэмуйко медленно отходил от стада. То и дело поднимал голову и смотрел на собаку: как бы не заметила. Потом снова опускал морду, делая вид, что усердно щиплет ягель. Увидев, что погони нет, Тэмуйко пошёл смелее. Сначала вышел на зимник и скоро свернул к кладбищу. Он приходил сюда не каждый день, хотя хорошо помнил место, где лежит мать, и сейчас приближался спорыми, уверенными шагами.

Вдруг Тэмуйко остановился, ноздри его вздрогнули — он увидел Анико. Постоял, принюхиваясь, и осторожно подошёл к могиле, только с другой стороны. Коснулся губами досок и, чуть прикрыв длинными ресницами глаза, замер.

Анико стояла, не веря ни глазам, ни сердцу. Олень у могилы?! Может, случайно забрёл, отстал от стада и завернул сюда, увидев человека? Кажется, вчерашний гордец. Да, он.

Тэмуйко не обращал на неё внимания. Он глядел большими тоскливыми глазами на саркофаг, на проталины

около него и, казалось, думал о чём-то печальном и неоленьем.

Анико молча рассматривала его. Рога у оленя уже отпали, и вместо них торчали влажные отростки пантов, но они не делали его некрасивым, а, наоборот, придавали голове особое изящество и молодость, подчёркивали широкий, чуть выпуклый лоб.

«Он пришёл сюда не зря, не забрёл случайно. Но тогда зачем?» — думала Анико, но уже догадывалась, что олень «сознательно» пришёл к матери, только почему-то стыдно было признаться в этом себе.

Анико встала, положила на саркофаг склянку с оставшимся табаком, поправила шарф и шапочку, неловко склонила голову, мысленно прощаясь с матерью.

От встречи с оленем осталась в душе тяжесть и вместе с тем какое-то светлое чувство.

Пошла по свежим следам Тэмуйко, думая, что вот она ушла, а он остался. Обернулась.

Тэмуйко не смотрел на неё. Он стоял, низко опустив красивую голову.

Анико вдруг показалось, что олень плачет. Иначе зачем он будет так стоять? Ему, должно быть, очень тяжело. Она подождала, когда Тэмуйко поднимет голову, но тот не шевелился.

Где-то захохотала куропатка, и ей тут же, не медля, ответила другая. Смеялись они по-весеннему: легко и радостно.

Анико решила ничего не говорить о встрече с Тэмуйко.

Отец встретил молча и торжественно. Он был в новой малице, хотя солнце светило по-весеннему лукаво. И не только он, а все были одеты празднично. Ножны на поясах мужчин блестели, на ногах, несмотря на небольшие лужицы, красивые кисы с узорами. Женщины переоделись в чистые платья.

«К чему это?» — испуганно подумала Анико и невольно поправила на голове мохеровую шапочку.

Отец ласково поглядывал на неё.

Женщины расстелили на земле шкуры, и получилось что-то похожее на мягкий ковёр. На него поставили чашки, посуду с мясом, маслом, рыбой.

Анико подошла к своему чуму, удивлённо опустилась рядом с отцом. Он нюхал табак и довольно улыбался.

— Что они делают?

— Праздник будет.

— Утром же был.

— Сейчас ещё больший праздник. Ты встречалась с мамой, поговорила с ней. — Себеруй говорил так, будто действительно знал, что дочь беседовала с матерью. — Она увидела тебя и сейчас радуется, и мы тоже радуемся тому, что ты приехала.

Когда женщины закончили приготовления к празднику, отец поднялся и, как утром, сказал:

— Пойдём.

Опять испытание, но сейчас, видно, серьёзней, чем с куском печени. Пошла за отцом, стараясь улыбаться.

Уселись, как утром. Рядом отец, с другой стороны — Пасса. Прямо напротив парень, который был чем-то знаком, но Анико никак не могла вспомнить, кто он.

Алёшка время от времени смотрел на неё: ну, вспомни, вспомни.

Женщины принесли чайники.

— Надо было костёр разжечь. Чай-то быстро остынет, — проворчала мать Пассы, раскалывая ножом большой кусок сахара. — Или в чуме сидеть.

— Ма, мы не пойдём в чум. Они ведь у нас маленькие, — возразил Пасса и, слегка улыбнувшись, достал из-под колена бутылку спирта.

Жена подала ему ковш холодной воды. Разбавляя спирт, Пасса продолжал, будто жаловался:

— Маленькие у нас чумы. Надо бы побольше да получше, но некому пока думать о чуме. Вот вырастут наши. — Он хотел сказать «сыновья», но быстро поправился, — наши дети, тогда они поставят нам чумы побольше да потеплей.

— Хватит вам про чумы, — вмешалась жена Пассы и подмигнула матери Алёшки: мол, поддержи.

Пасса налил всем по чашке спирту, высоко поднял свою и сказал, посмотрев на Анико:

— За то, чтобы наши дети возвращались.

Этот тост, видно, понравился. Некоторое время все молча и торжественно смотрели на Анико, потом разом выпили.

Анико чуть пригубила свою чашку. Люди верят, она останется с ними, но как им объяснить, что это невозможно? Пасса поднялся и, обращаясь к Алёшке сказал:

— Приведи упряжку.

Алёшка вскочил легко и радостно, и, пока шёл к оленям, хорошая улыбка была на его лице.

Четыре огромных быка ступали лениво и важно, сонно смотрели большими сытыми глазами и не обращали внимания на людей.

Отец поднялся, подошёл к оленям, погладил каждого по морде, губы его чуть заметно шевелились, будто он давал наказ животным.

— Это, дочка, мамины олени. Почти всех она воспитала сама, когда они оставались сиротами. — Голос его дрогнул, но тут же просветлел. — А теперь они твои. Нарту тебе сделал Пасса.

Ноги сами подняли Анико. Она не знала, что делать. Принять оленей и нарту — значит согласиться остаться, а нет — обидеть людей, искренне желающих ей добра.

Алёшка с волнением ждал её ответа или хотя бы взгляда, он с силой дёргал ножны и, почувствовав, что может невзначай оторвать их от пояса, сел, не спуская глаз с Анико.

— Подойди сюда, — попросил отец.

Анико подошла. Отец передал ей хомут. Принимая его, она уже решила во всём соглашаться сейчас и не портить людям праздник.

Отец поправил упряжь на каждом быке и сказал:

— Передовым у тебя будет Тэмуйко. Его сейчас нет, но если он в упряжке — ты можешь даже спать в дороге. Сам вывезет к людям. Его твоя мать выкормила грудью.

Анико стояла потрясённая, но её отвлекла мать Пассы. Она подошла и протянула красивую ягушку. Глазки старушки блестели, аккуратно причёсанные волосы белели сединой.

— Носи, дочка. Никогда не замёрзнешь. Можешь в ней спать на снегу, как куропатка.

Не зная, куда деть хомут, Анико растерялась. Все засмеялись. Алёшка взял хомут и глазами показал, чтобы приняла ягушку и положила на нарту. Анико смущённо улыбнулась старушке, её пальцы чуть коснулись горячей маленькой руки, и девушка поразилась: какая она сухонькая! И такие усталые руки шили для неё, чужой, этот хитрый узор?

Мать Алёшки бросила на старушку быстрый ревнивый взгляд и побежала к своему чуму, смешно семеня короткими ножками.

Алёшка с удивлением посмотрел ей вслед. Мать вышла

из чума с молодым румянцем на щеках. После смерти отца Алёшка ни разу не видел её такой. Сияя от гордости, женщина поднесла Анико кисы, настоящие, длинные. Она, оказывается, тайно от всех тоже готовила подарок гостье.

Алёшка растерянно замигал.

Он никогда не видел мать за этой работой. Ох и много хитрости у женщин, если дело касается счастья их детей! Видно, не зря намекала вчера, что за невесткой можно не ездить далеко.

И Окне, жена Пассы, подала свою сумочку, которой все залюбовались.

Анико складывала подарки на нарту, и даже чуткий Пасса не мог бы сказать, что она не рада им. Только Алёшка, сидевший рядом, замечал в глазах девушки растерянность, которую не могла скрыть улыбка.

Потом пили чай.

Анико развеселилась, а когда мужчины устроили гонки на упряжках, переживала и кричала вместе с ребятишками и женщинами.

Победил в гонках Алёшка. Он специально тренировал для соревнования своих оленей, и разленившимся, ожиревшим быкам Себеруя и Пассы было трудно тягаться с Алёшкиными, поджарыми, мускулистыми.

После гонок женщины варили мясо. Пасса с Себеруем завели разговор, интересный и понятный только им: сколько оленей сдать осенью на мясо, какие телята в мать пошли, какие в отца, где лучше ягель.

Анико хотела помочь женщинам, но ей сказали, что она замарает пальто. Походила, поиграла с ребятами, а потом села на нарту, задумалась и не заметила, как подошёл Алёшка.

— Ты меня не узнаёшь?

— Нет. Лицо вроде знакомое, но не помню.

— Алёшка я, Лаптандер. В Белоярске в интернате вместе жили. Ты тогда меньше была, а сейчас...

— Да, сейчас совсем не та. Скажи, что мне делать с этим богатством?

Алёшка не стал притворяться, что не понимает. Он сел рядом и как можно спокойней сказал:

— Это твоё дело.

Помолчали.

— А если я отца с собой возьму? — неожиданно спросила Анико.

— Ну, то совсем смех. Всю тундру рассмешишь. — Алёш-

ка в подтверждение своих слов слегка улыбнулся. — Твой отец всё равно что олень, в стайку не загонишь.

— Почему?

— Будто сама не знаешь. Грамотная ведь.

— И грамотные часто не всё понимают.

— Он всю жизнь прожил в горах. Ему здесь каждый камень и дерево знакомы. Он с ними, как с людьми, за руку здоровается. — Алёшка говорил медленно, спокойно, но по румянцу на щеках видно было, как он волнуется. — Твоему отцу не так просто взять и переехать. Он без чума, оленей и Пассы жить не сможет, тем более в душном городе.

Анико сорвала сухую травинку, повертела её в руке.

— Но ведь привыкла я к городу.

— Даже слишком, — Алёшка усмехнулся. — Тебя, как и других наших парней и девушек, испортил интернат.

— Ты что, против образования? — растерялась Анико, изумлённо рассматривая парня.

— Почему против? — обиделся Алёшка. — Интернат — это хорошо. Но вспомни, много ли молодых вернулось после интерната в тундру. А те, кто вернулся, что они принесли? И грамоте толком не научились, и ремесло своих отцов позабыли. Вот и получаются из нас не тундровые жители, не городские, смесь какая-то...

— Не все же такие, — рассердилась Анико, — а если человек хочет по-настоящему учиться...

— Я не о них, — поморщился Алёшка. — Тундра будет всегда, значит, кто-то должен ухаживать за оленями, ловить песцов. Почему бы в интернате вместе со стихами Пушкина не давать уроки охоты, ловкости, выдержки? Ведь есть же профессии оленевода, рыбака, охотника. Вот и учили бы их по науке этому. Они бы вернулись в родное стойбище и сделали жизнь лучше...

Анико бросила травинку и с удивлением посмотрела на Алёшку. Тот перехватил её взгляд, смутился.

— Ну, ладно об этом. Что ты собираешься делать?

Анико пожала плечами, отвернулась.

— Я не знаю, Алёшка. Отца не могу обидеть, но и остаться жить, как вы, не могу.

— Почему?

— Шить, варить, готовить дрова я научусь, но, Алёшка, пойми, ты увидел в оленях и в кочеваниях смысл, а я не вижу... Может, только к старости.

— Хорошо! Я тебя понимаю. А отец? А род? Забываешь,

что ты единственная из рода Ного? Сможешь ли ты там, в городе, продолжить его, не потерять честь Ного? Ведь отцу будет тяжело умирать, зная, что вместе с ним уйдёт и его род. Ты не смотри, что он сейчас бодро ходит...

— Но я буду приезжать к нему.

— А ему не это надо. Ему вся твоя душа нужна, а не осколочек её.

— Что же, ради него я должна повторить судьбу матери?

— Значит, ты хочешь жить в благоустроенной квартире, а другие ненецкие женщины пусть сидят у очага? Ты же грамотная, вот и сделай их жизнь лучше.

Анико испуганно взглянула на парня. Лицо Алёшки побледнело, на лбу вздулась жила, а глаза его смотрели недобро и хмуро.

— Что я могу сделать? — хотела, чтобы вопрос прозвучал твёрдо, а получилось жалко и невнятно.

— Вот когда ты на собственной шкуре почувствуешь всю тяжесть жизни женщины, тогда будешь знать, что делать. — Алёшка говорил всё с тем же недобрым выражением лица. — Ну ладно, хватит об этом. — Поднялся. — Ему было неприятно, что разговор получился таким грубым, и теперь он хотел успокоиться.

Анико растерялась до слёз. Хорошо, что Алёшка ушёл и не видел её лица. Она не ожидала таких слов, колких, неприятных, страшных. И от кого? От какого-то пастуха, парня в малице.

А что, если все они — и папа, и Пасса, и эти добрые женщины — думают о ней так же, только молчат? Как быть? Как утешить себя, а главное — оправдать? Где-то в глубине души Анико начала сознавать, что парень прав, но как... как бросить всё: институт, театр, кино, танцы, споры с товарищами об искусстве, об интересном и ярком будущем? Как забыть шумные, горячие улицы города, любимые места, где не раз так хорошо думалось и мечталось, и добровольно отдать себя мёрзлой тишине, затеряться в белом просторе снегов, надеть ягушку, жить при керосиновой лампе и... состариться?!



Себеруй сидит лицом к закату. Тёплые струйки солнца бегут по глубоким морщинам, а старому ненцу в лёгкой дремоте думается, что это маленькая дочь гладит его по лицу мягкими пальчиками.

Огромное солнце хотя и ласковое, но одинокого человека уже никаким теплом не согреешь.

Себеруй понял, что дочь уедет. После ужина он совсем случайно через открытый полог двери увидел, как Анико складывала свои вещи, не обращая внимания на подарки женщин стойбища. Они лежали на постели забытой кучкой.

Уже в первый вечер, в момент встречи, вместе с радостью приютился страх, но Себеруй пытался обмануть себя, а временами действительно верил, что всё будет хорошо, родная дочь не бросит на старости лет. Но теперь он знал — Анико торопится обратно. Там, на Большой земле, за много километров её ждёт что-то более родное и близкое, чем отец и его горе. Придётся доживать последние дни одному. Он ведь в большой посёлок поехать не может. Жена и дочь здесь. Здесь было счастье.

Буро осторожно подошёл к хозяину, лёг и некоторое время тоже смотрел на солнце, потом подполз к ногам Себеруя, лизнул кончики кисов. Он всегда делал так, чтобы хозяин не сердился за беспокойство.

Себеруй, наклонившись, провёл рукой по шее собаки и опять задумался...

Анико проснулась от страха. Ей приснился сон. Мать защищала её от кого-то. Анико не поняла, от кого именно, мать размахивала руками, что-то гневно кричала, загораживая дочь. А лица у неё не было.

Торопливо откинув полог, Анико быстро накинула пальто. Долго пила воду, искала глазами отца. Его не было. Ягушка, которой он всегда укрывался, лежала на постели так же, как положила её Анико вчера. «Где он? Что с ним?»

Испугавшись ещё больше, выскочила наружу, обошла вокруг чума и увидела отца на нарте.

Сделав несколько шагов, Анико услышала голос, спокойный и доверчивый, будто отец говорил с самым близким человеком.

— Буро, мы опять останемся одни.

Анико чуть подалась назад. Ей подумалось, что отец лишился рассудка. Против него сидела собака и внимательно смотрела на хозяина. Ни она, ни отец не заметили Анико.

— Не плачь, — сказал Себеруй тихим и ласковым шёпотом. — Мы будем жить тихо, никому не будем мешать. Ты знаешь, я шить научился. Сам себе кисы и малицу буду чинить. Пусть у тебя ум походит: мать Пассы уйдёт в другой мир, и никто не захочет заниматься нашими кисами. Вот смотри... —

Он наклонился и показал на ногу. В кисах была дырочка, из которой торчала солома, её обычно подкладывают под чижи. — Завтра я дырочку зашью. Ты только никому не говори.

Буро понюхал солому и фыркнул.

— Хорошо, хорошо, не смотри на меня так. — Себеруй помолчал и продолжал успокаивающим тоном: — Малица у меня хорошая, да новая ещё есть, хозяйка сшила. А ты хорошо следи за оленями, чтобы на нас никто плохо не смотрел и не думал, что Себеруй с Буро не работают.

Анико не выдержала:

— Папа!

Себеруй резко обернулся. Подбежав к нему, Анико обхватила голову отца, задыхаясь от слёз:

— Не говори так, не говори с собакой. — Она гладила, как во сне, его руки, волосы и всё повторяла срывающимся голосом: — Не говори. Посмотри на меня. Я вернусь, папа, а пока отпусти меня. Не могу остаться. Я должна понять. — Она спрятала лицо в сорочке малицы, говорила быстро: — Жди меня. Я разберусь в себе и буду с тобой, а? Ты веришь мне? Веришь?

Себеруй только кивал и вытирал ей слёзы ладонью. Да, он готов отпустить её хоть навсегда, потому что теперь знает: у него есть дочь, есть на земле его кровинка, остался его корень, не погиб, не завял.

— Иди, дочь, но будь хорошим человеком. А если вернёшься — всё будет твоим. Умру я, тебя твои родные места всегда примут.

Он поцеловал Анико в голову, поднялся и сказал:

— Подожди меня тут.

Вернувшись, положил на нарту что-то завёрнутое в красную тряпку. Глаза его смотрели строго и странно, будто перед ним была не девушка, а такой же мудрый, проживший трудную жизнь человек. Он развернул тряпку, опустился на колени и долго стоял, нагнув голову. Потом поднялся, кивком подозвал к себе дочь и показал глазами на нарту. Там сидел маленький человечек в белоснежной малице. Затаив дыхание, Анико смотрела в его светлые глаза и не решалась отвести взгляд.

— Встань на колени, — тихо и ласково попросил отец.

Анико послушно опустилась, чувствуя на плече тепло отцовской руки.

— Ты осталась одна из рода Ного. Смотри, это его хозяин. Говори с ним.

— О чём? — испуганно спросила Анико, чувствуя: совершает что-то важное, святое, мудрое.

— Попроси его. Пусть он будет добр к тебе. — Голос отца слышался откуда-то издалека, а светлые впадины глаз хозяина рода, казалось, то увеличивались, то уменьшались, будто он внимательно всматривался в девушку. — Я уже просил его. Теперь ты. Не бойся. Он будет с тобой и с тем, кто станет твоим мужем. Проси. Он мудр, хотя не уберёг твоих маму и сестрёнку.

Анико склонила голову, закрыла глаза. В этот миг она верила, что от Идола, спокойно смотревшего на неё, зависела её судьба, судьба рода и её детей. Она верила, и уже это было просьбой, чтобы он был добр к ней, к людям, особенно к её одинокому отцу.

Отец тронул её за плечо.

Анико поднялась. Глаза её смотрели строго, так же, как и у отца минуту назад. Лицо побледнело.

Себеруй взял Идола и, подойдя к дочери, остановился.

— Помни, он всегда должен жить. Не важно где: в чуме или в деревянном доме, но жить.

Анико ничего не сказала, с широко открытыми глазами и сердцем, полным любви к жизни, к отцу, к земле предков, взяла Идола и несколько минут стояла неподвижно, понимая, что приняла сейчас душу отца, матери, деда и всех, кто жил на земле до неё. Не Идола отец передал ей, а право, святой долг жить на родной земле и быть человеком.

Наступил вечер, бледный, словно страдающий малокровием, но он всегда вызывал у Павла Леднёва радостное и грустное ожидание, потому что за ним приходила белолицая, голубоглазая ночь.

Павел встал из-за стола и, потянувшись, вышел на крыльцо. Он любил всё, что встречало его на улице в эти часы: солнце, которое спрячется только на миг, прошлогоднюю траву, выглядывающую из-под высокого крыльца, и даже снег, тающий днём, а сейчас покрытый коркой льда. Но больше всего Павел любил вечернюю тишину, когда можно сесть на крыльцо и затаив дыхание слушать первых птиц, прилетевших домой, шёпот трав и кустарников, радующихся весне.

Беспокойный ветер шумно вздыхал в лицо,

отгоняя усталость. А Павел сильно уставал. Последние два месяца он записывал на магнитофон легенды, сказки, загадки своих друзей и пытался делать переводы. Иван Максимыч радовался его увлечению и часто говорил:

— Ты хорошо задумал, Павлуша. Любой ненецкий парень умеет стрелять, а вот рассказать сказку, записать её не всякий может.

Они любили просыпаться ночью, ставили чайник, и за чашкой чая Иван Максимыч говорил о себе.

В войну Ивана Максимыча на фронт не взяли, потому что он плохо видел. Пошёл ловить рыбу. Для страны она была нужна не меньше, чем хлеб и снаряды. Работал с бригадой, часто болели спина и руки, но ещё сильней болела душа. Он знал, что будет, если фашист победит. Придёт старая жизнь, да и придёт ли вообще жизнь на Север, если в тундре начнут хозяйничать враги?

Бригада ловила рыбу в любую погоду.

После войны из-за нездоровья перешёл в школу печи топить, а потом, женившись, приехал в Лаборовую. Жена внезапно умерла, так и не подарив сына. И вот уже скоро десять лет Иван Максимыч, как шутит он сам, является головой в сельском Совете. Устал, конечно, старик. Быть головой — дело серьёзное, ответственное.

Павел вернулся и, стараясь не греметь, затопил печь. Пока закипал чай, решил задокументировать образцы пород.

Скрипнула половица, из-за занавески показалась сонная физиономия Ивана Максимыча. Он проворчал нарочито недовольным голосом:

— Ложись-ка спать. Утро скоро. Подождут твои камни. Ты тут сигареты не видел? Маюсь всю ночь. Не берёт меня, лешего, сон.

— Ночи белые, потому и не спится. — Павел подал пачку сигарет.

— Да, ночи красивые.

Иван Максимыч закурил и сел за стол. Лицо его оживилось, морщинки повеселели. Прихлопнув пятернёй жидкие, но ершистые волосы, он озорно глянул на Павла.

— Лежал и думал думы.

— О чём? — Павел устроился поудобней на своём стуле.

— Смотрю я на тебя и размышляю: кто ты такой?

— Геолог.

— Я не о том. Почему у тебя так душа лежит к ненцам?

Павел растерялся от такого вопроса: Павел Максимыч

знает, что ненец спас его от смерти. Значит, не об этом спрашивает, что-то другое имеет в виду.

— Не знаю, Иван Максимыч. Нравятся они мне. Иной раз и уезжать не хочется.

— А ты не уезжай. — Широкое, бледное лицо старика засветилось лукавой улыбкой. — Дались тебе эти камни. Что в них: ни души, ни понятия. Другое дело олень — живой, умный, всё понимает. Оставайся. Будешь заместо меня, ты ненцам больше поможешь...

— Ну что вы, Иван Максимыч!

— Молчи, дай слово скажу. Должен я когда-то кому-то умное и нужное слово сказать? Ты будешь тут начальником. Многое сделаешь. Меня вон, старика плешивого, — для большей достоверности Иван Максимыч наклонил голову перед Павлом, — никто в районе не слушает. Грамоты не хватает. А не хочешь заместо меня, всё равно иди к нам. Я тебе своей рукой чум поставлю, свет проведу, а оленей ненцы дадут. Каждый по штуке, и то уже стадо большое будет. Женишься потом. Вон к старику Себерую дочь приехала. Грамотная. Чем не пара? Будете жить, а главное — начнём помаленьку помогать ненцам, чтобы поняли они эту... как выразиться?

— Поняли необходимость жить культурнее. Так?

— Вот-вот.

Иван Максимыч замолчал. Видно, думал об этом не раз.

Павел тоже молчал. Такие мысли приходили ему в голову, но что-то мешало пропустить их в сердце и окончательно принять.

— Я тебе, Иван Максимыч, пока ничего не скажу.

— Понимаю, Павлуша. — А увидев, что Павел как-то виновато опустил глаза, торопливо добавил: — Не думай, что обижаюсь, я в самом деле понимаю. Но и ты пойми — нужен ты нам.

Павел так и не уснул в ту ночь, смотрел, как за окном одиноко встречала утро старая лиственница, и жалел её.

А почему бы действительно не отойти от привычного и дать душе побольше хлопотной работы, к которой лежит сердце? Остаться тут года на три, постараться изменить образ жизни в стойбищах ненцев. Собрать разбросанных по тундре комсомольцев, оживить комсомольскую организацию, построить новый клуб вместо этой развалины, наконец — собрать хорошую библиотеку, пустить в жизнь записанные яробцы, ставить концерты. Районное начальство должно поддержать всё это.

Нынешняя его работа... О, тут совсем просто. Рядовых инженеров до чёртиков. И если на одного станет меньше, от этого геология не пострадает. «Миссионерство какое-то», — усмехнулся Павел, но уже почувствовал, что мысль остаться в тундре не кажется нелепой.

Накинул шубу и вышел. Остановился у лиственницы, опустился на пенёк, где неделю назад сидела Анико.

Как хорошо иногда ночью не уснуть. Приходят мысли не обычные, не дневные, а сокровенные; как здорово осознать вдруг, что ты стал немного взрослей, искренней, добрей.

Иван Максимыч тоже не спал, думал о Павле.

Здесь, на Севере, часто встречалась, наезжая, гниль человеческая: скупали за бесценок шкурки, кисы, и вся беда заключалась в том, что нередко многие местные жители судили о всех, кто не был ненцем, по ним.

Но Павел не интересовался мехами, зато каждый раз, уезжая домой, набивал рюкзак всякими пустяками: табакерками, ненецкими медными украшениями, камнями — и даже детские куклы ухитрялся брать с собой. Ненцы удивлялись, а потом, когда ближе узнали Павла, приносили ему в подарок шкурки, но Павел отказывался, говорил, что сам научится ловить песца.

Иван Максимыч вспомнил Анико, как она чуть ли не с отвращением стряхивала с пальто шерстинки, которых всегда много в доме — люди заходят в малицах, кисах. А Павел нет. Ни разу не приметил Иван Максимыч в нём брезгливости; со всяким ненцем Павел находил о чём поговорить, а начал сказки записывать — так его узнали и полюбили даже в самых дальних стойбищах.

Вот и три дня назад приехал к Ивану Максимычу старец лет под девяносто, древний Мендако.

— Что тебя заставило запрячь упряжку молодых лет? — спросил удивлённый Иван Максимыч, поддерживая под руки старика.

— Смерть поджидаю, — крикнул Мендако. Он плохо слышал, и ему казалось, что другие тоже на уши жалуются. — Люди до меня донесли слова о русском парне. Хочу вот на него поглядеть да отдать всё, что знаю.

— Да ведь у тебя и голос старый, — пошутил Иван Максимыч.

— Ничего, петь я могу. Пойдём.

Три дня Павел не принимал никого. Три дня из дальней комнаты дома слышался голос старца.

Уезжая, Мендако подарил Павлу из своей упряжки красивого белого быка. Павел не отказался. Это был особый подарок, подарок за радость, за добрую душу, как сказал Мендако, и не принять оленя означало крепко обидеть старика.

Иван Максимыч вспоминал всё это и не жалел, что от имени ненцев сказал приезжему русскому: «Ты нам нужен». Маленькому северному народу необходимы такие люди, как Павел, чтобы помочь ненцам сделать жизнь в тундре такой же благоустроенной, как на Большой земле.

Алёшка проснулся внезапно. Этого с ним никогда не бывало. Недоумевая, лежал с открытыми глазами, пытаясь понять, что могло разбудить его. Осталось ощущение неуловимой тревоги, и оно не давало уснуть. Осторожно вытащил руку из-под головы братишки, посмотрел на часы: два.

Рядом зашевелилась мать, и Алёшка затаил дыхание.

— Не спишь ведь, я знаю, — прошептала мать.

— А что, ма?

— Почему не спишь? — Мать, видно, даже не вздремнула.

— Не могу, ма.

— Что случилось?

Обычно Алёшка от матери ничего не скрывал, но сейчас заколебался. Мать — человек старых взглядов, вряд ли она поймёт, что творится в его душе.

А сам чувствовал: что-то уходит от него с отъездом Анико. Уходит медленно и больно. Может, это надежда на любовь.

— Почему молчишь? — спросила мать, тревожно вглядываясь в лицо сына. Чёрные отцовские брови сдвинуты, рот по-детски полуоткрыт.

— Спи, мама, у меня голова немного болит, — сказал Алёшка и отвернулся.

Мать поняла и решила, что лучше помолчать. Сын уже взрослый. Женщина в тундре искренне верит в силу и ум мужчины. К тому же видела, как вчера Алёшка что-то быстро говорил Анико. Жаль, что по-русски, она ничего не поняла. Только в глазах сына не было радости.



А Алёшка вспомнил интернат, как он не решался послать Анико записку и она на вечере танцевала с другим, потом с ним же пошла гулять. Алёшка сжимал в руке помятую записку и клялся побить своего соперника.

Что случилось? Разве Себеруй не отдаст свою дочь Алёшке? Он и красив, и ловок, и оленей много...

А Алёшка вспомнил интернат, как он не решался послать Анико записку и она на вечере танцевала с другим, потом с ним же пошла гулять. Алёшка сжимал в руке помятую записку и клялся побить своего соперника. После отбоя дождался его в дверях, но ударить не смог.

И сейчас Алёшка не может победить то, что отнимает у него Анико, теперь уже навсегда. Соперником была жизнь. Анико уехала. Все говорили, что она приедет обратно, но Алёшка знал, что вернуться оттуда, с Большой земли, не так-то просто, тем более ей. Вернуться для неё — это начать всё с нуля.

В ночь после отъезда Анико волк напал на стадо важенок с оленятами. Алёшка дежурил у быков. Двух малышей волк зарезал и оставил, будто в насмешку, нетронутыми. Зато у важенки была съедена вся задняя часть.

Себеруй весь день молчал, и Пасса с Алёшкой ничего не говорили ему, оба уже знали по следам, что это снова Хромой Дьявол.

Женщины не пускали детей на улицу, не разрешали им громко разговаривать. Собаки сердито фыркали, настороженно и немного трусливо поднимали уши, рычали, будто видели недалеко тень страшного волка.

На немую просьбу Алёшки Пасса ответил коротко:

— Не надо. Он не велел. Сегодня будешь караулить важенок. Возьми ещё Буро в помощь Икче.

Вечером, собираясь уезжать на дежурство, Алёшка не мог дозваться Буро. Подошёл к Себерую.

Старик устало поднял голову, и Алёшка увидел, что волосы его, спадающие на лоб из-под капюшона малицы, стали белыми со странной голубизной. Он испуганно посмотрел вокруг: нет ли близко Пассы? Молодое сердце ещё не привыкло к жестокости жизни и к тому, что она за одну ночь способна так изменить человека. А Себеруй смотрел на парня и не мог понять, что хотят от него.

— Дедушка, — Алёшка пришёл в себя и сильно потряс Себеруя за плечо.

— Что? — Глаза Себеруя начали смотреть осмысленно, и он, облизав сухие, запёкшиеся губы, ещё раз спросил: — Что?

— Ты не видел Буро?

— Только что тут был. Я видел.

— Я тоже, — соврал Алёшка. — Но сейчас его нет.

— Буро, Буро, — позвал Себеруй.

Буро не появлялся. Сходили в чум. Его не оказалось и там. Суп, который налил ему хозяин ещё утром, стоял нетронутым. Никто не мог точно сказать, когда в последний раз видели Буро.

...Буро только к вечеру набрёл на след волка. Он не сомневался, что это тот, кого он искал. Запах этого волка навсегда запомнился собаке с того дня, как в чуме не стало доброй и ласковой хозяйки. Шаг собаки прешёл в упругий бег, не медленный и не быстрый. В небольшом лесочке Буро поймал зайчиху, хорошо пообедал и побежал опять. И чем сильней чувствовал запах волка, тем быстрее бежал, а когда запах уже рвал ноздри, Буро помчался изо всех сил, больше не принюхиваясь.

Недалеко от зимника у трёх скал они встретились. Хромой Дьявол почуял опасность поздно и ощутил внутри холод, когда перед ним появилась огромная бурая собака.

С минуту собака и волк осматривали друг друга, и каждый, казалось, взвешивал свои шансы.

Хромой Дьявол начал драку с тоской, Буро — с твёрдой уверенностью. Худая уродливая фигура волка не внушала страха, наоборот, усиливала ненависть и злобу. Рванулись друг к другу молча, не хитря и не прячась. Катались по земле, которая постепенно окрашивалась их кровью. Глухое рычание, лязг зубов, взвизгивание, и больше ничего. Это была жестокая схватка двух кровей, двух жизней.

Голова Хромого Дьявола болталась из стороны в сторону, ударяясь о камни. В широко раскрытых глазах полыхала боль. Но это была боль тела, а в сердце — глухая тоска по уходящей жизни.

Хромой Дьявол закрыл глаза. Смерть! Вот она и пришла. Так нелепо и глупо, за кусок мяса и глоток крови.

Буро, устав, перестал трепать умирающего и схватил разгорячённой пастью обжигающий комок снега. Но злость не проходила, шерсть на загривке поднималась, а оскаленная морда вздрагивала.

Хромой Дьявол любил жизнь, кровь, любил рассветы и тёмные ночи, когда был хозяином жизни и грозой стад. Любил когда-то своих волчат, логово. И даже теперь он, слабый, больной и несчастный, не хотел умирать.

Буро подошёл было к нему и вдруг остановился... понял, что враг побеждён. Повернулся и, не оглядываясь, трусцой побежал по зимнику. Хромой Дьявол долго не чувствовал ничего, кроме страшной усталости. Зло и голод для него сейчас не существовали.

Прошло время. Тщательно зализав раны, Хромой Дьявол поднялся. Осмотрелся, обнюхал поле боя. Вид и запах собственной крови привели его в позднюю ярость. Впервые за годы одиночества Хромой Дьявол вступил в драку и понял: от него ушло всё — сила, ловкость, нюх. Но злость есть, осталась, живёт ещё ненависть к людям. Хитрость, жестокость, ум — вот что должно заменить ушедшее.

Хромой Дьявол завыл с тоскливой угрозой.

Была ли уверена Анико в том, что вернётся к отцу? Нет. Впервые в жизни она испытывала ужасное состояние, когда нужно угодить себе и другим.

Угодить сейчас себе — это означает, что потом, через несколько лет, надо будет стоять над могилой отца, чувствовать себя подлой, плакать, зная, что в его смерти виновата и ты. Есть одна такая могила, так зачем вторая?

Пока нет вертолёта, надо найти решение, и не какое-нибудь, а твёрдое, единственное. Анико несколько раз ловила себя на мысли, что она всё время как бы пробует жить, пробует любить, рассуждать, всё подготавливаясь к тому моменту, когда начнётся настоящая жизнь, без проб и колебаний, и поэтому решение многих серьёзных вопросов перекладывает на спину времени, так же, как ленивая женщина всё складывает и складывает нестираное бельё в кучу.

Одиночество отца, его боль никак нельзя куда-то отложить, спрятать.

Павел уехал в стойбище по какому-то делу, и Анико, измученная своими мыслями, весь день ходила по посёлку бледная и усталая.

Иван Максимыч догадался, почему она здесь. Ну что же. Время другое, люди другие. Дети уходят от родителей, уходят от земли, от традиций и часто уходят от долга, — это вот обидней всего.

Анико влючила магнитофон, чтобы послушать весёлую музыку и немного отвлечься, но вместо музыки сначала раздался смех, потом голос Павла по-ненецки попросил тишины, а второй голос, усердно закашлявшись, протяжно запел, нанизывая слова на протяжную грустную мелодию.

Это был яробц. Анико отвыкла от них и убрала плёнку. Поставила другую. И тут то же...

— Зачем ему эти песни, Иван Максимыч?

Иван Максимыч сидел у окна, поджидал бригадира девятого стада с пастухами. Он всегда следил за тем, как обслуживают оленеводов в магазине, в пекарне, помогал загружать нарты и укреплять на них мешки, ящики, канистры с керосином и бензином.

— Павлуша любит ненецкие сказки и яробцы. Собирает их.

— Зачем они ему? Он же русский?

— При чём тут русский или не русский? Я тебе скажу: не всякий ненец — ненец. — Иван Максимыч прикрылся газетой.

Анико замолчала. Лицо её вспыхнуло, и Иван Максимыч понял, что сказал слишком резко.

Нашёл старые записи Павла «с криками и гиканьем», как он называл современную эстраду, и принёс.

— Вот, дочка, тут песни хорошие.

Анико поглядела на него и, боясь заплакать, быстро сказала:

— Не надо. Я пойду на улицу.

На следующий день утром Анико зашла на почту спросить, будет ли на днях почтовый.

— Нет, уже был. — Радист торопливо заполнял квитанции и отвечал не поднимая головы.

— А когда будет ещё?

— Только в середине мая. Таня! — крикнул он кому-то. — На, отнеси продавцу.

Анико вышла на крыльцо, присела на детские саночки.

Над горами тяжело громоздились облака. «Где-то там отец. Что он теперь делает?»

Анико представила его сидящим на нарте, перед Буро, и снова зашевелилась жалость. «Как он будет жить один со своим прошлым и ожиданием?»

Кто-то тихо тронул за плечо. Анико обернулась и увидела девушку в длинной малице. С улыбкой на полных губах та радостно ждала, когда её узнают.

Что-то знакомое было в этом лице, в скромной улыбке, глазах.

— Не узнаёшь?

— Нет. — «Неудобно как. Люди узнают, а тут ничего не помнишь, будто последние годы были прожиты на другой планете».

— Ты не можешь меня не помнить. Из одного класса мы. Болела, наверное, вот и памяти нет. Ира я. Лаптандер.

«Пусть я болела. Так будет лучше».

— Извини, Ира, я правда болела.

— А я удивилась, думаю, почему не узнаёт... Понравилось у отца?

— Да, — неуверенно сказала Анико.

— Хорошо, что ты есть у него, а то у нас в стойбище недавно старушка совсем одна осталась, так её и пожалеть некому. Мы к себе взяли...

— А ты где живёшь? — быстро перебила Анико.

— Я же закончила медучилище в Салехарде, направили в посёлок работ ать. Я отказалась, попросилась сюда, фельдшером в стада.

— Как?

Ира улыбнулась: совсем, мол, человек ничего не понимает.

— Очень просто. Я обслуживаю четыре стойбища, да и из стад тоже ездят.

— Я никогда не слышала, что есть такие медики в тундре.

— Нас совсем немного, но мы с девчонками из училища переписываемся, тоже агитируем их, чтобы шли работать в стада. Сестрёнка моя, Пана, может, помнишь, там же учится.

— И живёшь в чуме?

— А где же ещё?.. А ты?

— Институт заканчиваю. Геолог. И много у тебя работы?

— Хватает. Ты знаешь, извини меня, я пойду в магазин, а то мои без меня много спирту наберут. Отучаю пить. Если хочешь, пойдём со мной.

— Пошли.

В магазине народу было много. Ира отошла к родителям, а Анико, внимательно оглядев прилавки и полки, наблюдала с удивлением за ней. В классе была самая тихая и незаметная, говорила мало, училась не блестяще. Анико обращалась к ней, только когда надо было срочно оформить стенную газету. Ира хорошо рисовала и соглашалась легко.

И вдруг она тут. Ира, которая никогда не была председателем совета дружины, а став комсомолкой, не села, как Анико, за стол секретаря комсомольской организации, вдруг стала опорой своему народу? Стала лечить его и заботиться о нём?

А она? Чем занялась она, всеми тогда уважаемая и почи-

таемая Анико Ного? Построением какого-то гнилого сарая, имя которому — личное благополучие? Можно подумать, что Анико хотела жить только для себя. Неужели это правда?.. Ну хорошо, вернётся она сюда, но тут даже толком помыться негде. А институт? Три года учёбы не шутка. Нет. Что-то не так. Зря переполох подняла в душе. Надо жить, и всё, а уж как, это пусть решает каждый.

Крепко и утешительно сказано, и всё-таки в душе остался осадок. И чтобы он не стал гуще, Анико нашла взглядом продавца и тихо удивилась: он был очень красив.

Большие глаза его блестели, но холодно и как-то пусто. А когда смотрели на покупателя, в них появлялось нехорошее, злое выражение.

Работал продавец ловко, и Анико невольно подумала: «Вот, наверное, обсчитывает. Здесь люди не как в городе, не считают гроши».

И правда, ненцы держали деньги солидными пачками: покупали не кульками, а мешками, не килограммами, а ящиками. Запасались продуктами на всё лето, до осени. Подошла Ира.

— Если тебе некогда, то иди, я потом забегу.

— Я постою. Делать всё равно нечего. Кто он, местный?

— Ненец. Сергеем зовут.

— А чего он... хмурый?

— Он всегда такой.

— Давно работает?

— Скоро два года.

— Обманывает, наверное?

— Говорят, что обманывает, а нас, видно, боится. Я не замечала что-то. Да и кто им заниматься будет?

— Почему?

— Ловкий... Сюда работать никто не едет. И потом, у всех дел по горло. Павел вон пробовал его поймать.

— Какой Павел?

— Ну, который у Езынги живёт.

— И что?

— Так продавец чуть его не убил.

— Как?

— Точно не знаю. Павел об этом никогда не говорит, боится, что парни изобьют продавца...

К Ире подошла мать, пожилая весёлая женщина. Она подала Анико сухую руку и спросила:

— К отцу приехала?

— Ага.

— Хорошо. Дочери нам тут сильно нужны. — Хотела что-то добавить, но тут их позвали из очереди, и обе торопливо ушли. Ира на ходу пообещала:

— Я приду к тебе.

Анико вышла из магазина задумчивая.

Ивана Максимыча дома не было. Дверь припёрта двумя поленьями, Анико уселась на крыльцо. Пастухи из дальних стойбищ укладывали мешки и ящики на аргиши, весело переговаривались, шутили; бегали от нарты к нарте ребятишки, суетились женщины...

День подходил к концу, а нарты всё подъезжали, и единственная улица посёлка заполнялась торопливыми грубоватыми голосами.

Пришёл Иван Максимыч.

— Устали? — спросила Анико.

— Устал, дочка. Поставь чайку.

— Я сейчас, быстро.

С радостью растопила печку, хотя поленья долго не хотели гореть, шипели, фыркали, а закопчённый чайник испачкал сажей руки и, прежде чем закипеть, долго капризничал.

Вечером в посёлке началось что-то непонятное и, по правде говоря, жутковатое — пошла пьянка, дикая, глупая, страшная.

Ненцы, те, кто ещё держался на ногах, бродили от одной нарты к другой, остальные сидели, валялись на снегу, бормотали, кричали, хихикали, пели. И куда девались их спокойствие, достоинство и гордость?

Анико увидела Иру. Она что-то торопливо говорила отцу с матерью. Те были уже подвыпивши, но слушали дочь внимательно.

Отправив родителей, Ира подбежала к Анико и быстро сказала с виноватой улыбкой:

— Извини. Не могу я сейчас с тобой поговорить. Надо увести их отсюда. Видишь, что творится.

Анико кивнула.

— Поедем домой. Если они будут сильно пьяные, так хоть не на улице.

— Конечно.

— А ты обязательно приезжай. Работы тут много.

— Ладно, Ира.

— До свидания, — и торопливо подбежала к своим нартам.

Иван Максимыч вышел на крыльцо.

— Ложись, дочка. Это кино, — он показал рукой на пьяную улицу, — будет всю ночь идти.

— Почему они так много пьют?

Иван Максимыч сел рядом и закурил. Лицо его болезненно сморщилось.

— Этого никто не объяснит толком. Они могут не пить месяцами, но, добравшись хоть раз в году до спирта, пьют страшно. Некоторые неделями стоят в посёлке, мучают оленей и себя, особенно зимой, и проматывают всё до копейки.

— А если поменьше спирта завозить? Не поедут же они в Белоярск за ним.

— Конечно, не поедут. — Иван Максимыч докурил папиросу, затушил её большим корявым пальцем и продолжал: — Сейчас ещё ничего. Человек, если у него сердце в порядке, не замёрзнет, уснув на земле. А зимой? Мы с Павлушей специально ходили по ночам, чтобы затаскивать их домой, иначе замёрзнут. И всё равно за всеми не усмотришь.

— Но как быть, Иван Максимыч? Нельзя же это так оставлять?

— Правильно, нельзя. Я сам ломал седую голову над этим, — Иван Максимыч развёл руками, поднялся. — Пойдём спать. Может, завтра будет вертолёт, улетишь... домой. Павла что-то долго нет. Обещал ещё вчера приехать.

— А он куда уехал?

— Свадьба у кого-то, так его дружкой пригласили. Пойду, устал я.

— Идите, я посижу ещё.

— Сиди, только надень Павлову шубу, а то простынешь.

Анико ещё с час сидела на крыльце и уже собралась уходить, но одна сценка у магазина заинтересовала её. Пьяный пожилой ненец держал в руках красивого песца и что-то говорил, вернее, пытался сказать, стоявшему рядом продавцу. Тот отчаянно мотал головой и порывался уйти. Ненец хватал его за руку, за полу куртки и показывал пять пальцев. Затем начал уменьшать: четыре, три.

Продавец всё мотал головой и улыбался. Наконец ненец показал два пальца. Продавец удовлетворённо кивнул, и оба скрылись в магазине.

Анико поняла, что между ними шёл торг. «Интересно, чем это кончится? Если я не ошибаюсь, то за песца этот дурак согласился получить не то двадцать рублей, не то две

бутылки спирта. Подожду», — решила она, прислонясь спиной к двери.

Ждать пришлось недолго... Пожилой ненец со счастливым видом любовно держал в объятиях две бутылки.

— Вот это да! — Анико аж привстала. — Надо же, как ловко.

Продавец направился к другой группе. Шёл твёрдыми шагами, чуть заметно размахивая правой рукой.

Анико вскочила:

— Подождите...

На неё глянули красивые холодные глаза. Очень холодные и совершенно трезвые.

— Вы его сейчас обманули.

Глаза вдруг опьянели. Забегали, как мыши, спрятались в зарослях ресниц.

— Тебе надо что-то купить? Я сейчас... Вот сейчас.

— Нет, мне ничего не надо, но вы обманули вон того, — повторила она, кивнув на ненца, уже щедро улыбавшегося и угощавшего всех, кто подходил к нему.

— Я сейчас, только вот... — опять забормотал продавец.

— У-у, урод, своих же грабишь.

— Своих же грабишь, — пропел продавец на мотив «Шумел камыш» и, пошатываясь, пошёл дальше.

Уснула Анико поздно, под самое утро. Сидела на кровати, прислушиваясь к крикам и песням с улицы, вспоминала разговор с Иваном Максимычем, глупое лицо обманутого ненца и всё время видела перед собой холодные глаза продавца.

К дому подъехали нарты, запряжённые четырьмя быками пёстрой масти. Анико видела из окна, как хозяин ловко остановил оленей, взбежал на крыльцо и скоро показался в дверях. На нём была малица с синей оторочкой, на ногах кисы, расшитые красным и жёлтым сукном, охваченные чуть пониже колен красивыми подвязками. Подпоясан он был браво, с некоторым вызовом даже и щегольством. Анико внимательно всмотрелась в него.

— Здравствуйте, Анико, — поздоровался на ненецком языке вошедший.

— Это вы?! — узнала она Павла.

— А что, не похож?

— Совсем как ненец. Я сначала и не узнала вас.

Павел, довольный, засмеялся. Анико искоса быстро взглянула на него.

— Чья это упряжка? — спросила она, любуясь гладкими быками. Они напоминали ей Тэмуйко.

— Моя.

— То есть?

— На самом деле моя. Нарты сделал сам под чутким руководством Ивана Максимыча, оленей подарили в стойбищах, упряжь одолжили парни, пока своей не заимею... — Павел улыбнулся, повесил на гвоздь кисы. Длинные чёрные пряди волос падали на лоб, и он откидывал их лёгким движением головы.

Анико замолчала. Отошла от окна и, сев на стул, несколько секунд смотрела на угол печки, чувствуя, что опять появилась тревога, похожая на вчерашнюю.

Что случилось? Почему несколько дней подряд тихо, крадучись, подходят сомнения? Кто этот парень, собирающий ненецкие сказки? Сильно покраснев, Анико подошла к Павлу и, чуть заикаясь, спросила:

— Зачем вы собираете сказки и яробцы?

Павел умывался. Замер. Выпрямился.

— Первое — они очень древние и правдивые. По ним можно писать историю народа и судить о его культуре. — Павел, вытирая лицо, смотрел на Анико серьёзно и немного грустно. — И второе — старики умирают, и скоро может получиться так, что в тундре не останется ни одного, кто будет помнить о старом искусстве ненцев.

Он достал из кармана пиджака трубку и, глядя перед собой, помолчал.

Яробцы — это подлинное искусство, их должны слушать не только ненцы, но и другие народы, а они всё ещё вековыми пластами лежат в памяти одних стариков.

Павел забыл о трубке и, чуть прищурив глаза, вопросительно посмотрел на Анико, а она, сама удивившись своей смелости, спросила:

— Зачем вам это? У вас свой народ.

— Сейчас многие ненцы хотят понять, как дальше жить... Сколько проблем: дети-школьники должны жить с родителями какие-то два с половиной месяца, а все остальные девять месяцев — в интернате: появились совхозные стада, геологи, нефть, буровые. Ненцы растерялись. Внешне вроде спокойны, как всегда невозмутимы, но я знаю: в душе у

каждого тревога — что будет? Куда уходят наши дети, почему рассыпаются под бегом времени роды? Некоторые сомневаются: останется ли на земле такой народ — ненцы? Конечно, останется. Но каким он будет? Вот вопрос, который тревожит каждого ненца. И если сейчас не помочь...

— И вы хотите им помочь? В одиночку? — перебила Анико со странной, нехорошей улыбкой.

Павел постарался не заметить эту улыбку.

— Почему в одиночку?

Он закурил. На миг лицо его закрылось табачным дымом.

— Ведь никто не желает зла ненцам, обучая их детей, никто не имеет мысли уничтожить национальное. Наоборот, ненцам хотят дать культуру, образование. Может, этот метод приобщения к культуре — интернаты — не совсем правильный, тут надо много думать, решать, ездить, экспериментировать. Беда заключается в том, что сюда плохо идут культурные, образованные...

— И какой выход? — упрямо спросила Анико.

— Выход — в местной молодёжи. Надо обязательно возвращаться к себе, не губить традиции и добрые обычаи. Сейчас ненцы живут гораздо лучше. Но быт нужно улучшать. Я считаю это чуть ли не самым главным. Может, с культуры быта и надо начинать. Придёшь в чум — масло есть, компот, консервы, но беда опять в том, что ненцы не умеют толково тратить деньги. Иногда вместо спирта им полезнее купить костюм, платье, платок... — Павел помолчал, раздумывая над чем-то. Потом сказал: — Иван Максимыч предлагает остаться мне здесь... Да, я останусь... — и, взглянув на Анико, осторожно спросил: — А вы?

Анико передёрнула плечами, но, увидев насмешливые глаза Павла, ответила:

— Сейчас нет.

Пасса с Себеруем решили уйти в горы пораньше, не так, как всегда. Кочевать в июне будет трудно. Нужно будет запрягать не по два, а по три быка, а если вскроются речки, придётся ещё трудней. Лучше сейчас потихоньку двинуться, а продукты на лето закупить в Хальмер-ю.

В посёлок решили не ездить, а через встречающиеся на пути стада передать сельскому совету, что олени недавно ушедшего в другую жизнь Яка

находятся в стойбище у Себеруя, осенью будут доставлены в целости и сохранности.

Сосчитав, сколько важенок с малышами, сколько быков и хоров годовалых, Пасса с Себеруем написали бумагу, чтобы передать её тому, кто понесёт весть в посёлок.

К концу мая снялись чумы и тронулись. Аргиши возглавлял Пасса, а Себеруй с Буро подгоняли стадо. Работу с маленькими оленятами в последнее время доверяли только Буро, потому что знали: одного его боится Хромой Дьявол.

Себеруй с тоской посматривал назад. Там остались маленькая дочь и жена. Придёт осень, он вернётся постаревший, уставший.

Ещё раз оглянувшись на лесок, за которым чуть виднелось кладбище, Себеруй заметил бегущую точку. Она была далеко, и поэтому он не мог точно сказать, что это. Остановив нарту, посмотрел из-под ладони. Бинокль был в стойбище один и всё время находился у Пассы.

Точка приближалась, и Себеруй узнал Тэмуйко.

«Где же он был? И как я не заметил, что его нет?»

Тэмуйко подбежал к нарте, тяжело дыша, несколько секунд стоял против Себеруя, словно что-то хотел передать, да в спешке забыл, потом отвёл взгляд и спокойно пошёл в гущу стада.

Себеруя словно кто толкнул: «Неужели у неё был? А если и до этого ходил? Пасса и Алёшка не раз говорили, что Тэмуйко куда-то исчезает».

Взволнованно опустился на нарту и тронул передового. Достал табакерку и тут же забыл о ней, уронив на колени.

— Буро, подгони Тэмуйко. Не видишь, он отстал, — обманул Себеруй собаку. Тэмуйко шёл уже в самой голове стада, а ему хотелось видеть оленя рядом с собой, сказать что-нибудь и дать хлеба.

Но Буро на этот раз не понял хозяина. Поискал глазами и, не увидев Тэмуйко сзади, возмущённо посмотрел на Себеруя.

Оленей в упряжке Себеруй не погонял. Они шли сами, чувствуя опытную спокойную руку. Мягкий майский ветер доносил давно знакомые, волнующие звуки: добродушные голоса людей, скрип полозьев, лай собак, беспокойный зов важенок. Вдали, за много километров, виднелись белые вершины гор. Они приветливо поблёскивали под солнцем и звали к себе...

Сосед, Рваное Ухо, обзавёлся семьёй, стал злой, забыл, что искал примирения. Хромой Дьявол на охоте часто встречает его торопливые следы и, испуганно поджав хвост, убегает подальше от этих мест. Неизвестно, чем может закончиться встреча счастливого и несчастного на одной тропе.

Всё время приходится быть начеку, проявлять осторожность и даже отказывать себе во многом. Сначала это раздражало Хромого Дьявола, потом привык, а однажды вечером он подошёл совсем близко к логову и долго смотрел, как Рваное Ухо, довольный, важный и какой-то осторожно-нежный, играл с маленькими волчатами.

На другой день Хромой Дьявол выбрал место, густо заросшее высокими кустами ольхи и пахучего багульника, и весь вечер наблюдал за семьёй Рваного Уха. Хромой Дьявол чувствовал, как тоска, густая, точно кровь молодой оленихи, одолевает его, заставляет выть в белые ночи, — вспомнилось, что и он когда-то лежал у норы, а по нему ползали живые тёплые комочки, за каждый из которых он перегрыз бы глотки целой стае.

От боли и тоски Хромой Дьявол ещё больше похудел, часто шатался по знакомым местам своей юности, не помня, где он и что с ним. Несколько раз, наблюдая за Рваным Ухом, он осторожно поднимался, чтобы спуститься к логову и разделить с вожаком отцовское счастье, и, взвизгнув, ложился опять, потому что идти к логову — смерть. Отец семейства зол. А зло — это уже много в волчьей драке. Оно может заменить силу и даже поднять истекающего кровью. Один раз Хромой Дьявол чуть не попался. Уже совсем устроившись, он хрустнул сухой веткой ольхи и со страхом увидел, как вскочил и злобно зарычал Рваное Ухо. Хромой Дьявол мчался от логова, как никогда не бегал даже в юности, догоняя оленя.

От усталости и напряжения в голове шумело, но всё время стояли перед глазами копошащиеся неуклюжие комочки — волчата, а в ушах звенело от их восторженного писка.

И он не вытерпел, но теперь сделал умней: ступал тихо, мягко, так, что и сам не слышал собственных шагов. Потом лёг на живот и передними лапами стал осторожно подтягивать тело. Устроившись поудобней, Хромой Дьявол не мигая смотрел на волчат.

На этот раз ему повезло. Он увидел волчицу, худую, но красивую, с гладкой короткой шерстью и по-особому ласковой мордой молодой матери. Хромой Дьявол бесшумно

вскочил, чувствуя, как твердеет тело. Он хотел любви, как хочет её всякий. И уже приготовился прыгнуть к этой красивой и счастливой самке, но страх смерти взял верх, и Хромой Дьявол, жалобно повизгивая и поскуливая, медленно опустился на землю; только глаза, набухшие, кровавые, всё ещё жили желанием.

Волк и волчица играли. Слегка покусывая друг друга, довольные тишиной, солнцем и жизнью, они низко припадали на передние лапы, потом волчица отпрыгивала и весёлым скоком носилась вокруг Рваного Уха. Тот ласково рычал и всё норовил лизнуть её в оскаленную морду.

Волчата, их было четверо, ползали около отца, и волчица, схватив зубами то одного, то другого, клала их на спину Рваного Уха, а тех, кто падал, осторожно возвращала обратно.

Уже вечерело, но семейство и не думало идти на покой. Волки — отец и мать — всё ещё сохраняли игриво-весёлое настроение, а малыши, сбившись в кучу, уже спали. Волчица, заметив это, утащила каждого по отдельности ко входу в логово и мордой втолкнула их в нору.

Когда сонный писк стих, волчица легла рядом с волком и повела носом. Хорошо, что ветер был северный, прямо на Хромого Дьявола, поэтому ни волк, ни она не могли обнаружить его. Хромой Дьявол не шевелился, хотя лапы отекли, а глаза от напряжения начало покалывать.

Волки встали и разом, как по команде, втянули в себя воздух. Закатное солнце освещало их стройные, сильные тела. Рваное Ухо, постояв в нерешительности, подтолкнул носом волчицу и лениво пошёл под заходящее солнце.

Волчица тревожно поглядела на логово, но там было тихо, и она, ещё с минуту поколебавшись, пошла за волком. Рваное Ухо обернулся, но глаза его ничего не запрещали, и она смело прибавила шагу. Скоро они сравнялись и, принюхиваясь, скрылись за ближайшим холмом.

Хромой Дьявол шумно вздохнул, поднял высоко морду, но тело не подчинялось ему, и он оставался неподвижным, только когти мягко вонзились в податливую землю.

Когда волки скрылись, подождал ещё немного: вдруг вернутся, и тихо, крадучись, подошёл к месту, где только что нежилась семья.

Бешенство охватило его. Он задыхался от запаха волчицы, скулил, останавливался и смотрел вслед ушедшим. И будь сейчас рядом с ним хоть целая стая волков, он



Истерзанное тело Некочи трудно было назвать телом. Лишь голова в пятнах крови на губах и щеках осталась нетронутой.

дрался бы с удовольствием. Он доказал бы, что урод имеет такое же право на счастье, как все. И уже приготовился к прыжку, готовый драться, как совсем рядом раздался странный писк.

Из логова, истошно визжа, вылезал кто-то задом. Хромой Дьявол подошёл и насколько мог осторожно вытащил пищавшего, положил перед собой.

В нос снова ударил возбуждающий запах волчицы, её молока и забот.

Хромой Дьявол прилёг, осмотрел малыша. У него была остренькая, но полненькая в щеках мордочка и коренастые лапки. Глазки глядели обиженно и жалобно — видно, щенки в норе повздорили.

Волчонок быстро перестал визжать и барахтаться. Подозрительно уставился на волка.

Они смотрели друг на друга. Хромой Дьявол притих, словно боялся вспугнуть волчонка. А тот вдруг ожил, вскочил и дружелюбно оскалился. Хромому Дьяволу это понравилось. Он подполз к нему вплотную и, не зная, что делать дальше, неловко пошевелил огромной лапой. Волчонок удивлённо уставился на лапу и положил на неё свою махонькую, дрожащую. Убедившись, что большой незнакомец неопасен, он весело лизнул его в кончик носа. Прикосновение это было так легко и нежно, что Хромой Дьявол, потерявший жалость к себе и ко всему, вздрогнул и замер. Почувствовав безнаказанность, волчонок лизнул ещё несколько раз и стал барахтаться на огромных лапах Хромого Дьявола, потом лёг на них, греясь и нежась под горячим дыханием волка. Скоро он уснул.

Хромой Дьявол не отрываясь смотрел на щенка, и в душе его что-то шевельнулось, заныло, но сладко и совсем поиному. Так они и лежали.

Хромой Дьявол, забыв об опасности, чуть сам не уснул, легонько уткнувшись мордой в малыша, как вдруг, уже засыпая, он почувствовал возвращающихся и вскочил. Волчонок завозился было, но, устроившись в ямке, снова уснул. Хромой Дьявол замер над ним. Он знал, что волки близко, в тишине отчётливо слышал их шаги, чувствовал запах и никак не мог решиться оставить волчонка. И только когда увидел невдалеке две тёмные тени, бросился в кусты.

Рваное Ухо дотрусил первым и, обнюхав спящего сына, торопливо втолкнул его в логово, а потом стал обнюхивать кусты и землю. Шерсть вздыбилась. Рваное Ухо не хотел сей-

час скандала, но запах Хромого Дьявола раздражал его, злил, и когда подошла встревоженная волчица, он грубо оттолкнул её носом. Та, почувствовав запах чужого, оскалилась, тут же полезла в логово и долго была там. Внутри снова раздался писк, тоненький и сонный. Когда волчица вылезла, Рваное Ухо лежал на животе и ждал её. Волчица, злобно рыча, устроилась в сторонке. Тревога не покидала её.

Ночь прошла незаметно. Рваное Ухо лежал, как и прежде, на животе, и только глаза его следили за волчицей; она то влезала в логово, то кружила около входа, ложилась поодаль, вслушиваясь в мир и тишину своего жилища.

Уже глубокой ночью Рваное Ухо проснулся от воя. Сразу догадался, чья это песня. Так плачут только одинокие. Те, у кого одиночество ещё не раз выжмет слезу, захлестнёт горло обидой и, наконец, вопьётся ржавыми зубами, чтобы не оставить уже до самой смерти.

Да, Хромой Дьявол плакал. От бессилия, от старости, от голода. Иногда это рычание сменялось счастливым взвизгиванием — Хромой Дьявол закрывал глаза и видел маленького волчонка с толстыми щёчками. Он хорошо запомнил его и, если бы перед ним положили целую кучу волчат, узнал бы сразу.

...Логово. Нет ни Рваного Уха, ни волчицы. Хромой Дьявол еле отдышался. Тело было мокрое и тяжёлое. Успокоившись, внимательно оглядел всё вокруг. Он слышал каждый шорох и звук. Влезть в логово не решался и, устроившись около самого входа, стал ждать, дрожа всем телом.

В норе кто-то зашевелился, и потом около самого входа показалась тень. Вылезшего из логова волчонка Хромой Дьявол обнюхал и отвернулся от него. Следующий вылезал задом, подталкивая тело коренастыми лапками.

Да. Это был тот. Не раздумывая, Хромой Дьявол схватил в зубы волчонка и со всех ног кинулся прочь. Волчонок не то рычал, не то визжал, но Хромой Дьявол не слышал его.

Павел всю ночь пролежал с открытыми глазами, прислушиваясь к ночной тишине. Он знал, что завтра будет вертолёт и Анико уедет. Весь вечер они не сказали друг другу ни слова, отворачивались, и каждый делал вид, будто очень занят.

Он знал, что эта девушка уедет. Она ничего не забирала с собой от него, Павла, хотя все дни,

что Анико была здесь, Павел чувствовал себя встревоженным, возбуждённым, отвечал на её улыбку гораздо радостней, чем хотел.

Внезапно лёгкий шум шагов насторожил Павла. Он полузакрыл глаза и стал дышать ровней.

Анико вошла нерешительно. Длинные волосы её были небрежно заколоты шпилькой на голове, но часть их рассыпалась по плечам. Она, видно, совсем не раздевалась. В полумраке глаза Анико казались большими и влажными, и Павел удивлённо подумал: «Как я раньше не замечал?»

Анико постояла и быстро исчезла. Было слышно, как она легла на раскладушку.

Павел встал и, подойдя к окну, закурил. «Теперь всё, — подумал он. — Уедет. Зачем она приходила? Хотела оправдаться?»

Весь остаток ночи Павел провёл у окна, выкурив пачку сигарет и время от времени задавая себе вопрос: «Ну из-за чего так волноваться и не спать? Вот чудак. Если бы ты её любил, тогда другое дело». И всё равно не спалось. К утру Павел посерел лицом, даже чёрные глаза стали пепельными.

— Летит! — крикнул Иван Максимыч в открытую дверь и побежал к почте. — Вертолёт!

Анико выскочила из-за стола, не глядя на Павла, оделась и, подхватив портфель, остановилась у двери. На лбу у неё блестели капельки пота.

— Не торопись. — Павел накинул шубу и тоже остановился.

— Почему?

— Времени ещё много. Пока он сядет, пока почту выгрузит. — Павел говорил медленно, тихо, и Анико понимала, что значит «времени ещё много», — это время подумать.

Ничего не ответив, она вышла на крыльцо, прислушиваясь к шагам Павла: идёт ли?

К вертолёту подошли вместе. Радист, как и в день приезда, укладывал на саночки посылки, пачки с газетами, по его лицу Анико видела, как он доволен тем, что сегодня люди получат радость с Большой земли: письма, посылки, газеты.

Поставила на землю портфель и отошла в сторону. Нашла глазами старую лиственницу, чуть заметно кивнула ей. Горы холодно сияли над синим горизонтом. Вместо радости Анико вдруг ощутила в себе жалость и, чтобы заглушить её, заплакала.

— Зачем же плакать? — спросил Павел.

— Не надо, Павел, так...

— Пойдём.

Иван Максимыч уже договорился с лётчиками, и один из них обратился к Анико:

— Что, полетим, студентка?

— Полетим.

— И не жалко родных мест?

— Нет, — ответил Павел, краем глаза следя за Анико.

Она, чувствуя это, отвернулась и встретила торжествующий взгляд продавца. Прищурясь, Анико с ненавистью, не мигая, смотрела на него. Продавец не выдержал, опустил, усмехнувшись, голову.

— Всё? — спросил лётчик, и этот вопрос привёл Анико в смятение и радость.

Она поглядела на Павла.

«Значит, летишь?» — спросили его глаза из-под нахмуренных бровей.

«Что поделаешь», — ответила мысленно Анико и бросила портфель в вертолёт. Надо попрощаться с Иваном Максимычем.

Старик подошёл сдержанно, так же сдержанно и молча пожал руку и отошёл.

Павел тяжело шагнул к вертолёту. С минуту молча смотрел на номер, написанный красной краской, пошевелил губами, будто запоминая, и только потом перевёл взгляд на Анико. Глядел в её испуганные глаза и так же молча шевелил губами.

— Ну что, попрощались? — спросил лётчик.

Павел кивнул.

— Тогда всё. Трогай, Андрей. Да, да. Всё!.. — крикнул он своим и, поднявшись в вертолёт, закрыл за собой дверь.

«Всё? — повторила про себя Анико. — Нет, не всё!»

Она села к иллюминатору, но так, чтобы её не было видно.

Павел стоял, распахнув шубу, и фигура его становилась всё меньше и меньше.

Прошло полтора года.

Шкуры, домашнюю утварь Себеруй передал жене Пассы. Он теперь живёт у него, только вот с оленями медлит, чувствуя, что, расставшись с

ними, навсегда потеряет всё дорогое, связывающее его с прошлым, ведь каждый олень в стаде — это волнующее воспоминание. Это его труд и труд покойной жены. К примеру, один Тэмуйко чего стоит. А Рогатый?! Нет, Себеруй помедлит. Однако как бы он ни оттягивал это событие, он знал, что передаст стадо Алёшке, и не на смертном одре, а совсем ещё здоровым человеком. Он не любил торопиться, а на ложе смерти человек всё равно что-нибудь забудет сказать или скажет не так, и поэтому надо вовремя до всего додумываться.

И кроме того, у оленей всё-таки есть хозяйка — дочь, и Себеруй ждал, что подскажет ему жизнь, а жизнь должна помочь — не может же она всё время делать больно одному человеку.

Себеруя по-прежнему сопровождает заметно постаревший Буро. Он теперь редко ухаживает за стадом. Правда, не по собственной воле. Люди раньше его самого учуяли в нём старость, и он с ними согласился, но не потому, что считал себя слишком дряхлым, просто по опыту знал: люди умнее.

...Всё это время Хромой Дьявол не беспокоил стадо. Ненцы решили, что он давно умер. Другие волки тоже редко наведывались. Осенью пищи хватает, к чему рисковать.

Только что прошёл дождь. Пахнет мхом, сырыми камнями, больше всего листвой, с которой ещё стекают тяжёлые прозрачные капли.

Деревца стоят полусонные и томные. Осторожный ветер чуть шевелит их верхушки, а потом, словно чего-то устыдившись, как послушный пёс, ложится к их стволам, коричневым от летнего загара.

Тихо. Осенняя тишина полна грусти, тревоги и отдаётся в сердце печалью, но не давящей, а мягкой, несколько сентиментальной: кажется, всё дремлет, объятое приятными думами; две большие каменные глыбы доверчиво прижались друг к другу зелёными замшелыми боками. В узкой расщелине между ними — куртинка простеньких розовых цветов стоит и не шелохнётся, прислушиваясь к еле уловимым звукам большого и сложного для них мира.

Но вот что-то дрогнуло в воздухе. Стремглав пронёсся заяц и мгновенно скрылся за пригорком. Оттуда сразу раздался суматошный писк какой-то птички, и снова стало тихо, но ненадолго.

Теперь ясно слышалось, как кто-то шёл напролом, не боясь быть замеченным или кем-то обиженным. Так в тундре ходят только её хозяева, которым бояться некого.

Несколько мгновений спустя из кустов, откуда только что выскочил заяц, появился волк. Он понюхал воздух, ткнулся носом в крошечные следы косого на мокром мху и остался чем-то недоволен.

Оглянувшись назад, он лёг. Сильное мускулистое тело с аккуратной короткой шерстью, широкой грудью говорило о молодости и ловкости, а чуть приоткрытые, будто прищуренные, глаза и небрежная свободная поза — о бесстрашии, которым так богата молодость.

Волк время от времени смотрел в кусты и чутко прислушивался, будто ждал ещё кого-то. И правда, скоро раздался хруст сломанной ветки, чьё-то тяжёлое дыхание. Через секунду на поляну вышел второй волк и остановился, чуть приоткрыв пасть.

Молодой волк вскочил и легонько, без звука, оскалился — словно улыбнулся. Глаза его вспыхнули. Второй волк был стар, и, хотя нельзя сказать, что слишком худ, весь его вид вызывал скорей обыкновенную жалость, чем страх или какое-то другое неприятное чувство.

Он сделал несколько шагов к молодому, вернее, проковылял, не поднимая головы. Он словно не видел ничего вокруг себя, потому что голова его оставалась в том же положении, и даже когда молодой подошёл к нему, ткнулся носом в его шею, он ответил на ласку еле заметным движением куцего хвоста. Потом лёг на землю, где только что отдыхал молодой, и тяжело вздохнул, совсем как человек, который весь день был на ногах.

Молодой лёг рядом, и теперь контраст между ними был ещё явственней и обидней для старого, если только он был способен понимать сейчас обиду. Так иногда распоряжается природа: поставит рядом два деревца, одно без ветвей, со сломанной верхушкой и больной корой, второе — зелёное, радостное, с неугомонным шелестом листьев.

Старый волк всё ещё дышал тяжело — видимо, они прошли немалое расстояние. Он лёг на бок, уронив голову в мох, и только теперь можно было заметить, что у него изувечена одна из задних лап.

Почти слепой, лишённый зубов и чутья, он водил молодого волка по местам, где не раз побеждал врага и не раз был оскорблён. Он как бы передавал в наследство не только

свою землю, но и ненависть к сильным — к людям. Пожалуй, эта ненависть и заставляла его жить.

Они пришли в эти места недавно. Хромой Дьявол знал, где находится стойбище, в котором жил Буро. Да, люди не ушли из этих мест, не изменили своим привычкам — пока он растил своего приёмыша, убедился в этом. Капканы с вкусной приманкой встречались так же часто, как и раньше, и по-прежнему от них пахло не только мясом, но и смертью.

Умный зверь должен понимать и чуять этот запах, и Дьявол учил этому молодого волка. Увидев капкан и заметив, как молодой волк мчится к нему, Хромой Дьявол делал ему самое главное своё внушение: он отталкивал приёмного сына, больно кусал его в плечо и только после того неподдельным злобным рычанием как бы говорил: знай, это смерть.

Уже стемнело. Ветер крепчал. Волки всё ещё отдыхали. Время от времени молодой открывал глаза и смотрел на Хромого Дьявола. Тот спал. Дышал уже не тяжело.

Когда кусты ольхи превратились в сплошное тёмное пятно, молодой волк поднялся. Он знал, что настала ночь. А это пора, когда к слабым приходит смерть, а сильный торжествует победу,— этому учил его Дьявол. Он подошёл к нему, лизнул в шею и, несколько раз обернувшись на ходу, скрылся в темноте. Пришло время, теперь он кормил своего учителя.

Сегодня Себеруй выехал пораньше. День по-осеннему хмур и наводит тоску на душу. Себеруй остановил упряжку и задумчиво посмотрел по сторонам. Это места, где полтора года назад жило его счастье, а вместе с ним жил и он. Тут оно кончилось, не спросив на то разрешения.

Счастье... Тогда он не принимал свою жизнь за счастье — принимал за простое, обыденное, то, что полагается каждому человеку. Он никогда не задумывался над тем, что может всё потерять.

Себеруй достал табакерку. Буро, лежавший около нарты, устало вытянул лапы и устроился поудобней. Знал, что теперь хозяин будет сидеть долго, вздыхать, время от времени покачивать головой, будто перед ним сидит невидимый собеседник, — так что можно вздремнуть. Но дремать Буро не стал; полежав немного, поднялся и начал ходить около нарты, то и дело посматривая в сторону склона, откуда они только что спустились.

Когда ещё проезжали через жидкий лесок, Буро всё время чудилось, что за ними кто-то идёт — неотступно, след в след. И идёт хитро, ни разу не попавшись на глаза. Так делает только враг. Но кто он такой?

Мысль о невидимом преследователе перешла в тревогу, и Буро, забыв о хозяине, стал внимательно изучать склон горы, заросший негустым, но всё-таки лесом. Ничего подозрительного вроде не было видно, но ощущение, что они не одни, а есть ещё кто-то, затаившийся с недоброй мыслью, не покидало Буро. Он присел на задние лапы и несколько раз предупредительно рявкнул.

— Ты что?

Буро посмотрел на хозяина, взглядом приглашая разделить с ним тревогу, но Себеруй понял по-своему:

— Сейчас поедем. Вот только табаку понюхаю.

Нехорошее чувство не покидало Буро даже в стойбище, где он знал каждого человека и собаку. Люди его любили, а собаки уважали и побаивались, и потому Буро даже не допускал мысли, что враг может быть здесь.

Он взобрался на нарту хозяина и оттуда смотрел, как ребятишки приучали маленького щенка вытаскивать из лужи щепки и кусочки хлеба. Щенок тонко визжал и отчаянно лез в воду; если дети бросали корку хлеба, он съедал её прямо в луже и не выскакивал в ожидании следующего кусочка, но следующий был обыкновенной щепкой. Щенок обиженно поджимал пушистый хвостик и выходил, но стоило кому-то опять взмахнуть рукой, как он снова кидался в лужу.

Глядя на него, такого ещё глупого, Буро вспоминал своё детство. Матери он не знал. И вообще, первое, что он запомнил, когда начал что-то понимать в жизни, была драка. Все щенята, братья и сёстры, ели из одного таза, и тогда около них стояла девочка, отгонявшая взрослых собак. Однажды этой девочки не оказалось на месте, и большой рыжий пёс съел вместо щенят всё, что тем положили в таз; когда он торопливо проглатывал последний кусок, Буро не выдержал и смело бросился на обидчика, вцепился зубами в лапу; что было потом, он не помнит. Очнулся он от ласкового поглаживания по спине — увидел перед собой большого человека со смеющимися глазами; поскуливая от боли, лизнул шершавую ладонь.

— Дурачок, — сказал человек. — Надо быть большим и сильным, чтобы лезть в драку.

Потом человек поднял его и унёс в свой чум, где накормил, завязал ему шею какой-то красной тряпкой и всё приговаривал:

— Надо быть большим и сильным...

Буро взрослел быстро. Наверно, оттого, что теперь у него мало оставалось времени на щенячьи игры: он всё время чему-нибудь учился. Сначала научился по выражению лица хозяина различать, когда нужно лаять, а когда и помолчать; наука пасти стадо давалась Буро с трудом, потому что он начинал увлекаться и, бывало, далеко угонял особо строптивых оленей, за что потом получал взбучку. Подбирать убитую дичь, выслеживать зверя было для Буро удовольствием как в молодости, так и теперь. Позже хозяин научил его таскать на себе мелкие, нетяжёлые вещи. Но обиды, которая запомнилась бы Буро по сей день, не было. Он понимал людей, а люди — его.

Буро задремал. Сквозь сон слышал опять визг щенка, смех ребятишек, голоса хозяина и Пассы. Всё это было привычно, все его вечера были наполнены этими дружелюбными звуками; и старый пёс, немного успокоившись, уснул. Ему приснилось детство.

Поздно вечером, близко к ночи, разбудил хозяин — принёс в тазу суп. Буро спрыгнул с нарты, поел. Когда хозяин вернулся в чум, лёг обратно на нарту, но уснуть уже не мог.

Вечерние звуки постепенно затихли, темнота сгустилась настолько, что Буро видел маленькие искорки огня, вылетавшие сверху из чума; значит, в чуме ещё горит костёр и люди не легли спать. Сон ушёл, и на смену ему опять подступила уже знакомая тревога, а с темнотой ощущение, что рядом притаился чужой, усилилось.

Буро опять спрыгнул с нарты и медленно пошёл от стойбища; невдалеке остановился и сел, и вдруг ему показалось, что между деревьями мелькнула одна тень, потом вторая.

Буро грозно зарычал, потом старчески залаял. Его тут же поддержали собаки стойбища, особенно звонко и воинственно заливался щенок; но так как никто, кроме Буро, ничего не заметил, все скоро замолчали. Буро вглядывался в темноту, но напрасно — уже ничто не нарушало сонной тишины леса.

Буро вернулся на нарту. Было уже совсем темно, из чума не вылетали больше искорки — значит, люди легли спать. Буро редко когда ложился в чуме, и не потому только, что

у него такая длинная тёплая шерсть. Он знал свой долг — быть ночью на улице. Этому опять же научил его хозяин. Привязывал его на ночь к нарте, и когда Буро, заметив или услышав что-либо, принимался лаять, Себеруй всегда выходил на улицу, чутко прислушивался к тишине и потом, улыбнувшись про себя, скупо гладил Буро.

Буро опять задремал, но хруст сухого валежника в лесу заставил насторожиться, и он громко залаял.

Себеруй вышел из чума.

— Что ты видишь? Ну что? — спросил он, чуть коснувшись широкого лба Буро. Он знал, что старый, опытный пёс не будет зря, из прихоти, беспокоить людей.

Себеруй присел на нарту и с тоской подумал, что Алёшка слишком молод и было бы неплохо взять ему сегодня на ночное дежурство Буро. Хотя нюх и зрение подводят Буро, слух у него по-прежнему хороший.

— Пойдём спать, Буро, — попросил Себеруй и невесело пошутил: — Это зайцы бегают, а ты, как маленький щенок, слушаешь их игры. Пойдём.

Ночь была тяжела для обоих. Они лежали рядом и не спали. Буро тяжело дышал, иногда начинал тихо скулить. Себеруй несколько раз принимался ощупывать его тело: не поранился ли, но нигде не было ни ран, ни болячек.

— Перестань, Буро.

Буро стонал, как от сердечной боли.

— Что с тобой? — шёпотом спросил Себеруй, наклонясь над ним. Буро нашёл в темноте руку хозяина, осторожно лизнул горячим языком и замер.

Теперь не мог успокоиться Себеруй. Он чувствовал, что Буро не спит, а только притворяется. Потерять эту собаку — всё равно что не жить. Кто ещё так понимает его?

— Не думай об этом... — шёпотом наказал он себе, заботливо прикрыл старой малицей утихшего Буро и сам устроился поудобней.

Незаметно уснул. Снилась жена, такая, как в первые годы их жизни, — молодая, сильная. Она была одета в новую ягушку, в какой её похоронили, и несла вязанку хвороста, вскинув ношу высоко над головой. Проходя мимо него, улыбнулась и что-то быстро проговорила, но что именно, Себеруй не понял. Некочи уходила всё дальше, помахивала зачем-то своей ношей, и улыбка её таяла, и чем дальше она уходила, тем сильней становилась боль в груди.

От этой боли Себеруй и проснулся. С трудом открыл гла-

за, но улыбающееся лицо жены снова всплывало из темноты, наклонялось над ним, и Себеруй долго не мог найти в себе силы, чтобы прогнать видение.

Постепенно он стал различать шесты чума и светлое пятно мукаданзи и обрадовался. Значит, скоро утро, а потом и день. Себеруй осторожно вытер пот со лба. Рядом зашевелился Буро, тяжело вздохнув, выбрался из-под малицы и вышел на улицу.

Себеруй слышал, как он поправил за собой полог, — удивительно ловко умел это делать, не любил, когда на него ворчат. «Успокоился», — подумал Себеруй и немного погодя вышел сам.

На улице уже светало. Около Алёшкиного чума валялись оленьи рога, которыми вчера играли ребятишки. Они были покрыты искристым инеем и походили на ягель, только очень крупный. Когда-то такие же рога тайком от старших ребятишек приносил домой сам Себеруй, чтобы маленькая дочка могла поиграть ими. Мать связывала для неё арканчик из тонкой верёвки, и девочка набрасывала его на ближайший рог; если ей удавалось заарканить маленький рог, она таскала его за собой весь день, и её звонкому смеху не было конца.

Вспомнив всё это, Себеруй остановился, в грудь словно кипятку плеснули. Дочка... Маленькая дочка... Себеруй понял, что сейчас ему безразличен весь большой мир, со всеми его тревогами, надеждами, с зимами и вёснами. Каждое утро, каждый день и месяц он думает о прошлом, только о прошлом... Кто укорит его в том, что он сейчас не живёт, что ему не интересны ни люди, ни их дела? Что могут дать ему люди взамен прошлого?..

...Утро Себеруй и его Буро встретили на улице.

Пасса, заметив их, не удивился. Он часто теперь по утрам видел Себеруя, неподвижно сидевшего на нарте, и у ног его, как изваяние из камня, лежал Буро.

Пасса опустился рядом.

— Ты очень мало спишь.

— Не спится. А сегодня сон видел плохой...

Пасса не стал утешать друга. Ненцы верят в сны, и Пасса не был исключением, и, кроме того, вот уже год прошёл, как Пасса чувствует, что не может он сказать Себерую такое, от чего бы тот стал прежним — сильным, добрым, счастливым — и не сидел бы по утрам так сиротливо и жутко. Нет таких слов. И люди стойбища не виноваты. Все отно-

сятся к старику хорошо. Хорошо — это даже не то слово. Но что поделаешь, если много добрых человеческих сердец не могут заменить одно.

Себеруй, наконец, понюхал табаку. Повернул к Пассе усталое лицо:

— Скажи своей жене, пусть кое-что приготовит. На могилку съезжу.

— Хорошо, только не езди один.

— Один поеду. Поговорить с ней надо.

— Хорошо, — ещё раз согласился Пасса, хотя в душе был против того, чтобы старик ездил один.

Пасса ещё весной поставил чумы поближе к кладбищу, чтобы Себеруй в годовщину смерти жены мог устроить поминки.

Сегодня Себеруй поехал на кладбище вдвоём с Буро, который утром вёл себя не так беспокойно, как ночью, — казалось, был равнодушен ко всему: лежал не на нарте — под ней — и оттуда иногда взглядывал на хозяина; походил на человека, занятого очень серьёзной мыслью.

В последние дни Себеруй, как никогда, жалел своего друга и брал его с собой на нарту. Буро привык к езде. У него было своё место, за спиной хозяина. Себеруй с горечью вспоминал времена, когда Буро весь день мог бежать рядом с упряжкой и никогда не отставал. Редкая собака способна на это.

А теперь... Теперь вместе с горем к ним пришла старость. Вон у Буро шерсть на морде поседела, глаза стали слезиться и поступь не та — тяжёлая, будто к каждой лапе привязаны невидимые камни.

Себеруй одет красиво. Новая малица под сорочкой коричневого сукна сидит немного мешковато; под кисы, расшитые сукном трёх цветов, пришлось надеть толстые чижи, иначе они болтались бы, как болотные сапоги с длинными голяшками.

Мысли, с которыми старый ненец ехал на свидание к жене и дочери, не радовали. Как, чем ему успокоить Некочи? Конечно, там, в подземном стойбище, они с дочкой думают и всем сородичам, раньше ушедшим в иной мир, рассказывают, что с отцом осталась старшая дочь, Анико, и заботится о нём тоже она. Себеруй не знал, как ему поступить. Ведь молчать, придя на могилу, нельзя. Ненец, сидя у могилы, рассказывает о том, как живёт и что думает, иначе покойник обидится.

Как быть?

Себеруй не торопил оленей, обдумывая свой рассказ жене, и понял, что ничего радостного сообщить не может...

Пожалуй, нужно будет рассказать о тех днях, когда он ждал дочь из города, и ещё о том ночном часе, когда передал дочери Идола — Хранителя рода Ного.

Да, об этом и надо рассказать. Жена обрадуется и успокоится.

Решение пришло, на душе стало легче, словно в небо проник целый поток весёлых солнечных лучей. Себеруй с благодарностью глянул на солнце. Прищурился и ласково улыбнулся в усы. Это была первая его улыбка за всё время после смерти жены.

Себеруй оглянулся, посмотрел на Буро. Тот спал. Видно, мерная, спокойная езда укачала его. Он дышал совсем как человек, и Себеруй улыбнулся второй раз...

Вот и кладбище. Стойбище предков. Только чумы у них деревянные, и чем дольше идёт время, тем больше этих чумов. «Будет здесь и мой», — думал Себеруй, внимательно всматриваясь в могилки. Солнце щедро освещало каждый ящик, и если бы не тишина, можно было подумать, что это действительно маленький посёлочек.

Себеруй остановил упряжку. Завязывая хомут, заметил, что руки дрожат. Пусть. Но на лице не должно быть боли. Пусть жена думает, что всё у него хорошо. Чуть приосанившись, взял в руки мешочек с мясом и рыбой, проверил, на месте ли склянка с табаком. Буро давно уже проснулся и ждал хозяина.

Пошли. Человек впереди. Буро за ним. Походка у Себеруя твёрдая, неторопливая. Так он шёл, когда впервые ввёл Некочи в свой чум, приглашая её быть в нём хозяйкой. И так же пришёл к ней сейчас — уже старым, но по-прежнему любящим её.

Остановился у могилы. Буро встал поодаль.

— Здравствуй, Некочи! — Себеруй подумал, что надо бы поздороваться и с теми, кто сейчас, возможно, находится рядом с ней. Но кто именно? Решив обратиться ко всем сразу, он повторил: — Здравствуйте.

Ему ответила тишина, залитая солнцем. Себеруй знал, что тишина и есть голоса всех ушедших в другой мир. Первым делом он насыпал табаку на ящик — у головы, у ног — и вокруг могилы на землю. То, что на ящике у головы и у ног, предназначено ей, Некочи, а остальное — всем, кто

присутствует при встрече. У ненцев так положено: при встрече, поздоровавшись, обязательно надо понюхать табаку, а потом уж заводить разговор, если есть что сообщить.

Себеруй опустился на камень, на котором когда-то сидела Анико. Сам понюхал с ногтя табаку и счёл нужным сообщить жене:

— Табак делает жена Пассы. Сама знаешь, он у неё всегда хорошо получался.

Тишина. Буро сел рядом с хозяином, внимательно прислушиваясь к его разговорам. Себеруй откинул капюшон малицы, пригладил жидкие волосы.

— Сегодня ты приходила ко мне. Вот мы с Буро и приехали, — неторопливо объяснял Себеруй, доставая из мешка мясо, рыбу и мучные лепёшки. — Ты, наверное, хочешь послушать моё слово, раз приходила...

Он задумчиво помолчал. И не потому, что теперь ему нечего было сказать жене. Просто надо сначала дать Некочи поесть, раздать еду и всем другим, а потом уж разговор затевать. Себеруй разложил мясо и остальные подарки в том же порядке, что и табак, улыбнулся и подольше задержал на губах улыбку, чтобы жена успела её заметить, а потом крякнул, давая понять, что начинает рассказ.

— Живу я... — и запнулся, сообразив, что начинает не так, даже чуть покраснел, однако тут же поправился: — Живём у Пассы. Своей половиной хозяйничает у меня дочь Анико. — Себеруй не стал спрашивать, помнит ли жена старшую дочь. Он в этом не сомневался. Мать помнит о том, о чём иногда забывает сама жизнь. — Свой чум пока сняли. Вот научится Анико чум ставить, тогда будем жить сами, — говорил Себеруй и радовался своим словам, но не тому, что так гладко обманывал: от этих слов веяло тем, о чём он сам не раз думал. — Дочка вся в тебя, такая же сильная и чуть упрямая. Шить, оказывается, она не разучилась. Вот посмотри, — Себеруй вытянул вперёд правую ногу, — смотри, это она шила. Там у тебя шов распоролся, и дочка сама зашила. — Себеруй опять улыбнулся. Он был так обрадован и увлечён своим разговором, что совершенно забыл о том, что есть у него другая жизнь, совсем не такая, какую он рисовал перед женой. — С оленями всё хорошо. Не болеют. Лето было не такое жаркое, как в прошлом году. Тэмуйко твой... — Себеруй подумал, что будет жене приятней слышать: что олень печалится или, наоборот, что живётся ему хорошо, и выбрал серединку:— Печалился он, а теперь ве-

сёлый ходит. Я его редко запрягаю. Стойбищные люди передают тебе слово. Живём между собой хорошо. Да и что делить. Жизнь не оленья шкура, на куски не разорвёшь. Алёшка... — И тут Себеруй аж дыхание затаил, лукаво взглянул на деревянный гроб жены, понюхал с ногтя табаку и только тогда продолжил: — Алёшка хочет жениться на Анико... — и многозначительно замер. Весь его вид говорил: «Ну что скажешь? Каково?!»

Он был так доволен новостью, сообщённой жене, что сейчас же решил покончить с этим делом, то есть посоветоваться с женой и получить её согласие на брак дочери.

— Как думаешь, жена? Парень он хороший. Песца ловит не хуже опытного охотника... — Себеруй поудобней уселся и с увлечением начал рассказывать про жениха Алёшку. Эта часть разговора заняла довольно много времени.

...Осеннее небо, особенно в сентябре, напоминает капризную старуху: то смеётся, то ворчит и гнусавит.

Пришёл тёмный караван облаков и постепенно закрыл собой солнце. На земле сразу помрачнело.

Себеруй, заметив это, поторопился закончить разговор. После своих объяснений он не сомневался, что Некочи поддержит его. Она умные слова, повёрнутые лицом к жизни, всегда понимала.

Себеруй задумался. Что он ещё не сообщил жене? Про оленей говорил, про людей тоже... Ах да, про Буро не сказал ни словечка.

— Буро... — Услышав своё имя, Буро коротко гавкнул. Себеруй погладил его по голове и продолжал: — Буро очень помогает мне. Правда, он постарел немного, но всё ещё работает.

Буро понимал, что речь идёт о нём и говорит хозяин хорошие слова. Он закрыл глаза, уши его медленно двигались, будто их гладила ласковая рука.

Себеруй возвращался в стойбище приободрённый. Неожиданно для самого себя он чувствовал, что свидание с женой оживило его.

Он знал, что теперь ему надо верить во всё, что он сказал жене, и ждать дочь. Принимая Идола — Хранителя рода, его дочь не могла врать. В искренние минуты не врут. Тем более не может обмануть его дочь, последняя дочь доброго рода Ного.

Себеруй погнал оленей. Надо скорей вернуться в стой-

бище, поговорить с Пассой. Как давно он не слышал слова своего друга, как давно они не молчали над табакеркой!

Олени, почуяв твёрдую руку хозяина, радовались своему бегу. В лицо Себеруя летели мокрые комья земли, трава, прохладный ветер разглаживал морщины, освежал и, казалось, раздувал в душе костёр радости.

Много у человека в душе костров. Костёр любви и доверия, чёрный костёр лжи и злобы, костёр доброты... И дай бог каждому человеку, чтобы в душе его никогда не гасли добрые костры, чтобы не могли их потушить никакие холодные ветры...

Отъехали от кладбища примерно с километр. Небо сплошь затянули чёрные рыхлые тучи, вот-вот упадут первые капли дождя. Себеруй надел капюшон малицы, уселся поудобнее и вздрогнул. Буро, сидевший позади, залаял.

Себеруй обернулся и чуть не выронил из рук хорей: за нартой поспевали два волка, явно желая догнать её.

Буро беспокойно оглядывался на хозяина, переводил взгляд на быстро проносившуюся землю. Себеруй гнал оленей что было сил. В голове билась страшная мысль: нет ружья. Вторая мысль была ещё страшнее: если уж волки преследуют нарту, то не отстанут, пока олени не выдохнутся.

Обернувшись ещё раз, Себеруй совсем уже близко увидел волчью пасть. Волк был молодой и сильный. А немного поотстав, шаг в шаг следовал старый. Его-то Себеруй и знал. Это был Хромой Дьявол.

— Узнал, Буро? — спросил Себеруй, повернув нарту туда, где, по его расчётам, находилось стадо. Скорей к пастуху, у него ружьё.

Да, Буро узнал своего врага. Он принялся угрожающе рычать, временами отчаянно визжал.

Себеруй, уставший от страшного напряжения, мысленно передал свою жизнь в распоряжение оленей. Быки у него были запряжены испытанные.

— Держись, Буро! Держись!.. — Но Буро не дал ему договорить. Он лизнул хозяина в щёку и с визгом, полным отчаяния, бросился с нарты прямо под ноги молодому волку.

— Буро! — закричал Себеруй.

Он ясно видел, как голова и спина Буро мелькали между спинами волков и как пёс несколько раз оглянулся назад, будто хотел убедиться, что нарта ушла от погони.

Себеруй пытался удержать оленей, но обезумевшие от страха быки неслись не разбирая дороги. И Себеруй, обес-

силенный, упал на нарту лицом вниз и скорей не услышал, а почувствовал визг, полный злобы и предсмертной тоски.

— Буро! Буро!..

Когда Алёшка возвращался в стойбище, наступила уже ночь. Он ходил посмотреть пастбище у горы, которую ненцы называют Красной. Летом весь этот массив действительно выглядит тёмно-бордовым оттого, что камни на нём красные.

На душе у Алёшки тревожно. Не из-за того, что у горы Красной не оказалось хороших пастбищ. Они есть, и совсем недалеко, можно завтра же гнать туда стадо. Занимало другое. Сегодня погиб Буро, пёс, который прожил жизнь, какую не всякий человек сможет прожить. Сама по себе смерть понятна, но, когда она уносит доброе, дорогое, кажется необъяснимо жестокой, и долго не можешь простить ей утрату.

Что будет с Себеруем? Старик выглядел вроде спокойным, но все в стойбище понимали, что происходит у него на душе и что спокойствие это — всего лишь выдержка, воспитанная годами.

До чумов совсем недалеко. Ночь светлая, хотя луны нет и звёзд не так уж много; только над самым стойбищем горит яркая звезда, подобно светильнику, выставленному заботливой хозяйкой. Светло от зарева над дальними горами. Там, должно быть, первый буран.

Алёшка присел на мокрый камень. Закурил. Он повзрослел, стал ещё выше, а в глазах прибавилось мужской твёрдости. После отъезда Анико всё вроде стало на свои места, но что-то в душе постоянно болело... и надеялось.

Смешно, конечно, но разве можно приказать этому «что-то»?

Алёшка посмотрел в сторону чумов. Там не спит мама и, как маленького, ждёт домой. Что-то собак не слышно, должны были учуять его; видно, привязали всех в чумах, чтобы не поднимали возни вокруг мёртвого тела волка. Его положили около нечистой нарты. Большего он не заслужил. Зачем было тревожить людей и всю жизнь делать им пакости? А тело Буро ненцы положили с большим почтением на священную нарту, в знак особого уважения.

Уже поднимаясь, Алёшка вдруг заметил подозрительную тень недалеко от чума Пассы. Тень была большая и хорошо заметна на земле. Она вела себя странно. Сначала по-

ползла к священной нарте с телом Буро и, не дойдя до неё, свернула к нечистой.

Алёшка опять присел. Это была не собака. Ей незачем тайком ползти и кого-то подстерегать. Неужели волк? Да, очень похоже. Наверное, тот, что был сегодня с Хромым Дьяволом. Странно. Если он, то зачем пришёл? Мстить? Проститься со старым волком? А может, он хочет утащить его тело, чтобы люди не надругались над ним?

Волк меж тем всё ещё колебался. Раза два направлялся к священной нарте и каждый раз, не доходя до неё, сворачивал к нечистой, будто его терзали сомнения.

Алёшка сидел затаив дыхание, и не потому, что боялся. Он волновался. Ему становилось жаль волка, который, видимо, остался одиноким и, может, не знал, как жить дальше. Себеруй говорил, что второй волк был молодым.

Может, собаки подняли сильный вой — Алёшка не слышал отсюда — или ещё что случилось, но вдруг волк резко повернул обратно, немного отполз и поднялся. Теперь Алёшка ясно видел его стройное тело и высоко поднятую голову. Постояв немного, словно ещё раздумывая, волк тронулся, но... Алёшке показалось, что волк посмотрел на него, будто всё это время знал, что за ним наблюдают.

Алёшка опешил. Он не мог видеть волчьего взгляда, но чувствовал... он мог поспорить, что видел этот взгляд. В нём было что-то человеческое, и уже не жалкое, а решённое...

Пока Алёшка пытался что-то понять, волк уже скрылся, и шёл он шагом не осторожно-трусливым, а спокойным.

Алёшка поднялся не сразу. Поискал папиросу, но пачка оказалась пустой.

«Неужели он посмотрел на меня?»

Подойдя к своему чуму, Алёшка сел на нарту, хотя очень хотелось закурить. Надо было как-то осмыслить случившееся. Что хотел сказать волк? Ведь не зря посмотрел?

Алёшка не знал, как отвечать на эти вопросы, но в душе, честное слово, в душе он начинал уважать этого молодого волка, который ушёл с таким достоинством. Уж не признал ли он силу человека, в то же время не унижая и свою? Да, может быть, и так...

1974 г.
г. Тюмень

Ненецкие слова, встречающиеся в книге

Авка — ручной олень.

Авлик — утка-нырок.

Аргиш — караван оленьих упряжек.

Вандей (вандако) — грузовая нарта для перевозки и хранения части одежды и продуктов.

Варнэ — ворона.

Гусь — мужская верхняя суконная или меховая одежда.

«Как твой ум ходит?» — выражение, означающее: «Что ты думаешь?».

Копылья — (дословно) ночи нарты.

Кэле — восклицание, выражающее удивление, сожаление, досаду.

Лемминг — грызун типа полевой мыши.

Месяц умирающего листа — август.

Мукаданзи — верхнее отверстие чума.

Мяд-пухуча — идол, хранительница очага, защитница чума.

Нум нарка — Бог велик.

Нылека — волк; здесь — страшный, злой человек.

Нэвэ — обращение к другу.

Савак — зимняя верхняя одежда, сшитая мехом наружу.

Сиртя (сихиртя) — древние люди, живущие в сопках. Ненцы утверждают, что они и до сих пор там живут.

«Чай птички» — листья ежевики.

Чижи — меховые длинные носки, которые надевают под кисы.

Ягушка — верхняя женская одежда без капюшона.

Яминя — мать-прародительница, основательница мира.

Янгабчь — деревянная лопатка для выбивания снега из меха.

Ярабц — песня-плач.

В.РОГАЧЕВ

«...Гений чистой красоты...»

Критико-биографический очерк творчества Анны Неркаги



нимите шляпы, господа, мы будем говорить о гении. Гении ненецкого литератора, выразившем сокровенный смысл северной цивилизации своего небольшого народа, живущего на земле, гигантской лукой охватившей Обскую губу. Столь высокая посылка критика нисколько не умаляет таланта и достоинств творческих судеб ее коллег — ушедших из жизни и продолжающих писать. Просто Провидению было угодно именно Анну Павловну Неркаги (по хрестоматии Л.Федоровой «Северные родники», Сыктывкар, 1995 — Неркагы) избрать на роль писателя, создавшего духовную историю своего прекрасного Ямальского края.

В этом однотомнике представлены практически все произведения А.Неркаги. Она их называет повестями: «Анико из рода Ного» (1976), «Илир» (по Л.Федоровой «Илыр», 1979), «Белый ягель» (журнальный вариант в альманахе салехардских литераторов «Под сенью нохар-юха», 1995), «Молчащий» (1996). Кроме этих вещей, ее перу принадлежат социально-бытовые и этнокультурные очерки, печатавшиеся в «Уральском следопыте», газете «Красный Север» и в других изданиях.

Сразу же предупреждаю дотошного читателя и знатока наших северных литератур, что в этой статье буду (ради краткости) именовать главные произведения Анны Павловны так: «Анико», «Илир», «Белый ягель», «Молчащий». Этот ряд далеко не случаен, ибо каждый текст пронизан светом родного предания и приближает к нам, варварам XX столетия, в очередной раз строящим призрачные

«капища» для золотого тельца с компьютерной маской на лице, судный день. День, когда именно малым народам планеты, возможно, будет суждено попытаться продолжить род человеческий, восстановить гармонию духа и тела, природы и человека, космоса и бытийного строя сокровенного человека, о котором говорил А.Платонов.

По философии великого русского мыслителя, последнего из могикан отечественного космизма А.Лосева, ясновидящая символика названий и назначений хранит наш род, дает ему надежду на спасение в вихре страшных катастроф, разразившихся на Земле по вине одномерного человека, у которого секс вытеснил любовь, синтетические вещи и продукты — естественные дары природы, телеящик — радость непосредственного общения, деловая задерганность — нормальный труд ради себя, семьи, своей страны, коррупция, мафиозо, растление души и тела — идеалы Нагорной проповеди.

Путь А.Неркаги — преодоление нового рабства на планете с его техногенной машинерией, возвращение в отчий дом, очищение души и сопричастность к крестным мукам Голгофы — мучительным и долгим, — без которых мы прощены не будем. Четыре книги — четыре ступени очищения, когда на последнем этапе все, в принципе, необходимые человеку блага и вещи цивилизации служат ему, помогают ему в добром круге существования, а не закабаляют его.

Четыре книги — четыре шага прочь от страшных кошмаров-катастроф XX века: ядерной, экологической (трагедия нашего внеприродного, внеестественного существования), народно-исторической (забвение, по Пушкину, любви к отеческим гробам, когда тени забытых предков в клипово-триллерном дурмане кощунственно преобразуются в упырей и вурдалаков, в монстров и взбесившихся роботов-убийц) и, наконец, этической, когда зло заполонило мир и для хохмы рядится в добрые одежды, когда отринут (по Новому Завету) священный дар человеческой жизни. Метатекст А.Неркаги (вне ее повести) выносит приговор дурной бесконечности нашей перегруженной урбанистической цивилизации, в которой уже давно нет места элементарному гуманистическому началу, крепкой семье, приносящему радость и благополучие труду, свободному и гармоничному развитию личности.

Современные исследования показывают, что свыше половины городских школьников больны: они невропа-

ты. Учебные программы перегружены. Свыше двух третей сведений, которые вдалбливают ребятам в школе, никогда не пригодятся им в жизни. Уже дело дошло до того, что для многих детей, попавших в обстановку естественной и не загаженной цивилизацией природы, такие встречи оборачиваются драмой. Марево июньских трав поражает их аллергией, печеная картошка на костре вызывает расстройство желудка. Я уж промолчу про озоновые дыры, хлорированную воду, чадящие бензиновым перегаром улицы, балдение около телеэкранов... Счастливых детей я видел лишь... в изоляции от нашего суматошного мира — в областном детском реабилитационном центре «Крепыш», заменившем им родителей и тепло отчего дома...

«Анико» — повесть о возвращении на малую родину. Ее героиня не отвергает урбанистику. Ей повезло — ее гены не пережили страшной мутации, ее разум различает плюсы и минусы городского технологического образа жизни. Ее родовая память оказалась сильнее разрушительных процессов, и тщательно просеянные новые знания она с пользой применит в тундре. Ведь красота современности не в безликих стандартах и социальных масках, которые мы вынуждены таскать на себе и днем и ночью. Красота мира в радуге народов и культур, а не в подавлении малого, особенно новыми империями зла, в какие бы демократические одежды они ни рядились: Анико «взяла Идола и несколько минут стояла неподвижно, понимая, что приняла сейчас душу отца, матери, деда и всех, кто жил на земле до нее. Не Идола отец передал ей, а право, святой долг жить на родной земле и быть человеком».

«Илир» — звездный мальчик в северных просторах, как наше одинокое солнце, затерявшееся на периферии нашей галактики. Повесть — предупреждение о социальной несправедливости, о том, что и в среде северных народов не все ладно устроено. Но это и повесть о возможной народно-исторической катастрофе, способной куда быстрее разрушить общее жизнеустройство ненцев, их социальные отношения по сравнению с «Большой землей».

«Белый ягель» — долгое прощание с народным эпосом, поиск спасения от этической катастрофы, когда отчуждение новых поколений от веками испытанного и давно установленного канона ненецкой жизни, ее нравственного распорядка, с жутким ускорением убивает людей.

«Молчащий»... Это для меня не повесть. Это, по при-

знанию А.Неркаги, 15-летний путь к Господу, о, она смогла сдержать удар, хотя все злые силы мира — природные и техногенные — трепали ее тело, душу, совесть. 15 лет неимоверных нравственных страданий, бессилие от невозможности вмешаться в большой российский и свой народный мир, стоическое терпение на фоне надругательств над хрупкой и близкой небесам северной ойкуменой наших всесильных и безжалостных нефтегазовых королей, люмпенов, архаровцев в лжеадидасах и в кабинах «магирусов». Пьянь, наркотики, плач детей, отрываемых органами народного образования от родной семьи, поверхностное усвоение опасных даров чужой цивилизации, личные драмы не сломили А.Неркаги: «Я не прошу у читателя прощения за эту повесть. Многие меня осудят. И суда не боюсь. Знаю только одно. Если бы не написала, то предстала бы перед Судом Отца. За трусость, за низость Духа, за Безверие».

Не творить — нет худшего наказания. Не любить — нет горестней участи. Эти слова А.Неркаги возвращают и ей, и читателям, и всем людям земли священный дар человеческой жизни. Сотворение себя под низким небом Ямала, до сих пор непонятного пришельцам без совести и веры, высоколобым интеллектуалам и так называемым ученым спецам по народам Крайнего Севера.

Великое открытие А.Неркаги — глубинное словесное преображение игры—жизни—творчества своего народа. Внешне все кажется хождением по давно заведенному кругу дней и забот. Давно описаны северные праздники и будни, занятия, устройство чума, иерархия внутри рода, межродовые отношения, характер общения, быт. Здесь впервые стереоскопично показана северная жизнь, как преодоление творчеством каждодневной обыденности. Это сутки, длиннее наших, это снежные дороги, путешествие по которым никогда не повторяется. Это охота и рыбалка и система духовных жестов, молитвенных священнодейств, непонятных чужому. В «Белом ягеле» мать Алешки молится Душе чума, впадая своей микротропой в космическое колесо высшего гармонического вращения Вселенной.

Северные герои А.Неркаги — родовые ненцы, увы, люди старшего поколения (родители Анико, старик Пэтко, Вану и другие) — живут сопричастно первым дням творения. Их дела и мысли синкретичны, то есть в них слиты все времена и искусство, все песни и ремесла, все стороны человеческого бытия. От постройки

чума до разведения своего огня и собственного ведического знания. Может, в этом и разгадка тайны талантов нашего Михайлы Ломоносова, чей поморский стиль жизни тоже был связан с Севером?

Эх, Россия, забыто и забито то, что лечит Душу, освежает телесные силы. Одно дело — пьяный дьяк во время пасхальной недели на картине В.Перова, другое — жаркие слова в красном углу избы, обращенные к народной заступнице Богоматери (пора их вспомнить...). А разговор с внутренним взором автора в «Молчащем» с тундровым семицветием, живым вестником главного Огня жизни!

Нет кощунства в мысли моей: «Молчащий» стал северным Апокалипсисом, откровением А.Неркаги об уже грянувшем на планете конце этого мира. Жуткое, страшное горечь-открытие автора — «У нас сейчас гниет душа». Да, такой Сын Неба (как у автора) сошел сейчас к нам на землю, не всем дано узнать его, не всем с ним разговаривать. Но апостольское служение Анны Неркаги своему народу продолжает футурологический провидческий шок ее апокалипсиса, опережая нашу действительность — «имеющий душу да слышит». И если такие найдутся на Севере, увидят они новую землю, свет преображения.

Судьба А.Неркаги — залог судного пути и для своих, и для пришельцев. И я взялся писать о ее творчестве, потому что ее проза — открытая книга, художественная биография народа, заселившего эти края в конце первого тысячелетия (если вести отсчет от упоминания об угорских и самодийских племенах в древнерусской «Повести временных лет» — 1096 г.). Этот метатекст создается на русском языке в том особом его духовно-символическом звучании и оформлении, когда ненецкий язык равноправно вписывается в инородный строй, прямо выражает душу и национальный образ своего мира, свою психологию в именах и названиях, в поэтическом синтаксисе художественной речи: «Есть укорот на всякую гордыню и силу. На этой дороге спесивый помнит и знает, что земля под всеми одна и небо над головами общее, и не потерпит дорога на своем теле, чтобы один обидел другого. Ибо может случиться, что ты сейчас гордо пронесешься мимо, а через время будешь погонять через силу кривым хореем своего худого передового, и ветер, зайдя в одну дырку на твоей малице, тут же выйдет в другую». Гениально! Русско-ненецкое, ненецко-русское спасение усиливают друг дру-

га по принципу дополнительности, который лишь недавно озвучил для литературных критиков и ведов академик Лихачев.

Некто N недавно подверг критике биографическую справку об А.Неркаги, помещенную в хрестоматии «Литература Тюменского края». Надо бы было сему веду не полениться заглянуть в библиографический указатель «Писатели Тюменской области» (1988). Тогда бы язык прикусить пришлось, ибо автор сей справки — покойный известный писатель Г.Сазонов, который наши севера знал как геолог, а не понаслышке. И ничего плохого нет в том, что в справке сказано: «Анна Павловна Неркаги (Неркаги в переводе с ненецкого Род негнущихся) родилась 15 декабря 1952 года в чуме, в горах Полярного Урала, где у подножия хребта Сайрей в ягельных долинах каслал стада ее отец-ненец».

Можно, конечно бы, и получше написать, поточнее, но авторы-составители доверились этому тексту. Да и сам вед в своём критическом опусе обратил внимание на стилистику, но не на неточность (наверное, от незнания). Ибо в справке надо было ставить 1951-й год рождения, горы заменить на предгорья...

Места эти просто уникальны и мистичны, словно прикрытые особым духовным облаком. Каменный пояс здесь начинает уходить под землю, под океан, тут особый микроклимат и животно-водная среда. Места относятся к поселку Лабораторная Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа..

В отрывке Г.Сазонова написано, что она в 1970 г. закончила среднюю школу-интернат в поселке Аксарка (ниже Салеҳарда на правом берегу). Сама же Анна Павловна пишет, что «с детства меня тянул большой мир, я стремилась за пределы того, чем чаще всего обходятся мои земляки. Как и Анико из моей первой повести, закончив учебу в школе-интернате в поселке Белоярск, я уехала в большой город, стала учиться в Тюменском индустриальном институте. Потребовались годы, чтобы осознать довольно простую мысль, что нет ничего больше, просторнее и милее, чем родная земля, дорогая моя (Байдарацкая) тундра... Если Анико, героиня повести, металась между городом и тундрой, то я выбор сделала... На вершинах Полярного Урала растет вековой белый ягель. Кроме ветра и солнца, никто не трогает его. Для меня этот красивый мох — сплав свободы, гордости, недоступной красоты и независимости».

Геологоразведчика из Анны не получилось. Подкачало здоровье после второго курса. Нелегко было разделить благие и черные начала городской жизни, ее искусы. Студенческая богема лишь внешне похожа на праздник: тут и бурно-буйные застолья, многолетние увлечения, но одновременно крепкое ядро ее души подтолкнуло к литературным опытам. Сначала были неудачи, однако перспективу разглядел маститый писатель, тогда руководивший областной творческой организацией, К.Лагунов. Анне повезло: мэтр отнесся к ней неформально, его уроки пошли впрок. Главы из «Анико» появляются в местном альманахе «Самотлор» (1975). Потом повесть с комментарием К.Лагунова печатает «Урал» (1976), и наконец, «Анико» с послесловием наставника автора издается отдельной книгой в «Молодой гвардии» (1977). В 1978 году А.Неркаги принимают в Союз писателей.

Не теряя темпа, Анна садится за новую вещь — «Илир». Она работает методистом областного управления культуры, сохраняя связь с Заполярьем. Тут-то и развернулась драма. Анна Неркаги вплотную познакомилась с фальшью и лицемерием советской системы. Ей важно было рассказать всю правду о своем народе, написать реквием трагического столкновения проверенного веками лада ненецкой жизни с природой и небом, познакомить всех с космическим образом северного мира, с необычными коллизиями северного социума.

Надо было сохранить предание, законы отчего дома, уникальную экологию человека, животного и растительного мира, подвергнувшихся бурной и смертельно опасной экспансии нефтегазовых ведомств. Она понимала, что предание обречено, что ее небольшой народ теряет лицо, замыкается в нравственных и бытовых бедствиях, что гибнет тундра. Она искала пути договора с пришельцами, насильно отбиравшими у ненцев детей, искусственно подгонявшими их под нормы чуждой им цивилизации, обрекая уникальный Ямал на вымирание.

Ее «Илир» одновременно был и честным, строгим взглядом на родную историю и социальные отношения в народной среде. Тот первобыт позволял богатею уже при советской власти закабалить сироту, низведя его жизнь до животного состояния. И новая власть оказалась еще более фальшивым другом, чем царская. Можно предполагать, что после долгих бесед с К.Лагуновым действие повести было сдвинуто в самое начало советской власти, ло-

кализовано как частный случай. В финале «Илира» появляется большевик Егоров с красными нартами, показано ожидание светлого поворота в жизни ненцев. Но все равно и в таком виде повесть стала суровым символом-обличением двойной морали в Стране Советов и консервативно-рабских отношений в среде соотечественников.

А.Неркаги поняла — если она так написала про Илира, ей надо возвращаться домой, ибо мало что изменилось в ненецких поселениях, вымирает народ. Она нашла свой ход, свое место, определила новую роль: надо спасать, духовно ободрять и помогать ненцам выжить, усвоить позитивные уроки чуждой цивилизации, решиться модернизировать предание.

Склоки среди местных «душеведов и словолюбов», интриги, разлагающие выбросы бездуховности, косые взгляды коллег и зов родной земли стали причиной возвращения на родину. Пятнадцать лет молчания, но одновременно и творчества, служения людям. Она становится культпросветработником, по-своему каслает по тундре, время от времени возвращаясь к своим рукописям.

Подвиг духовный, нравственный. Может, есть своя правда в том, что Ю.Шесталов не расстается с северной столицей, навещая Югру, может, прав по-своему Е.Айпин, по слухам, прочно осевший в Москве. Извините, но «Молчащего» им не написать, ведь Иисус появился в Святой земле, которая так была далека, по меркам античного мира, от Рима. Где теперь эстеты заката той империи на фоне духовного величия христианского искусства? Как прославлен У.Фолкнер? Да, философско-мифологическим пересозданием жизни глубинки американского Юга, его атома — графства Йокнапатофы. Где творил великий гений европейского модернизма эпохи кризисных сумерек Австро-Венгрии? Франц Кафка жил в периферийной для той империи Праге...

Сейчас А.Неркаги взвалила себе на плечи неимоверно тяжелый груз забот: моральных, материальных, духовных. Там, в родном поселке Лаборовая, она ведет северно-фермерское хозяйство и интенсивно пишет после 15-летнего молчания. Это ее Оптина пустынь, конечно же, иного рода, но корень один — спасение своего народа. Прежде всего духовное.

Метатекст А.Неркаги — лирико-психологические и эпические картины народной трагедии. Век информационных технологий нужен ей для того, чтобы художественно свернуть в микрокосмос свой народ, спеленать зерно рода,

его семя. Лишь небо знает, когда и кто его посеет после катастрофы. В вещах советского времени вы не найдете партийно-советских начальников, почти размыты приметы социальных отношений. Прошли века «приручения» северных народов, но они остались, в принципе, самими собой. И лишь стоическая философия жизни да особая инфраструктура геопространства не дали сопротивлению выразиться в чеченском варианте.

Натурфилософское северное видение мира в «Анико» лучше многих показывает суть полезного для ненцев анимизма — всеобщего одушевления жизни верхнего, среднего и нижнего миров, сообщества людей и зверей, рыб и тундровой флоры. Душа отца Анико Себеруя открыто общается с душой старого верного вожака гончих помощников Буро. И трагический поединок его с хозяином-волком этих мест (Хромым Дьяволом) становится поединком человека и собаки с хищническим образом бытия.

Такая же суровая гармония содружества всего живого на Севере ради добра и в «Илире». Подросток спасается дружбой с такой же несчастной, доживающей свое собакой. Более того, в сюжетном повороте Илир принимает собачье обличье, заменяя собой сторожевого пса. Майма, слепок с васкуев-богатеев, тэта и предававших народ шаманов, вроде бы имеет все. Но богатство, основанное на обмане и безудержной эксплуатации родичей, не принесло ему счастья. Род его затухает, наследник болен, а Илир все равно наливается красотой и здоровьем.

В «Белом ягеле» уже современная фаза драматического диалога северной культуры с техногенной цивилизацией. Не вернется в родное стойбище красавица-дочь старого Пэтко. Вольная птица, попавшая в полон манящих городских огней. Не дождется влюбленный в нее еще с интернатской поры Алешка. Равнодушно участвует он, в силу традиции, в древнем обряде ненецкой свадьбы, ибо мать нашла ему женщину не по сердцу, повинуясь жесткой необходимости не только продолжения рода (сыну уже под тридцать), но и обязательному на Севере семейному укладу жизни. Одиночкам здесь делать нечего. Из последних сил старые люди поддерживают Огонь родного очага, Дух своего чума. Но они лишь обозначают вековечный канон, уходящий в сень небытия.

И все же не все так просто в прозе А.Неркаги. Несколько людей из поселка в этой повести пытались доб-

раться за спасительным хлебом и погибли в снегах. В путь пускается Вану и около каждого усопшего он видит кусок хлеба — дань преданию, подарок отправившихся в запредельную дорогу. Вану колеблется и все же нарушает предание, но во имя живых. Он питается этим хлебом, он возвращается обратно со спасительными припасами, останавливаясь возле каждого умершего и с извинениями отдает им взятое в долг.

«Молчащего» нельзя читать как обычную прозу. Если отвлечься от духовного поединка Анны со страшным Скопищем, черным символом всепроникающей радиации бесовства, плотско-скотскими радениями, умело направляемыми хозяином Великой Тьмы Улыбом (жрецом лжи) и Саллой (скопийцем злого ума и жрецом злой правды), то текст сам по себе суперсовременен. Все игровые постмодернистские приемы и новейшие упражнения в искусстве слова налицо. Только по смыслу греховный постмодерн загоняет человека в черную бездну ада, а наш автор, наоборот, судит его, предостерегает, убедительно показывая картины страшных катастроф, от которых одно спасение — рваться не в низы тела, а вверх, к очистительному голосу неба.

Такие вещи должны читаться как молитва. Фантазии и видения не укладываются в русло даже очень своевольной художественной логики. А вот, по-моему, «Белый ягель» в последнем варианте несколько «нагулял жирок», в более стройном журнальном виде для меня он предпочтительней.

Конечно, спасибо окружным властям за материальную помощь в издании однотомника А.Неркаги. Но можно сделать еще один официальный шаг. В Россию вернулись государственные премии. Хватит столичным гуру нищеты человеческого духа и генитальных трясучек держать «схваченным» литературный олимп. Пора таким нашим художникам веры и совести, как А.Неркаги, быть представленными на почетных конкурсах. Но, Боже, как она одинока в токе текущей злобы и распада. Ведь она пишет, как живет, и живет, как пишет.

И грянул гром...

Спаси и Сохрани!

Содержание

К.Я.Лагунов. Открытое письмо ненецкой писательнице Анне Неркаги 3

От автора 9
Белый ягель. *Повесть* 11
Илир. *Повесть* 119
Молчащий. *Повесть* 231
Анико из рода Ного. *Повесть* 307
Ненецкие слова, встречающиеся в книге 404

В.А.Рогачев. «...Гений чистой красоты...» 405

Анна Павловна НЕРКАГИ

МОЛЧАЩИЙ
Повести

Художественный редактор В.Дыба.
Технический редактор Ю.Мандрика.
Корректоры М.Кремлева, Н.Тиунова.
Оператор ПЭВМ Н.Нохрина.

Сдано в набор 18.10.96 г.
Подписано в печать 5.11.96 г.
Формат 84x108/32. Гарнитура «Times ET».
Печать офсетная. Бумага офсетная №1.
Уч. - изд.л 21,84. Усл. - печ. 22,31.
Тираж 10000 экз. Заказ № 889.

Лицензия ЛП №063670 от 24.10.94 г.

Издательство «СофтДизайн»

Адрес для переписки: 625002, г.Тюмень, а/я 5579.
Тел. (345—2) 26—12—09.

Отпечатано с готовых диапозитивов на ИПП
«Уральский рабочий».
620219, г.Екатеринбург, ул.Тургенева, 13.